

Григорий Померанц
Зинаида Миркина

В тени Вавилонской башни

Центр
гуманитарных
инициатив
Москва-Санкт-Петербург
2013

Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осинская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), П.П. Гайденко, И.Л. Галинская,
В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева,
А.Н. Кожановский, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров,
И.И. Ремезова, А.К. Сорокин

Научный редактор тома: Г. Э. Великовская
Серийное оформление: П. П. Ефремов

Померанц Г., Миркина З.

П55 В тени Вавилонской башни. -2-е изд. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. — 368 с. — («Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-090-3

В книге собраны лекции, прочитанные на рубеже веков Г. Померанцем при участии З. Миркиной («Работа любви»), и эссе З. Миркиной («О том, что не утекает»). Красная нить, проходящая через всю книгу, — научить думать глубиной сердца и благодаря его открытости прийти к становлению целостной личности в мире, разбитом на осколки. Авторы пытаются дать ответ на вопросы о смысле жизни, о подлинном и мнимом счастье, о возможности чистой совести в условиях, когда каждое решение рождает новые проблемы и безупречных решений нет.

ISBN 978-5-98712-090-3

© Г.С. Померанц, 2013

)13

© З.А. Миркина, 2013
© Центр гуманитарных инициатив, 2013

Григорий Померанц

Работа любви

Лекции, прочитанные на рубеже веков, и эссе 90-х годов

*Автор выражает благодарность
Александру Гордону и Евгению
Альтиулеру за неоценимую помощь в
издании книги.*

Возможна ли чистая совесть?

Что такое чистая совесть? Можно ли жить и действовать, сохраняя чистоту совести? Или прав Швейцер, и чистая совесть — уловка дьявола?

Когда мы говорим: «Моя совесть чиста!»? Как раз тогда, когда дела идут плохо, не по совести, но ты думаешь, что от тебя ничего не зависело и ничего ты не можешь сделать. В этом возгласе есть нечто вроде алиби: не я убил, меня при этом не было.

Совесть может быть чиста там, где речь идет вообще не о совести, а о строго сформулированном праве: я уплатил за квартиру, за электричество, за газ, уплатил арендную плату... И то — если другие жильцы, другие арендаторы бойкотируют, отказываются платить, простой вопрос сразу становится сложным. А во всяком запутанном деле нельзя остаться чистым. Иван Карамазов уехал в Чермашню и оказался соучастником Смердякова. А если бы не уехал? Вот случай, о котором я недавно прочел: сын вычеркнул отца, фабриканта, из списка на высылку в Сибирь. Семья осталась в Литве — и погибла вместе с другими евреями в 1941 г. (в ссылке — могли бы уцелеть).

Чиста ли совесть у пенсионеров, клянущих Гайдара и Ельцина? Что пенсионеры думали в 56-м году, когда давили Венгрию, в 68-м, когда давили чехов? Одобряли и поддерживали. Между тем, я убежден; если бы реформы начались на тридцать лет раньше, когда не все насквозь прогнило, многих нынешних провалов удалось бы избежать...

Чиста ли совесть у демократов, у того же Гайдара? Он уверен, что чиста: его правильную теорию просто не дали правильно выполнить. А кто доказал, что русский человек после 70 лет советской власти будет действовать по правилам, установленным в Америке?

Чиста ли совесть у диссидентов, просто отказывавшихся думать, что делать в случае победы, какую проводить политику? Выйдя из тюрем и лагерей, они ничего не могли предложить и постепенно успокоились на том, что это не их дело. Лариса Богараз признавала это своей виной.

Чиста ли совесть у солдата, выполнявшего приказ? В 1944 г. я

совершенно вжился в свою военную форму, приказ был для меня законом. Приказ разрешал рукоприкладство, и во время ночной смены позиций я ткнул в бок солдата, загремевшего снаряжением; солдат, годившийся мне в отцы, выговорил свою обиду и пристыдил меня, до сих пор помню свой стыд, а потом стыд, что не помогли восставшей Варшаве. Мы без приказа стали сматывать палатки, как вдруг неожиданно: ставить палатки на место! И потом по радио: помочь Варшаве нельзя. По стратегическим причинам. Целый день офицеры, встречаясь глазами, отворачивались, стыдно было. На другой день привыкли: не наше дело — высокая политика. И я привык, не стал додумывать мысль до конца. Хотя умел это делать и в 38-м, 39-м году не блеял, как овца. Связал страх остаться одному против всех (*все* ложь главнокомандующего проглотили). Пока я был один — мыслил, а укоренившись в стае, в почве, в народе — лаю по-собачьи, блею по-овечьи.

Я образ и подобие Бога, и я наследник зверей, оставивших след в моих генах. Апостол Павел плакал об этом. Он не знал про гены, писал другими словами: в членах моих нахожу делание греха, плоть моя противится Божьему слову. В духе сознание Целого Вселенной, сознание капли, тождественной океану, — и во плоти сознание умного животного, ищущего, как обойти, обогнать другого, съесть другого.

Пушкин писал: не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. А что, если мысль о продаже вмешивается в само вдохновение? И повернет перо так, чтобы *выгоднее* продать? Я пишущий человек, я это знаю.

Выгоды могут быть разные, очень иногда тонкие: желание славы, желание посмертной награды; думать о достойном ответе на Страшном Суде — одно, а рассчитывать на награду — совершенно другое. Отец Сергей подгнил от любования своей святостью. И Силуану было сказано: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся!»

Есть общий смысл в христианском принципе «я хуже всех» и в буддийской теории иллюзорности «я», «анатта». Разные философские высказывания, но направленность у них одна: преодолеть обособленность «я», выйти из двойственности. Но преодоленная двойственность всплывает заново. Поиск выгоды неотделим от жизни. Целостность не может до конца поглотить частный интерес. Отсюда нешуточный ответ александрийского сапожника святому Антонию: «Все спасутся, один я буду гореть в аду». И понимание Антония, что этот ответ выше всех его подвигов. Вот первый раскол: целостность и частный интерес.

Второй раскол — внутри разума, сознающего Целое, внутри долга. Существует такое понятие — коллизия законов. Один закон велит, другой запрещает. Но так и с заповедями, приведу сразу пример. Об этом было в газетах. Диссидент Болонкин получил срок

— три года. Он не был сломлен, и в лагере ему пришили еще три года. За это время сын Болонкина подрос и стал заводить плохие знакомства, письма в лагерь проходят сквозь цензуру, и гэ-бэшники знают, что у кого болит. Болонкину опять предложили выбор: или он покается по телевизору, или третий срок. Чувства отца столкнулись с гражданским долгом. Болонкин согласился, на него надели приличный пиджак, а брюки остались лагерные, их под столом не видно, и все нужные слова попали на голубой экран. Среди моих друзей было много диссидентов, никто Болонкина не осуждал.

Осуждали Дудко, Красина, Якира: трусили. А здесь долг столкнулся с долгом.

Безусловная верность одному долгу оборачивается топтанием других долгов. Есть история 48 ронинов (т. е. безработных самураев, вассалов, оставшихся без сюзерена). Это подлинный случай, но он был пересказан Бакином, так что это и факт, и классическая японская литература XVIII в. Некий даймё (лорд) вступил в конфликт с важным чиновником бакуфу (правительства) и был им погублен. Вельможа знал, что ему будут мстить, и нанял сильную охрану. Пришлось ждать несколько лет. Чтобы как-то прожить, многие ронины, оставшиеся без средств, продали своих жен в публичные дома. Наконец, подозрительность вельможи была усыплена, и он распустил часть стражи. Тогда ронины напали на его замок и выполнили то, что считали долгом чести, потом они явились с повинной. Бакуфу вынесло приговор: всем 48 ронинам сделать себе харакири, и 48 ронинов разрезали себе животы.

Это экзотика, но ничуть не меньшей была жестокость русских революционеров. Меня учили в школе, что Разметнов проявил недопустимую слабость, пожалев семью раскулаченного (это из «Поднятой целины» Шолохова). И дело здесь не в идеях революции, в идеях язычества, Востока. История христианства тоже полна подобными примерами. Пуритане, строгие исполнители религиозного закона, славились своей жестокостью к чужому греху. На совести католичества — поход против альбигойцев, Варфоломеевская ночь. На совести православия — канонизированная царица Ирина, по повелению которой было перебито 100 тысяч иконоборцев (то есть христиан, верных заповеди «не сотвори себе кумира», нарушенной Вселенской церковью — и католической, и православной).

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. А совершенное отсутствие рвения, духовная и нравственная вялость — тоже от дьявола. Обе крайности — от него. И безусловная верность одной идее, одному долгу — и отказ от всяких идей, от всякого чувства долга, беспечность современных сибаритов, ищущих одних только наслаждений.

Долг — это не просто заповедь. Это мучительная задача, как примирить *разные* принципы. Когда началась война в Чечне, я долго молчал. Мне хотелось понять всех: и чеченцев, и русское население Чечни, и молчаливое большинство русского народа, скованное страхом за распад державы. Я стал писать, когда все участники конфликта заговорили во мне на равных правах, когда сложился внутренний диалог принципов. Я не верил в правду одного принципа. Я верил в правду диалога, кружения вокруг пустого центра, пустого места для примирения принципов, потерявших жестокость, ставших текучими.

В поздние советские годы я балансировал между тремя принципами: гражданским долгом, профессиональным долгом и долгом семьянина. Я постоянно спотыкался, постоянно чем-то жертвовал, и совесть моя всегда была нечиста. Я легко решился протестовать против высылки Сахарова — но не решился, как Сахаров, протестовать против войны в Афганистане. Мне казалось, что для такого хода не было в руках подходящей карты — всемирной известности. Я протестовал против оккупации Праги в философском эссе, спустя несколько месяцев, в прозрачных, но не совсем открытых словах. Я передал «Акафист пошлости» для публикации за рубежом, когда понял, что кроме меня некому выступить, всем заткнули рты, и сделал это не без расчета (на первый раз «предупредят»; меня действительно вызвали, промыли мозги и предупредили о применении какой-то статьи, кажется, 190—191). Выслушав «предупреждение», я обещал на будущее отказаться от прямых политических протестов, но сказал, что публикацию за рубежом моих статей литературного и философского характера санкционирую. Некоторые друзья считали, что я держался слишком откровенно; другие — что всякие обещания *им* — слабость. Я сознавал, что кажусь дураком в глазах одних и слабаком — в других. Подобного рода колебания были и в поведении Бориса Альтшулера, человека по натуре очень прямого, но не готового принести в жертву жену и детей. [Он об этом рассказывает в своей статье, помещенной в сахаровский сборник].

Сейчас мне не грозит тюрьма, но однозначных принципов у меня и сегодня нет. Я понимаю доводы и за, и против смертной казни. Против — ближе моему сердцу, но даже в Израиле, где нет смертной казни, Эйхмана все-таки повесили. Я помню случай, когда стрелял (правда, поверх голов), чтобы остановить бегство и уложить солдат в цепь. Мог бы стрельнуть и по ногам, если бы меня не послушались, и в голову, при явном мятеже. Я допускаю, что при нынешнем размахе преступности вполне возможна «шоковая терапия». Я убежден, что в Сумгаите надо было стрелять на поражение и не допустить погрома, что возможны другие подобные случаи. Я склоняюсь к презумпции отказа от смертной казни, от

стрельбы по толпе и т. п. — но презумпция не мешает осуждать преступника, если вина его доказана, и презумпция прав личности не может мешать чрезвычайным мерам в чрезвычайной обстановке. Я сознаю, что *всякое практическое решение не безупречно*, всякое действие может вызвать лавину зла, и действующий человек идет на великий риск. Но бездействие сплошь и рядом — еще большее зло.

Во всяком столкновении с другим я вспоминаю Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого — недопустимый скандал». Я признаюсь, что иногда сам так чувствую. Я знаю, что раздражение — знак моего внутреннего неблагополучия, что оно говорит о недостатке любви, но не сразу, не быстро, не мгновенно вспоминаю любовь, не сразу топлю раздражение в любви. И не с каждым человеком мне легко вспомнить про Бога (который любовь) и взглянуть на Другого Его глазами (в которых нет других). Перед всеми другими я виноват, что почувствовал их как Другого. И каждый раз это вина перед Богом.

Без этой чуткости к своей вине доброе дело, начатое нами, легко становится источником отчуждения от Другого и зла, повернутого на Другого. Таким добрым делом была свобода прессы, радио, телевидения — и вдруг мы заметили, что свобода СМИ стала властью СМИ, свобода нации стала угнетением другой нации, свобода науки стала разрушением цельности культуры; и всякое частное добро где-то есть зло.

Зло — порождение жизни. Жизнь всегда — отдельная, и, утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья — загораживая солнце. Еще больше — животные и птицы. И больше других — человек. Но человек — не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца — не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: «И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест».

Власть слов, идей возникает во имя духа — и загораживает дух, как икона загораживала Рильке от Бога. Это постоянный вопрос, стоящий перед цивилизацией, нагромоздившей очень много слов. И время от времени разгорается борьба с омертвевшим, дурно пахнущим словом. Время от времени больно назвать то, что чувствуешь, совестишься его назвать. «Мысль изреченная

есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи...» И все же наш долг — произнести слово. Долг, противостоящий другому долгу — молчания.

Солженицыну казалось, что все зло — от нарушения каких-то правил. Примерно так думал и Лев Толстой. Но есть еще благодать — способность чувствовать, когда закон добра становится законом зла, когда лекарство начинает становиться противопоказанным. Это чувство нигде не записано. Его постоянно ищешь и все время чувствуешь неточность, грубость своего понимания. Это чувство внушило мне мысль, что стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре. Ибо правота никогда не бывает совершенной, и никогда нет такого ясного и твердого добра, что против его оппонента хороши все средства. Отстаивая добро, мы постоянно грешим против добра. Даже тогда, когда в формальном, правовом плане мы чисты, — кто знает все последствие своих действий? И наконец, мы всегда грешим неисполнением первой заповеди: возлюбите Бога всем сердцем, каждым помышлением своим. Прав Швейцер: чистая совесть — уловка дьявола...

Но поэт опытно знает состояние чистой совести:

Чистая совесть — дыханье простора,
Чистое веянье духа, в котором Бог
развернулся сплошною дорогой.
Чистая совесть — согласие с Богом.
Чистая совесть — согласие с мирами,
К нам доносящими дальнее пламя,
С каждой звездой и душою зеркальной,
Той, что звездой была изначально.

Моя совесть не может быть чистой. Но совесть чиста, когда исчезло *мое*, исчезло эго, со всеми его проблемами и грехами. Это состояние утраты «я» и полноты присутствия Бога. Только состояние. Но оно есть.

О Господи, меня ведь нет.
Расплылись все черты.
Все было суетой сует,
Остался только Ты.
Остались на исходе дня Вод тихих
зеркала.
О Господи, прости меня За то, что я
была,
За то, что тратила запас
Вселенской тишины.
Прости меня за каждый час,

Приобретения и потери

Всякое приобретение — потеря; или по меньшей мере — забота, как избежать потери и постоянная угроза потери, а всякая потеря, если вынести ее, становится приобретением. Иов заговорил с Богом только после всех своих потерь, и полный Богом, он стал больше самого себя, прежнего.

Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф — о золотом веке (а потом серебряном, медном и наконец о нынешнем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранились до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.

Второй, утешительный миф — прогресс. Сегодня лучше, чем в «темные века»; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частностей, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта.

Человечество прошло через несколько великих кризисов. Первым был кризис устного слова. Изобретение письменности создало таблицы, свитки, книги, которые можно было изучать, анализировать, сравнивать, толковать без непосредственной передачи мудрости из глаз в глаза, из уст в уста. Логика комментаторов стала почвой для логики философских систем, отбросивших предание. Несколько веков философского развития, — не зависевшего одно от другого, в Элладе, Индии, Китае, — кончились одним и тем же тупиком. Любой принцип можно развернуть в систему, но ни одна система не имела преимуществ перед другой. Споры философов кончались сомнением во всех принципах и упадком нравов, не находящих больше опоры в единых символах. Племенные религии повисли в пустоте. Выходом оказалось новое откровение, сперва устное, но быстро нашедшее свою плоть в новой книге, главной книге — Книге Книг, вокруг которой был выстроен духовный мир Средних веков. Он уже книжный, но рукописный. Книг немного; Фома Аквинский благодарил Бога, что не встретил ни одной, которую не мог понять.

Книгопечатанье создало объем книжности, недоступный даже гению. Новое возникало и распространялось в стремительном темпе. Сперва это вызывало ликование, а кончилось чувством заброшенности и запутанности в потоках информации. Наш современник, Альфред Шнитке, чувствует новое как демоническую силу. Человек теряется в новом, непривычном, и дьяволу здесь легче подшутить. Чем больше средств достичь цели, тем труднее определить свою цель. Понятие смысла жизни отделилось от жизни и стало недоступным.

Достоевский писал, что жизнь надо полюбить прежде, чем смысл ее (сформулированный в каких-то отвлеченных словах). Ребенок не сможет объяснить смысл своей жизни, но его жизнь полна смысла. Взрослые могут хорошо рассуждать о смысле жизни, но это не значит, что их жизнь действительно имеет смысл. Скорее — «скучная история» чеховского профессора. Школа учит говорить о смысле жизни, но жизнь школьника гораздо менее осмысленна, чем жизнь дошкольника. Смысл начинает переноситься вперед, после окончания школы, университета. Но приобретение профессии дает гораздо больше обязанностей, чем прав, больше забот, чем радостей, больше узости, чем широты.

Путь человека повторяет путь человечества: все больше информации, все меньше мудрости. Ребенок хочет в школу. Ему кажется, что очень интересно ходить с ранцем, пеналом, тетрадями. Но эти игрушки быстро надоедают. Школа отнимает радость игры — и дает вышколенность. Говорят, что воробей — это соловей, окончивший консерваторию. Рисунки маленьких детей гораздо интереснее, чем рисунки школьников. Я сам малышом неплохо рисовал, мне даже наняли учительницу рисования, но школа быстро вытравила во мне этот талант и взамен наделила скукой. Чем больше книг, чем больше знаний, тем больше скуки, едва книга отложена в сторону.

Есть сказка о рассеянном мальчике, вечно забывавшем, куда он дел куртку, чулки и т. п. Менаше (так звали мальчика) составил список, где что положил, и закончил строкой: «Я на кровати». Утром Менаше все собрал по списку, но кровать была пуста. Где же я? Помню картинку в детской книжке: мальчик в недоумении перед пустой кроватью. По-моему, эта сказка очень хорошо описывает, как мы теряем себя в своих интеллектуальных приобретениях.

Учение — вход в лабиринт знаний и в лабиринт общества, где нет никаких предписанных ролей. Надо выбрать свою роль или создать ее заново. Этого мученья не было в доброе старое время. Тогда все было ясно. «Наших бьют!» Значит, беги и бей ненаших. «Моя страна, права она или нет», — говорят англичане. Так творилось много зла, но было и добро: не было мук свободы. Фор-

тинбрас не колеблется, нужно ли выполнять законы чести. Колеблется и мучается Гамлет. Он приобрел свободу — и потерял уверенность в себе. Толстой увидел в сомнениях путь от предписанной решительности к *обдуманной решительности*. Но обдуманная решительность — скорее цель, чем положительное приобретение. Все время надо думать и заново решать. Это не твердая почва предписанного поведения, а только процесс, вечная незавершенность. Большинство людей к ней до сих пор не привыкли, и не знаю, привыкнет ли. Жизнь обгоняет способность ориентироваться в жизни.

Общество предписанных ролей хорошо ладилось с религией предписанных символов. А обдуманная решительность житейского выбора не ладится с догмами — разве что толковать догмы как иконы, как образы, не имеющие прямого логического смысла. Из всех средневековых религий ближе подошел к решению загадки буддизм дзэн, требующий от своих адептов великой веры, великого рвения — и великого сомнения (во всех словах о предметах веры, во всех символах, чтобы буква не загораживала дух). Начало христианства было восстанием духа против буквы, но очень быстро сложились новая жесткая буква и новое законничество.

Это было необходимостью для *народной* религии. Дзэн никогда народной религией не был, и неизвестно, сможет ли принцип великого сомнения стать общим правилом в ближайшие сотни и тысячи лет. Потому что обдуманная решительность и вера сквозь постоянные сомнения — тяжелый груз. Не всякий его подымет. И будущее здесь вряд ли может в корне изменить дело. Даже если развитие не пойдет — как оно идет сейчас — в сторону массы видеотов, мыслящих роликами и клипами.

Весной 1935 г. нам предложили сочинение на тему «Кем быть». Предполагался выбор профессии, одной из предписанных ролей в обществе строителей социализма. Я с иронией перечислил профессии, увлекавшие меня в раннем детстве (извозчика, а потом солдата), и кончил словами: «Я хочу быть самим собой». Это был бунт, это был буржуазный индивидуализм. Задним числом признаю: возмущенный учитель отчасти был прав: я испытал серьезное влияние «эготизма» Стендаля. Но по сути я был мальчиком Менаше, искавшим себя утром на пустой кровати.

Я искал себя в Гамлете, в стендалевском Люсьене Левене, потом в героях Достоевского (ближе других мне был Кириллов с его «памятью смертной»). И в музыке — та же память смертная: миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать... О верно смерть одна, как берег моря суеты... При этом к смерти у меня не было никаких склонностей; но жизнь без мысли о смерти была мелкой, неполной — даже в самых ярких эротических образах, надолго застревавших в уме.

Трудно жить в обществе без предписанных ролей. Где даже роль мужчины и женщины не совсем твердо предписана. Несмотря на анатомию, физиологию и гормоны. Симона де Бовуар права: женщиной не рождаются, ею, скорее, становятся. И мужчиной тоже. Роллан в «Очарованной душе» пишет, что Марк не совсем понимал, чего ему хочется: прикоснуться к женщине или быть женщиной, почувствовать ее тело изнутри его самого. У девочек желание быть мужчиной еще чаще. Женщина рассказывала мне, что тело ее, почти мальчишеское до 11 лет, стало внушать ей отвращение, когда начались неотвратимые сдвиги. Она пыталась почти ничего не есть, чтобы сохранить мальчишескую худобу, но ничего не помогало, потом воображение ее стало двойственным, переноса то в плоть мужчины, совершающего подвиги, то в плоть женщины, покоряющей мужчин своей красотой. Только годам к 15 женственное вполне победило.

Бисексуальность — не патология, скорее, *норма становления* — в обществе, где роли выбирают; опираясь на свою бисексуальность, развивая ее, японские артисты играют женщин, а в европейском театре есть особое амплуа травести, актрис на роли мальчишек. Некоторые актрисы играли даже Гамлета. Писатели превосходно умеют войти в женские чувства (Чехов восхищался, как замечательно это делал Толстой). В норме способность чувствовать Другого как себя ведет к семье, где женщина чувствует мужчину и мужчина — женщину и Другой становится частью самого тебя. Но возможен эмоциональный вывих, задержавшееся мальчишеское восприятие только мужского как прекрасного и презрения к женской полноте форм; возможны подобные вывихи у женщин — отвращение к мужской грубости, отвращение к своей пассивной роли при близости, желание сыграть активную, мужскую роль еще лучше мужчины, а у мужчин — отсутствие воли к активности, радость от пассивной роли в отношениях с любимой. Наконец, возможен травматический опыт неудачи при попытке исполнить то, что предписано, и след на всю жизнь от этой травмы (у П.И.Чайковского, у Софии Парнок). Мне напомнила обо всем этом «Тетрадь Петры» во втором номере «Знамени» (1997). Стихи Петра Красноперева настолько выстраданы, что заражают и заставляют продумать чужой опыт как свой.

Я не стою за то, чтобы узаконить такие страсти; если порядок природы создан Богом и носит на себе Его отпечаток, то можно требовать, по крайней мере, усилия следовать вселенскому порядку. В разделении на два пола есть духовный смысл, есть задача полюбить Другого, совершенно другого, как самого себя и в этой любви к Другому получить образ любви к Богу, совершенно иному, чем люди. В Индии подобная мысль хорошо разработана в

некоторых формах бхакти, до полного уподобления религиозного чувства и половой страсти. Ни одна высокая религия не использует в качестве эротической метафоры однополую любовь, а любовь мужчины и женщины — и в Библии, и в разных толках индуизма, в суфийской лирике. Что же делать эротическим дальтоникам?

Кришнамурти различал путь святости и путь мудрости. Он никогда не объяснял, что это такое, но насколько я могу понять, путь святости — это примерно то, что один из русских святителей назвал романом с Богом, а Пушкин описал в своем «Бедном рыцаре», во втором варианте, где профанация стерта: «С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел»... Путь мудрости не отвергает страсти, но сдерживает ее до решающего выбора любви, захватившей сердце, принимая ее сразу же как служение и как долг, и отвергает прихоти, капризы. На этом пути мужчина для женщины и женщина для мужчины становятся образом и подобием Бога, а прикосновение друг к другу — причастием.

Другая ассоциация, возникающая при мысли о пути мудрости, это индийская лестница трех возрастных ступеней: брахмачарья (целомудренного ученичества), грихастья (семейной жизни) и варнапрастха: вырастив взрослых сыновей, брахман, даже при живой жене, оставляет семью и уходит в лес, искать бессмертия (об этом в Майтри-упанишаде). Впрочем, третья ступень даже в традиционной Индии не всегда достигалась, а в обществе без предписанных ролей может иметь смысл скорее как внутренний уход, без «реализации метафоры», как при бегстве Толстого. Просто «пора о душе подумать».

Все это в неразвернутой форме промелькнуло в моем сознании, когда я услышал от молодого человека, просившего моего совета, что его волнует не женское, а мужское тело. Я сказал, что если он сможет, то лучше избрать путь одиночества.

На что я опирался? Это трудно объяснить. Я вижу открытое море без ясных ориентиров, куда плыть. Мой компас — сознание иерархии собственных духовных уровней. Я выбираю роль, выбираю путь на самой большой, доступной мне, глубине, и в часы оставленности духом глубины выполняю свою роль усилием воли. Здесь нет фальши. Когда говорят, что он или она играют роль, предполагается исполнение чужой роли, артистический обман или сознательный обман. Этого нет, когда играешь свою роль, самого себя, свою собственную глубину, не придуманную, а в иные

часы совершенно реальную. Без такой установки на глубину, в которой Я не только я, выходит не путь святости и не путь мудрости, а путь своеволия. Беру нарочно крупный пример: Юлиа Цезаря. Когда он праздновал триумф, солдаты, следуя за триумфальной колесницей, распевали частушки: вот едет лысый развратник; берегитесь, римские матроны... Вот едет жена всех своих друзей и

муж всех римских матрон... Это тот путь, по которому, кажется, следует современный Запад, увлекшись освобождением от *всех* предписанных ролей. Есть некое предписание, которое не должно нарушаться; глубина духа повелевает поверхностью души. Это неписаное, но великое правило нарушено мыслителями постмодернизма, поставившими глубокое и мелкое на один уровень.

Я понимаю тех, кто испугался своеволия и бросился назад, к строгим предписаниям религии, даже явно нелепым, как запрет регулировать рождаемость. Этот пример стоит разъяснить. Запрет имел смысл, когда жена обязана была родить своему индийскому мужу по меньшей мере шестерых детей. Опыт говорил, что из шести четверо умрут, из двух оставшихся один ребенок может быть девочкой и остается один сын, чтобы совершить поминальные жертвы. Такой же смысл имеет осуждение Онана, изливавшего свое семя на землю. Он обманывал Бога, велевшего родственнику умершего мужа возлежать с вдовой, чтобы продлить род покойного (обычай, описанный в книге «Руфь»). Христианство оставило в забвении книгу «Руфь», но включало в свои запреты осуждение Онана — хотя это две части одного целого, одной заботы о потомстве, бесчисленном, как песок морской. При нынешнем взрывном росте населения древний запрет явно вреден, но его боятся тронуть, чтобы не повалилось все здание заповедей и запретов.

Видимо, надо мысленно отделить основное здание от пристроек, прилепившихся к храму. Но где четкий рубеж между тем, что можно и что нельзя «деконструировать»? Это задача философии, которая придет на развалинах, оставленных «деконструктивизмом». Пока такого ясного рубежа нет. Освободившись от предписанных ролей, мы потеряли чувство собственной правоты.

Права молния любви, соединяющая человека с истиной или двух людей — в общем чувстве. Но молния не длится годами. Нужна *работа любви*, как выразился Рильке, превращение пути, по которому прошла молния, в надежный провод. Ненадежные провода легко рвутся. И тогда «одиночество хлещет реками» (стихотворение Рильке «Одиночество» несколько раз хорошо переведено на русский язык; видимо, чувство разрыва близости очень многими пережито; несравненно чаще, чем любовь к Беатриче).

Дети торопятся стать взрослыми, не представляя себе, какое это хлопотливое дело. Они мечтают жить по своей воле, без предписаний папы и мамы. Они не понимают, что предписывать себе самому — постоянный духовный труд, постоянная забота.

Сколько мучений доставляет начало половой зрелости! Сколько в нем оскорбительного, физиологически грязного, как прискорбны лишение свободы детского воображения, порабощенность эротическими образами! Как немыслимо соединить эти грубые

образы с присутствием живой женщины, с общением мальчиков и девочек в школе! Счастливы те, кого захватила сердечная влюбленность и соединила душу с телом и очеловечила бурю гормонов; но если влюбленность задерживается? Как пережить эту борьбу ума с чреслами, в обход сердца?

А иногда, особенно у девочек, созревшее сердечное чувство противится «взрослой» любви, хочет на всю жизнь остаться с нежными поцелуями, как выросший ребенок — со своими игрушками. Этот страх очень обоснован. Только немногие пары не сталкиваются с искушением близости, когда плоть причастия заслоняет его суть. Большинство теряют больше, чем приобрели. Некоторые теряют даже человеческий облик, открывают в себе (или в своем партнере) «зевоту тигра» (что-то подобное писала Цветаева Бахраху). Оставляю открытым вопрос, кто дальше от Бога: пара, живущая в содомском грехе и в любви, или супруги, создавшие себе и своим близким семейный ад. Мне кажется, что иерархия тяжести грехов, установленная преданием, может быть пересмотрена — не отказываясь от понятия иерархии и греха.

Потеря детства — одна из самых тяжелых жизненных потерь. Я перенес ее сперва как пролог к драме, а потом уже как саму драму. Пролог был довольно смешным. Вернувшись к началу учебного года в Москву, мы начали какие-то забавы с Люсей, соседкой по квартире. Вдруг я заметил, что у Люси за лето образовались припухлости вокруг сосков. Я очень огорчился. Люся в свои 11с половиной лет начала выходить из детства, становиться тетей. Она этого еще не заметила, но я понимал, что у тетенок и дяденок свои игры, в которых я, в свои 10 лет, ничего не смыслил и для которых был не нужен. Я потерял подружку своих игр. Это не было трагедией, но мир стал холоднее. Дети — единый народ, а дяди и тети — два разных народа с какими-то очень сложными и болезненными отношениями (папа и мама непрерывно ссорились). Жизнь намекнула мне, что в этих сложных отношениях придется разбираться. А я был не готов.

Настоящей драмой был отъезд мамы в Киев. Я не просил маму остаться. Я был сознательным мальчиком и понимал, что ее призвание актрисы требовало уехать вместе со студией «Фрайкунст», влитой в Киевский государственный театр. Но до этого я жил в каком-то симбиозе с мамой, словно мне было не двенадцать, а семь

или даже пять лет. И вдруг этот симбиоз оборвался. Вдруг оказалось, что я очень одинок. С одним бедствием совпало другое: мои сверстники как раз тогда (с 5-го класса) сдвинулись в сторону повышенный шумной развязности, а я не находил себе места и обособлялся, уходил в себя. Одинок в школе, одинок в доме (отец все вечера пересчитывал свои бухгалтерские ведомости). Это было очень трудно. Но кажется, именно в одиноком отрочестве я начал учиться самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать свою жизненную роль.

Вторым кризисом была потеря метафизической почвы под ногами, сознание себя песчинкой в бесконечности и невозможность с этим согласиться. Впервые это ударило в шестнадцать лет. Потом, по второму кругу, в двадцать. Чувство бесконечности пространства и времени рядом, прямо за стеной комнаты, где я сидел, с этих пор постоянно беспокоило меня и толкало мыслить.

Много позже я дружил с Петром Григорьевичем Григоренко, и как-то я подумал: он мыслит, чтобы действовать, а я действую, ставлю над собой эксперимент, чтобы лучше понять. И поняв что-то, чувствую себя удовлетворенным. А потом еще больше удовлетворенным, когда удавалось перенести свое понимание в текст.

Понимание своего амплуа можно считать ограниченностью, но всякое дарование неизбежно ограничивает, дает силам одно определенное направление, без этого человек останется бесплодной смоковницей. Так же как артист должен сознать свое амплуа, набор ролей, которые может хорошо сыграть, и не пытаться играть не свое. Амплуа бывает узким, бывает очень широким, но парадокс в том, что Смоктуновский, играя Моцарта или Скупого рыцаря, больше раскрывается, больше верен себе, чем в частной жизни, когда он обедает или торгуется за гонорар. Быть самим собой — это роль, набор ролей, это *своя* дверь к целостности бытия. Потеря метафизической почвы под ногами была моей дверью в философию.

Третьей большой потерей было изгнание из гражданского общества. Такой смысл имела в 1946 г. формулировка: «Исключен за антипартийные заявления». Я потерял себя как советский человек и нашел себя как человек антисоветский. Эта потеря и это приобретение сделали для меня легкой четвертую потерю: тюремное заключение, лагерное заключение, утрату внешней свободы, приобретение свободы внутренней.

С внутренней свободой я легко перенес пятую потерю — потерю надежд на возвращение к профессии ученого-филолога, избранной в юности. Я принял свое положение люмпен-пролетария умственного труда и нашел в нем новые возможности для расширения *своей* области мысли и формирования своего, неакадемического стиля мышления (один из друзей назвал его

метахудожественным).

Наконец, как-то незаметно, среди всех своих потерь, я потерял что-то, мешавшее мне любить, и очень поздно, в 35 лет, открыл в себе юность чувства — странно, не вовремя, но очень глубоко. Совпадение поздней юности с неюношеским опытом мысли помогло мне избежать ошибок, которые губят раннюю любовь, и делать то, что Рильке называл работой любви: тема, которая слишком велика, чтобы сказать о ней мимоходом.

И наконец, когда я преодолел все пороги, когда счастье стало полным и совершенным — наше единое тело разрубила смерть. Я два месяца чувствовал себя разрубленным вдоль позвоночника и левую сторону — похороненной вместе с Ирой. Небо в моих глазах падало на землю. Я тысячу раз готов был поменяться с Ирой, чтобы она жила, хотя бы без меня. Я не согласился бы на ее смерть ради самой великой цели во вселенной. Но когда я вынес свою потерю, мне открылась вера Иова и я почувствовал силу смотреть Богу в глаза и видеть его сквозь ужас песчинки, летящей в пропасть.

Бог рассыпает свои подарки и свои удары, думая о нас не нашим умом. Нам остается радоваться каждому неожиданному подарку и собирать силы, чтобы приобретением стала сама скорбь.

Углубление жизни

Есть что-то общее, соединяющее музыку, молитву, прислушивание к лесу, волну любви, вдохновение поэта. Это общее — углубление жизни. Иногда глубина раскрывается внезапно и полностью, в один миг. Так Рамакришна увидел стаю диких гусей, выхваченную лучом света на фоне черной тучи, и сразу же на всю жизнь понял что-то главное, только не знал, как назвать. Но он жил в Индии, и традиция подсказала ему слова. Серафим Саровский жил в России и осознал свой опыт в других словах. А иногда никакие термины не приходят в голову. Кришнамурти говорит о безымянном переживании...

У меня был свой опыт, который я долго не мог понять, опыт внутреннего света. Просто света, вспыхнувшего в груди и погасившего все предметы, ослепившего меня на несколько часов для дробного мира. Потом я читал разные книги и сравнивал это состояние с тем, что прочел у мистиков разных традиций и у писателей (Достоевского, Набокова). Мне кажется, что я увидел реальность целостного и вечного, как его ни называй. И в понимании разных учений я опираюсь прямо на свой опыт, пусть очень скромный и не идущий ни в какое сравнение с великим опытом пророков, святых и поэтов, потрясенных красотой. У меня в руках был пятачок — но он дал мне понять, что такое монета.

Очень легко переоценить свою монетку и считать ее Монетой

Монет. Мелкие монеты экстаза рассыпаны довольно часто — то есть сравнительно часто, сравнительно с великими событиями в духовной истории. Мышкин, Ставрогин и Кириллов — проекции одного человека Достоевского. К чему толкнет экстаз, зависит от нравственного склада личности. Я просто называю пятак пятачком. А другие монеты оцениваю на глазок. Я думаю, что единой шкалы оценок нет, и мне не хочется оскорблять никакую веру.

Так же по-разному можно понимать опыт тьмы, опыт бездны. Ибо чаще всего глубина раскрывается как бездна, у которой рухнуло все дробное, а целое еще не засветилось. И мужество вглядывается и вглядывается, пока не доглядит до зарниц света; а трусость прячется от страшного, как страус, засовывая голову в песок. Толстой не мог забыть чувства бездны. Тютчев постоянно к нему возвращался, и духовный взлет моей юности прошел под знаком его опыта ночи:

Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатного покрова
Сорвав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена С
своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...

Бездна смерти, бездна пространства и времени, бездна абсурда леденит и воспламеняет сердце. Арджуна не выдержал и одного мига целостного созерцания. Гаутаму этот миг заморозил и не отпускал от себя, пока царевич не стал Буддой. Первая благородная истина, которую Будда возвестил, была истина о страдании: все сущее болезненно и несовершенно... «Мир во зле лежит», в переводе на язык христиан. Но то и другое — только *первая* истина, первый шаг от пестрой очевидности к целостной глубине. В мужественном созерцании ужас бездны вдруг исчезает, уступает место свету, смыслу, голосу Бога — голосу, к которому взывает Иов и которого требует теология после Освенцима.

Мы живем в век, когда все вечные вопросы поставлены заново и каждый ищет ответа по-своему. У Гумилева, в «Звездном ужасе», ответ — простая песня. Рильке отвечает песней Орфея. Но Орфей — Бог, и его песня — Божья Песня. Разница не только в словах. Ответ Рильке — песня, ставшая молитвой, и молитва, ставшая песней. Ответ — в той глубине, где сходятся параллели, где этика, религия, искусство, истина не разделились или, может быть, сходятся заново.

Тиллих называет всю эту глубину религией. «Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, ибо предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть

сама религия» (ТиллихП. Теология культуры. М., 1995, с. 240—241. См. также с. 264). Собственно религия, с его точки зрения, — только напоминание об этой глубине, понукание — не забывать глубины. Вероисповедание — только частица непостижимой бездны религии, где есть и благочестие, и вызов на суд, и бунт. Поэтому Бог заговорил с Иовом и поэтому древние книжники включили Книгу Иова в Библию: ибо Иов отвергал благочестие во имя религии, отвергал *представления* о Боге во имя живого Бога. Отвергал постигнутое во имя непостижимого.

Можно понять как нового Иова и бунт Ивана Карамазова. Так его понял Сергей Иосифович Фудель (в своей книге «Наследие Достоевского»). Он не согласен с Сергеем Булгаковым, считавшим бунт Ивана Карамазова чем-то вне души самого Достоевского. «Бунт Достоевского существует, — пишет Фудель, — но он, так же как все его неверие Фомино, только углубляет веру его и нашу. Это „бунт“ Иова.

Не совсем только личные невинные страдания давят своей тайной Иова... „Почему... бедных сталкивают с дороги... (и) в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет и Бог не воспрещает того“. Разве это место Библии нельзя было бы продолжить рассказом о ребенке, затравленном генеральскими собаками?..

Не вера в Бога колеблется в Иове, а вера в божественный миропорядок.

„Не Бога я не принимаю, — говорит Иван, — я только билет ему почтительнейше возвращаю“. В черновиках романа после изложения бунта есть такой диалог:

- Алеша, веруешь ли ты в Бога?
- Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.
- А можешь принять? Алеша молчит.
- Можешь понять, как мать обнимет генерала?
- Нет. Еще не могу. Еще не могу.

и Иов не может, а вслед за ним и Достоевский» (я пользовался машинописью, воспроизводящей текст автора без редакторской правки).

Нельзя благодарить Бога в газовой камере. Но можно понять, что Бог не извне страдальцев, что он вездесущ и страдает вместе со всей тварью, как Христос на кресте. На какой-то глубине мы вдруг выдерживаем взгляд на мир глазами Бога — одновременно внутри страдания и вне страдания. Взгляд, который Бог подарил Иову.

Мне некому вернуть билет,
Мне некого проклясть.
И у души отдушин нет,
Куда б излиться влать.
И никого на стороне.

Никто не виноват,
А я — во всем и все во мне,
Весь рай и целый ад.
И смерть не выход. Нет как нет
Во мне небытия.
Перед собой держать ответ Всю
вечность буду я.

(Зинаида Миркина)

Бог откликается на вызов. Чем интенсивнее вызов, тем вероятнее ответ, вызов на суд может быть ближе Богу, чем формулы благочестия. Когда вся душа вкладывает себя в вызов — Бог отвечает (не на формулы, созданные умом, а на порыв сердца). И явление Бога в сердце преображает его. И тогда приходит чувство собственной ответственности за весь мир. До этого Иван Карамазов не доходит. Он остается на пороге. Он колеблется в самой вере. Он мыслит: «Если Бога нет...» Тогда нигилизм. Тогда смердяковщина. Отсюда двойственное отношение Достоевского к Ивану Карамазову. И все же бунт Ивана Карамазова — это бунт Достоевского, и в Иване Карамазове он борется с самим собой. И эта борьба — плоть и кровь религии.

Благочестие, обряды, таинства ее не исчерпывают. «Чин» религии — только напоминание о глубине, только противовес дробности мира, в которой слишком легко затеряться. Религия позволяет понять затерянность в мире как потерю Бога, как богооставленность, и толкает к молитве, к открытию Бога как собеседника. Для атеиста затерянность — это только затерянность, абсурд, потеря смысла, трагический тупик.

Ребенок играет, не думая о смысле. То, что его увлекает, еще не оторвано от смысла, от целостности бытия, жизнь связана для него «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Каждая игрушка — узел. Вопрос о смысле жизни — признак потери смысла. Взрослые осознают эту потерю, ставят вопрос о Смысле и находят ответы. Но все ответы, остающиеся на словах, — выцветшие синие птицы. Они сверкают небесной синевой в миг открытия и блекнут, когда что-то, стоящее за словом, исчезает. На уровне слов всегда можно ответить человеку, нашедшему смысл: «А зачем?»

Арджуна не хотел выполнять свой кастовый долг воина, он не видел смысла в битве. Кришна отвечает примером: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, Бхарата». Но может быть, они не многого стоят, эти миры, полные страдания, и лучше небытие, угасание мук? Внутренняя сила ответа Кришны не в логике, а в чувстве. Кришна захватывает Арджуну своим творческим огнем. Его ответ так же нелогичен, как ответ Бога Иову, и так же захватывает.

Не то нам важно, что на сцене,
Не ряд мгновенных изменений,
А то, что есть за сценой, там,
Откуда всё диктует нам Наш
Режиссер. И я тогда лишь Жива,
когда смотрю в те дали,
В те житнетворные просторы,
Где слышен голос Режиссера,
Стоящего на вечной тверди.
Нет, он совсем не милосерден,
Он страшен, как сама гроза.
Он не осушит нам глаза И не
избавит нас от боли.
Но если мы сыграем роли Свои,
то Он предстанет нам,
И мы тогда очнемся там,
Где боли не было и нет И дух
горит как самоцвет,
И нам самим простор вселенной
Открыт, как мировая сцена.

(Зинаида Миркина)

Этот захват — едва ли не главное в искусстве. Художник нарисовал кувшин. Что нас остановило? Почему я простоял минут десять около натюрморта с селедкой (Сутина, если я не ошибаюсь). Всамделишная селедка интересна только одним: своим вкусом. Нарисованная — она становится символом, символом Целого, присутствующего в любой дробь. Символом творческого состояния художника, увидевшего Целое сквозь дробь. Творческое состояние художника само по себе божественный узел, и в Искусстве мир становится сетью божественных узлов, Божественной сетью, второй божественной сетью. Первая божественная сеть — сама действительность: Бог — поэт наивысший, сказал Тагор. Но только поэт видит мир как создание Поэта. Откликаясь на красоту природы и доводя до красоты мир торопливо сделанных человеком, несовершенных вещей. Связывая заново мир, разорванный, рассеченный хлеба ради насущного.

Зачем мы идем в театр? Что нам Гекуба, спрашивает Гамлет. Что нам Гамлет? Почему мы выходим из театра обновленными? В чем суть катарсиса (не только в трагедии, во всяком искусстве)?

В творческом состоянии художника, которое искусство передает. В углублении жизни до уровня, на котором законы дробного мира слабеют и сквозь дробный мир проступает великое Целое. Все равно — через спектакль из пяти актов или через тихую жизнь вещей, схваченную на полотне.

Зачем мы поднимаемся в гору и застываем на ее вершине? Чтобы увидеть картину кисти Иеговы. Почему это созерцание — важнейшее дело (или, как говорят аскеты, — делание)? Потому что без созерцательного делания дело становится рядом дел, потерявших связь, и теряется смысл. Герой чеховской «Скучной истории» занимался хорошими и полезными делами, но потонул в своих делах, потонул в деталях, потерял Целое, потерял смысл. Потому итог его жизни и стал «Скучной историей».

Выход не в безделье и не в пренебрежении грубой работой ради особой, одухотворенной. Думаю, что у чеховского профессора были часы одухотворенного труда. Но он не пропитал каждый свой день чувством Целого. А средневековый китайский поэт Пан Юнь, о котором я уже несколько раз писал, нашел божественный узел в самом простом: «Как это сверхъестественно! Как чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова!»

Об этом же самом говорит суфийская притча. Учителю рассказали о человеке, которого дух возносит над землей. «Птицы летают еще выше», — ответил шейх. А такого-то видели сразу в двух местах — не унимались ученики. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест». — «Что же есть высочайшее?» — «Пойти на базар, купить провизии, приготовить обед — и не забывать Бога».

Сегодня эта задача стала гораздо труднее, чем прежде. Очень уж далека от природы современная работа, очень уж разделилась на множество работ и требует полной отдачи всех сил частным, детальным задачам. Время для созерцания — только в паузах, и не во всякую паузу под руками природа, или картина художника, или великая музыка.

Молитва возможна всегда, молитва возможна и для верующего, и безо всякого символа веры. Я понимаю символы и догмы как словесные иконы, за которыми скрывается непостижимый лик Бога, так же как за хорошей иконой, писанной красками. Мне достаточно понимать, что целостная вечность не менее реальна, чем мир пространства и времени. И что Целое есть полнота бытия, максимум бытия, полнота всех качеств в простом единстве, ближайшее подобие которого — «сильно развитая личность» (выражение Достоевского, под которым он понимал подобие Христа). Целое может быть воспринято как личность, как божественное Ты, реальность которого раскрывается в диалоге с Я. Это Ты грозит исчезнуть, когда мы начинаем рассуждать о Боге в третьем лице¹. Но в молитве оно реально. И в молитве всплывают образы искусства, рожденные в молитве и медитации.

Молитва и медитация веками сплетались с искусством. Каждая литургия — такое сплетение. Каждый культ обрастает искусством,

¹ См.: Бубер М. Два образа веры / Предисловие Г. Померанца. М., 1995.

и без искусства трудно себе его представить. Этот опыт истории стоит перед моими глазами, когда я вплетаю молитву или медитацию в созерцание природы и искусства. Возвращение к молитве не стало для меня разрывом с поисками катарсиса. Я думаю, что и в Греции катарсис нес на себе отпечаток религии, и в Новое время театр называли храмом. Меняются формы переплетения. Сегодня они могут быть и каноническими, и свободными от рамок канона; важны всегда только канон творческого состояния, внутренняя верность глубине, внутренний настрой на глубину.

Христианская молитва возникла в языческое время, когда искусство было языческим, а природа казалась полной демонов, и мир молитвы подвижников противостоял всему мирскому. Так же обстоит дело с медитацией в раннем буддизме. Потом ревнивая исключительность стала слабеть, до конца ее преодолел буддизм дзэн. В его живописи каждая травинка может стать иконой, каждый цветок единорог Будде и связан с ним «неслиянно и нераздельно». В христианстве эстетическое и религиозное до сих пор не совсем слились. Достоевский подходит к этой задаче трижды: в словах «мир красота спасет», в статейке Ивана Карамазова о церкви, которая должна стать всем, и в Сне о планете смешного человека, где вовсе не было храмов. И лучи заходящего солнца становились для него, как для св. Василия Великого, «благодатью вечернего света».

А где-то... Нет, совсем не где-то,
А здесь, сейчас, бездонность света.
И — вышел срок: совсем не где-то, не когда-то,
А нынче может встать Распятый.
Ты жив, мой Бог!
О малолюбы, маловеры!
И нам без края и без меры Сплошной поток!
О свет, ломающий запруды!
Зачем просить у чуда чуда?
Ты есть, мой Бог!
Конец отсрочкам, расстояниям,
Вымаливаниям, ожиданиям...
Жизнь — это Ты.
Ты — затянувшаяся рана.
Ты есть! Так значит я восстану.
Гроба пусты.

(Зинаида Миркина)

Как-то ко мне подошел человек и спросил, что ему делать. У него совсем нет интуиции, о которой я говорю. Я посоветовал принять любое вероисповедание и держаться его рамок. Канони-

ческие формы тем больше нужны, чем меньше непосредственное чувство глубины. Великие мистики почти всегда нарушают каноны. Поэту, в минуты вдохновения, они совсем не нужны.

Православье, право славить,
Славить правильно Творца...
Только кто промолвить вправе,
Что навек и до конца Прав?
Что правду Божью зная,
В самом деле служит ей?
Разве иволга лесная,
Разве только соловей?

(Зинаида Миркина)

Когда я глубоко живу, я вижу общую почву, из которой растут все высокие религии, все религии, обращенные к целостной вечности. Образом этой целостности света, еще не распавшегося на цвета спектра, может быть икона Христа или Троицы (как у Рублева) или незримый Бог Ветхого Завета, Бог Корана, аватары Вишну, буддийская Трикайя (три тела Будды — буддийский предшественник христианской Троицы). Можно создавать и новые образы. Достоевский создал новый символ веры в известном письме Фонвизинной, и я отношусь к этому символу совершенно серьезно. Бубер создал новый символ в своем учении о Я и Ты — о реальности, проступающей в молитве и исчезающей в размышлениях. Новые символы веры рождаются из сомнения в старых символах, как Афродита из пены. Все символы веры рождаются из чувства бездны, ставшего чувством света. Это слова, от которых раскрылись крылья и вознесли над бездной одного-единственного затерянного человека, а потом уже традиция.

Есть люди, для которых религия — это ломбард, в котором хранятся семейные сокровища; для Достоевского это вечный кризис веры и вечный поиск выхода из кризиса. Его православие ближе к Ивану Карамазову, чем к Ферапонту (из того же романа). Но если искать образец, особенно близкий русскому писателю, то это Иов.

Вера как кризис объединяет подвижников разных вер, вплоть до буддизма дзэн с его великим сомнением накануне великого сатори (просветления). Целое, раскрывшееся в муках, может стать собеседником, как лицо, и окутать, как туман, стать светом и тьмой, чреватой вспышками огня. Образ Целого — и человек, подобный Богу, и дерево. «Старая сосна проповедует мудрость, и дикая птица выкрикивает истину», — написал японский поэт. И Мышкин говорит: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?»

«Измерение молитвы», о котором я прочел у Антония Блума, так же реально, как долгота и широта. Но *одно* измерение, наряду с

другими, а не единственный подступ к глубине. Благословенны все пути к ней. Молитва — помощница человеку во всем добром, в том числе — в созерцании красоты.

Мне запомнились слова Антония Блума: «Помоги мне молиться». На первый взгляд — странно: просить Бога, чтобы он помог молиться Богу. Но чем дальше, тем больше меня это захватывало: «Помоги», Антоний почувствовал Бога-личность как помощника, и это вошло в меня. Я прошу *помочь* мне затихнуть в созерцании, помочь мне собраться под образом любви, помочь мне принять мир таким, каким Бог его создал, не умножая зла своим нетерпением. В юности я не имел этой помощи и очень долго созерцал бездну тьмы, пока в ней не забрезжил свет. Можно было свихнуться. Сейчас я вспоминаю чувство бездны, чтобы сразу же попросить поддержки, попросить помочь мне расправить крылья.

Я пытаюсь взять в предании то, что не обветшало, что и сейчас живет. И не боюсь брать из нескольких традиций сразу. Я принимаю помощь отовсюду, где нахожу ее. Я не становлюсь рабом традиции и не участвую в споре: какая традиция лучше. Или что выше: религия в рамках догмы, свободное от догм искусство, созерцание природы, любовь... Все может быть Путем, и все пути в глубину сходятся. Мой покойный друг Владимир Казьмин писал: всякая картина стремится стать иконой, всякое здание — храмом, всякое стихотворение — молитвой.

Граница между поверхностью и глубиной, тьмой внешней и царствием внутри нас не совпадает с границами церкви, уммы, сангхи. В каждой церкви есть свой темный двойник, свой Ферапонт. Штейнер говорил об аде для любителей природы (для которых созерцание становится наслаждением, гастрономией). Так же можно сказать об аде для ревнителей буквы традиции, в ущерб духу, веющему всюду. Символы — наши помощники, а не господа. И каждый куст может стать символом — если наши глаза достаточно зорки.

Путь в глубину — постоянно открытый, постоянно вновь начинающийся процесс. Каждый истинный путь — такой процесс: молитва, медитация, созерцание Божьего творчества в природе, любовь к ближнему... У художника таким путем может быть

одержимость его искусством. И лучше всего, если несколько путей сплетаются вместе, — как у Рильке, как у поэта, которого я уже несколько раз цитировал:

Мой Боже, Бог мой... Из моих берез,
Дождя, травы и звона дальней птицы В
меня вошел и из меня пророс,
Нельзя иначе Богу появиться Здесь, на
земле. Есть место лишь одно:
Внутри меня. И в радости, и в муке Вот
это сердце выносить должно Тебя, и
вынянчить вот эти руки.
Мой Бог — мой сын. И тварь твоя и мать.
О, Господи, сумею ли так много:
Зачать, родить и, вырастив, отдать Тебя
во тьму, чтоб Бог вернулся к Богу?..
(Зинаида Миркина)

Работа любви

«Работа любви» кажется странным сочетанием слов. Естественнее сказать свобода любви, поэзия любви, наконец — музыка любви. Естественнее потому, что мы воспринимаем любовь, прежде всего, как встречу мужчины и женщины. Этому научили нас трубадуры, миннезингеры и поэты, пошедшие по их следам. Но в ранней средневековой культуре естественнее было говорить об умилении любви (Богоматери к младенцу), а в китайской культуре — о долге любви (детей к своим родителям). Невидимый акцент на эротической любви — черта совсем не природная. Акцент принадлежит культуре. Порывы любви-страсти бывали всегда, но без поддержки песни, сказки, сказания, без своего рода культа любви страсть вспыхивала, прогорала и гасла, не передавая свой огонь потомкам.

Фукидид отмечает как странность, как индивидуальную черту Перикла то, что он каждое утро, уходя из дома, целовал Аспазию. Греческий эрос совсем не предполагал нежности, по крайней мере, у мужчин. Потребность женщины в нежности оставалась ненасыщенной, как муки Федры, опьяненной любовным дурманом, и с этим, может быть, связано изобретение лесбийской любви (предание приписывает это Сафо, жившей на острове Лесбос; впрочем, по другой легенде, Сафо бросилась со скалы от безнадежной любви к юноше Фаону).

Долгую, глубокую нежность мы находим скорее в Библии, в посмертной любви Руфи к своему мужу, в благочестивом желании

продолжить род своего мужа, хотя бы не от него лично. Формы, в которых библейское благочестие связано с полом, для нас непривычны, но сама возможность начать брачную ночь с молитвы (как в книге Товия) — целое открытие, и современный писатель Башевис-Зингер возвращается к нему в романе «Раб». Наконец, в «Песни Песней» мы находим замечательные слова, вдохновившие Мейстера Экхарта на проповедь: «Ибо сильна, как смерть, любовь, свирепа, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень всеильный». От «Песни Песней» идет средневековая метафорика любви — мистической любви с отпечатком земной страсти и земной — с отсветом неба.

Я говорю прежде всего о западной традиции. Но известные аналогии можно найти в мусульманском суфизме и в индийской традиции бхакти. В Индии развитие было доведено до предела, до реализации метафоры, до полного тождества между соединением влюбленных и мистическим союзом души с Богом. Только в России и в Китае Средние века не были веками, открывшими поэзию любви. У нас это открытие сделал Пушкин; и в «Сценах из рыцарских времен» он создал своего рыцаря бедного, смешавшего поклонение даме сердца с почитанием Богоматери. В первом варианте стихотворения это граничит с кощунством, но —

Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Средневековый культ любви и средневековая аскеза связаны «неслиянно и нераздельно», как две природы Христа, божеская и человеческая. Церковь хранила образ Мадонны, бесконечно любившей Бога и своего Сына, но никогда не знавшей страсти. Церковь поддерживала патриархальную семью, мешавшую соединиться влюбленным, — потому что он Монтекки, а она Капулетти, или потому что он беден, как Перголезе. Церковь унижала земное и плотское перед лицом неба и духа. Но для романтической любви противостояние земного и небесного было чем-то вроде разъединения электродов, между которыми вспыхивает вольтова дуга. Без разъединения нет и вспышки. Вольтовы дуги любви, сильной, как смерть, и возвышенной, как молитва, светят нам в восхождении Беатриче на небо. В стихах суфиев образ возлюбленной становится ипостасью Бога и любовная страсть — исполнением первой заповеди (полюбить Бога всем сердцем). «Когда боги были человечней» (Шиллер), в Древней Элладке, небо любви еще не простерлось над землей.

В судьбе Перголезе земное, казалось бы, полностью перегорает.

Невеста, не получив родительского благословения на брак, ушла в монастырь и через год умерла. Перголезе тоже постригся и вскоре умер. Но в «Stabat mater», сочиненном незадолго до смерти, страдания Богоматери сливаются со страданиями возлюбленной и собственными мучениями. То, что разделено на уровне слов, сливается в музыке.

В Новое время любовь, шаг за шагом, обрела внешнюю свободу — и теряла поэтичность. Атеист Стендаль, всю жизнь думавший о любви, делает героинями своих романов верующих женщин. Только глубоко веровавшая мадам де Реналь могла сказать любовнику: «Я чувствую к тебе то, что должна была бы испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Рационалистка Матильда де ла Мошь этого чувства не знала. И в любви Фабрицио дель Донго очень много значит его вера. На первый взгляд, религиозное служение препятствует чувству и делает невозможным соединение с Клелией Конти. Но любовь вырастает от препятствий, и Фабрицио умирает, как Перголезе, сплетая небесное с земным в своем последнем вздохе.

В течение всего Нового времени падали один за другим запреты, но одновременно вырастала другая сила, враждебная любви: пошлость. Только в конце XIX в. к этой опасной теме стали прикасаться: Мопассан в «Жизни», Толстой в «Крейцеровой сонате». Наконец, Рильке (уже в наш век) произнес странные слова о *работе любви*.

Первая часть этой непривычной работы — освобождение места для любви, утверждение веры в реальность любви. Иногда эта работа проходит в семье, где умные сердцем родители незаметно передают свой опыт ребенку и подростку. Главное здесь — пример. Мне рассказывала женщина о незабываемом следе любви, оставленном в ней отцом с матерью. Каждый день, проведенный без жены, отец считал вычеркнутым из жизни. У меня такого примера не было. Наоборот, папа и мама постоянно ссорились друг с другом, потом фактически разъехались и наконец формально разошлись. По отдельности они очень любили меня, но жить вместе не сумели, и опасность неудачного союза врзалась в мое сознание. А потом я остался без всякого примера и поддержки. Мне было двенадцать лет, когда мама уехала в другой город. Отец с утра до вечера был занят своей работой. В одиночестве стремительно развивался мой ум, и радости ума, радости яркой мысли, пробудившейся довольно рано, вытеснили во мне воспоминания о нежности матери. Я хорошо помню, что чувство полноты жизни я испытывал какой-то точкой посередине лба. И меня выбирали в товарищи умные мальчики, искавшие собеседника, а девушки головастики не любят, и я отвечал им тем же.

Лет с пятнадцати на меня наваливались острые приступы полового голода. Но именно голода, а не любви. Было стыдно выказать свое желание девушке. Что-то во мне осталось от детской нежности к матери, я не мог прикоснуться к женщине без нежности, попробовал раз — ничего у меня не получилось, обжегся, почти буквально обжегся от собственного грубого прикосновения и больше никогда не повторял, не участвовал в подростковых играх. А душевного порыва, захваченности женской душой я не испытывал. Может быть, просто не встречались в школьные годы такие, которые вызвали бы во мне потребность быть всегда вместе.

В институте были два случая, затронувшие меня. Первый длился один миг, но я его помню: острая жалость к девушке, неудержимо рыдавшей наутро после ночного ареста отца. Захотелось подойти, сказать какие-то слова... Я тут же почувствовал, что не умею утешать, не знаю нужных слов, нет чего-то в моем сердце, жалость была, а слов не было. Простоял нерешительно минуту и отошел.

Другой раз восторг вызвала во мне Агнеса Кун — внутренней силой, с которой она царила при надоевшей тогда скучной процедуре исключения из комсомола «за потерю политической бдительности» (в отношениях с отцом, матерью и мужем). Меня залил восторг, и казалось бы — чего еще нужно для любви? Но был еще муж, и я не видел никакой достойной роли, кроме роли друга; усилием воли я повернул себя в другое.

Но вот вопрос: почему мне нужен был именно чрезвычайный случай? Почему не вышла тихая любовь к какой-нибудь обыкновенной девушке в обыкновенной, не чрезвычайной обстановке? Отчетливо помню одно: я боялся быть связанным и пропустить что-то... Что именно? Вызревавшее во мне самое? Готовое встретиться? Обычная семейная жизнь, без заложенной в ней духовной пружины, казалась мне ловушкой и, может быть, действительно была ловушкой... Особенно если ребенок связал бы нас вопреки чему-то главному, как я когда-то связал отца с матерью еще лет на десять после того, как мама внутренне ушла из семьи. Призрак неудачного союза, в котором я родился, стоял передо мной как запретительный знак и мешал накручиванию симпатии, а попросту говоря, самообману, без которой не обходится средняя любовная история. Может быть, и даже наверняка, я слишком высоко себя ценил, но я *не хотел* обыденного семейного счастья. Там, где обычно разгорается воображение, у меня оно гасло, я возвращался к бесплотным идеям, кружившимся в моей одинокой голове.

И вдруг — война. Ей нет дела до моих мыслей. Ей нужны солдаты. Мои аналитические способности как-то сразу поблекли, и великая иллюзия завладела мною. Я перестал быть одиноким мыслителем, я стал рядовым необученным, ждавшим вызова, и почувствовал нужду, в которой не стыдно признаться женщине:

нужду в существе, которое будет ждать меня, нужду в матери, которая родит сына, когда меня самого убьют; для этого не требовалась подруга с необыкновенной силой и душевным богатством, довольно было мало-мальского понимания друг друга. И два раза за время войны дружеские отношения с девушкой перерастали в роман (разгоравшийся в письмах). Одна из этих историй завершилась опытом совместной жизни, длившимся три года.

Я пишу о любви, но все время приходится вспоминать аресты. Такая была жизнь. Арест оборвал мою связь с Миррой: она послушалась матери, предостерегавшей ее от поездок на свидание. Мое чувство собственного достоинства было оскорблено, и после нескольких месяцев тягостных сомнений я решил все оборвать. Не имеет смысла восстанавливать семью, где я буду на третьем месте, после папы и мамы. При этом я понимал, что Мирра дожидется меня, но не из-за глубокого личного чувства, а по примеру папы и мамы. Мне это было не нужно. Если я не способен вызвать настоящей любви, то не надо мне никакой. Останусь один. Я, по видимому, просто создан не для любви, а для дружбы. И не надо садиться не в свои сани.

Между тем судьба незаметно проделывала со мной работу, необходимую именно для любви. Сперва на войне, захватывая страхом и победой над страхом, втягивая в сердце душу, слишком переместившуюся в голову. Мне открылся мир простых радостей: солнца в синем небе, в перерывах между боями, печурки в блиндаже, письма от девушки... Но я все еще был слишком полон собой. Освободил меня от этого груза лагерь. Началось, кажется, в один из первых дней, когда мне было велено собирать самодельные ножи, выброшенные в запретную зону. Скрючившись на этой работе, я очень отчетливо почувствовал себя рядовым рабом, ничем не отличающимся от других рабов, начиная со времен фараонов Древнего Царства, но решающим был один смешной случай. Я уже рассказывал о нем в «Записках гадкого утенка». Мы бродили от вахты к столовой и от столовой к вахте и беседовали. В «Пережитых абстракциях» я дал трем персонажам имена: Виктор, Николай и Евгений. Евгений — действительно имя Евгения Борисовича Федорова, будущего писателя. Николай — это я. Виктора так и оставил Виктором. Он очень мягко, вежливо и поэтому долго объяснял, что его ум обладает и способностью философствовать, как я, и одаренностью в позитивной науке. Жень (моложе нас на 11 лет — тогда это значило: на треть жизни) молча слушал, а потом коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». И вдруг я с ужасом почувствовал нелепость положения: я ведь тоже считал себя умнее всех. Но ведь это похоже на Поприщина, уверенного, что он — испанский король. Сошлись три Поприщина и спорят, кто из них настоящий король. И все трое — сума-

сшедшие.

Разговор оборвался. Мы вошли в сортир по малой нужде. Через очко было видно, как в жиже копошатся черви. Почему-то на этом фоне высокомерие трех интеллектуалов выглядело особенно жалким. Я почувствовал себя обязанным сказать и сказал: ну что ж, оставляю вас двоих спорить за первое место, а себе беру второе. Сказал — и почувствовал такую боль, словно ножом вырезал из себя тщеславие. И я его вырезал. Впоследствии мне пришлось читать Достоевского, что самое важное в жизни — найти в ней второе место после Бога. После любимого. Пока я не пережил этого, я читал об этом — и не замечал, не вчитывался, не вдумывался. Только пережив — понял. Задним числом.

Это понимание очистило место для любви. Она вспыхнула, когда первая встреча захватила меня сочувствием и жалостью. Здесь не было узнавания, не было догадки, что рядом с этой душой, вместе с ней моя душа будет расти. Только готовность всю себя отдать ей, которой это было не нужно. Во время недолгих встреч я был сдержан, и не возникало никаких проблем. Мы просто разговаривали друг с другом. Вспышка произошла, когда девушку списали с предприятия (она собственно заменяла заболевшую уборщицу). Взрыв чувства захватил меня ночью. Я плакал и в слезах написал первое письмо.

Выздоровевшая уборщица сидела по статье 58—12, недоносительство. Я доверил ей свое послание; на другой день получил ответ. Полетели письма-голубки. Роман тянулся года два. Вскоре я вышел на волю — и приехал к *ней* на свидание. Потом и она оказалась дома. Я съездил на Кавказ — тогда совсем мирный — и вдруг понял, что она права, объясняя мне, что мы не созданы друг для друга. Осталось только сознание, что во мне есть способность к большой любви, такой, о которой поэты пишут, а в жизни почти не бывает.

Эта способность дремала во мне года два, до случайно сложившихся, почти ежедневных, встреч с Ирой Муравьевой. Она болела, я ее навещал. Чтобы не скучать, мы стали читать стихи; и меня захватило, как она их читала. Я почувствовал ее по интонациям в стихах Ахматовой, Гумилева, Цветаевой. Она не просто читала. Чужие стихи становились ее стихами, слово становилось плотью. Выглядела Ира плохо, губы посинели, одета была небрежно, но все это не имело значения. Захватывала личность, захватывала судьба, жившая в этом смертельно больном теле.

Все это подробно описано в моей книге «Сны земли»; я написал странички «В сторону Иры» лет пятнадцать спустя после ее смерти и почти столько же лет после счастливой встречи с Зинаидой Миркиной, но все эти годы во мне жила задача — написать об Ире, и думая об этом, я становился писателем. Мне говорили, что

на страничках об Ире я косвенно описал самого себя, но напрямую писать о себе мне было неинтересно. Прошло еще десять лет, пока по просьбе читателей я взялся за «Записки гадкого утенка».

За три года жизни с Ирой я понял вторую работу любви: борьбу с «самым большим препятствием», с отсутствием всяких препятствий. Ира несколько раз повторяла французскую поговорку: самое большое препятствие любви, когда не остается никаких препятствий. У нее был опыт угасания любовной вспышки. Я столкнулся с задачей впервые и долго бился, пока решил ее; порою доходил до отчаяния: ускользала, угасала любовь, оставалось только чувство связи с больной женщиной, которую нельзя было просто бросить и начать другую историю.

Шаг за шагом я изучал работу любви. Перво-наперво — сдержанность. Усталость превращает близость в сладкую каторгу. Прикасаешься к женщине с мыслью, как завтра будет болеть голова. Но никакого чуда сдержанность не дает. Только здоровье. А как же чудо, которое обещали стихи, обещали глаза, встретившиеся с моими глазами? Я верил, что глаза не лгали, и искал, как подтвердить правду, которую знала моя душа и не знало тело. Разгадка была в музыке осязания. Но здесь нужно долгое отступление — о музыке.

Однажды сидел я в кино. На экране «Чапаев», еще не заигранный, еще не ставший анекдотом: психическая атака каппелевцев, Анка-пулеметчица, артист Бабочкин выразительно тонет в реке... Я был захвачен. И вдруг, на волне захваченности, меня перехватила «Лунная соната». Играл белогвардейский полковник. Он был несколько тучен (так полагалось эксплуататору в 1934 г.; генералов рисовали с брюхом Тараса Бульбы). И конечно, интеллигентская внешность прикрывала зверя: доиграв, он приказал пороть пленного шомполами. Но Бетховен выдержал; он перешагнул через сюжет.

Я не был приучен к серьезной музыке. Читал в книгах, как она заполняла и переполняла душу, но понимал это — одним умом. Попытки слушать кончались одним и тем же: звуки рассыпались, я не улавливал музыкальной мысли, и вдруг — сложилось! Этот кусок «Лунной» я понял. Разумеется, слово «понял» здесь имеет другой смысл, чем при понимании математической задачи. Когда говорят о понимании музыки или живописи, речь идет скорее о передаче чувства, об углублении жизни до того уровня, на котором жил художник. Понять, чувствовать, любить здесь синонимы. Адам познал Еву: тут сразу и любовь, и знание души...

Я попросил знакомую девочку, немного бренчавшую, сыграть «Лунную». Увы! Под ее пальцами волна рассыпалась на отдельные неуверенные всплески. Все же я иногда просил поиграть, напомнить то впечатление. Больше того: я нашел учительницу и стал брать

уроки музыки (дома стояло заброшенное фортепьяно). Мои пальцы не слушались, поздно начинать в 16—17 лет. Пробовал ходить на концерты — и скучал. Наконец — повезло. Мне было уже 18. В Москву заехал дирижер Вилли Ферреро. Исполнялось (помнится, в Доме ученых) «Болеро» Равеля. И оно взяло сразу за шиворот. Колдовство не прерывалось и нарастало, нарастало... Повторялась одна и та же музыкальная фраза, мне не в чем было запутаться, ритм не отпускал, и я отдался этому ритму, как в море — покачиваясь мертвой зыби. Все было прекрасно.

Однако на другие симфонические концерты этот контакт не перешел. Музыка опять была сама по себе, и я сам по себе. Пришлось ограничиться оперой и старинными романсами. Панто-фель-Нечецкая, Доливо (кажется, Анатолий), почти хрипевший вместо пения, но я прощал ему хрип за верную интонацию: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать...» И в опере меня захватывал трагический текст *вместе* с музыкой: «Пускай погибну я!..» «Что наша жизнь? Игра! Добро и зло — одни мечты...» Без слова, в стихии чистой музыки, я по-прежнему шел ко дну. И встретившись со стихами Мандельштама, не понял их. Понимал Блока, в ритмах которого скрыт романс. А «Моцарт на воде и Шуберт в птичьей гамме» не доходили до меня.

Война здесь ничего не изменила. Только снизила уровень запросов — до «Землянки» Суркова, до «Темной ночи» (не помню чьей). Хотя — кто знает! Очень может быть, что привычное обострение чувств под огнем, острое восприятие красоты земли и неба, особенно в дни затишья, но иногда и в бою — сказались на восприятии природы много лет спустя.

Неожиданно помог моему музыкальному образованию лагерь. Я попал туда в июне и сразу окунулся в белые ночи. Входить в игру света и цвета меня научили импрессионисты (в студенческие годы я каждую неделю, как в церковь, ходил в музей Нового западного искусства). А здесь платье «Обнаженной» Ренуара, небрежно брошенное на кресло, развернулось в целое небо и зажило, меняя и меня свои переливы. С вечера до полуночи я не мог оторваться от симфонии, которую импровизировал свет, и, прячась от надзора, продолжал бродить после отбоя. Жалкие человеческие затеи — бараки, вышки, колючая проволока — тонули в северном небе, «как урна с окурками в океане» (метафора, которую я впоследствии подобрал у Кришнамурти).

Потом фестиваль света кончился. Началась тоска черных зимних ночей. Только музыка, лившаяся из репродукторов, доносила переливы духа. Тогда народ приучали к русской музыке XIX в. Передавали по радио симфонии Чайковского, одну за другой. Народ жался поближе к печке и забивал «козла», даже моих друзей, интеллектуалов, тридцатипятиградусный мороз загонял в бараки.

Нашелся только один меломан, молча бродивший взад и вперед, от вахты к столовой и от столовой к вахте. Вторым был я. Качество звука на морозе было сносным, но, конечно, хуже, чем в консерватории, что же помогало моему восприятию? Тоска по Москве. Симфонии были приветом оттуда, они так же перешагивали через колючую проволоку, как белые ночи. И привычка созерцать абстрактное искусство света помогло войти в абстрактное искусство звука, войти в прямой разговор с Богом и судьбой, мимо всех человеческих уродств.

Вернувшись в Москву, я в одном из первых домов, куда зашел, увидел на столе томик Мандельштама, сборник 1930 г. Стал читать — и все понимал. Понимал так, как белые ночи, как музыку зимой. Мандельштам уходит корнями в ту самую серьезную музыку, где я раньше терялся. Мне открылось целое измерение действительности, как бы наряду с тремя измерениями физического пространства, исчерпывающими школьное представление о бытии. Я думаю теперь, что европейская классика была ответом на вызов бесконечности пространства и времени, испугавший Паскаля. Раскрытие внутренней бесконечности уравнивало внешнюю, дурную бесконечность, тьму внешнюю. «Прекрасное, — писал Рильке, — это та часть ужасного, которую мы способны вместить»; страх «всепоглощающей и миротворной бездны» (не могу не вспомнить Тютчева) музыка вместила внутрь, и он стал трепетом вечной жизни.

С этих пор я стал чувствовать музыкальное измерение во всем, в том числе в любви. Музыка взглядов не требует никакого мастерства, она возникает, как птичье пение; сохранить музыку, когда встретились не только глаза, действительно трудно. То есть трудно на первых порах. Трудно учиться музыке, потом складывается что-то вроде искусства флейтиста. Меня учили любовь, бережность к любви, желание сохранить любовь. Какой-то минимум мастерства сложился. Он очень невелик: чтобы сдержанная чувственность слушалась сердца, а сердце слушалось музыки. Шопен писал Жорж Занд, что в только что сочиненном ноктюрне он записал пережитую с ней ночь. Я его понимаю.

К сожалению, эти простые истины совершенно не стали общим фактом культуры. А между тем, они просто снимают ряд надоевших моральных проблем. Пара, связанная музыкой, так же устойчива, как содружество Казальса (виолончель) и Хорошевского (фортепьяно), десятки лет концертировавших вместе, безо всякого желания сменить партнера. Хотя в таком музыкальном складе нет ни брачных уз, ни заботы о детях: достаточно общего чувства музыки. Сколько несчастий можно было бы избежать, скольких надрывов, разрывов, самоубийств!

Почти что стали поговоркой стихи Надсона:

Только утро любви хорошо. Хороши
Только первые, робкие речи...

Хотя это опыт рано умершего юноши, так и не успевшего втиснуть свою страсть в строгую музыкальную форму. Или опыт целовека, до старости не сумевшего сладить со своими страстями, — как герой «Крейцеровой сонаты». Все, что я здесь пишу, — спор со Львом Толстым, опыт, противопоставленный опыту. Опыт целой жизни — от юности до старости.

Нарастанье, обступанье тиши.
Нас с тобою только сосны слышат.
Прямо в небо, прямо в сердце вниди...
Нас с тобою только звезды видят,
Наклонившиеся к изголовью.
И остались мы втроем — с Любовью.
Для того лишь и умолкли звуки,
Чтоб Она могла раскинуть руки.
Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб Она смогла расправить тело,
Каждый миг ушедший воскрешая.
Боже святой, до чего большая!
Боже правый, до чего ж огромна!
Кто сказал, что ей довольно комнат?
Кто задумал поместить под крышу Ту,
которая созвездий выше,
Кто осмелился назвать мгновенной Ту,
которая под стать вселенной!

(Зинаида Миркина)

Вопреки общему мнению, близость мужчины и женщины может быть не только музыкой, но и молитвой. Вся жизнь может стать музыкой и молитвой: прогулка в лесу, закат на берегу моря — все измерения твоего бытия. До конца это удастся немногим, я не волшебник, я только учусь. В шорохе ветвей, в кружении осенних листьев и в пении птиц весной я учусь слышать музыку, дыхание Целого, где хаос фактов связан «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Костер в лесу может дать мне радость, сравнимую с любовной встречей, и в тишине я слышу «хоры ангелов» (Миркина). Я гляжу на Троицу Рублева и вижу в ней не только образы ангелов, а волны музыки, переливающиеся от правого ангела к среднему и от него к левому, — музыки, замыкающейся в кружении вокруг незримого центра. В этом кругу бесконечность страдания и сострадания тонет в бесконечной радости творчества, в творческом огне. Я собираю себя под образом этой внутренней

бесконечности и не чувствую хворей, не чувствую убывания сил; есть только волна божественных энергий, разлитых вокруг и переливавшихся во мне. Я думаю о бедных людях, не слышащих этой музыки, и молюсь за души, не сумевшие затихнуть. Я вспоминаю стихотворение Зинаиды Миркиной:

Тишину измеряют сердцем.
Тишиной измеряют сердце.
Все, кто стихли, — единоверцы.
Все мы слушаем Одного.
Нам открылись такие дали,
Мы с тобой в этот миг узнали,
Не придумали, а узнали,
Стихшим сердцем своим Его.

Работа любви не прекращается ни в праздники, ни в будни. Без этого праздник кончится похмельем, а будни все поглотят. Работа любви — это соблюдение первой заповеди (всегда помнить). Это собирание себя под образом любви, чтобы не оставалось никакой почвы для столкновения самолюбий, для раздражения, срывов, ссор. А если нечаянно случится ссора — спохватиться и собраться и помириться еще до вечера, со всеми поводами ссоры, потонувшими в любви, на той глубине, где есть только любовь.

Только пережив все это, я смог понять странные слова Рильке о работе любви и слова Сент-Экзюпери — о том же (французский писатель не расставался с томиком «Записок Мальте-Лауридса Бригге»).

В этих «Записках», неожиданно переходящих с одной темы на другую, Рильке несколько раз возвращается к одному клубку идей, сплетающихся в его понимании любви. Первая — превосходство женщин, взявших всю работу любви на себя, оставив мужчинам самую легкую долю (наслаждение). «Разве мы не могли бы сделать попытки хоть немного развиться и мало-помалу, постепенно, взять на себя свою долю работы в деле любви?» («Записки» / Перев. Горбуновой. М., 1913, ч. 2, с. 6).

Почти никогда этого еще не было. И в переписке Гёте с Беттиной фон Арним величие любви — не на его стороне: «Все читают его ответы и верят им больше, нежели тебе самой, потому что поэт для них понятнее... Но, может быть, когда-нибудь окажется, что в этих ответах сказалась граница его величия. Ему была ниспослана воплощенная любовь, а он не смог вместить ее... При всем своем величии, он должен был бы смириться перед нею и, как Иоанн на Патмосе, стоя на коленях, писать то, что она диктовала ему» (там же, с. 94).

Вторая идея — то, что «такая любовь не нуждается во взаимно-

сти, в ней самой заключается и призыв, и ответ на него» (там же, с. 94). «Возлюбленная всегда выше возлюбленного, потому что жизнь выше судьбы. Ее самопожертвование жаждет быть безграничным — в этом ее счастье» (с. 95).

Третья идея — что любящий всегда выше любимого: «Плохо живется тем, которых любят, и всегда им грозит опасность. Ах, если бы они победили себя и стали любящими! Любящие находятся вне опасности... В них тайна приобретает единство, в них она не распадается на части, и они, подобно соловьям, всю ее целиком разглашают вокруг. Оплакивают они одного, но вся природа присоединяется к ним: в них говорит тоска по вечному. Они бросаются вослед исчезающему, но с первых же шагов обгоняют его и окаживаются перед лицом Бога» (с. 130).

Эта идея — что в любящих говорит тоска по вечному, по Богу — развита в «Цитадели» Сент-Экзюпери (Соч., М., 1994, т. 2):

«Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь „она“ и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь разговор о смысле вещей, и „она“ для тебя — Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей» (с. 269).

«Теперь я знаю: полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину, любовь — это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, когда вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменилось» (там же, с. 294).

«И я подумал: „Даже те, кто умеет видеть за вещами Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждаю

щая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не известное тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Поэтому я и приготавливаю их к любви долгой молитвой. Этот приговорился, и робкая улыбка сразит его, будто меч“» (там же, с. 293).

Любовь углубляет жизнь, и углубление жизни открывает дорогу любви.

Подлинное и призрачное счастье

Первый раз я написал о счастье в 1958 г. Моей задачей было убедить молодого человека, что ничего пошлого, недостойного в счастье нет. Что это даже долг — быть счастливым, уметь быть счастливым при малейшей возможности, в самых скверных условиях (на войне, в лагере), при малейшем просвете радости, и делиться с людьми счастьем, а не своим мрачным видом и срывами больных нервов. Впоследствии я написал о счастье статью для словаря, приведу оттуда первый абзац:

«Счастье — понятие, сложившееся на опыте миллионов людей, чаще созерцавших счастье извне, чем испытывших его. Отсюда разные синонимы счастья: удача, успех, благополучие. Это первый ряд значений. Такое счастье — незаслуженная милость судьбы или Бога (дуракам счастье). Другой ряд синонимов счастья встречается в поэзии: полнота жизни, полнота любви, блаженство. В понимании идеологов и политиков счастье народа означает благополучие (часто мнимое). Пушкин, говоря о Юсупове, называет счастьем жизнь в свое удовольствие: „Счастливый человек, для жизни ты живешь!“ Свое собственное счастье он (в зрелые годы) понимает иначе: „О, как мучительно тобою счастлив я!“ У героев Достоевского счастье всегда смешано со страданием. И это не только его личная черта. Мы находим и у олимпийца Гёте, в песенке Клерхен: „Быть полным радости, страдания и мысли...“»

На протяжении почти сорока лет мое представление о счастье очень мало менялось. И вдруг его поставил под вопрос Фазиль Искандер. Герой маленького рассказа «Сон» просыпается и думает о непрочности семейной жизни. «И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни всё может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступление. Ни того, ни другого у них не было. Да, подумал он, прочно людей связывает или небо, или ад. Всё остальное непрочное. И даже имеет право на непрочность, и он затосковал о Боге и ощутил свою вину,

что не затосковал о нем раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, верующая, озвученная громкоголосыми детьми, семья. И вот все рухнуло. Вера не помогла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная крестьянская семья. В этой семье муж и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется. Само стремление к счастью греховно, подумал он. *Счастье как бы предполагает: тайный, только для меня солнечный день. Счастье — это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир наркомания — ответ на идеологию счастья»* («Континент», № 92, с. 196).

Я подчеркнул то, что меня поразило. Рассуждение, ведущее к неожиданному выводу, слабое, а вывод сильный. Что-то здесь Искандер припечатал, какую-то болезнь времени. И скорее всего, вывод пришел в голову раньше, чем рассуждение, скачкообразное и переходящее от одного спорного тезиса к другому. Общее преступление чаще связывает бандитов, чем супругов. И неверно, что адские связи так же прочны, как небесные. Ангелы солидарны в своей любви к Богу, а черти скорее грызутся между собой — как Сталин с Гитлером. У них было общее преступление (раздел Польши); но продержалась закаятая дружба менее двух лет. Замечу как бы в скобках: я не думаю, что адское — это небесное наизнанку и в аду такая же строгая иерархия, как на небе. Небесная иерархия замешена на любви; иерархия власти — всегда только до поры, до времени.

Что может связать супругов, кроме любви? Чувственная привязанность? Она слабеет с годами. Общие дети? Расходятся, бросая детей. Общие денежные интересы? Они не всегда сильны. Общая молитва? Искандер в ней разуверился. По-моему, молитва молитве рознь. Если она связывает с Богом, то все свяжет. А если бормочут люди привычные, с детства выученные слова, то такая молитва — разговор по выключенному телефону (беру этот пример у Габриэлы Босси).

На чем основана крепость патриархальной семьи? На традициях, не всегда хороших. В том же Чегеме — кровная месть. И еще на одном: на патриархальном терроре против нарушителей порядка. Мне запомнился фильм «Древо желания»: девушку выдали за нелюбимого, и когда она не сумела скрыть своих чувств, ее убили. Те же идеи у купца из «Крейцеровой сонаты» Толстого: женщине надо

дать «укорот», забить до совершенной потери грешных желаний.

Любопытно, что в повести «Морской скорпион», написанной до перестройки, Искандер ставит тот же вопрос — о непрочности семьи, но положительный пример у него другой: приятель, полкубивший девушку за что-то прекрасное в душе (и, видимо, она его за то же); рассказчик удивлен, чем эта курносенькая, с косичками, могла пленить, а потом корит самого себя: почему он думал, что за ямочками на щеках непременно скрывается чуткая, нежная душа? Так что виноватым оказывается не идея семейного счастья, а поверхностный выбор подруги, и напрашивается итог: прочная семья основана на другом выборе, на захваченности всей полнотой личности и судьбы...

Что изменилось за 15—20 лет? Почему сама идея счастья попала на скамью подсудимых? Я думаю, непосредственный личный опыт остался тем же, но изменилось общество. Рассыпалась связка ценностей и целей, где рядом со счастьем, перекликаясь с ним, были долг, достоинство, вера в лучшее будущее и т. п. Связка, в которой ни одна ценность не была всемогущей, а все поддерживали друг друга и ограничивали друг друга. Эта связка слабела, слабела и наконец совсем распалась, как веник на отдельные прутьи. И люди стали хвататься за отдельные прутьи, а каждый пруттик по отдельности легко сломать. Взамен распавшейся советской связки нам широко раскрылся Запад. Но там медленно развивался другой кризис, частью которого (острой формой болезни) был и наш российский кризис. Право на поиски счастья было официально записано в текстах американской революции более 200 лет тому назад. Но в этих текстах была записана и воля Божья. Для американских протестантов это не было простой фразой. Бог велел Адаму в поте лица своего зарабатывать хлеб свой, а Еве в муках рожать детей. Никаких контрацептивов, никакого вольного секса. Право на счастье означало право на свой участок земли, на свой малый бизнес, на выбор подруги по своей воле, но при общей вере в Бога и общем понимании семейных обязанностей. Идея счастья в этих условиях вдохновляла на труд и помогла создать гигантскую промышленную державу.

Потом общество производителей, шаг за шагом, превратилось в общество потребителей. Труд перестал быть радостью, радость переместилась в досуг. И из связки ценностей выпал, стал самостоятельным пруттик счастья, и счастье стало мыслиться как непрерывное наслаждение, как сладкая жизнь.

Известно, что при продолжительной жаре белые грибы становятся ядовитыми. Так произошло с идеей счастья — и с другими идеями. Всякая идея, ставшая идеологией, подмявшая под себя другие идеи, становится отравой. Например, идея справедливости. Из нее логически вытекает террор против несправедливых,

оставшихся безнаказанными, и против всего несправедливого порядка. Благородная Вера Засулич стреляет в генерала; а дальше пошло-поехало: верующие ирландские католики взрывают девочек-школьниц в Тауэре. Верующие мусульмане взрывают автобусы с женщинами и детьми в Израиле...

Значит ли это, что справедливость сама по себе перестала быть добродетелью? Нет, не перестала! Но надо быть с ней осторожным. Иначе она легко становится, по словам Волошина, «самой кровавой из добродетелей». Всякая добродетель, всякая ценность хороша только в связке с другими и до тех пор, пока она не стала самодержавной идеей, *idee fixe*.

Писатели с грустью вспоминают «счастливую невозвратную пору детства», когда счастье вспыхивало от самого ничтожного повода и без всякого повода. Потом рассудок загоняет воображение в угол, и от огромного материка счастья остаются только островки. «Три счастья знаю я в этой ахинее, — пишет современная поэтесса Людмила Чумакина, — три осознанных счастья: первое — выздоровление на подушке, когда в трех метрах от лица блестят корешки книг, и обманная струйка силы пробивается через тромбы и ленивую кровь в вялых сосудах, обманом возбуждая радость жить и знание как жить — обманное также. Второе счастье, конечно, самое совершенное — любить, но так... бесконечно, как только оборвалось в любви, только пригрезилось... Третье счастье у меня самое сложное, вернее сложенное из трех ощущение: слушание безлюдного моря, степи, дерев — это как встреча с Богом — не видишь, а узнаешь... Три моих счастья. Я их не путаю с радостью и довольством. И никому не советую путать».

Счастье всегда — остров. В тяжелые дни, когда чувства счастья нет, ребенок плачет, а у взрослого действует воля, действует долг. (Перед собой, перед другими, перед Богом.) Писатель Анатолий Бахтырев говорил, что не может «жить в плохом настроении». Он искал «искусственных стимуляторов» счастья и умер тридцати девяти лет от алкоголизма². Но иногда человек, совершенно потерявший способность к счастью, вдруг обретает ее заново. Жюльен Сорель счастлив перед казнью. Пьер Безухов счастлив в плену. Можно выучиться тому, что дает счастье: работе любви и созерцанию красоты. Можно увидеть образ и подобие Бога в человеке и десятки лет испытывать счастье бесконечной нежности от простого прикосновения друг к другу...

Из островов счастья, указанных Чумакиной, первый — только миг перехода. О нем хорошо писал и Анатолий Бахтырев: «Улица, весна, иду танцующей походкой. И беречь эти первые минуты, откуда бы ни возвращался. Из больницы, из карцера, из эвакуации в

² Об А. Бахтыреве в моей книге «Снг земли» (Париж, 1984; М., 2004).

Москву, из тюрьмы в Ленинград, в деревню и даже утром из отделения милиции». Миг перехода немного похож на «высший миг» Фауста, на счастье первопроходца, ученого, на счастье нелегко давшегося открытия. Но нечаянное счастье перехода — даром брошенная милость. Она не заслужена, не связана с волей к пути, на котором откроются новые острова счастья, вспышка, а за ней провал.

Архипелаг счастья сам собой не дается. От острова к острову нужно плыть и плыть. И ересь не в желании счастья, а в желании счастья дарового и вдобавок подаренного каждый час заново. Эта ересь не новая, она возникла и стала философией еще в древности, при распаде архаической эллинской культуры, и тогда же получила имя гедонизма.

В архаическую пору все было связано. Счастлив был человек, ставший героем своего полиса. И когда Крез спросил Солона, кто самый счастливый человек на свете, Солон назвал имена юношей, павших в бою за отечество. Потом человек выпал из архаического роя, стал атомом, окруженным пустотой. Эта теория возникла не из физики, а из зачаточной тогдашней социологии, и была только опрокинута на физический мир, с переносом порядка человеческого бытия на порядок космоса. Из атомизма Левкиппа, Демокрита и Эпикура логически вытекал гедонизм: если человек — изолированный атом, если нет ничего высшего, то о чем же думать, кроме наслаждений? То, что Демокрит назван смеющимся философом, уже содержит в себе зерно гедонизма. Из этого зерна выросло учение Эпикура, перенесшего акцент с натурфилософии на этику и создавшего гедонизм как разработанную теорию.

Теория гедонизма, как все греческое умозрение, не была вульгарной. Эпикур прекрасно понимал, что чувственные наслаждения ведут к страданиям, и советовал избегать таких наслаждений и находить удовольствие в созерцании красоты, в беседах с друзьями и великодушии: ибо приятнее давать, чем получать. Но вне узкого круга философов эпикурейство приобретало довольно мрачные формы. Можно судить о них по образу Клеопатры в «Египетских ночах» или по исторически достоверному образу Нерона, декламировавшего стихи о пожаре Трои, глядя на Рим, подожженный по его приказу.

Учителем Нерона был стоик Сенека. Он пытался передать своему питомцу другой вариант этики, связанный с другим вариантом физики. Человек, осознавший себя мерой всех вещей, не обязательно становился атомистом и эпикурейцем. Он мог чувствовать космос как целое и мысленно предстоять космосу (хотя и немому). Идеалом стоика была невозмутимость. По преданию, хозяин пытался испытать стоика Эпиктета (оказавшегося рабом) и стал ломать ему руку. «Ты ломаешь мне руку», — сказал Эпиктет,

не повышая голоса. Тот не прекращал свой жестокий эксперимент. «Ну вот ты и сломал ее», — продолжил философ. Однако стоицизм вовсе не был философией рабов. Рабам редко удавалось философствовать. Философствовали свободные люди. Гедонизм и стоицизм — две философии, боровшиеся за душу человека, потерявшего Бога. Но стоицизм с трудом поддавался вульгаризации, он слишком решительно противился грубым страстям. Нерон казнил своего учителя.

Стоицизм и гедонизм искушали и мою юность. То и другое пришло в стихах русских поэтов. Меня глубоко волновали «два голоса» Тютчева:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горном Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други.
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Героический пессимизм Тютчева хорошо ладили с диалектическим материализмом Энгельса: «Вселенная порождает свой высший цвет, мыслящий дух, в одном месте — так же неизбежно, как уничтожает его в другом». Безликая вселенная нашла у Тютчева свое лицо, перед которым я предстал со своим трагическим чувством бытия, — лицо сфинкса:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Не было загадки, а лицо было, и было отношение Я (сей мыслящий тростник) и Ты (сфинкс). Впрочем, в иные минуты мне

близок был и Эпикур — в стоическом понимании Баратынского:

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле.
На высоте земных судьбин И в
незаметной, низкой доле

Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.
Мы все блаженствуем равно,
Мы все блаженствуем различно;

Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Спор Эпикура с Эпиктетом возрождается во все эпохи неверия. Он идет и сегодня. Массовая культура тяготеет к грубому эпикурейству, творческое меньшинство (лишенное веры!) — к стоицизму. Александра Мелихова можно назвать современным стоиком. Он принимает современную массовую культуру стоически, как отвратительную неизбежность, и с этой шаткой позиции пытается удержать ее от саморазрушения, убедить в красоте безнадежной борьбы с роком. Его филиппики против идеи счастья сложились независимо от Искандера; но бросаются в глаза общие черты: «Возьмем, к примеру, наркоманию — не только опаснейшую, но, на первый взгляд, и абсолютно нелепую, „противоестественную“¹ социальную язву: человек обменивает неисчерпаемое богатство реального мира на кратковременный иллюзорный „кайф“, с катастрофически высокой вероятностью приводящий его к мучительной гибели. Однако этот обмен не так уж и нелеп для того, кому во внешнем мире все абсолютно безразлично, а потому неинтересно, кому сильные эмоции дает лишь самоуслаждение. Скажем, любовь издавна считалась кайфом очень серьезным, но — если каждое дело, каждый дар внешнему миру для тебя чистая обуза, то и любовь быстро окажется тебе не по карману. Это же сколько хлопот (с риском унижительного поражения), чтобы завоевать свой „предмет“, да и победа тут же навлекает на тебя новую мороку: ты должен сделаться защитником, кормильцем... Не проще ли оставить от любви одну лишь приятную сторону — секс? Но ведь и секс требует чем-то поступаться, хоть на полчаса ублажить и партнера, — спокойнее перейти к мастурбации, чтоб уж совсем никому ничего не давать, совсем ни от кого ни в чем не зависеть. Однако и мастурбация требует каких-то усилий, какой-то специфический

готовности — ну, так сделаем укол, и будем иметь все сразу и без хлопот.

Позволю себе рискованную гипотезу: наркомания есть закономерный итог мастурбационных тенденций европейской культуры. Выражаясь осторожнее, я вижу некую преемственную связь между многовековым и столь плодотворным дрейфом литературы от эпоса к лирике и стремительным скольжением личности от эгоцентризма к героину. В былые времена боевую песнь слагали и пели не для того, чтобы воодушевиться и разойтись — её пели, чтобы воевать. Вольнолюбивой поэзией упивались, чтобы бунтовать, а любовной, чтобы любить. А когда искусство провозгласило себя собственной высшей целью, не начались ли в нем процессы, родственные тем, которые происходят с отвернувшимся от мира человеком? Может быть, ничто не должно служить целью самому себе — ни человек, ни народ, ни ведомство, ни культура? Может быть, не случайно в искусстве так часто становился королем тот, кто соглашался быть всего лишь слугой?»

Мне хочется подчеркнуть совпадение двух свидетельств, двух диагнозов: Искандера и Мелихова. Что-то накапливалось, накапливалось — и вдруг стало очевидным, дело не только в наркомании. И не в доступности химического рая сравнительно с сексом. Доставать шприцы и все прочее — тоже хлопотливое дело, примитивный секс иногда обходится дешевле, отдельный атом-индивид может выбирать и водочку. Страшен весь клубок дешевых наслаждений. Но наркомания вместе со СПИДом многократно ускорила процесс распада культуры. Если западная цивилизация не встряхнется, не найдет сил для возрождения, — Китай, расстреливая торговцев наркотиками, без выстрела выиграет четвертую мировую войну. Черную работу проделает Черная Смерть. Страны христианской цивилизации опустеют, как некогда Западная Римская империя, и мирно (или почти мирно) будут присоединены к Поднебесной. Которая одним махом покончит и с экологическим кризисом, и с взрывным ростом населения, и с правами человека, и со СПИДом.

Единственная альтернатива искушениям призрачного счастья — путь, на котором мы встречаемся с подлинным счастьем. Я этот путь испытал. Трудность — в том, как передать свой опыт.

Как передать свое чувство иерархии, свое понимание Себя как многослойного начала? Где на величайшей глубине действует Божья воля, поближе к поверхности — творческая воля и только на самой поверхности — воля к простым радостям. Которые тоже не дурны, если знают свое место.

Слово «счастье» имеет множество оттенков. Фауст, опьяненный молодостью, видит свое счастье в Гретхен — а потом не знает, что делать с бедной девочкой. Фауст зрелых лет ищет счастья в

классическом искусстве, старик — в осушении болот. Но есть глубинный смысл, заложенный в самом слове «счастье»: со-частье, собор всех частей, целостность бытия, в противоположность участи, у-части, затиснутости в какую-то часть жизни, как в каземат. Счастье — чувство целостности, полноты бытия. Оно не может быть ровным, оно зависит от очень многих обстоятельств — оно ускользает, как солнце за тучами, а потом снова сверкает. Но оно не ложь, не обман. Ложь и обман — только в подростковых представлениях о счастье. От *этих представлений* отказывался Пушкин, когда писал:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег В
обитель дальнюю трудов и чистых нег...

Я думаю, что творческий труд Пушкина сам по себе давал часы счастья. С оттенком еще какого-то особого чувства, незнакомого юности: верности чему-то высшему по ту сторону счастья и несчастья. Об этом писал и Блок:

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел — тогда Ты,
наконец, поверишь чуду,
И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не нужно было,
Что сей несбыточной мечты И на
полжизни не хватило,
Что через край перелилась Восторга
творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь, —
И только с нежною улыбкой Порою
будешь вспоминать О детской той мечте, о
зыбкой,
Что счастьем привыкли звать!

Рассеялся призрак дороги, усыпанной цветами, в розовом облаке наслаждений. Вместо него — «короткий миг и тесный», не многого стоящий. Но чаша творческого восторга, перелившаяся через край, но творческое состояние — это, по-моему, другое имя полноты жизни, полноты бытия, то есть счастья в самом глубоком и истинном смысле слова. Самое общее во всех случаях счастья, которое я пережил, — это, кажется, творческое состояние. Оно впервые пришло ко мне лет в двадцать, за курсовой работой о

Достоевском. Оно, по-моему, приходило и на фронте как чувство полета над страхом. По большей части, поразительная ясность мысли, связанная с чувством такого полета, не находила себе внешнего выражения, но один раз я несколько часов руководил боем и делал это толково, хотя совершенно не учился тактике. Я думаю, можно назвать творческим состоянием и любовь, «работу любви»³, создание музыки человеческих отношений; без вдохновения, без творческого состояния музыка любви так же не напишется и не исполнится, как симфония.

Есть, однако, еще нечто высшее, чем творческое состояние. Святой Силуан говорит в своих записках: «Я пишу, потому что со мной благодать. Но если бы благодать была большей, я бы писать не мог». Эту благодать, при которой ничего не напишешь, Серафим Саровский назвал «стяжанием Святого духа», суфии называли словом «шатх». Есть легенда о суфии, к которому Бог обратился со словами: «Проси у меня всего, что хочешь!» Суфий ответил: «Мне ничего не надо, мне довольно того, что Ты есть». В сверхтворческом состоянии нет никакого стремления, никакого усилия, ничто не творится — но свершается душа самого творца. Это не его творчество. Он здесь глина в чьих-то руках... Я думаю, слово «счастье» неприложимо к таким состояниям; скорее — «блаженство». А может быть (беру слова у Кришнамурти), «безымянное переживание». То, что можно прочесть в глазах рублевского Спаса.

На уровне безымянного переживания человек уже не ищет счастья. У него есть нечто большее. Я, впрочем, об этом только догадываюсь, судя по некоторым текстам. Но я уверен, что химия этого безымянного переживания не дает; хотя экстаз или нечто вроде экстаза может дать. Некоторые племенные и восточные культы пользуются архаической химией, чтобы дать экстатическое переживание религиозных символов. Будда отверг этот путь (существовавший и в его дни); он, видимо, считал химический экстаз чем-то иным, сравнительно с просветлением; а также не считал экстаз необходимым для каждого и за любую цену; и, наверное, предвидел неизбежные злоупотребления опасным средством. Оценка архаических техник экстаза в архаических обществах — дело науки. Ритуальные напитки могли иногда применяться веками без пагубных последствий. Но эти примеры из прошлого не оправдывают своевольные эксперименты с наркотиками в современном обществе, где нет никакой иерархической дисциплины и каждый сам себе хозяин.

Об экстазе трудно говорить. Есть несколько форм его — с видениями, созерцанием нестерпимо яркого внутреннего света и созерцанием природы, даже городской улицы, но подсвеченных из-

³ См. одноименное эссе.

нутри. Есть различие степеней глубины — от самой большой, преображающей человека и сразу дающей новое направление его жизни, до случайной вспышки, оставляющей только тоску по новым вспышкам (Кришнамурти считал эту тоску соблазном). Очень многое зависит от строя души, испытавшей экстаз, и строя культуры, с которой душа связана. Экстаз дает толчок, но как бы по разным рельсам. Экстаз в часы любви углубляет любовь, в часы молитвы и медитации — углубляет молитву и медитацию. Экстаз открывает христианину лик Христа, а индуисту — богиню Кали. Вне культа, вне любви, вне созерцания природы экстаз — своего рода мастурбация, разрушение божественной связи вещей своим вольным поиском удовольствий. Это соблазн. И чем больше дьявол дает, тем больше он возьмет. Героин дает больше водочки, и плата за химический экстаз взимается быстрее...

— Ну и что же? — возразит мне умный наркоман, герой повести А. Саломатова «Синдром Кандинского». — «Неисчерпаемое богатство реального мира!» — Где Мелихов его взял? Чем его «Роман с простатитом» лучше моего романа с дьяволом? Разве что длиннее... Все в этом мире иллюзия. И дьявол — иллюзия, и Бог. И то, что называют реальностью, — тоже иллюзия, сон. Долгий, скучный сон, тяготи́на, от которой хоть в воду броситься...

Атом, окруженный пустотой, сделал свой выбор. И ему решительно нечего возразить. Человек перестал себя чувствовать рабом Божьим, рабом долга, и не научился чувствовать себя сыном Божьим, воплощением воли Целого в дробном мире. Нет у него ни чувства иерархии желаний, ни чувства задачи, голоса сократовского демона. Все, что я могу сказать, для него не имеет смысла. И все-таки я повторяю: счастье — дар Божий на Пути. Путь задается изнутри, из глубины, стремление к которой поддерживается культурой. На глубине в одной связке — и нравственная воля (долг), и чувство собственного достоинства, и воля к любви со всеми ее трудами, и воля к жертве во имя высшего.

Желание счастья, улыбки счастья на Пути, подсказанном из глубины, не было разрушительным. Оно стало разрушением общества и саморазрушением, когда распалась «ценностей незыблемая скала» и массу захватил «гедонистический реализм» телевизионного экрана, поток видеонаркотиков (об этом хорошо говорил Эрнст Неизвестный на своем выступлении в Ко, Швейцария, летом 1997 г.). Убивает счастье, ставшее синонимом сладкой жизни. Эту, новую реальность, реальность ночных телепередач, почувствовал Искандер, почувствовал Мелихов. Все, что они говорят о счастье, не имеет никакого отношения к полноте жизни, к творческому состоянию, к радости от *преображения желаний*, когда вместо задуманной цели вдруг достигается Божья цель.

Мелихов ошибается, считая источником зла сосредоточенность

на внутреннем, на переживании — в ущерб делу. В анализе причин катастрофы он так же неточен, как Искандер. Упор на внутреннем, в ущерб внешнему, не обязательно создает сибарита. Тот же упор у аскета, но внутренняя жизнь аскета *воспитывает* волю, а не разрушает ее. Так это в любом вероисповедании, в том числе — в православном «умном делании» (то есть в делании, внешне не выявленном, остающемся в уме). Умное делание выводит на снежные вершины духа, где сам вопрос о счастье исчезает, уступает место другому: о богооставленности и благодати; место счастья — пониже, где «роща, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени». И еще ниже, где «люди гнездятся в горах», в трущобах больших городов возник призрак сладкой жизни. Беда не в избытке, а в недостатке подлинной, иерархически выстроенной внутренней жизни. Если нет иерархии, если все вынесено на плоскость, различие между деятельной жизнью Мелихова и саморазрушением наркомана сводится к произвольному выбору: ты любишь химию, я люблю яблоки.

Новое время началось с бунта против средневековой аскезы во имя земного счастья. Но оказалось, что без прицела «выше счастья» подлинное счастье сползает к счастью призрачному, к сладкой жизни. Мы вынуждены заново открыть, что созерцание, медитация, молитва — накопление творческой силы, накопление творческого состояния, полноты жизни. Как бы ни достигать этого — физически карабкаясь в гору, откуда открывается красота мира, или внутренним карабканьем. Молитва и медитация — такое внутреннее карабканье, подъем на внутреннюю высоту, с которой drobный мир схватывается одним Божественным узлом. Подлинное счастье неотделимо ото всего этого, от возвращения к цельности.

Нельзя удержаться на уровне, где встречаются острова счастья, оазисы счастья, без стремления выше счастья, без внутреннего усилия вверх по шкале ценностей.

Счастье — итог пути, который каждый должен пройти в одиночку. Даже счастье любви невозможно без одиноко накопленного чувства тайны. Рильке писал Цветаевой: «Боги обманно влекут нас к полу другому, как две половинки в единство. Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолуния». Это дорастанье можно продолжить вместе, но начинать — непременно самому.

Счастье творчества — в самом творчестве, даже без признания, без успеха. Счастье любви — в самой любви, даже без взаимности. Способность к этому — часть той тайны, которой обмениваются любящие.

Счастье любви, счастье творчества, победы над препятствиями — не кайф, а путь, сквозь боль и труд, как счастье матери.

Счастье — соединение внутреннего огня с топливом. Слабый

огонь гаснет без сухих щепок. Сильный огонь схватывает и сырые бревна.

Счастье грозит исчезнуть каждый день, и каждый день за него надо бороться. Две или три повести Грина кончаются словами: они были счастливы и умерли в один день; это редко случается в жизни. Невозможно уберечь счастье от ударов судьбы. Что делать, если Эвридику укусила змея? Из самого счастливого Орфей становится самым несчастным. Он идет в подземное царство, но Эвридику оттуда не вывести.

Когда на то нет Божьего согласия,
Как ни страдай она любя, —
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя...

(Ф. Тютчев)

Орфей выносит из Аида новое, более глубокое понимание жизни, полноты жизни, полноты счастья — сквозь смерть. Орфей выносит из Аида внутренний огонь не мыслимой прежде силы. Зрелая душа на все отвечает любовью.

Одного хасидского юродивого спросили: как это можно — принимать горькое как сладкое? Юродивый ответил: я не встречал в жизни ничего горького. Спрашивающие остоленели. Они видели больного нищего старика (его звали Зусей), но он был счастлив.

Я запомнил лицо женщины, которую показали по телевидению на одну минуту (шел опрос публики, как она справляется с инфляцией). Женщина ответила: «Я молюсь, и мне хорошо». Ее лицо сказало мне, что она не лжет. Ей было хорошо.

Есть тайный смысл в поговорке: «Дуракам счастье». В Евангелии некоторых дураков называли нищими духом. Блаженны те, которые опустошили себя перед Богом и Бог наполнил их.

Что значит счастье? Счастье —
это не я. — Исчезновение «я».
Совсем чиста душа моя, совсем
порожняя посуда, в которую
втекает чудо из половодья бытия.
«Не я, не я», а только это живое
половодье света, наплыв
проточного огня.
Есть только Он, и нет меня!
Вопросы? Но к чему вопросы,
когда костер души разбросан по
всем мирам, и угольки его то
здесь, то в поднебесье, — то

звездной россыпью, то смесью
лесов весенних и реки!..
О, этот ветер меж мирами,
раздувший маленькое пламя души
за страны, за края!
Великий ветер благодатный —
Мой дух... Так этот необъятный И
вездесущий — это я?!

(Зинаида Миркина)

Если не будем как дети — не войдем в царство. Но современная цивилизация не может допустить детей к атомному реактору. У пульта может стоять только человек, доверху нагруженный инструктивным знанием: что, как, когда сделать. Это инструктивное знание разрушает знание целого — совершенно так, как Смешной человек разрушил счастье своей планеты. Перегруженный инструкциями, потерявший за ними самого себя, человек ищет инструкций счастья, быстро действующих таблеток счастья (телевизор, секс, алкоголь, героин). Увлечшись таблетками, увлечшись идеей кайфа, он погибает.

Наше спасение — в глубине, где вовсе не каждый миг высший. На этой глубине человек, отбросив иллюзии, остается один на один с проклятыми вопросами, со страданием и смертью. Но я не променяю зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхивающее от нажатия кнопки. Я верю в зарю, и я не раз видел ее.

Счастье — это не суррогат жизни. Это сама жизнь — открытая глубине, со всеми ее бедами, но и с той силой, которую дает глубина. Бог, скрытый в глубине, не страшует нас от несчастий, но он дает силу переносить несчастья и, потеряв все, начинать жизнь заново. Продолжая путь, мы опять должны войти в темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на свет и обрадуемся свету, и эту радость будем нести сквозь тьму — до следующего взрыва света.

Авторитет любви

Мы живем среди обломков авторитетов. Сперва это показалось свободой. Теперь приходит понимание, что свобода неотделима от системы ценностей, от известного порядка подчинения низших ценностей высшим. То есть от иерархии. Но где найти иерархию, которая не исключает свободы?

Присматриваюсь к статьям, которые затрагивают роковой клубок вопросов: семья, школа, религия, культура, формирование личности, судьба России... Две статьи сцепились в моем сознании и подтолкнули писать этот отклик. Первая — статья С. Аверинцева о его опыте семьи в двух июньских номерах «Русской мысли» (№ 4131, 4132), вторая — статья Владимира Ошеров «В нравственном тупике» («Новый мир», 1996, № 9). Аверинцев сразу захватывает исповедальным тоном и не теряет его до конца, даже когда исповедь постепенно становится проповедью. Переход от исповеди к проповеди здесь не прием, не риторическая фигура. Так сложилась жизнь человека, очень необычная для его поколения. Сын старого интеллигента, к счастью, не расстрелянного и прожившего достаточно долго, Сережа в семь лет получил в руки Евангелие и рос в микроклимате, защищавшем его от советской власти. Совершилась прямая передача традиций чеховской интеллигенции в послесоветскую современность. Библейские цитаты вписываются в статью Сергея Сергеевича не из его обширной начитанности, а из сердца, из собственной глубины, в которую все это вошло задолго до начала его сознательной творческой жизни. С ним невозможно и просто не хочется спорить. Разве только дополнить. Ибо «нельзя на одном языке описать никакое сложное явление» (Нильс Бор. Цитирую по статье Никиты Моисеева: Литгазета, 1996, № 37).

То, что я пишу, — **дополнение** к эссе Аверинцева, бесспорного как опыт его жизни и его прочтения Библии. А спор — с Владимиром Ошеровым. Слишком мало в его статье опыта и слишком много принципов. Принципы, как говорят в народе, — глупая вещь. Ошеров прав, показывая глупость либеральных принципов, вдохновивших американские реформы законодательства о семье и школе. Но он не видит глупости консервативных принципов. Он так же охвачен иллюзией законотворчества, как его противники. И я надеюсь это показать; но прежде — мое дополнение к опыту Аверинцева. У него ничего не сказано о первой ступени любви, до семьи. Не только не сказано, а сознательно отброшено как что-то романтическое, субъективное, ненужное, если возродится жизнь в церкви. Нет ничего о встрече, об узнавании, об открытии, что с этим человеком хочется прожить до самой смерти.

Я не сомневаюсь, что при глубокой вере новобрачных само таинство венчания становится своего рода встречей, и чувство единой

плоти приходит само собой; меня трогает признание Аверинцева, что к нему оно пришло после 25 лет брака. Но я не могу смотреть на этот случай как на обязательный, обязывающий. В сердцевине жизни — в том, что называют частной жизнью, — нет никаких общих правил. Одни исключения, над которыми царит дух любви. Или дух отчуждения и ненависти, если любви нет. И мир героинь Петрушевской, которым бесполезно проповедовать Евангелие.

К числу библейских цитат, припомнившихся Аверинцеву, хочется прибавить еще одну. Ужасно несовременную. Современна церковность или секс. Одно вместо другого или одно пополам с другим, но только эти два. А я вспоминаю ни то и ни другое: «Ибо сильна, как смерть, любовь...» И древние книжники не ошиблись, включив Песнь Песней в Писание вместе с другими книгами мудрости. Хотя в страстной любви есть и свои опасности, и благочестивый страх перед нею можно понять так же, впрочем, как страх ко всему мирскому, от которого одно спасение — монастырь.

Между обещанием полета в небо, которое влюбленные читают в глазах друг друга, и действительной полнотой бытия, свивающего вместе небесное с земным, есть множество пропастей. Не только «стрелы огненные» ревности. Самое большое препятствие на пути любви, когда не остается никаких препятствий. По моему опыту за счастье в браке надо цепляться зубами, когда руки и ноги уже потеряли опору. Я писал об этом в эссе «Исповедь Ставро- гина и „Крейцерово соната“» и еще раз в «Записках гадкого утенка». Вряд ли мне теперь, в 78 лет, удастся пересказать это лучше, чем по сравнительно свежим следам. Но три человека, не сговариваясь, попросили меня это сделать, и я почувствовал себя обязанным перед читателями. Прошу прощения у тех, кто хорошо помнит мои опыты 70-х и начала 80-х годов, и повторю самое важное. Прежде всего, из книги «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990): «Позднышев подчеркивает роль своих привычек, приобретенных в публичном доме. Однако тема «Крейцеровой сонаты» древнее публичного дома. Она есть уже в мифе о зубастом влагалище. В шиваитской интерпретации мифа демон чувственности, Ади, рождается от брачных игр Шивы и Парвати. Подобно шаману, он может менять обличье и пол. Приняв облик Парвати, Ади хочет известить Шиву, но он разгадывает план демона. Молния Шивы проскакивает сквозь сомкнувшиеся зубы и убивает чудовище. После этого Парвати возвращается и семейное счастье божественной четы восстановлено.

Текст шиваитской пураны не похож на «Крейцерову сонату», но за обоими стоит, мне кажется, одно: синдром молодых супругов... Чувственность, раскованная браком, профанирует и разрушает любовь, отымает у любви ее святыню и сохраняет только привычную близость двух товарищей по постели. Без сдержанно-

сти, хранящей место для тонких и тихих движений сердца, связывающих человека с человеком, любовь гибнет, облако нежности рассеивается.

У героев «Крейцеровой сонаты» нет ни викторианской чопорности, ни поэтической меры. И ограничением становятся ссоры. Перестав разговаривать друг с другом, супруги отдыхают, потом (снова почувствовав желание) мирятся... За проблемой пола выступает еще одна: проблема эгоизма. Ни Позднышев, ни его жена не умеют взглянуть на конфликт глазами другого, перешагнуть через замкнутость на себе. Близость не сблизила их... Им не удалось восстановить в браке то чувство родного прикосновения, которое было у ребенка с матерью и должно заново сложиться у супругов (как сказано в Книге Бытия: «Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей»). А без этого родного прикосновения, без общей души семьи — оболочка семейной жизни тягостна и враги человеку домашние его.

История семьи Позднышевых — это воронка нарастающей враждебности, углубляющейся трещины брачной жизни. Половая энергия женщины резко меняется в зависимости от ее плодovitости. Когда Позднышева носит, кормит, не спит ночей с больным ребенком, роль любовницы ей часто неважно, и ее перенапряженная нервная система становится источником истерических взрывов. Но в другие периоды устает муж. Прямо это нигде не сказано, но жалобы Позднышева иногда напоминают Агура, сына Иакиева, слова которого включены в книгу притч царя Соломона (гл. 30, стихи 15 и 16):

«У ненасытмости две дочери: „Давай, давай!“ Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: „Довольно!“ “ Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: „Довольно!“...»

Пока Позднышевы молоды и плодovиты, периоды мужского перенапряжения уравниваются циклами беременности, родов, кормления. Но потом жена перестает рожать, а муж стареет. Позднышев чувствует облако желания, которым окружена его жена, им же разбуженная, выведенная из равновесия девственности и оставленная без любви. Он смутно угадывает, что ей нужно что-то вроде музыки прикосновения, а не только привычные чувственные отношения, и в то же время сводит дело к порочному капризу и к красным губам Трухачевского. Он, не сознавая, знает, что не было у него никогда отношения к своей страстной силе как к материалу, из которого должна быть создана духовная мелодия, — и с ненавистью угадывает в музыке то, чего ему не хватало».

Критическую часть моего анализа подтвердила на современном материале Татьяна Клименкова в ее интервью, опубликованном «Общей газетой» (1996, № 43): «Культивирование идеала мужчины

в образе „гиганта большого секса“... ведет к „чрезвычайной невротизации людей“. „Мужчину можно только пожалеть“. Маскулинная культура создала такой образ эталонного мужчины, соответствовать которому весьма трудно. Он должен быть сильным, он должен быть добытчиком, он должен быть агрессивным. А каково требование: „Делайте *это* триста раз в го-ду!“?.. (цитата из „популярной молодежной газеты“. — Г.П.) Это же какой должен быть гигант, чтобы совершить столько подвигов за 365 дней! Не по этой ли причине невиданное распространение получили мужские неврозы, импотенция, короткая и все укорачивающаяся жизнь — зашифрованная мольба о пощаде существа, которое вот-вот рухнет под непосильной ношей».

«Мы наблюдаем все признаки крушения патриархальной культуры. Она держится из последних сил, на чрезвычайной невротизации людей». Я склонен согласиться с г-жой Клименковой, что нынешний нравственный кризис имеет очень глубокие, древние корни. Продолжу из того же моего эссе, с постоянным акцентом не на сам кризис, а на **выход из кризиса**: «Аскетическое христианство Средних веков вознесло материнство и принизило любовь мужчины и женщины. Но если говорить о возможностях извращения, то они есть и в материнской любви. Мать может любить слепо, безнравственно, любить убийцу, насильника, негодяя. Во встрече мужчины и женщины больше возможностей духовного выбора. Половая любовь может быть порочной... но она может быть и чистой, непорочной, святой, может быть созерцанием вечного света в другом, как в иконе, прикосновением к нему, как причастию. Ранке говорил, что все эпохи находятся в самостоятельном отношении к Богу. Так и здесь. Близость мужчины и женщины и любовь к детям — две сферы, каждая из которых находится в самостоятельном отношении к Богу. Владимир Соловьев, споря с Трубецким о смысле любви, толкует христианство лучше, чем Лев Толстой».

В «Снах земли» (глава «В сторону Иры» и в «Записках гадкого утенка» (М., «Московский рабочий», 1998; М., РОССПЭН, 2003)) я пишу о том же своем опыте, просвечивающем через анализ текстов, в открытую, от первого лица. Я признавался, что подняться под визгом снарядов, разрывавших людей на части, мне было **много легче**, чем сказать любимой женщине: не делай тихого знака,

что ты хочешь сейчас всего... Продолжая любить Иру Муравьеву, я хотел, чтоб и она чувствовала это в каждом прикосновении, я хотел такой близости, о которой писал Шелли (в моем переводе: «Если жизнь нас разлучит, мы встретимся в смерти, соединив наши последние вздохи»). И я стал думать, как использовать свою умеренную страстную силу не на манер дурака, орущего на площади, а как флейтист, у которого дыхание становится музыкой.

Несколько лет спустя — уже после смерти Иры — приятель со смехом рассказывал мне о письме Шопена Жорж Занд: дескать, в ноктюрне он передал музыку только что проведенной с ней ночи. Приятелю это казалось странным до смешного: музыка и это! Я подумал: «Ну и дурак же ты!»

У Ковальджи есть такие стихи: «Девочка — веточка, женщина — скрипка». Можно заменить эту метафору другой: парного танца и т. п. Но чем-то скрипка мне дорога. В ней скрыта музыка. Господство мужчины в близости очень условно: он, так же как и женщина, подчиняется инстинкту, или, так же как и женщина, исполняет свою роль под образом вечности. То есть разгадывает ту музыку, которая уже заключена в женщине, в ее душе, неотделимой от ее тела.

Мужчина и женщина — глубоко другие, во всем философском смысле другого. В мужчине больше возможностей развития в **разных** направлениях, он больше может успеть в любой почти **отдельной** области, но почти всегда за счет целого, вплоть до разрушения целого. Отсюда потребность восстанавливать свою цельность, отсюда влечение к вечно женственному. Женщина настолько же превосходит мужчину в цельности, как он ее — в развитии. (Я говорю, конечно, не об отдельных людях, а о статистике.) В женщине дух неотделим от тела, любовь от материнства, ум от сердца. Китайцы нагрузили огромным метафизическим смыслом символы инь и ян, хотя в первоначальном своем смысле инь — влагилице, ян — член детородный. А в просветленном смысле — нечто вроде ипостасей Дао, Пути вселенной. Ибо дух воплощается, становится плотью, и плоть может стать причастием духу.

Этого решительно не понимали Дон Жуан и — заодно с ним — герои сексуальной революции. Либо они дураки, либо трусы. Дураки, если не понимают, что тайна женщины, как правило, не раскрывается в первую ночь, что к этой тайне надо иногда идти годами **с одной и той же женщиной**, все глубже ее разгадывая, вплоть до образа и подобия Божия, по которому мы все созданы. Либо же современный Дон Жуан — трус, испугавшийся порогов, через которые надо проплыть на пути к морю.

К счастью, традиция сохранила не только этот образ. Есть еще бессмертные пары: Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун, Данте и Беатриче... И в суфийской традиции, и в традиции бхакти, и в «Божественной комедии» любовь мужчины и женщины — один из путей к небу.

И я благодарен поэзии (включая и прозу), что она показала мне возможность встречи, научила дожидаться встречи и, дождавшись, не пропустить ее. Я убежден, что всякая подлинная встреча свята, где бы она ни произошла — в церкви или в аптеке.

«Сценка в аптеке. Женщина, очень милая на вид, лет сорока от роду, одетая плохо, по-рабочему, что, впрочем, не умаляет ее мягкую красоту, покупает аллохол, а мужчина лет пятидесяти говорит ей, как старой знакомой: „Ачтой-то вы аллохол берете? Печеночка?“ — „Да, что-то, — отвечает и она так же. — Тянет что-то!“ — „А ведь небось и не знаете, как его употреблять. Давайте-ка я вам расскажу все по порядку...“

И вот уже семнадцать лет рассказывает, усыновив ее мальчишку, который стал уже взрослым и сам женился. Внучка у них Анечка, и счастливые они, как если бы знали друг друга с детства. Он уже старик, да и она не молодая. Но рядом с ним просто молодка. Жизнь ее благодаря аллохолу повернулась к ней всеми своими радостями и засветилась радугой в дождистом небе. И он ей говорит иной раз в минуту расслабленности душевной: „Я как увидел тогда тебя, так понял, что мы наконец-то встретились. Ничего о тебе не знал — и в то же время все знал. Мне с тобой сразу легко стало. Боль душевная отлегла, и я успокоился. Я сразу знал, что у нас с тобой долгая жизнь впереди. Это как перед дальней поездкой: сборы, волнение, проводы на вокзале, а поезд тронулся — и есть захотелось. Ха! И усталости как не бывало. Так и мне с тобой. Все еду, еду, смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу. Ты очень разная! Все мне в тебе интересно, ей-богу, не вру. Нравится мне жить с тобой, а до тебя все не нравилось, все не по мне...“» (Семенов Н. Убегающий от печали. «Новый мир», 1996, № 9, с. 186. Это одна из лучших публикаций журнала.)

Тут самая главная фраза: «...смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу». В тебя, а не на тебя. Встреча пожилых людей надежнее. Молодость часто сбивает с толку то, что французы называют «чертовской красотой». Ранние браки — это **попытки** семьи, попытки с добрыми намерениями. Но благими намерениями вымощен ад. Что делать, если семейная жизнь стала адом? Пример — католическая семья в «Земляничной поляне» Бергмана. Аверинцев рассказывает о браке двух молодых людей, для которых духовная близость значила все и действительно стала всем, так что личный опыт естественно слился с опытом церкви. Но ранняя духовная и нравственная зрелость — не частый случай.

Мы живем не в том мире, где каждое поколение повторяет в самом главном отцов и дедов, а в потоке нового. Отцы и деды не пережили его и редко могут наставить, как пробраться сквозь перемены к вечной оси, вокруг которой вертится время. Приходится самому собирать себя — из жизненных впечатлений, из прочитанных книг, заставивших пережить чужую жизнь, как свою собственную, из волн музыки.

В 17 лет я понял, что меня еще нет, и поставил себе цель «быть самим собой»; этими словами заканчивалось сочинение на тему

«Кем я хочу быть». Я собирал себя сквозь 37-й год, сквозь войну, сквозь лагерь — и, пожалуй, только годам к 38 стал готов к встрече. А ведь сходятся, покоряясь влюбленности, в 18, 20 лет. Что делать, если перекличка двух пар глаз, двух душ, светящихся в глазах, оборвалась?

Здесь законы сталкиваются. Я был свидетелем спора между З. и ее приятельницей, отстаивавшей католический нерасторжимый брак. Для З. любая близость без любви была *духовно и нравственно невозможна*. Католичка жила в таком браке, и ее тянуло к новым приключениям. Она уговаривала саму себя.

Я думаю, хорошо то, что помогает росту души. Плохо то, что мешает. Очень многое дает встреча с другой душой, подхватывающей своей внутренней жизнью. Можно ошибиться (особенно смолоду), но если догадка была верна, то действительно возникает одна общая жизнь, о которой романтически наивно говорит формула Александра Грина: «Они были счастливы и умерли в один день». К сожалению, вторая часть этой формулы — возвышенный обман, но первая — правда. И счастье разделенной любви — это тепло, от которого раскрываются все почки в душе. Хрупкое тепло, если можно так выразиться. Особенно если ему не предшествует более трудное счастье, одинокое, способность радоваться и весне, и лету, и осени, и зиме. Но именно разделенная любовь создает облако любви, в котором раскрываются сердца детей. И хотя любовь никогда не для чего-то, всегда сама по себе радость, блаженство, благодать, — каждая счастливая пара вносит в мир свое тепло. А каждая несчастная — свои комплексы, свои неврозы, свои подавленные взрывы ненависти.

В шестнадцать лет я был призван в арбитры между отцом и матерью. Отец женился в тридцать четыре года с ясным сознанием, что с этой женщиной хочет жить всю жизнь, но так и не сумел завоевать ее любовь. Мать вышла замуж 18 лет «из уважения», потом стала актрисой, вышла совершенно в другой мир, и возвращение к брачным узам стало пыткой. До формального развода она уже несколько лет играла в киевском театре, а жили мы в Москве. Я вспомнил все ссоры, шедшие непрерывной чередой, и высказался за развод. Отцу было очень больно, он терял контроль над собой и рассказал мне много лишнего. Потом примирился и вспоминал только хорошее. Из лагеря я писал свои дозволенные письма ему, а он пересылал маме. Это тот опыт, который надо прибавить к опыту Аверинцева. Не противопоставить, а просто прибавить. Неверно, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Все и счастливы, и несчастливы по-разному. И в счастье, и в несчастье есть свои стандарты и есть свои неповторимые случаи.

К несчастным семьям и несчастным школьникам повернуто

внимание Ошерова. Но оно какое-то безличное. Эссе Аверинцева — голос, рядом с которым могут звучать другие голоса. Статья Ошерова — окрик: только так! Мышление Аверинцева, за исключением одного случая, который я оговорил, исходит из прямого чувства блага, из того, что есть. Мышление Ошерова чисто реактивно, оно повторяет знакомые рывки: справа налево и обратно, слева направо. Запад нашел равновесие «натиска пламенного» с «отпором суровым». Ошеров по-русски хочет «натиск пламенный», либерально-социалистические веяния, изничтожить «до основания, а затем...» Статья посвящена критике американского опыта, но напечатана в «Новом мире», в пример и поучение нам, и вызывает в памяти давно знакомый выкрик Белинского: «Нет, что бы вы ни сказали, я никогда с вами не соглашусь!»

Даже запрет пользоваться розгой вызывает сердитую воркотню: «Если точно следовать букве и логике этой статьи (речь идет о ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка. — Г.П.), дети не только могут игнорировать мнение родителей по поводу содержания школьных программ и множества других вопросов, но родители не имеют права и наклепать строптивое чадо по мягкому месту!» (с. 159).

Вспоминаются недавние прения в бундестаге по вопросу о телесных наказаниях. Социал-демократы были против, христианские демократы — за.

«Почему бы детям чуть-чуть и не бояться родителей? — пишет Ошеров. — Страх Божий всегда почитался одной из великих христианских добродетелей. В страхе самом по себе нет ничего дурного, не следует его путать с трусостью» (с. 159). Последнее верно: храбрость — не отсутствие страха, а полет над страхом. Все остальное, по-моему, путаница. Немецкий язык здесь против христианских демократов. Немец для богобоязненности употребил бы слово Furcht, а не Angst. Страх оскорбить святыню — нечто иное, чем страх порки. В Новом Завете неразличение двух страхов преодолевается: «Совершенная любовь изгоняет страх». И именно любовь вызывает «страх второго рода», боязнь оскорбить свою любовь даже нечаянной грубостью, нечаянным срывом.

Учить любовью, учить страхом **обидеть** труднее, чем отшлепать, но иногда все-таки удается. Меня так выучили в раннем детстве —

не бросать чашки с балкона и любоваться, как они красиво разлетаются на осколки. Охотно признаю, что в мягком воспитании бывают неудачи. Но Ошеров отрицает у либералов даже добрые намерения. Он видит только мотивы корыстные и злые. «Запрет на школьную молитву — прямое и недвусмысленное проявление враждебности к религии», — пишет Ошеров (с. 175). Не хватает только масонского заговора. Между тем посещаемость американских церквей *в несколько раз* выше, чем в Европе. Трудно пове-

рять, что все американские законодатели и судьи — воинствующие безбожники. И скорее всего, мотивом запрета общей молитвы было *уважение* к религии, к религии меньшинства, вынужденного присутствовать при *чужой* молитве.

Мартин Бубер вспоминает в своих автобиографических заметках: «В 8 часов утра звонил колокольчик, входил один из учителей и поднимался на кафедру, над которой на стене возвышалось большое распятие. В ту же минуту ученики вставали со своих скамей. Учитель и польские ученики крестились; он произносил символ веры, и все они вслух молились. Мы, евреи, стояли молча и неподвижно, глядя в пол, пока не разрешалось сесть...

Я не могу припомнить учителя, который не был бы терпим или не хотел казаться терпимым. Но ежедневное обязательное стояние в классе и слушание чужого богослужения действовало на меня хуже, чем мог бы задеть какой-либо акт нетерпимости. Это отпечаталось во всем моем существе» (The philosophy of Martin Buber. Ed. by P.A. Schlipp a M.Friedman. La Salle — L., 1967, p. 8).

Для Ошерова нет неразрешимых проблем, нет вопросов, с которыми люди быются веками, подходя к ним то так, то эдак. На все есть свой бесспорный ответ: плохо решала проблему абортсв Америка, хорошо — Германия. Там «в конституции страны ясно говорится о Боге, о высшем авторитете, стоящем над всеми мирскими, человеческими — научными, политическими, социальными, экономическими — и прочими интересами. Не случайно, например, в объединенной Германии абортсв были объявлены Конституционным судом *фундаментально неконституционными*. Причем за такое решение было подано подавляющее большинство голосов — шесть против двух. В своем решении суд заявил: „Женщина должна знать, что неродившийся ребенок имеет свое собственное право на жизнь“. И: „К абортсв можно прибегать только в исключительных обстоятельствах¹. Это не значит, что абортсв, сделанные в первые три месяца беременности, будут считаться преступлением. Но на них не будет распространяться государственная медицинская страховка. В итоге каждый действительно поступает согласно велению совести и несет *личную* ответственность за свои поступки» (с. 162—168).

Метафизически все концы сошлись с концами. А практически дело сводится к деньгам, к «иметь» и «не иметь». Имеешь — и тебя карает только совесть. Для менее состоятельных — огромная дыра в бюджете. А для бедных, да еще неопытных — неразрешимая проблема. А что значат «исключительные обстоятельства»? Почему восемь мужчин вправе решать, что для женщины абсолютно исключено? Я подозреваю, что все восемь судей (или по крайней мере шесть) — мужчины, и думаю, где у них совесть? Где была совесть у Леха Валенсы, наложившего вето на закон сейма, разрешивший

аборты?

В этом вопросе даже в книге «Папа римский Иоанн Павел II» автор ее, Елена Твердислова, позволила себе (единственный раз) свое женское возражение авторитету: «Можно, разумеется, оспорить некоторые позиции Ватикана, к примеру закон об абортах, хотя он по природе своей правомерен: должна изначально существовать ответственность за человеческую жизнь; но **закон этот бессмыслен и трагичен для стран, где материнство не обеспечено социально**, а только при таких условиях он может разумно действовать, иначе начинаются поиски его обойти, которые, как известно, заканчиваются бедой» (Твердислова Е. Папа римский Иоанн Павел II. М., 1995, с. 56. Выделено мной. — Г.П.).

Церковь вправе и обязана учить прихожанок, что аборт — крайняя, нежелательная мера. Но безнравственно пускать против женщин юридическую машину, сыщиков и полицию. Здесь нравственные импульсы сталкиваются. С одной стороны — жизнь зародыша. С другой — жизнь и здоровье женщины. В праве это называется коллизией законов: один запрещает, другой разрешает. Я думаю, что нам, мужчинам, лучше воздерживаться. Наша ответственность — в другом: позаботиться, чтобы подруге в момент близости не пришлось думать о последствиях, а потом (не подумавши вовремя) — как избежать последствий. В девяти случаях из десяти это на совести мужчины. И здесь моя совесть вступает в противоречие с Библией. Библия запрещает предупреждение беременности.

Однако почему церковь сохранила этот ветхозаветный запрет? Почему не отменила его вместе с субботой, обрезанием, покрыванием головы перед Богом? Потому что эллины и без истории Она на привыкли доводить половой акт до конца, а к обрезанию относились с отвращением, да и к другим еврейским обычаям. И Павел решил еврейскими святынями пожертвовать. Это вызвало раскол: не все ранние христиане согласились пренебречь прямым словом Христа: «Я пришел не нарушить (закон. — Г.П.), а исполнить». Иудеохристианство дожило до IV в. Но история решила спор в пользу Павла.

Мы подходим здесь вплотную к пониманию очень важной вещи: авторитет без внутреннего простора свободы так же хрупок, нежизнеспособен, как свобода без координат авторитета. Павел был искренен, когда писал, что умер и жив в нем Христос. Ия не сомневаюсь, что внутренний голос Христа разрешил пожертвовать очередной «буквой» во имя «духа». Но такие коллизии повторяются вечно. Пророки доходили до полного отрицания культа. Хотя культ был святыней, и ни одна религия без этой святыни не обходится.

В Средние века тяжелый кризис вызвала заповедь «Не сотвори себе кумира». Церковь учила десяти заповедям и сама с ними не считалась. Эллинам и римлянам нужен был зримый Бог. Первый шаг навстречу им был сделан уже в формуле: «Бога не видел никогда и никто. Единородный сын, сущий в недрах Отчих, — Он явил». И пока христиане оставались гонимым меньшинством, им хватало мысленного образа. У энтузиастов, готовых на казнь во имя веры, вся жизнь была сосредоточена на внутреннем образе Христа. Но все переменялось после Константина и Феодосия. Государственную религию приняли массы полуязычников. Им нужен был вполне зримый, чувственно зримый культ — с иконами и статуями. Меньшинство в любой культуре способно сжечь, чему поклонялось, и поклоняться тому, что сжигали; большинство консервативно и по-своему право. О нем говорит традиция культуры. Сталкиваясь с этнически чужой верой, культура вступает с ней в диалог, и прямой победы одного почти никогда не бывает. Церковь не отказалась от диалога с современностью V в. и создала новый живой культ.

Однако были племена, чуждые греко-римской традиции чувственно-зримой святыни. Таких племен немало (например, все арабы). И случилось так, что престол в Константинополе достался исаврийской династии, вышедшей из глубин Малой Азии. Опираясь на незыблемое слово Бога, продиктованное на Синае, императоры-иконоборцы запретили почитание икон и статуй. Греки пытались бороться с запретом. Св. Максим Исповедник провел различие между кумиром (идолом) и иконой (символом Бога без прямого подобия). Однако иконоборцев он не убедил. Помог случай. Гречанка Ирина, избранная за красоту, воспользовалась ранней смертью мужа-иконоборца, ослепила сына (лишив его таким образом прав на престол без смертного греха сыноубийства), короновалась в мужском роде василевсом и восстановила почитание икон. Иконоборцы, сопротивлявшиеся этому, были истреблены. Погибло около 100 000 человек. Что касается латинской церкви, то она просто выкинула «не сотвори себе кумира» из Декалога. Но ничего не помогло: протестанты, читавшие Библию в подлиннике, вернулись к авторитету Писания. И вот что любо-

пытно: средиземноморские народы остались верны культуре зримой святыни, протестантизм победил только там, где античность не оставила заметных следов. В столкновении заповеди с культурой победила культура.

Ошеров сожалеет, что американским детям не преподают десять заповедей. По какому Декалогу учить? Католическому (отредактированному в Риме)? Православному (с комментариями Максима Исповедника) или протестантскому без святоотеческих разъяснений? И как быть с иудаистами, мусульманами, буддистами? Они живут в христианской по своим основам цивилизации, но хотят оставаться самими собой. Америка — страна религиозных меньшинств, и она первая столкнулась с этой проблемой. Но постепенно в городах всех развитых стран складывается та же обстановка. Мы живем в неслыханно тесном мире с огромными скоростями передвижений и перемен. Каждый волен избрать в авторитеты пророческий монолог одной религии, но миру в целом не избежать диалога.

Современный эфир — диалог пророческих монологов, и постепенно таким же становится религиозное сознание. Государственная школа, общая школа не может вернуться к одному катехизису, просто игнорируя другие. Ей нужна книга — много книг, в которых одинаково сочувственно рассказывается обо всех великих религиях и сам материал подталкивает подростка к переживанию реальности единого Бога за всеми исторически сложившимися образами, но ни один не навязывается как безусловная реальность. Мы с Зинаидой Миркиной попытались написать такую книгу («Великие религии мира». М., 1995), она тоже вызвала недоразумения и обиды⁴. Нужны новые попытки. Жизненные потребности заставляют создавать суперэкуменическую книгу для школьников до того, как вполне сложилось экуменическое и суперэкуменическое богословие. О совершенстве здесь не может быть и речи, да оно и в идеале неосуществимо: процесс религиозного развития никогда не закончится, никогда не достигнет окончательных форм. Надо учиться жить в духовно открытом мире, находить новые духовные лекарства против новых болезней, искать пути восстановления цельности во все более сложном, все более дробном техногенном мире. Ибо суть дела в этом. Одно из имен Бога — Целое (имя, заново найденное Достоевским в «Сне смешного человека»).

Как противостоять лавине раздробленной и дробящей личности информации? Как противостоять силам, вытягивающим человека из его собственной глубины на поверхность, к голубому экрану?

Великие законодатели пережили Бога, познали его реальность и действовали не от себя, а «творили волю пославшего»... Но всякое

⁴ Которые мы попытались учесть во 2-м издании. М., 2001.

слово переносит нас из сферы абсолютной целостности в раздробленное бытие, где одна правда непременно противоречит другой. Всякое высказывание воли Божьей неполно и неточно, несет на себе отпечаток языка, времени, места, наконец — пола. Дух Божий по ту сторону всякой двойственности, но патриархи были мужчинами и считали превосходство мужчин чем-то установленным свыше. У евреев есть даже молитва: благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной. В нынешнем нашем мире это неловко звучит.

Советский опыт сталинских лет показал необходимость заповеди «не предай». Во времена Моисея она еще не понадобилась. Но уже в I в. в оставленную щель влез грех: на Христа донесли, что Он оскорбил величие Кесаря Тиберия. А потом умыли руки. У евреев, веками не имевших собственной власти, самый характерный образ зла — не Иван Грозный, не Малюта Скуратов, а доносчик (так и в романе Башевиса-Зингера «Раб»). Правдивый донос за грех не считался.

В Библии нет запрета употреблять наркотики. Это не значит, что Моисей и Христос наркотики разрешили. Просто им нечего было запрещать, не было в Палестине этого обычая, а в Индии он был, и Будда наркотики запретил. Жизнь религии — это процесс, в котором все время идет борьба духа со все более изощренным злом. Какие-то заповеди ветшают, какие-то возникают вновь. И понимание закона, заповеди тоже меняется. Буквальное исполнение табу, заповеди, закона уступает место нравственному творчеству, выходу из положения, в котором законы сталкиваются, противоречат друг другу (а такие положения все чаще). Идет диалог между законом и совестью (пример — суд присяжных, способный вынести приговор «не виновен» при явном и доказанном преступлении).

Идет и другой диалог: между религией в узком смысле слова и святынями, складывающимися вне этой сферы. Один из ведущих теологов нашего века, Пауль Тиллих, пишет: «Религия в самом широком и фундаментальном смысле есть предельный интерес... Он проявляется в сфере морали как безусловная серьезность моральных требований. Следовательно, если кто-либо отвергает религию во имя моральной функции человеческого духа, он отвергает религию во имя религии (далее то же повторяется о науке, об искусстве. — Г.П.)... Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, поскольку предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия. Религия — это субстанция, основание и глубина духовной жизни человека.

Но тогда возникает вопрос: как быть с религией в более узком и привычном смысле слова? Если она присутствует во всех функциях

духовной жизни, почему человечество развивало религию как особую сферу, в мифе, культе, поклонении, церковных институтах? Вот ответ: из-за трагического отчуждения человеческой духовной жизни от своего собственного основания и глубины. Согласно визионеру, написавшему последнюю книгу Библии (Откровение св. Иоанна Богослова. — *Г.П.*), не будет храма, ибо Бог будет во всем...

Религия открывает глубину духовной жизни человека, обычно скрытую пылью повседневной жизни и шумом нашего секулярного труда. Она дает нам опыт священного, того, к чему нельзя прикоснуться, что внушает благоговейный ужас, предельный смысл, источник предельного мужества. В этом слава того, что мы называем религией. Но рядом со славой мы видим ее позор. Она возвышает себя и презирает секулярную сферу. Она придает своим мифам и учениям, ритуалам и законам предельное значение и преследует тех, кто им не подчиняется (тогда как животворит дух, а не буква. — *Г.П.*). Она забывает, что ее собственное существование — результат трагического отчуждения человека от его истинного бытия (отчуждения, совпавшего с самым началом цивилизации, с разрушением культуры примитивно-целостной. — *Г.П.*). Она забывает, что возникла в качестве выхода из чрезвычайной ситуации» (*Тиллих Н. Избранное. Теология культуры. М., 1995, с. 240—241, (серия «Лики культуры»)*)).

Либеральные реформы — попытка отделить славу религии от ее позора. Попытки, сплошь и рядом ведущие к временному торжеству атеизма. Высшая сила, которую мы называем Богом, «предшествует всякому разделению и делает возможным всякое взаимодействие, потому что она точка тождества, без которого нельзя помыслить ни разделение, ни взаимодействие. Это относится главным образом к разделению субъекта и объекта, а также к их взаимодействию как в познании, так и в действии. *Prius* (предшествующее. — *Г.П.*) субъекта и объекта (абсолютно целостное. — *Г.П.*) не может стать объектом, с которым теоретически и практически соотносится человек как субъект. Бог — не объект для нас как субъектов. Он всегда то, что предшествует этому разделению. Но, с другой стороны, мы говорим с Ним, мы действуем по отношению к Нему и не можем избежать этого, так как все, что становится реальным для нас, вступает в субъектно-объектную корреляцию. Из этой парадоксальной ситуации возникло наполовину

богохульное мифологическое понятие „существование Бога“. И отсюда пошли бесплодные попытки доказать существование этого „объекта“. Атеизм — разумный религиозный и теологический ответ на это понятие и на подобные попытки. Это было хорошо известно наиболее глубокому благочестию во все времена. Поражает атеистическая терминология мистицизма (например, „и Бог преходит!“ у Мейстера Экхарта. — *Г.П.*). Она ведет за пределы Бога к безусловному, трансцендируя всякую фиксацию божественного как объекта. Но мы находим то же самое ощущение неадекватности всех ограничивающих имен Бога и в немистической религии (опирающейся не столько на непосредственный опыт причастия Богу, сколько на авторитет. — *Г.П.*). Подлинную религию невозможно представить себе без элементов атеизма. Не случайно, что не только Сократа, но также евреев и ранних христиан преследовали как атеистов. Для приверженцев „сил“ они были атеистами» (там же, с. 253).

«В этом смысле всю историю религии можно рассматривать как борьбу за религию конкретного духа, борьбу Бога против религии („буквы“ религии. — *Г.П.*) внутри религии. И эта формула — борьба Бога против религии внутри религии — могла бы стать ключом к пониманию чрезвычайно хаотичной (или по крайней мере кажущейся хаотичной) истории религии» (там же, с. 449).

Внутренний авторитет ведет нескончаемый разговор с внешним. Иногда они приходят в согласие (как в эссе Аверинцева), иногда решительно сталкиваются, и тогда решают внутренние «присяжные». С почтением к закону, но не забывая, что формально правы были Каиафа и Анна, а не Христос.

Открытое общество — это общество открытых вопросов. Их вызов нельзя упразднить. Надо ежедневно искать новые ответы на новые проблемы.

Бог — это любовь. Бог — это совесть, голос, который мы слышим в тишине, в молчании, в созерцании целостности природы, в созерцании иконного искусства (то есть не только икон, но искусства иконного духа), в переживании книг, которые будят совесть, в припоминании детской и отроческой боязни оскорбить любовь. Единственный бесспорный авторитет — это авторитет любви. Этот единый и нераздельный дух любви — к родным людям, родной стране, к творческой силе, создающей родство, — надо хранить, поддерживать, как хрупкий кустик, которому угрожает много-много барашков (я продолжаю здесь тему, начатую Аверинцевым, но делаю это языком сказки Сент-Экзюпери).

Если не будет сознания важности этого, если не будет помощи в этом, никакие законы не спасут, ни либеральные, ни консервативные. И больное общество будет рождать своих могильщиков.

Истина диалога

Говорят, что истина рождается в споре. Это и так, и не так. Новый подступ к истине, веточка, брошенная в перенасыщенный раствор и сразу обрастающая кристаллами, часто падает откуда-то в тишине, в одиноком созерцании, и в споре только граниится, рассыпается на множество частных истин, как истины Евангелия в богословском диспуте. Но бывают разговоры, в которых дух истины витает над всеми репликами, и здесь действительно что-то рождается. Это и есть диалог, спор, в котором новое, рожденное сейчас, признается выше всего, рожденного ранее и вынуженого из запасов памяти.

Такие диалоги вел Сократ. Этому научился у него Платон. На старости лет он, к сожалению, увлекся логическим развитием идеи и сохранил диалог только как оболочку философской истины. Диалог не выстраивает никакой системы, не дает никаких инструкций. Он дает *чувство* истины, высшей истины, связывающей спорщиков. В этом смысл *перехода к диалогу*, провозглашенного II Ватиканским собором. В этом дух философии диалога, разработанного Бубером, Марселем, Левинасом и Бахтиным.

Наше время — одно из тех, о которых говорил Кришна в «Бхагават Гите»: «Когда падает добродетель, когда торжествует порок — тогда я воплощаюсь!» Но мессия уже приходил. И Будда уже приходил. И я не могу себе представить новых, глубже прежних. А если не лучше и не глубже, то старых нельзя просто отодвинуть, как Христос — греческих богов. Христос останется в святая святых, и Будда останется. И поклонники Будды и Христа по-прежнему будут поклоняться Будде и Христу. Возможно только дойти до глубины, в которой откроется Дух, веющий всюду, и выйдут из забвения слова Христа: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух». Хула, которой часто грешат ревнивые исповедники *своей* веры, не замечая Святого Духа в чужих одеждах.

Наше дело — идти по выбранной дороге, но не хулить чужие дороги. Они расходятся в долинах, а наверху сходятся и совершенно сливаются там, где время становится вечностью, а пространство — точкой целого. И почувствовав эту точку в груди, мы чувствуем любовь к другому, идущему другим путем, и не даем ревности и ненависти отвлечь от пути вверх.

Баха-Алла не был самозванцем, и теософы не сделали, если можно так сказать, «кадровой» ошибки, избрав в мессии Кришнамурти. Но когда Кришнамурти достиг зрелости, он отказался от своего звания. Он понял, что оно противоречит духу времени.

А успехи бахаизма очень невелики. Огромное богатство духовных путей, накопленное «старыми» мировыми религиями, удерживает в их кругу, несмотря на трудности в толковании древних символов веры. Старые мировые религии тысячами нитей связаны с культу-

рой своих регионов, а бахаизм противостоит им как отвлеченная религиозная *идея*, та же идея монотеизма без старых, но прекрасных икон, старой музыки и т. п.

Творческие меньшинства разных культур может объединить только дух диалога, дух понимающей переключки вероисповеданий, дух любви, внушившей Владимиру Соловьеву его статьи о Талмуде и Магомете. Не каждый способен писать такие статьи, но я считаю религиозным долгом *знакомство* с другим: оно помогает любить. Нет любви к Богу без широкой, охватывающей весь мир, любви к другому. Св. Силуан писал: «Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, — не христианин».

Через понимание другого приходит и понимание самого себя. Мне, на пути самоучки, это помогло осознать то, что я смутно чувствовал. Другим это помогало осознать скрытые, дремлющие возможности своего вероисповедания. Александр Мень распространил среди своих духовных чад католический катехизис — чтобы знать другую ветвь Вселенской церкви и не судить о ней свысока; при этом переход одного из духовных детей в католичество его глубоко огорчил — как свидетельство поверхностности, суетности, предпочтения одних букв другим — вместо движения от буквы к духу.

Я говорил о диалоге — но мог бы говорить о духовном хороводе, о духовном кружении, в котором Отец становится Сыном и Сын — Святым Духом, прошедшим сквозь смерть и прильнувшим к Отцу. Так это написано красками в «Троице», и я верю в интуицию Рублева. В иудаизме и исламе я вижу религию Отца, в христианстве — религию Сына и в буддизме — религию бесплотного, веющего всюду духа, разрушающего все ставшее, рожденное, сотворенное. Я чувствую все эти религии ветвями одного дерева.

Диалог в политике — это прислушивание к другому и поиски компромисса. Диалог в искусстве — любование другим и превращение чужого в свое. Диалог в религии — поиски пути вверх, на высоту, где буква теряет силу. Бубер, исповедник иудаизма, любивший Христа как последнего пророка Израиля, рассказывает о своем споре с христианином — кто лучше понимает Иисуса из Назарета. После ответа Бубера «христианин встал, я также стоял, — вспоминает Бубер в „Диалоге“». — Мы посмотрели в глаза друг другу. „Забыто“, — сказал он, и мы братски обнялись в присутствии всех. Выяснение отношений между евреями и христианами превратилось в союз между христианином и евреем, и в этом превращении совершился диалог. Мнения исчезли, произошло во плоти фактическое».

«Мне можно возразить, — продолжает Бубер свой рассказ, — что там, где речь идет о существенных, „миросозерцательных“¹

взглядах, разговор *нельзя* обрывать таким образом... Я отвечаю: Ни один из спорящих не должен отказываться от своих убеждений, но... они приходят к чему-то, называемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы...

Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддерживать Цвингли, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божье настолько проникло в души людей, что они способны познать его однозначно и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божье подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит... Я могу говорить только о свете, но не могу показать камень и сказать: вот он. Однако различие в вере не следует считать только субъективным... Изменилась сама ситуация в мире... Изменилось отношение между Богом и человеком» (все цитаты по моему предисловию к книге: Бубер М. Два образа веры. М., 1995, с. 8).

По Буберу, само предстояние перед Богом реально только как диалог. В мае 1914 г., обдумывая свой разговор сученым пастором Гехлером, веровавшим буквально в пророчество Даниила, Бубер внезапно осознал: «Если вера в Бога означает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю в Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в Бога... Бог, который дал Даниилу... предвиденье... не мой Бог и вовсе не Бог. Бог, к которому Даниил взывал в своих мучениях, — это мой Бог и Бог каждого» (там же, с. 4). Другими словами, Бог — это реальность, которая раскрывается в молитве и исчезает в «объективном» мышлении, в суждениях богословов, которые исходят из принципов и ненавидят тех, кто не разделяет их принципов. Так, одна моя знакомая, женщина, по натуре добрая, ненавидела Льва Толстого («Толстой — гад», — говорила она), ненавидела Лютера, расколовшего единство католической церкви. Ненависть добрых людей вдохновляла *дела веры* Средних веков (в обратном переводе на испанский — ауто да фе).

Это не значит, что не надо иметь никаких принципов, никаких убеждений. Человеку нужны инструкции — как быстро и организованно действовать в критической обстановке. Но в тишине мы сознаем, что целостная истина — по ту сторону принципов. И один из подступов к ней — диалог.

Однажды на даче завязался горячий общий разговор. Я никак не мог вставить свою реплику — и вдруг почувствовал, что она перестала меня занимать. Захватило что-то новое, рождающееся; я привязался к этому новому, еще не рожденному, и стал помогать ему родиться, а свою реплику положил назад в сундук памяти. Чем было рождающееся, я не помню. Главной новостью был дух диалога — не как формы поиска истины, а как формы самой истины.

Недавно мне попало на глаза эссе, в котором Сергей Воронцов разбирает незаконченную статью Баратынского о разговоре. Приведу оттуда отрывок: «Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть взаимною доверенностью и совершенною свободой, — не есть светская перемолвка». Он будет тем «полнее», чем полнее его участники чувствами, мыслями, сведениями. «Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и возможно полная книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как можно лучше: разговаривающие желают как можно лучше наполнить известный промежуток времени тем же самым изделием». Для обоих нужно особенное (одно и то же?) дарование. «Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее, *разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях* (курсив мой. — Г.П.). Что развлекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с красотой, физиономией, отличной от красоты их и физиономии на бумаге». Когда возникает «общий вопрос», то поскольку «обозревать его можно различно», к обыкновенным условиям разговора «я прибавляю *искреннюю и религиозную любовь к истине, сколь возможно ослабляющую упрямую и самолюбивую привязчивость к нашим собственным мнениям потому только, что они наши*» (курсив мой. — Г.П.). Такой разговор — «*дитя какого-то душевного брака и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, следовательно, не принесет своего плода* — возможно полного разговора» (курсив мой. Воронцов цитирует книгу: Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987, с. 254-255. - Г.П.).

О таком диалоге говорил Бахтин, анализируя роман Достоевского. В студенческие годы я понял мысль Бахтина поверхностно: будто роман Достоевского вообще лишен единой точки зрения, будто он похож на парламент, в котором автор играет только роль спикера. Только лет через 30 мне бросилось в глаза, что в центре романа — молчащий Христос, и все герои кружатся вокруг Него, по-своему пытаются превратить в слово Его молчание, и этот общий порыв подводит к мерцающему во мгле свету, к огненным следам, прочерченным метеоритом. Когда я дал Бахтину прочесть «Эвклидовский разум», он похвалил текст. Думая, что ничего нового я ему не сказал, что он сам угадывал что-то подобное. Достоевский раскрыл тайну своего романа в разговоре Великого инквизитора с Христом, дал нам в руки ключ, и, конечно, Бахтин этот ключ брал в руки. А не сказал всего — потому что время не пришло. Должно было пройти полвека...

Глубинное понимание — это не решение математической зада-

чи. Это кружение вокруг непостижимого, медленно, век за веком приближаясь к центру. Откровение приходит за откровением. Один за другим приходили пророки Ветхого Завета. Одна за другой накатывали волны бхакти. И Евангелие — не последний христианский текст. Величайший уровень глубины был сразу достигнут Христом, достигнут Буддой, но слова их принадлежат языку времени, и новые времена находят новые слова. Слова принадлежат пространству культуры и окрашены особенностями этой культуры — особенностью Индии, особенностью Иудеи. Вечен только дух, тленны все буквы, даже в заповедях, вышедших из уст Бога.

Привязанность к букве, смешение слов с полнотой истины привели Европу к тяжелому религиозному кризису XVI—XVII вв. За яростью религиозных войн пришло похмелье, цельность веры рухнула, уступила место амальгаме из христианства и гуманизма. Доля христианства в этой амальгаме менялась. Для романтиков она возрастала. Для просветителей и позитивистов падала. В конечном счете современную цивилизацию часто называют пост-христианской. Веру в традиционном смысле, исповедание известных символов веры размыывают, с одной стороны, наука, а с другой — мельканье разных образов веры, сложившихся в разных культурных мирах. От этих сдвигов никуда нельзя уйти. Можно только попытаться свести мелькающие образы в стройный хоровод и понять духовный хоровод как образ целостно-вечного, понять мудрость народов, еще не потерявших своего древнего, доисторического наследия. Они превосходят нас в цельности духа. Не надо ничего изобретать заново. Все элементы нового духовного космоса уже налицо. Остается только соединить их воедино, и все живое останется в живых.

Умерло то, что можно назвать архаической астрономией, архаической наукой. Нет плоской земли с твердым верхом и низом. Нет хрустальных сфер, за которыми живет Бог. Есть бесконечное пространство и время, и место Бога по ту сторону пространства и времени.

Оттуда, из непостижимой точки вечности, Он входит в наш мир. Есть понимание пространства и времени, как вечности, вывернутой наизнанку. Есть понимание света, который можно пере

жить, почувствовать в груди, но нельзя описать точным научным языком; только метафорами поэтов или молчанием мистиков.

Умерло отождествление Бога с писанием, текстом. Это сильнее всего бьет по иудаизму и исламу. Но выход есть и для иудеев — его показал Бубер. В исламе по сходному пути шли суфии. Сегодня среди мусульман задает тон война с современностью, и бомбы хесболла пытаются взорвать — начиная с Израиля — всю современную цивилизацию. Придет время — и эта волна схлынет.

В каждой религии есть духовно открытое меньшинство и есть свои твердолобые, боящиеся потеряться, повиснуть в пустоте, если расшатано прямое, буквальное значение слова. Оставим мертвых погребать мертвых, будем вести разговор живых с живыми. Язык этого разговора — язык любви. Бог в этом разговоре есть любовь. Для христиан — любовь Христа. Она важнее, чем лик Христа, лик Иисуса из Назарета. Попад на другую планету — в другую культуру, отдаленную от нашей, как Марс от Земли, — можно нести с собой только дух любви. Достоевский очень любил лик Христа. Но он понимал, что на планете Смешного человека Иисуса из Назарета не было и бесполезно говорить о нем. Иисус из Назарета принадлежит нашему миру. В других мирах приходили и будут приходить другие воплощения духа любви.

Дух любви един в вечности и разделен в пространстве и времени. Превосходство принадлежит той религии, которая в это время и в этом месте полнее верна целостно вечному духу. И пусть это превосходство видят другие, а мы будем думать о своих нерешенных задачах. Нерешенных, несмотря на все наше великое наследие.

В одном из своих интервью Семен Липкин рассказал о кружке верующей молодежи в Одессе 20-х годов. Там были иудаисты, православные, католики, лютеране. Их объединило то, что они верили в Бога. Догматические различия не мешали дружбе. О них не спорили. Их просто не обсуждали. Кругом были безбожники, а они — верили. Но ведь сегодня мы, чувствующие действительность целостного и вечного, — чувствующие, а не только заставившие себя повторить символы веры, — такой же маленький островок, окруженный морем безбожия, не сознательного, идейного безбожия, а структурного, заложенного в характере современной цивилизации.

Ибо склад нашей цивилизации напоминает модель разбегающейся вселенной. Она непрерывно расширяется, уходит в дробь и теряет целостность. И человек не умеет уравновесить центробежное движение центростремительным усилием, почувствовать реальность Целого. Он остается в мире дробей, где нет Бога, и не

умеет связать дробность «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери).

Никто не придет к Отцу мимо меня, говорит Христос. Но что значит Я человека, сказавшего о себе: «Я и Отец одно»? Только дух любви. И христианин, желающий нести другим своего Христа, ничего не добьется, если не понесет, прежде лика Иисуса, дух любви. Только в этом духе Христос может стать своим для всех. Так же как Будда и Кришна Бхагават Гиты. Диалог верующих передает всем любовь каждого, учит любить то, что любит другой, и соединяться в любви ко всем воплощениям высшей святости. Так же как мы любим всех трех ангелов рублевской Троицы.

Не надо сравнивать, кто выше. «Не сравнивай, живущий несравним!» (Мандельштам). Как имя и форма, они неповторимы. Как дух любви, они одно. И потому еще раз повторю: «Всякому простится слово на Сына. Не простится хула на Святой Дух» (Лк. 12).

Не надо противопоставлять религии закона религиям благодати. Нет таких религий. В каждой религии есть «закон», структура, и есть порыв к благодати, смыслюющей все законы. И в каждой религии есть эпохи великого духа и эпохи законничества, обрядоверия. Сравнить надо взлет со взлетом и падение с падением. Тогда мы увидим, что у всех одни соблазны и одни победы над соблазнами.

Дух целостной вечности связывает всех верующих «неслиянно и нераздельно». Так же как он связывает всех любящих одну родину, любящих отца и мать и единых в этой любви. Все, что связано друг с другом неслиянно и нераздельно, обречено на диалог: мир веры, мир нации, мир семьи. Правило любящих — ставить себя на второе место, уступая первое другому. Только так торжествует дух любви.

Мучительный и зыбкий образ

Образ твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

Господи! — сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать...

О.

Мандельштам О Боге мы можем

только лепетать.

св. Василий Великий

Опыт христианской цивилизации после двух мировых войн похож на опыт Достоевского-каторжанина: вдруг раскрылись такие бездны мрака, такая непосредственная реальность зла, что душа, еще не веруя, рванулась от них к Богу как к противовесу, без которого мир тут же, на глазах, разваливается на части. У Достоевского таким

противовесом стал Христос. Мир красота спасет, скажет впоследствии князь Мышкин. Это не красота Настасьи Филипповны, не красота Грушеньки, а именно та, о которой Достоевский писал Фонвизиной в 1854 г., едва выйдя на волю; та, с которой Достоевский готов был оставаться даже вне истины. Это его *каторжное христианство*, по ту сторону богословия (православного, католического, армянского, лютеранского, какого угодно). Христианство Марии Магдалины, еще ничего не знающей о единосущности Сына Отцу, о нисхождении Святого Духа от Отца (или также от Сына) и т. п. тонкостях. Просто увидела Христа и пошла за ним.

Достоевский шел от Евангелия, а там нет никакой системы. Есть легенды о рождестве, рассказ о страстях — и бесконечный диалог Христа (целостной истины) с непониманием людей, застрявших в дробном мире. Ряд притч, из которых целое складывается только интуитивно, помимо логики. Нет системы, а есть союз души с Богом, на грани отчаяния, перед лицом апокалиптической тьмы, грозящей поглотить свет. Суть этого союза не в отдельных словах Христа, за которые цепляется разум, и не в историческом облике Иисуса из Назарета, а в духе Христа, в духе Божьем, который присутствует во всех великих религиях. И потому Достоевский так популярен среди людей нашего века, почувствовавших вызов тьмы, не православных и даже вовсе не христиан (в Израиле, в Японии). Союз с Богом стал необходимостью, союз через любой образ — освященный преданием или созданный поэтом, верным только самому себе.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя:
Узел жизни, в котором мы узнаны И
развязаны для бытия.
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет — паучок,
Разбирая на ребра, их сызнава Собирает в
единый пучок.
Чистых линий пучки благодатные,
Направляемы тонким лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Точно гости с открытым челом.
Только здесь, на земле, а не на небе. —
Как в наполненный музыкой дом,
Только б их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

(О. Мандельштам)

Здесь нет образа, имени Христа, но есть сущность того, что апо-

столы увидели в Христе, — образ света, который во тьме светит, и тьма не объемлет его. Можно найти любой другой образ — лишь бы что-то найти. И основная проблема нашего времени — как сделать это, как высветить точку в груди, где живет ум сердца. Как судить умом сердца принципы, руководящие действием. Как помнить, что лучше оставаться с Христом вне истины (вне принципов), чем с истиной (с принципом) без Христа, заглушив сердце, не помогая ему опомниться, давая страстям помрачить его и завалам памяти — похоронить под своими грудями. В том числе — и богословским страстям и грудям богословского мнимознания.

Помрачить сердце может и ярость, и вялость. Ярость, вызванная мировыми войнами, продолжилась в большевизме, нацизме, кипит до сих пор в Азии и Африке. И вялость, охватившая дух Запада, отшатнувшегося от возможности новых взрывов. Для постмодернистской культуры всякая убежденность, способная захватить собеседника, есть зло. Допустима только верность прихотям своего вкуса. Нет никакой сверхценности, никакого «во имя!». Элита замыкается в своей башне Иронии. Это очень чувствуется в современном искусстве.

Моя приятельница, А.Р., предложила простой способ отличать классическое искусство (хотя бы созданное только что, в наше же время). Достаточно вспомнить две строки Пастернака:

...здесь кончается искусство,
И дышит почва и судьба.

Классическое искусство сохраняет в себе что-то сверх искусства, что-то от древней нераздельности с религией. Постмодерн хочет быть чистым искусством. Ни почвы, ни судьбы. Только игра формой (словом, краской, звуком).

Есть элитные игры (семиотика — та же игра в бисер). Есть массовые игры (с компьютером, с телевизором). Обе ветви с одного дерева, корни которого очищены от земли, сохнувшие ветви. И элита, и масса бежит от почвы и судьбы, сушит ум сердца.

Как прорваться сквозь эту сушь? Какие слова заставят посох цвести? Бог — это любовь, но как *сказать* о любви? Попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви — написала Мария Петровых. Это не только о любви мужчины и женщины. И стихи Тютчева относятся не только к светскому слову:

Скрывай все то, чем ты живешь.
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими — и молчи.
Слово, став буквой (выговоренное, написанное), умирает. Буква

мертва. Буква передает только дробный смысл. Целое живет в ритме слов, кружащихся вокруг Бога, в непрерывном кружении, в потоке. В кружении, где ни один образ не сам по себе и только целое имеет смысл:

Я кружусь вокруг Бога, года и столетия
Вокруг башни... Так кто же я есть?
Сокол в небе, или бушующий ветер,
Или великая песнь?

(Р.М. Рильке)

Мусульмане не зря запретили переводить Коран. Слова, оторванные от ритма арабского стиха, уже не Божьи. Поэтический перевод Писания никогда не может быть вполне совершенным. Достаточно вспомнить нелепости, связанные с буквальным переводом первых слов Евангелия от Иоанна (логос — слово). Но главная беда в том, что и подлинник — только перевод (с Божьего на человеческий). И «то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом» (Св. Силуан).

Ли Бо — через тысячу лет после Лаоцзы — задал мудрецу вопрос: «Если знающие не говорят и говорящие не знают, зачем же ты написал трактат в пять тысяч знаков?» Но в «Даодецзин» есть ритм, есть сила потока, смывающего древний, инструктивный смысл отдельных слов. Парадокс (ложь в инструктивном плане, никуда не ведущая нелепость) становится отсылкой к целостно-вечному.

Во всяком священном тексте есть эта отсылка, есть эта магия подобий, парадоксов, внезапного замолкания перед тайной; и на волне магии — инструктивное слово, закон, заповедь. Ветхий и Новый Заветы — единое целое. Христос мог парить над законом, потому что стоял на его почве, опирался на Моисея. И Евангелие — чистый порыв к благодати. Но когда Павел вышел за рамки Закона, ему тут же пришлось создавать новый Закон. Ни в одной религии нет закона без благодати или благодати без закона. В каждой есть закон — и порыв к благодати. Пророки в Ветхом Завете, мистики в христианстве, хасиды в позднем иудаизме, суфии в исламе — все они рвались к благодати; и никто не отрицал закон.

Мохаммед дал простой жесткий закон — и одновременно дал толчок мистикам прорываться сквозь закон. Закон утверждал разрыв между Богом и человеком, никакого богосыновства, только покорность. А суфии утверждали полное тождество с Богом.

Законники объясняют Иову, что он наказан — значит согрешил. Законники в православии объясняют женщинам, что на том свете их встретит шеренга выкидышей, достигших облика мужей и жен 33 лет, и будут с укоризной смотреть на свою мать (тоже в

возрасте 33 лет).

Мистическая поэзия ничего этого не знает. Она просто кружится вокруг Бога. Приведу снова строфу Рильке, на этот раз — в поэтическом переводе З.Миркиной;

Как вокруг башни,
Кружусь вокруг Бога столетья И не
ведаю, кто же я есть:
Сокол в небе, или крылатый ветер,
Или великая песнь.

Истина целостно-вечного *опирается* на инструктивный смысл Писания. Истина *живет* в ритме текстов, образов, в паузах молчаливого созерцания. Я говорю о всей совокупности ритма: и звуков, и смыслов. Здесь священное и поэтическое нераздельны. Когда я пишу, я вычеркиваю фразы, имеющие частный смысл, вычеркиваю уточнения, чтобы сохранить ритм целого. Инструктивная мысль — ложь о целом. Чем более инструктивна мысль, тем дальше мы уходим от целостно-вечного. Сохранение ритма требует несовершенства в инструктивном.

Шнитке говорил Ивашкину: «Я нахожу, что очень многое в нашей речи страшно одномерно, плоско. Плоскостность, в частности, возникает и от того, что наша мысль привыкла выстраиваться в каком-то *выглаженном*, пространственно выглаженном измерении. Мысль имеет множество измерений. А мы все время как бы выпрямляем ее». Я чувствовал не раз что-то подобное. Каждая полноценная фраза дает целый пучок ассоциаций, целый пучок возможных продолжений; а мы все эти возможности обрубаем, кроме одного, чтобы мысль имела вид логически необходимой». Шнитке, как музыкант, чувствовал возможность мыслить полифонически, мыслить аккордами, сохраняя целые темы в перекличке многих звуков. Он продолжает: «Но бывают моменты, когда удается выглянуть из этой выстроенной мысли и заглянуть в совершенно другую духовную конструкцию.

Например, нет никакой абсолютной временной точки. Эта временная точка — лишь логическая абстракция. На самом деле, это, грубо говоря, аккорд точек, который длится не секунду, а часы и дни (когда прошлое длится в настоящем и в настоящем рождается будущее. — *Г.П.*). Одно и то же — оно не одновременно. Существует какой-то способ охвата этого в одновременности, но не в физическом мире (не в мире пространства и времени, а как бы ступив ногой в вечность. — *Г.П.*). И тогда можно представить секунду, в которой есть все — и прошлое, и будущее. Весь мир вдруг сворачивается в одну точку. А потом опять эти бесчисленные времена и места — расходятся, разбиваются, разворачиваются...

Какова природа этого ощущения? (спрашивает Ивашкин. — Г.П.). Воспринимаешь ли ты его как религиозное? Или оно присутствует повседневно?

Оно и присутствует, и отсутствует (отвечает Шнитке. — Г.П.). Оно может вдруг почему-то открыться, и я сам удивляюсь, что в эту секунду все понимаю. Но потом я могу все забыть» (Ивашкин А., Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994, с. 45—46).

Наш психический склад настроен на «трехмерный» опыт, на время и пространство, и выход в вечность, чувство времени и пространства как «вывернутой наизнанку вечности» (З. Миркина) часто бывает болезненным. «Может быть, это точка безумия, может быть, это совесть твоя», — писал Мандельштам. У Мышкина прорыв света целостной вечности каждый раз кончался эпилептическим припадком. Эту болезнь имел в виду Достоевский, когда писал, что больной человек ближе к своей душе. Но чувство реальности вечного — только угроза болезни. Судя по записке, которую Паскаль носил зашитой в подкладке камзола, жгучее чувство внутреннего света длилось у него два часа; у меня ранней весной 1958 г. — всю ночь до рассвета. Казалось, что еще немного — и сердце лопнет. Но избытка не было, сердце выдержало; наутро я, как обычно, пошел в библиотеку. Впрочем, страх смертельного избытка удерживал меня от повторения опыта. Я думаю, что учитель помог бы мне привыкнуть к измененному состоянию, преодолеть свою неприспособленность. Судя по книгам, которые я читал, такие школы существуют. Они как-то справляются с опасностью физических и нравственных срывов.

Нравственный срыв, связанный с чувством вечности, — гордыня. Гордыня личная, переоценка возможности своего опыта, и гордыня вероисповедания. Штейнер назвал личную гордыню люциферизмом. Человек начинает считать молнию, прошедшую сквозь сердце, своей собственностью или знаком какого-то особого избрания, богосыновства. По крайней мере двое наших современников в России считали себя Христом, Богородицей и т. п. Очень хорошо такие претензии разбирает Томас Мертон в страничках «О созерцании» (опубликовано в 70-е годы в «Вестнике РХД»). Читая Мертона, чувствуешь, что он сам переживал внутренний свет неоднократно, и веришь ему. Но литературы, предостерегающей от гордыни вероисповедания, практически нет. Опыт святых рассматривается как доказательство истинности той или другой догмы. Однако примерно то же переживали мистики всех культур. И я думаю, что все догмы всех великих религий истинны — как иконы, помогающие сосредоточиться на целостно-вечном, но не как то, что $2 \times 2 = 4$ или что вода кипит при 100 градусах.

Я не утверждаю, что между опытом Серафима Саровского и

опытом ал Халладжа, Рамакришны или Догэна нет *никакой* разницы, но думаю, что это вещи одного порядка, а не разных порядков и достоинств. Когда я читаю, что православная мистика — сердечная, католическая — головная, а индуистская — чревная, мне хочется напомнить снова Христа (в Ев. от Луки): «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух».

Во всех религиях мистики выходят за рамки веры в слово. «Я не верю, я знаю», — писал Св. Силуан. Если бы он не был канонизирован, неопиты дружно признали бы его еретиком. Между тем *знание* Силуана не противоречило вере святых отцов. Самые великие из них тоже *знали*. А буквы предания — только костыли для хромых. Пока они не научились проверять опытом букву предания и преданием — свой несовершенный личный опыт. Слова Василия Великого (о Боге мы можем только лепетать) перекликаются для меня со стихами Мандельштама: «Он опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьет».

Степень доверия букве Писания, наставлениям духовника и т. п. обратно пропорциональна глубине опыта. Человек глубокого опыта, смутившись, ищет покоя, углубляется в себя и находит решение (иногда в старых словах, иногда — в новых, только что родившихся). Человек неполного опыта ищет совета. И оба они правильно делают. Но есть иерархия правоты. Нелепо судить князя Мышкина за то, что он не ходил в церковь, не исповедовался, не причащался. Такой церкви, которая могла ему помочь, в Петербурге не было.

До сих пор не прочитана Книга Иова. До сих пор не понятно, почему Бог гневался на друзей Иова. И не понятно, в чем смысл ответа Бога, смысл взлета над всеми неразрешимыми вопросами, оставшимися на плоскости пространства и времени. Иов сумел взлететь. Но прежде, чем раскроются крылья, надо обрушиться в бездну — или самому в нее броситься. Нельзя поплыть, стоя на берегу. И хорошо плывет только тот, кто оттолкнулся от дна, кто потерял почву под ногами. Неофит боится глубин, боится бездны, и по-своему он прав: чувствует свою слабость. Но слабость — не основание для гордыни. Только дух, потерявший почву, проникший сквозь богооставленность, — достигает благодати, становится учителем и обновляет закон. Закон рождается в благодати — и дает рамки безблагодатной вере. Но в новом порыве эти рамки снимаются, и Августин дал охранную грамоту мистиков: полюби Бога и делай что хочешь.

Закон тверд, если любовь мала. Закон мягче, если любовь больше. Закон тает, как воск перед вспышкой огня, и снова твердеет,

когда вспышка гаснет. Потому что большей частью она не длится непрерывно. Исполнить первую заповедь — не так просто. И потому без закона не прожить. Со всеми конфликтами, которые вызывает закон. Со всеми преступлениями, которые вызывает бунт против насильственной, внешней власти закона (об этом писал еще ап. Павел). И со всеми столкновениями законов, опирающихся на разные откровения.

«Я не оспариваю существования абсолютно единого закона, управляющего миром, — говорил Шнитке Ивашкину. — Я лишь сомневаюсь в нашей способности его осознать. Утверждая последнее, я ломлюсь в открытые ворота — кто не знает, что наше знание относительно. В этом вопросе согласны все — и материалисты (надо бы сказать „агностики“. — *Г.П.*) и церковники. Но материалисты более последовательны, ибо под знанием они подразумевают ближайшее, т. е. разумное (по происхождению же — чувственное) знание. Церковники же, понимая, что знание надразумно, вне разумно (основано на откровении, а не на доказательствах. — *Г.П.*), — пытаются антропологически конструировать Бога на основе ложных и ограниченных разумных понятий. Для них существует единый монолитный Бог, наделенный их жалкими совершенствами и измеримый „священными“^{*1} числами (3, 7, 12 и т. д.), [но это] — отрывки оккультизма. Проблески иррационального неединосущностного понятия Бога, гармонически объединяющего номоса во всех религиях — ив индуизме, и в христианстве, и в буддизме, — почему-то не осознаны (это не совсем верно; неслиянное и нераздельное единство человеческой — дробной — и божеской — целостной природы в Христе — начаток такого осознания; и в самом понятии единой- сущности есть и тождество, и различие Бога и человека. — *Г.П.*).

Как можно смочь формулировать моральные догмы, когда даже физические законы относительны? Недалек тот день, когда вслед за относительностью времени и пространства будет развенчана последняя абстракция, орудие дьявола — число. Кто видел в жизни — единицу? Всякое отдельное миллионом нитей связано с другими отдельными и всеобщим. Может быть, числа объемны? <...> Может быть, единый Бог исходит из множеств (не переставая быть единым) (эта идея содержится в понятии вездесущности. — *Г.П.*). Наш “разум” не в состоянии вместить истину, лишь наше “сердце” может ее чувствовать. Может быть, Христос и Будда, и Магомет, и Зороастр... не враги? И не отдельные сверхсущества? И не единое существо? Может быть, в недоступном нам абсолютном мире *нет* числа, которое тем самым одновременно *есть*, и этот абсурд есть истина?» (Беседы, с. 232).

И все же мы признаем право непостижимого, уходящего в ту-

ман Бога диктовать нам заповеди. Ибо лучше несовершенный закон, чем своеволие незрелых умов. Но для зрелого ума заповеди — только установки, приоритеты в выборе решения. Нечто вроде презумпции невиновности в юриспруденции — пока не доказана виновность. Мы осуждаем бандита за убийство. Но мы не осуждаем полицейского, застрелившего бандита. Хотя сказано категорически, без оговорок: не убий. И тут же, в первых книгах Библии, эпическое описание массовых убийств, даже не на войне, а после войны. Не укради, но допустимы реквизиции и даже элементарное воровство допустимо, если альтернатива — голодная смерть. Это признавал Фома Аквинский. Это может признать суд присяжных.

Все рациональное несовершенно, даже данное в откровении, на последней волне благодати, когда рациональные различия вступают в силу. «Я пишу, потому что со мною благодать. Но если бы благодать была большей, я бы писать не мог», — свидетельствует св. Силуан. Писание, в том числе законов, возможно только при меньшей благодати. *Большая* благодать велит в частном случае преступить через закон. «Я пришел не нарушать, а исполнить», — говорил Христос, нарушивший субботу. Сын человеческий — господин субботы. И это — поправка к каждому праву.

Чем ближе к *большей* благодати, тем меньше возможности разума, тем больше роль метафоры. Такая метафора — икона XIV—XV вв. Такая метафора — стихи бхактов, суфиев, стихи Рильке... И не стоит пересказывать их прозой.

Центростремительные порывы

Мой друг, побывав в Голландии, рассказывал мне, что из местных богословов только один верит в Бога. Есть богословие как предмет преподавания, как научная дисциплина, есть интерес к этому предмету как части истории культуры, но веры нет. Я не знаю, насколько строго это соответствует фактам. Вера в Бога — не что-то однозначное, легко определяемое. Некоторые православные считают меня атеистом. Я знаю, что они ошибаются. Во всяком случае, исповедание какого-то символа веры сегодня очень расшатано. Об этом неоднократно говорил и Антоний Сурожский, беседовавший со многими священниками и епископами. Наконец, Европа сама себя назвала постхристианской.

Дикарь верит в то, что он видит, и видит то, во что он верит. Эту фразу известного этнографа Тейлора я цитирую по памяти и, возможно, изменил порядок слов, но от порядка здесь ничего не меняется. Мифы примитивных культур связаны с видениями и видения с мифами. Каждый индеец какого-то племени непременно видел своего духа-хранителя; когда увидел кое-что сам, не трудно

верить остальному, рассказанному стариками. В цивилизованном обществе этого не было даже в древности — по крайней мере, в интеллектуальных верхах. Екклесиаст сомневался. Иов сомневался. Павел противопоставлял «букву», то есть все Святое Писание, духу. Антоний Сурожский, один из немногих наших современников, имевших прямой религиозный опыт, считает сомнение неотделимой частью веры.

«На устах верующего может показаться странным утверждение — с таким вдохновением, с такой уверенностью — права человека не сомнение; на самом деле, это только другой способ выразить известную и всеми принимаемую мысль о том, что человек должен быть честным до конца, честным безусловно, с готовностью самого себя поставить под вопрос, свои убеждения поставить под вопрос. Это можно сделать, если мы верим, что есть нечто незыблемое, являющееся предметом нашего изыскания. Человек боится сомнения только тогда, когда ему кажется, что если поколеблется уже созданное им мировоззрение, то колеблется вся реальность, и ему уже не на чем стоять. Человек должен иметь добросовестность и смелость постоянно ставить под вопрос все свои точки зрения, все свое мировоззрение, все, что он уже обнаружил в жизни, — во имя своего искания того, что на самом деле есть, а не успокоенности и „уверенности“¹...

Один из писателей IV в., святой Григорий Нисский, говорил, что если мы создадим полную, цельную картину всего, что узнали о Боге из Священного Писания, из Божественного Откровения, из опыта святых, и вообразим, что эта картина дает нам представление о Боге, — мы создали идола и уже не способны дознаться до настоящего, Живого Бога, который весь — динамика и жизнь» (цитирую по книге вл. Антония «Человек перед Богом». М., 2000, с. 23-24).

Одним из первых шагов христианства было сомнение в законе, который Христос толковал по-своему, но никогда не отвергал. Закон использовался в полемике с христианами, а у них было новое незыблемое основание: Христос. И все, что противоречило Христу, стало сомнительным, неполным выражением истины. В латинской традиции мысль Павла выражена еще резче, чем в православной: буква убивает. Такую же эволюцию проделал буддизм, попав на китайскую почву. Для дзэнцев наследие Будды делится на две неравноценные части: во-первых, тот факт, что Будда пережил просветление (и оно доступно каждому); во-вторых, все остальное. Остальное, выдвинувшись на первый план, мешает. И «для спасения нужны три вещи: великая вера, великое рвение и великое сомнение в словах...».

Что же изменилось со времен Павла и Линьцзи? Изменились уровень массовой образованности и *характер* образованности.

Постоянная тренировка в анализе, без противовеса объединяющих идей, убивает чувство священной цельности.

Я встречал женщину, окончившую семилетку, работавшую бухгалтером и не знавшую, что земля вращается вокруг солнца. Услышав об этом от меня, она очень удивилась. Если бы ее учили закону Божию, она не стала бы задавать никаких смердяковских вопросов. Но средний бухгалтер знает, что Иисус Навин не мог остановить солнце. И хотя слесарь не держит в уме закон тождества, он привык разбираться в инструкциях и в своей области умеет аналитически мыслить. На этом основании и слесарь и бухгалтер, а также философ-позитивист, задумавшись, требуют, чтобы весь мир был разумно, то есть логично, объяснен; и делают ошибку, которую примитивные люди не делали: подходят с логическим анализом к тайне Целого.

Примерно две тысячи лет тому назад Нагарджуна показал, что любое логическое предложение — ложь по отношению к Целому. Я обозначаю прописной *неделимо* целое в противоположность «целому» как итогу, сумме. Это надо иметь в виду. Логика рассекает Целое на субъект и предикат, а затем их связывает (или разделяет). Между тем в Целом нет ни субъекта, ни предиката, никаких разрывов. То, что рассечено на субъект и предикат, уже не есть Целое. Несколько веков спустя Шанкарачарья высказал ту же идею в терминах своей адвайта-веданты: «Истина — Брахман, мир — это ложь, Атман и Брахман едины». Реально только Целое; мир отдельного — иллюзия, майя; цельность бытия постигается цельностью сердца.

Традиции Востока и Запада называют священную целостность разными словами. Но в любом случае ум может только подвести к вершине; вступить на нее он не способен. Людвиг Витгенштейн в своем «Логико-философском трактате» (М., 1958) писал: «Мистики правы, но их правота не может быть высказана: она противоречит грамматике». Джидду Кришнамурти сформулировал сходную мысль, переставив акценты: «Только неправильные вопросы имеют ответ; на правильные вопросы нет ответа». Можно ответить только на частные вопросы. Они не ведут к целостной реальности и по отношению к ней «неправильны». «Правильные» же вопросы, обращенные к Целому, остаются без ответа. Последняя реальность постигается только «безымянным переживанием»,

Одно из условий «безымянного переживания» (восстановления контакта с собственной глубиной, с «глубоким сердцем») — освобождение от идеи всевластия логики, от убеждения о пригодности логики для решения любого вопроса. Все формулы веры упираются в логический парадокс. Католицизм после Фомы Аквинского пытался обойтись без парадокса и осудил Тертуллиана, отверг его знаменитое изречение: «Поклоняюсь кресту, ибо это

позорно, верую в воскресение, ибо это бессмысленно»... Но никак не возможно было перечеркнуть Послание к Коринфянам: «Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: „погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну“¹. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие...» (I Коринф. 18—23).

В тринитарных и христологических спорах византийцы вырабатывали особое паралогическое мышление (я называл его иногда ипостасным или иконологическим). В его формах непостижимая целостность Бога может мыслиться, и целое, оставаясь целым, членится на аспекты. Эти аспекты были названы подстановками (гипостазис, в русском произношении — ипостась), и описаны отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом как единосущность и равночестность, а отношения между двумя природами Христа, Богом и человеком, — как неслиянность-нераздельность. Ипостасное мышление заменило старую мифологию и давало какой-то уточненный интеллектуальный образ единства единого и многого, целостности целого и частного. Однако народы никогда этих тонкостей не понимали, и когда византийская мысль (после последнего взлета в споре Паламы с Варлаамом) угасла, некому было ее продолжить. Удельная Русь не знала греческого языка и даже произносить греческих слов не умела; а Запад, захваченный блестящей мыслью арабских комментаторов Аристотеля, вернулся к закону тождества.

Ум, воспитанный схоластикой, рано или поздно должен был отвергнуть наследие греческого богословия, как царство абсурда. Неслиянно значит раздельно. Нераздельно значит слиянно. «Неслиянно и нераздельно» — не менее абсурдное сочетание, чем дзэнская ритуальная загадка, коан. Ум, направленный к миру частных вещей, и ум, направленный к Богу, взаимно абсурдны. Бог может быть воспринят и пережит только в полной духовной нищете. Логически организованное знание, в том числе богословское, здесь только мешает. Одно из условий, которые помогли св. Силуану погрузиться в поток благодати, было то, что он пришел на Афон с образованием в два класса сельской школы. Такую же роль сыграло отсутствие духовного образования у подростка Андрея Блума (будущего вл. Антония), когда он впервые взял в руки Евангелие и пережил незримое присутствие Христа рядом с собой. На конференции Сурожской епархии в июне 2000 г. митрополит, беседуя с участниками, воскликнул: «И как я рад, что церковь и

попы не испортили мне чувство Бога!» («Русская мысль» № 4327, 20-26 июля 2000 г.)

Живая жизнь глубокого сердца — величайшая редкость. И еще большая редкость — доверие сердцу вопреки стандартам вышколенного ума. Наша цивилизация убеждает нас, что истина — итог логически корректных операций с точно определенными терминами. Из этого следует, что ЭВМ умнее сердца. Дикари думали иначе. Они владели несложными приемами классификации, но отбрасывали логику, постигая мир как живое целое. Л.С. Сенгор очень верно сказал: «Негр думает, танцуя». Целое постигается, когдаходишь в какой-то ритм, в какое-то круженье.

На ранних уровнях культуры это было физическое круженье, хоровод. Иногда к нему возвращаются. Джелаледдин Руми основал орден пляшущих дервишей. Пляшут и хасиды, и некоторые христианские секты. Штейнер придавал большое значение эвритмии. Однако большая дорога культуры была иной. Физическое круженье уступает место символическому и мысленному. Томас Мертон посвятил целую книгу практике ежедневного пения псалмов Давида. Для меня огромное значение имеют иконы Рублева, средневековая живопись Дальнего Востока, музыка Баха, стихи Рильке, некоторые современные русские стихи.

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — по мне...
(Зинаида Миркина)

Эти стихи доносят до меня радость и страдание творческого духа. Но те же стихи могут промелькнуть в сознании, не задев, или даже произвести впечатление, но чисто эстетическое, без отношения к истине, освобождающей из плена пространства и времени, из затерянности в черной дыре гегелевской «дурной бесконечности», из муки нерешенного вопроса «о месте человека в бесконечности» (как это формулировал Паскаль). Но иногда «экзистенциальная» тоска приводила к «встрече» (любимое слово вл. Антония) или к «безымянному переживанию» Кришнамурти.

«Встреча» толкает к вере во встреченного и к церковности. Однако церковность человека, испытавшего «встречу», отличается от церковности того, кто только верит встретившему. Эта разница чувствуется уже при сравнении Второго Послания к Коринфянам с Посланием к Евреям. В Послании к Коринфянам на первом месте любовь, в Послании к Евреям — вера. Я начал наводить справки и выяснил, что Послание к Евреям встречается только в поздних списках; принадлежность его Павлу сомнительна.

Св. Силуан испытал встречу, «усвоил благодать» (то есть восстановил в себе чувство встречи как прочное состояние) и поража-

ет своим дерзновением: «Я не верю в Бога, я знаю Бога». Мысли, рожденные в опыте, он высказывает без всякой оглядки на книжное богословие: «Кто чисто молится, тот и богослов» (примерно в том смысле, как принято называть Иоанна Богослова и Симеона Нового Богослова); «то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом» (а если остается буквой, хотя бы и христианского писания, то она убивает). «Я сейчас пишу, потому что со мной благодать, но если бы благодать была большей, то я бы писать не мог...»

В последней фразе — простой констатации факта — неявно содержится мысль, что собственно встреча (и самая большая благодать, подобная встрече) — нечто несловесное, скорее чувство целостного света, святого огня, и слова приходят только на излёте благодати; когда лодка (по выражению другого человека, знающего, о чем он говорит, вл. Антония) уже не качается на волнах прямого опыта, а выброшена на песок. Я лично из этого делаю вывод, что пророчества и откровения суть как бы переводы с божеского на человеческий, преломление света прямого опыта сквозь личность, язык и культуру. Прочитать такие тексты «со Святым Духом» значит пройти обратный путь к свету *сквозь* слова и увидеть каждое слово как «подстановку» целого.

Однако путь к духовной свободе не прост. После ошеломившей его нечаянной *встречи* Андрей Блум нашел старца и без колебания принял все, чему старец его учил. В беседе от 8 июня, опубликованной в «Русской мысли» (см. выше), вл. Антоний рассказывает, что сомнения священников его сперва ужасали. Но опора на опыт встречи была надежной прививкой от фундаментализма. Буква не имела для Антония жизненного значения. Он постепенно учился отделять букву от духа, ежедневно рождавшегося заново в молитве. И достигнув возраста, когда нельзя больше ждать, вл. Антоний передает каждому свой опыт:

«Надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно... Бог рабов не хочет. „Я вас не называю больше рабами. Я вас называю друзьями...“¹ И мне кажется это страшно важным: что мы могли бы думать и с Ним делиться. Есть очень многое, чем мы могли бы делиться с Ним в новом мире, в котором мы живем».

Православие вл. Антония становится *диалогом* с Христом, подобным разговору Иова в ветхозаветным Богом, поиском живой благодати, в которой потонут карамазовские вопросы. Это выход, прежде всего, для тех, у кого уже был опыт встречи: «Нам нужны *верующие* — люди, которые *встретили* Бога. Я не говорю в грандиозном смысле; не каждый может быть апостолом Павлом (пережившим встречу по пути в Дамаск. — Г.П.), — но которые хоть в малой мере могут сказать: я Его знаю! И он, и она, и они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычай

иные...»

Однако как подойти к встрече? Встреча — открытие духовного центра, центростремительный порыв. А вся наша цивилизация настраивает двигаться вширь, продолжать безоглядное центробежное движение, стремительное нарастание сложности, и это настолько захватывает ум, что он не замечает катастрофических возможностей прогресса сложности. Простота цельности кажется чем-то неслыханным. И

...мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.
(Б. Пастернак)

По словам другого поэта, Чеслава Милоша, цивилизация Нового времени подменила призыв «ввысь» (сердца горе!) призывом «вперед». Это слово имело смысл, когда шло распространение цивилизации по поверхности планеты. Но физически растут только дети — взрослые растут духовно. Но задачи заселить космос у нас нет, и если мы выдумаем ее — все равно, бездну космического пространства нам не заселить. А на земле расширение цивилизации упирается в ограниченность биосферы. Вперед к экологическому кризису? Не хочется. Вперед к замене человека роботами, способными «жить» без кислорода и продолжать технический прогресс? Это, может быть, осуществимо, но зачем? Лозунг «вперед!» маскирует разворачивание *вширь*, от примитивной цельности и стабильности к нарастающей неустойчивости и балансированию на грани краха. Иосиф Бродский назвал свою поэзию центробежной. Он с упоением стремился войти в ритм нарастающей сложности и нарастающего темпа развития. Но от поздних стихов Бродского веет смертельной тоской.

Во всяком устойчивом, гармоническом движении центробежные силы должны быть уравновешены центростремительными, иначе планета сорвется со своей оси и унесется в ледяную ночь. Так и наша цивилизация, теряя «ценностей незыблемую скалу», привыкая к перманентному кризису, может незаметно для себя

оказаться на краю распада. Громятся социальные, экономические, экологические, этнические, экзистенциальные проблемы. Они неразрешимы до тех пор, пока человек не справится с самим собою, пока не восстановлено будет центростремительное движение во внутреннем мире, к собственной глубине, пока мы не научимся связывать «дробность» «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери).

В постановке этой задачи едины все великие созерцатели XX в. Томас Мертон — траппистский монах — пишет в своей книге «Мистики и дзэнские старцы»: «Что-то проясняет до ошеломления, когда говоришь с японским буддистом-дзэнцем и находишь, что между вами больше общего, чем с теми соотечественниками, которые мало заботятся о религии или проявляют интерес только к внешней ее стороне» (*Merton T. Mystics and Zen masters. N.Y., 1999, p. 209*).

Но что значит кучка людей против потока, рвущегося в пропасть. Можно понять то, что они говорят, на уровне слов, но наш современный ум не дает понять сказанное до необходимой глубины. Трудно пережить сердцем то, чему сопротивляется весь склад жизни. На это все время не хватает времени. Реальность, открывающаяся в глубине, «противоречит грамматике» (Витгенштейн). А верность грамматике не дает выйти из плена ослепляющих иллюзий.

Цивилизация сильнее одиночек. Впрочем, один человек и Бог — это уже большинство, заметил Ф. Бухман. И если альтернатива — катастрофа, и эта катастрофа не только во внешнем и в будущем; если она уже сегодня происходит во внутренней жизни миллионов людей, то какой-то шанс остается. Религия когда-то обновила древний мир. Она может обновить и современный мир. Но для этого ей самой надо обновиться, сделать шаг от периферии вероисповеданий, на которой царят мелкие дразги, к языковой глубине, к диалогу, дух которого познается над различием реплик. Это так во всяком подлинном диалоге, начиная с платоновских, и до диалога Далай Ламы с бенедиктинцами, опубликованного в книге «Доброе сердце» (*Dalai Lama. The good Heart. L., 1997*).

Мне кажется очень важным, что заседания Общества христианской медитации имени Джона Мейна, проходившие в 1994 г. под председательством Далай Ламы, начинались и кончались молчаливой медитацией. Некоторые участники семинара называли ее «молчаливым диалогом». Разница между традициями отчетливо сознавалась, и Далай Лама несколько раз повторял тибетскую поговорку: «Не надо приставлять голову яка к туловищу овцы».

Но в молчании постигалось то, что написал Мертон после беседы с Судзуки: у разных традиций созерцания священного есть «основные черты, которые отличают монаха и дзэнца от людей,

предающихся агрессивно несозерцательной жизни» (с. VII цитированной книги Мертона).

Сложилось творческое меньшинство, пробивающее тропу к новой цивилизации, к повороту на 180, от экспансии техногенного мира к стабильности и духовному росту. Этот поворот невозможен, пока какие-то события не сломят самомнение мирского разума — так, как это случилось когда-то в Риме. Я не оптимист. Я не думаю, что наука будет легкой. Она может оказаться смертельным уроком. Но если бы Августин жил в благополучном и процветающем Риме, он не писал бы о граде Божьем.

Написанное духом

Одна из слушательниц семинара попросила меня разъяснить слова св. Силуана: «То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом». Эта мысль кажется потрясающе новой. На самом деле она опирается на очень старые тексты: «Буква мертва, только Дух животворит», — писал ап. Павел. В неявной форме что-то подобное можно прочесть в Книге Иова. Друзья Иова строго верны закону, их рассуждения богословски безупречны, но они не смогли вывести Иова к Божьему, целостному взгляду на зло мира, и Бог заговорил не с ними, а с сомневающимся Иовом. В тоске Иова, в его открытых вопросах был порыв к целостной истине, превосходящей готовые ответы. Можно вспомнить и стихи Тютчева:

Мысль изреченная есть ложь...
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими и молчи...

Есть тайна целого, и отдельная мысль только кружится вокруг нее, не в силах схватить. Такою тайною было явление Христа, и мысль учеников крутилась на подступах к этой тайне. Странные слова Христа, его смерть, его встречи с учениками после смерти, чудо его личности, поражавшее, врезавшееся в сердце, — всё это отпечаталось в памяти, стало текстом. Но текст этот непросто было прочесть. И читали его по-разному.

В первых трех Евангелиях смешиваются две попытки осмыслить, привязать к привычному тождество человека и Бога. Евангелие от Матфея начинается с родословия, с попытки укоренить Христа в еврейской книжной традиции, сделать его потомком Давида, исполнением давних пророчеств. Евангелие от Луки укореняет Христа в фольклоре, в устных легендах. Прочитав, как «взыграл младенец во чреве» Елизаветы, встретившей Марию, каждая

женщина могла почувствовать чудо собственной утробой. Родословие в Евангелии от Луки покороче и затиснуто посредине, теряется среди ярких рассказов, оно менее важно для составителей текста. Но все же оно дается, а в Евангелии от Матфея пересказываются легенды о чудесном рождении, только в меньшем объеме. Чувствуется редактор, который не в силах отказаться ни от книжной, ни от фольклорной традиции и пытается совместить обе, закрывая глаза на противоречия. В Евангелии от Марка — другой упор: на чудеса... С традицией они еще слабо связаны.

У Иоанна Богослова нет ни родословия, ни благовещения, ни изобилия чудес. Чудо целостной вечности, ворвавшееся в пространство и время, не рассыпается на цепочку зримых чудес. Глаза Иоанна Богослова выдерживают встречу с прямым вечным светом. Под напором великого чуда слова вырываются из привычных связей, обретают новый, неожиданный, загадочный смысл, и в каждой фразе, как в семени, содержится намек на будущее, еще не выстроенное богословие:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Разговор идет о Христе, но сразу виден весь Бог, вся Троица. Обоженная личность — в самом средоточии Бога. Ее воля — аспект Его творческой воли, создающей мир; Ее образ — жизнь и свет людям; этот свет никогда полностью не разгонит тьму двойственности и дробности, но тьма никогда не победит целостный свет.

Дальше очень, очень коротко — об исторической сцене, на которой совершилось чудо:

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн (то есть Иоанн Креститель. — Г.П.). Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете.

Был Свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».

Здесь нет мысли, что ученики физически не родились от мужа. Немного дальше, в главе 3-й, Христос объясняет Никодиму:

«Если кто не родится свыше, не может увидеть царствия Божия». Никодим говорит Ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и

родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть Дух... Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа».

Иоанну Богослову не нужно ни родословие, ни рождественская звезда. Он не дробит скачок чуда на множество ступеней, по которым может подняться ум и воображение. Народам невозможно было обойтись без того, о чем Иоанн Богослов молчит. Народам нужны были красочные легенды. А четвертое Евангелие осталось для тех, кто способен вместить образ не имеющего образа:

«И Слово (личный аспект вечного Бога. — *Г.П.*) стало плотью (Иисусом Христом. — *Г.П.*), и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн [Предтеча] свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня (в вечности. — *Г.П.*). И от полноты Его мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина (то есть целостное понимание, витающее над буквой, над словом, над фразой. — *Г.П.*) произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». И вместе с Христом, через Христа, утверждается благодатное понимание закона, понимание отдельной фразы, которая сама по себе, без помощи Святого Духа, не несет целостной истины:

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (14, 15). «Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит» (15, 26).

Без Святого Духа любое слово — Моисея и самого Христа — может стать искушением, соблазном. Как только мы рассекаем текст Евангелия на фрагменты, истина прячется, а иногда прямо становится ложью: «Если правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его» (Матф. 5, 29), — сказал Христос, и на эти слова опирались скопцы, опирались инквизиторы, вырывая из церкви еретиков.

Святой Дух парит над словами, читает между строк. Но то, что он прочел, нельзя передать людям без слов, без текста. Человек достигает истины, встречаясь со Святым Духом. Но эта встреча никогда не лежит в кармане, и благая весть, запечатленная в памяти и в слове, — не справочник с готовыми сведениями на все случаи жизни. Ни одна заповедь не может быть применена механически, без Святого Духа. Святой Дух обладает правом вето, он может сказать «не виновен», хотя доказана вина, и «виновен» — фарисею, выполнившему все предписания.

Однажды мне задали вопрос: почему надо *просить* Господа не вводить нас в искушение? Зачем Отцу нашему, объявшему про-странство и время своей любовью, искушать своих детей? В каком смысле Бог, обращаясь к нам, нас искушает, не может обойтись без искушения?

Я не находил ответа. Потом пришла в голову мысль: а как ему не искушать нас? Сделать Вирсавию уродом? Но дух искушения гнезвился в сердце Давида. В иной миг Давид был защищен веянь-ем Святого Духа, и тогда он взглянул бы на Вирсавию, «благоговея богомольно перед святыней красоты». Пушкину это иногда удава-лось. И Джорджоне удавалось, когда он писал свою спящую Вене-ру. Я пять раз выстаивал очередь, чтобы взглянуть на две картины — на Сикстинскую мадонну и Спящую Венеру. Они обе меня выпрямляли, как сказал Глеб Успенский о Венере Милосской. Обе восстанавливали во мне «ценностей незыблемую скалу». То, что «выпрямляет», распрямляет мадонна, понятно. Но почему — Венера? Почему Венера Милосская и Венера Джорджоне — боги-ни, покоящиеся «в красе торжественной своей»? Потому что вая-тель и художник увидели перед собой не раздетую женщину, а бо-гиню. Возможность искушения есть во всём, но действительность искушения — только во встрече предмета с человеческим сердцем. Если сердце постоянно живет на пороге искушения, то его иску-сит, соблазнит все, что угодно. И наоборот: когда сердце цельно, для него нет искушений.

Бог вечно переходит от своей нетленной цельности к двой-ственности и дробности мира. Без этого его бытие было бы непол-но, было бы одним без другого. И он, страдая и сострадая, про-ходит сквозь дробное, двойственное, смертное и утверждает вечность во времени и цельность в осколках. Но на полдороги воз-никает возможность греха, возможность твари отвернуться от Бога, запутаться в двойственности и дробности, принять двой-ственность и дробность за полноту истины. Животные делают это бессознательно, люди — и сознательно. Все ложные учения осно-ваны на потере Святого Духа, витающего над двойственностью и дробностью. Создав мир, где звезда сталкивается со звездой, самец с самцом и мысль с мыслью, Бог создал и возможность замкнуться в своей отдельности и противостоять целому как бы отдельному, рисуя себе Бога как деспота в облаках. Эта возможность следует за людьми, как хандра за Евгением Онегиным.

По библейскому рассказу, в самом начале творения, когда чело-века еще не было, один из ангелов замкнулся, перестал чувствовать себя каплей в океане света, отпал от Бога и противостоял ему. Нам это проще всего. Вся современная культура стремительно отпадает от Бога и тянет нас за собой. Чтобы в корне исключить соблазн, на-

до было не допустить даже возникновения животных, остаться при кротких растениях; ибо уже в животных возможность зла достаточно велика. Бог не отказался от того, чтобы довести творение до Адама и Евы. И Он создал мир, в котором отпадение от Него всегда возможно. Но горе тому, кто воспользуется этой возможностью.

Если человек видит мир Святым Духом, он видит Бога и отвечает любовью на любовь. Но если Дух оставит его, соблазн непреодолим.

Таков общий план бытия. Однако есть еще один уровень искушения, еще одна дорожка в пропасть: в самих словах Святого Писания, в силе отдельной фразы, отдельного слова, затмевающего путь к целому, которое выглядывает только в паузах «информации», между строк. Всякое отдельное высказывание, замыкаясь на себе, становится *относительной* истиной, а где-то — и ложью. Законы и заповеди, обособляясь, отрываясь от цельности, раскалывают истину на куски, и каждый кусок может стать оправданием зла. И потому Сын Человеческий — Господин субботы, потому дух его парит над словами, и надо быть подобным Ему и сомневаться в каждом слове Святого Писания, — не теряя святости целого.

Есть буддийское течение, о котором я много писал, — дзэн. Дзэнцы говорят, что для спасения нужны три вещи: великая вера, великое рвение — и великое сомнение в словах будд и патриархов; без этого палец, указывающий на луну, заслонит саму луну. В библейской традиции нет принципа сомнения, но есть Книга Иова; и есть слова Христа, которые говорят, что Он сомневался в своих собственных словах. Все вспоминают Его обещание, что каждый волос учеников сосчитан (от Луки, 12, 7). Но Он же сказал по поводу башни, раздавшей нескольких галилеян: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» (от Луки, 13,2).

Истина не в первом стихе (который церковь часто вспоминает) и не во втором (забытом), а в Святом Духе, парящем над противоречиями, не дожидаясь, пока человеческий ум выстроит систему и как-то всё переплетет. Поэтому сказано: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух» (от Луки, 12,10). И дело не в том, какая ипостась первое, а в другом: Святой Дух или неощутим, или оощутим в целом; а целостность Христа очевидна только под кистью Рублева, в словах и поступках она рассыпается на противоречия.

И в Новом, и в Ветхом Завете невозможно понять Бога умом, можно только причаститься Ему, как причастился Иов, поверх всех неразрешимых, вечно открытых вопросов. Итог Книги Иова тот же, что в начале Евангелия от Иоанна: взгляд, устремленный к океану света *до* распада на цвета и формы, к истине целого *до* распада на отдельные слова, к тождеству истины и благодати.

Так же непостижимо без помощи Святого Духа центральное событие христианства — воскресение. Оно открывается только глазам сердца, глазам любви. Не только мир не увидел воскресшего Христа, и ученики узнавали его не сразу. Евангелие объясняет это тем, что Бог затмил глаза будущим апостолам, шедшим в Эммаус; есть, однако, и другие случаи неузнавания. Объяснил это только Борис Пастернак, человек грешный, но охваченный внезапным порывом вдохновения:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Воскресенье открывалось тому, кто дорастал до него. Для недоросших его не было — и в евангельские времена, и в наши. Этот комментарий к откровению стоит на уровне самого откровения. И так же как само откровение — до канонизации церковью, — откровение Пастернака не понимали.

Покойный о. Сергей Желудков, человек прекрасный, но несколько ограниченный, не понимал Пастернака по-иудейски: стихотворение казалось ему кощунственным. «Я до воскресенья дорасту, Я, — подчеркивал о. Сергей, — а не Христос воскрес!» Ему непременно нужно было воскресенье как физический факт, без физического факта Христос для него не был Христом.

Другое непонимание можно называть эллинским. Современным эллинам очевидно, что никакого воскресения не было. То, что вело к пониманию чуда, отбрасывалось, как чепуха; в стихотворении подбирались крошки, приемлемые для здравого смысла. Андрей Вознесенский похвалил Пастернака за тонкое понимание женской психологии. Он увидел в стихотворении ревность Магдалины: «Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по концам креста...»

Бродский презирал Вознесенского, но в трактовке «Магдалины» почти повторил его. Последнюю строфу оба поэта не заметили, не нашли в ней смысла. Бродского вызвали на полемику слова комментаторов, Е.В. и Е.Б. Пастернака, что в «Магдалине» снимается цветаевская эротика. Мысль эта показалась ему оскорблением поэзии. Он страстно доказывает, что эрос — основной смысл стихотворения, что без эротика там вообще ничего нет. Цветаева написала любовное послание Пастернаку стихами от Христа к Магдалине. Пастернак ответил ей посмертно стихами от Магдалины к Христу.

Такой оттенок в переписке Пастернака с Цветаевой действительно был или мог быть. Но только оттенок, не менявший основ-

ного смысла.

Стихотворение Пастернака «Магдалина» все-таки об узнавании Воскресшего. Это узнавание происходит на крыльях любви, но какой любви? Бродский этот вопрос не ставит. Ему кажется очевидным, что он в совершенстве понимает любовь и другое понимание невозможно. Он доказывает свою правоту страстно, талантливо, не столько доказывает, сколько завораживает, заражает свои чувством. Мне было очень трудно возражать, я ощущал превосходство его в поэтической силе слова. И только дойдя до последней строфы, я облегченно вздохнул. Бродский не нашел ничего, что можно было сказать о ней с его точки зрения, и он решился просто отрицать ее смысл, какой бы то ни было смысл. Это был очень слабый ход.

Перед ним было потрясающее описание душевной катастрофы, падения души в бездну — и внезапного выхода, вылета из бездны на крыльях Святого Духа. А он ничего не видел, никакого смысла, только бессмысленное бормотанье, только повторение звука у-у-у... Это не было уловкой, трюком, расчетом, что читатель, завороченный им, всей магией его слова, не заметит обмана. Я верю искренности Бродского. Он действительно не видел, что последняя строфа «Магдалины» разрушает все его построение и приходится, поняв это, вернуться назад и заново прочесть мнимо любовные строки:

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста...

Эти объятья раскрыты всем людям, и раскрыты на кресте, через смерть (обстоятельство, которое для Вознесенского и Бродского несущественно и отодвигается на задний план). Каким образом Бродский всего этого не увидел? Видимо, его ослепила полемическая страсть. И страсть не дает Бродскому заметить, что огонь, пылавший в душе Христа, — огонь, который мы видим в глазах рублевского Спаса, — чем-то отличается от огня в глазах влюбленных. Что дымное пламя обычных человеческих страстей уступает в Христе (и в Магдалине) пламени без дыма — или, как вырвалось у Цветаевой в одном из писем Пастернаку, — белому огню.

Цветаева писала (в мае 1926 г.), что кощунство — грех против величия какого бы то ни было, «потому что многих нет, есть одно. Все остальное (различия. — Г.П.) — степени силы. Любовь! Может быть, степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь- синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть *силой* бел, чистотой сгорания? Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией (просто линией).

То, что сгорает без пепла — Бог.

А от этих — моих — в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть „Молодец“» (Письма 1926 г. М., 1990, с. 107).

Три степени огня. Они различаются силой. И еще одним — чистотой. Самый сильный, самый чистый огонь не оставляет пепла. Это Божий огонь. Огнь-синь очень силен (это ясно из ссылки на поэму «Молодец»), но его нельзя путать с Божьим огнем. Бродский не замечает, что противоречит Цветаевой, которую боготворит. Он не различает синего огня от белого, демонического от Божьего. Но в чём правота еретической неправоты? В отрицании четких границ, стен между землей и небом. Их действительно нет, этих стен. Однако в единстве, как его понимает Бродский, исчезает небо. А в единстве, как его понимал Христос, преобразается земля:

«Возлюби господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего своего как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф., 22, 36—40).

Любовь к Богу и к людям *подобны*. Любовь к Богу озаряет любовь к людям, и любовь к людям подсказывает образы любви к Богу. Такова вершина любви, где человек человеку икона и икона не заслоняет Бога.

Уровень, на который опирается мысль Бродского, другой. Это единство — сквозь дым. Единство земной путаницы. Где любовь-сострадание иногда неотделима от страсти и сама становится страстью, опрокидывающей все барьеры, а поработченность изгибчиком, огонь-ал, переходит в огонь-синь и даже в готовность душу положить за друга. Это область поэтических грешников, которым противостоят сухие фарисеи, строго соблюдающие все заповеди. Это поле спора между поэтом и священником. Спор идет много веков, по крайней мере начиная с Данте. Выстраивая план «Ада», он помещает в пятый круг Франческу да Римини, уступившую порыву любви, но после слов «больше мы в тот день не читали» поэт падает в обморок, передавая читателю и свое уважение к заповедям, и свое сочувствие благородной грешнице.

Каков действительный Божий приговор Франческе, я не знаю.

Положительная заповедь любви, нарастающей глубины чувства, пробивающегося через тварь к Творцу, кажется мне более важной, чем заповеди-запреты, через которые любовь переступает. Но перед каждым новым порывом снова встает запрет. Это относится не только к заповеди «не прелюбы сотвори». Грешна война, грешна политика, утопает в грехах искусство, о современной прессе вспомнить страшно. Среди великих людей много великих грешников. И среди святых, канонизированных церковью, есть воины, убивавшие и приказывавшие убивать (не говоря о прочих грехах, связанных с властью). Сравнивая грешниц, канонизированных

поэзией, с Александром Невским и Дмитрием Донским, я не знаю, кто грешнее. Святость человеческой жизни, попорченной на войне, не уступает святости брачных уз. А между тем сколько героев попирали святыню жизни! Однако всякая любовь остается любовью. И любовь к ратным подвигам, и любовь, слепившая Адама и Еву в одну плоть. Каков Божий суд над благородными грешниками, один Бог знает. В таком смысле я понимаю эпиграф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Бродский встает на защиту любви, не признающей *никаких* заповедей. Его правота в неправоте — то, что человек, способный на большое чувство, обаятельнее, чем вялый праведник, ангел церкви лаодикийской, не знающий вовсе большой любви. Ибо всякая большая любовь тяготеет к белому огню. Но сколько ловушек на пути страсти! Чувство общности, начавшееся как причастие, легко попадает в огонь-ал, в «плотоядную зевоту тигра» (Марина Цветаева писала об этом Бахраху). И Фауст, овладев Гретхен, утрачивает к ней всякий интерес. А между тем простушка Гретхен могла раскрыться в своей любви, как Беттина в любви к Гёте (Рильке считал, что она намного превзошла великого поэта); или как Татьяна Ларина...

В поэзии Бродского есть несколько отвратительных выпадов против «злых корошков и визгливых сиповок». Отчего он испытывал иногда потребность мстить женщинам? Я думаю, из-за своей собственной неспособности держать «змеиную силу» пола под властью сердца. За то, что он же (а не они) профанировал любовь.

Когда Святой Дух подсказывает, пьяный и разнузданный Митя Карамазов становится рыцарем. Когда нет этой подсказки, Бердяев говорит, что в близости человек непременно опускается до животного; и Пушкин, после «чудного мгновенья», пишет Вульфу матерное послание. Но в старое доброе время мата не печатали, и хамство не попадало в стихи. Не только из-за цензуры. Сама поэзия тянулась к величию: «Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво». Сама поэзия ставила границы легкомыслию. Работая над текстом «Бедного рыцаря», Пушкин вспомнил свое вольтерьянство и набросал несколько легко

мысленных строк; но во втором варианте устранил их. Вышел тот «Бедный рыцарь», которого цитирует Аглая. И хотя Аглая заменяет AMD — Ave Mater Dei — инициалами НФБ, — это ничего не снижает. Любовь Мышкина к Настасье Филипповне Барашковой не ниже любви рыцаря к мадонне. Всякая великая любовь может дойти до белого каления. И потому в Библию была включена Песнь Песней, и в лирике бхакти и в суфийской лирике иногда невозможно отличить, что поэт воспекает — женщину или Бога. В романе Тагора «Дом и мир» Бимола украшает брачное ложе цветами; и очень жаль, что этот обычай существует только в Индии. Если нет стремления вверх, к белому огню, любовь неудержимо рушится и отношения мужчины и женщины унижают их обоих. Кошунственные выходки Бродского против святости любви не прошли ему даром; он опустошил себя, и его лучшие поздние стихи — поэзия отчаяния.

Христианство складывалось в полемике с распущенностью поздней античности и в ожидании конца света, когда в небесном Иерусалиме не будут жениться и выходить замуж. Православие так на этом и остановилось. Оно признает таинством только заключение брака, а святости любви не замечает. На Западе в Средние века небо придвинулось ближе к земле. Беатриче стала проводницей по раю. Перголезе уходит в монастырь, умирая от несчастной любви, и в музыку *Stabat Mater* воплел и свое страдание от разлуки с возлюбленной. Поэзия упорно ставит перед богословием проблему благородного грешника, не ушедшего в монастырь, укравшего свое счастье. Он виновен, потому что нарушил заповедь, и он вызывает сочувствие, потому что его вела любовь. Если отбросить религию со всеми ее заповедями, рушится вершина любви, где мужчина для женщины и женщина для мужчины — живое лекарство, живая икона и живое причастие. И вслед за разрушением неба, к которому тянется любовь, рушится и вся земля любви, оползает в пропасть цинизма и отчаяния. Лирика Бродского подтверждает это. Ему кажется, что он восстает против фарисейства, что он защищает Цветаеву от комментаторов; но он восстает против самой Цветаевой, против «искусства при свете совести».

Любовь всегда нарушает правила, всякая любовь. Христос, исцеляя больных, нарушал субботу. И Он был прав. Но мы — не господа субботы, и переступая через барьер во имя любви, мы расширяем запрет, который должен сохраняться, чтобы каждый раз нарушение заповеди было глубоко выстрадано и шло из глубины сердца, а не от прихоти. Наша внутренняя убежденность, что грех в данном случае благороден и служит добру больше, чем злу, не освобождает нас от вины, от тяжести греха, которую мы берем на свои плечи, искушая других соблазном жить без всяких правил,

кроме «я так хочу».

Герой, поразивший десяток врагов, десять раз согрешил, расшатывая заповедь «не убий», внося в мир привычку к убийству. Ранние христиане, возвращаясь с войны, три года не допускались к причастию. И даже у некоторых примитивных племен есть обряды очищения. Так было в сравнительно простой жизни, когда и смысл заповеди был прост и прям. Сегодня, в запутанном сложном мире, заповедь на каждом шагу сталкивается с заповедью и любое действие греховно, а бездействие может стать еще большим грехом. Некоторые заповеди просто устарели (например, запрет регулировать рождаемость). Некоторых заповедей не хватает (например, как регулировать рождаемость, не калеча женщину). Экологический кризис диктует заповеди, которых никогда не было и без которых сегодня человечеству не прожить. Режимы, которые мы хорошо помним, выжгли в нашей совести: Не предай? Не доноси! (этой заповеди не было, когда синедрион донес Пилату про Иисуса, назвавшего себя царем иудейским). Изобретая новые материалы, открывая новые законы, ученые не знают, что из этого выйдет, и грешат по неведению (а иногда и заведомо), давая оружие в руки убийцам. Сложная цивилизация — это цивилизация, где грех и праведность переплелись, где только Святой Дух может прочесть запутанный текст жизни и никогда нельзя быть уверенным, что наша совесть чиста. Здесь нет готовых решений. Есть только вызов открытого вопроса.

Устами поэта

Поэзия священной глубины — одна из вершин всякой великой культуры. Она не заменяет и не отменяет других путей в глубину, но и они ее не могут заменить. В прошлом ее иногда канонизировали — как Веды, как псалмы Давида. В наше время она обходится без этого, но не перестает быть самой собой.

Зинаида Миркина не случайно переводила Тагора, Рильке, суфийскую лирику. В этот же ряд становятся и ее стихи. Это открытый ряд. В нем нет догм, нет заповедей, но нет и споров, какая догма обладает свойством единственной истины, нет погони за еретиками. Метафоры, родившиеся в сознании поэта, охваченного священным восторгом, не выдаются за факты. Они могут противоречить друг другу, не теряя правдивости (насколько слово человека может передавать правду Бога). Догматики забывают слова св. Василия Великого «о Боге мы можем только лепетать». Поэт чаще это вспоминает. «Он опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьет» (Мандельштам). В интервалах между словами, повторенных ритмом, рождается дух единства, витающий над словами поэта.

Богословие делит священную реку на рукава. Поэзия соединяет их в стремлении к устью.

То же происходит в глубинах других искусств. Один из моих оппонентов, убежденный противник восточного образа истины как нуля слов, признавался, что чувствует обаяние китайской живописи. Он не создавал, что воды и горы — это инь и ян, а иконы тумана, написанные в период Сун, передают мысль о неименованном Дао, объемлющим названное Дао, и прямо связаны с восклицанием Лаоцзы в «Даодецзин»: «О неясное! О туманное!»

Многих православных шокировала гипотеза, что сюжеты икон Троицы, Деесиса⁵ и Успения пришли в Средиземноморье из буддийской Индии; или что сказание о Варлааме и Иосафате — пересказ джатаки (буддийской поучительной сказки). Им хочется, чтобы христианское откровение возникло вне потока культурных связей и оставалось раз и навсегда застывшим. Я думаю, что дело обстоит иначе. Великие духовные потоки пересекаются в пространстве и не имеют конца во времени. Каждый духовидец что-то прибавляет к ним. История откровения началась вместе с началом общей истории и будет длиться до ее конца, вбирая множество притоков, раздваиваясь на рукава и собираясь снова.

Одна из струй в этой большой реке — творчество Миркиной. Для меня ее стихи были откровением. Я был потрясен, когда впервые (в конце июня 1960 г.) услышал строки:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — по мне.

Вдруг стало ясно, что вопросы Иова, вопросы Карамазова, мучившие меня, ложно поставлены, поставлены дробным умом, для которого Бог — это бог, а тварь — это тварь, и Бог откуда-то извне решает, кому и как страдать, кому умереть. Целостным умом поэт увидел, что Бог не вне страдания, не вне смерти, а страдает и умирает вместе с каждым смертным. Углубляясь и углубляясь в это прозрение, я осознал Бога как бесконечность страдания твари, тонущую в бесконечной радости Творца, и образ Божий — как одновременность боли и радости в человеке. Я вижу его в отце, обнимающем блудного сына Рембрандта, в глазах Павла у Эль Греко, в иконах. Но это все потом, а сперва я просто принял стихотворение как оно есть, вплоть до его последних строк:

Нет, никогда не умрет Нетленный.
Я за него умру.

⁵ Деесис — поклонение. В Древней Руси слово приняло уродливую форму «Деисус».

Стихотворение вызвало образ больной руки или ноги, которую приходится отсечь, чтобы сохранить жизнь всего тела. Это легко себе представить. Но разве отсекаемый палец сознает и принимает свою судьбу? Сознает ум, он играет роль библейского Бога, а палец или рука посылает сигналы боли, как Иов. И потом ампутация руки, ноги — это частный случай, а стихотворение намекает на какой-то общий закон, на разделение ролей между бессмертием и смертностью общего Сверхсущества. Вот эта связь и разделение внутри Сверхсущества осталась только намеченной. Ее, наверное, нельзя до конца выговорить. И недавно у одной внимательной читательницы возник вопрос: каким образом «я за него умру?» Зачем это Богу нужно? В ответ пошло письмо, которое мы не успели скопировать, и за ним второе, довольно долго лежавшее на нашем столе в Коктебеле. Работая над своим эссе, я кусок письма попросту переписал (письмо-ответ З. Мир-киной):

«Сейчас только вдруг подумалось, что ведь весь ответ есть в стихотворении:

Он всемогущ. Он болезнь оборет.
Вызволит из огня Душу мою.
Или, — взыв от боли, —
Он отсечет меня.

Наверное, главное, что мне открылось когда-то явственно и неоспоримо, это что мы — члены Божьего Тела. Каждый из нас болит в Нем. Мы от Него неотделимы. Это была потрясшая меня мысль (даже не мысль — чувство, ощущение, открытие). Он не существует отдельно от нас (Он — всецелый), как и мы от Него (не может палец существовать отдельно от руки, от тела).

Но аналогия с пальцем — неполная. Как и все, когда мы говорим о мире духовном, божественном, — здесь метафора. Ибо все земное тело смертно, как и каждый палец. Мы же — смертные члены бессмертного тела.

Мы не только мы. В каждом из нас есть частица, искра Божья. И это, собственно, и есть главное. Этим мы живы. У нас есть два „Я“ — малое и большое, смертное и бессмертное.

Готовность малого, смертного „я“ пожертвовать собой для большого, бессмертного — основная тайна и духовный закон бытия. Великая любовь к нашему бессмертному „Я“ (Бог, повторяю, неотделим от нас, и потому Бог ни в коем случае не „Он“ и даже в отличие от буберовской философии не „Ты“, а „Я“, наше высшее „Я“⁶).

⁶ Но мы, чувствуя себя оторванными от глубины, от высшего Я, пытаюсь прорваться к нему, обращаясь к нему как Ты — до тех пор, пока оно не совпадет с Я

Жертва низшим „я“ ради высшего — это Любовь, другое имя Бога: Любовь, на которой все держится. Эта наша любовь к Богу поддерживает Бога, как дрова костер. Каждая наша такая жертва во имя Его — возжигание огня, питающего жизнь. Поэтому:

Нет, никогда не умрет Нетленный.

Я за него умру.

И еще (из другого стихотворения. — Г.П.):

Мы умираем, чтоб не умер Он.

Все слова здесь не точны. Повторяю: все — метафоры. Но все же своей жертвенной любовью, своей смертью мы поддерживаем гигантский костер Его бессмертия. Может быть, если кончится наша жертвенная любовь, кончится жизнь на Земле. Мы поддерживаем Его бессмертие, которое и наше бессмертие, ибо, повторяю, мое главное открытие сердца — наша неотделимость от Него. Без Его бессмертия нет нас, нет жизней наших.

Итак, мы умираем для Него, во имя Его, уверенные всем сердцем (я говорю об истинно верующих), что будем жить в Нем — в нашем высшем, бессмертном „Я“.

Мы умираем, чтоб не умер Он,
А Он бессмертен, чтобы все мы жили.

Все это распадается на куски, если нет ясного ощущения нашей неразделенности с Ним, если Он и я — два предмета, две отдельности.

Но Бог — не отдельность. Он — всецел. А я причастна Ему. Здесь тайна. И круговорот любви».

Миркина дополнила здесь одну метафору другой — образом костра любви, огонь которого поддерживает пламя Бога. Но и этот образ только еще раз намекает на скрытый смысл. Мне захотелось еще раз по мере сил вдуматься, что остается недосказанным. Палец больно отсечь, но это не трагедия. У пальца, у ноги, у руки нет личности, нет сознания бесконечности, нет тоски по Богу. Аучеловека есть. Человек — не хвост ящерицы, который обрубишь — и вместо него вырастет другой. Гамлет не вырастает заново. Это неповторимый образ Божий, образ всецелости, образ бесконечности, бессмертия — и он смертен. В горах или над морем иногда возникает физическое чувство бесконечности. И когда это чувство бесконечности становится мыслью, вся вселенная себя в нас со-

(как в одном стихотворении Руми. — Г.П.).

знает. На миг возникает один из центров вселенной, и гибель этого центра — космическая катастрофа. Можно преодолеть эту трагедию взлетом духа, порывом любви к целостности Бога, прорастающего в нас, но усилие прерывисто, за взлетами следуют падения в отдельность, в трагическое одиночество земли среди мириад пылающих звезд, несущихся неведомо куда в холодной бездне пространства и времени, а на земле — падение в трагическое одиночество человека, о котором писал Тютчев:

Быть до конца так страшно одиноким,
Как буду одинок в своем гробу.

Почему Богу нужна трагедия, почему Его бытие было бы неполно без нее, почему человек должен умереть ради нетленного Творца?

Наверное, все, что мы можем здесь сказать, — только кружение вокруг Бога, только лепет. Но все же мне хочется высказать несколько мыслей. Хочется связать одну загадку с другой, поставленной Ангелиусом Силезиусом:

Я без Тебя ничто, но что Ты без меня?

Если Бог — это Бог, а я — это я, то Силезский Вестник написал какую-то чушь. Но Бог — не только Бог и я — не только я. Нельзя подходить к Богу с правилами логики, где A равно самому себе ($A=A$) и не равно другому ($A \neq B$). Вот здесь — Царь Небесный, вот там — тварь... Поэт говорит другое: «Я раб, я царь, я червь, я Бог...» (Державин). Бог и человек — не только двое. Здесь и двое, и одно.

В буддизме дзэн все время идет кружение вокруг сходных символов (которые можно осмыслить как ипостаси Бога). Есть такая дзэнская притча: «Сперва я думал, что гора есть гора. Потом, познав учение, я понял, что гора не есть гора (то есть бытие отдельности — иллюзия). Но потом, проникнув в самую суть учения, я осознал: гора есть ГОРА». Прописными буквами я пытаюсь передать интонацию Миркиной, когда она это повторяет. ГОРА — единичное, пустившее свой корень в Единое, что-то вроде Сына, единосущного Отцу. Но не совсем то же самое. Вопрос о человеке в дзэн не выделен из вопроса о твари. ГОРА — всякое существо и даже предмет в своей неразделенности с Единым. Может быть поставлен и ставился вопрос: «Обладает ли пес природой Будды?» То есть может ли пес достичь просветления? Или только человек на это способен? Но вопрос тонет в ответе старца Чжао Чжоу: «Ничто!» И загадочный диалог в целом использовался старцем Хакуином как тема медитации первой ступени, на понимание иллюзорности отдельного бытия (гора не есть гора). Дальше шли другие

упражнения, которые должны были привести к ГОРЕ с прописной. И на этой ГОРЕ вопрос о личной судьбе исчезает без трагического следа, остающегося в Книге Иова.

С этим ни иудей (автор Книги Иова), ни эллин (Эсхил, Софокл, Еврипид) не могли бы согласиться. И не согласится Шекспир, и не согласится Достоевский. Они чувствовали, что в человеке есть нечто высшее. Что очеловеченный Бог — нечто большее, чем божественность моря и горы, дерева и цветка. В «Импровизации на тему Каприйской зимы» Рильке дал образ, дальше которого я не могу пойти: Человек — это лицо природы. Природа стремится обрести лицо и находит ее в человеке. Но не в каждом. И человек, ставший лицом природы, до конца раскрывшийся человек, оказывается трагически одиноким среди людей. Зинаида Миркина любит хасидскую легенду о тридцати шести незаметных праведниках. Их считают последними из последних. Их топчут, пинают ногами. И когда незаметный праведник умирает, Бог отогревает душу, замерзшую от холода мира, в своих ладонях. Если же она так глубоко замерзла, что даже в жарких руках Бога не может согреться, Бог плачет, и каждая Его слеза на день приближает конец света.

Но и это не все. Лицо природы — образ и подобие Бога — познает свое одиночество и перед Ним. Может быть, здесь надо говорить о трагедии особого рода или о мистерии, но все равно — это мука. Росток Бога в душе годами прячется, исчезает от внутреннего зрения. Богооставленность — спутник почти каждого подвижника. Св. Силуан сравнивает ее с муками Адама, изгнанного из рая. Суфии и бхакты нашли образ своих чувств в страданиях неразделенной и отвергнутой любви. И даже в культуре Дальнего Востока, где вершина священного выражена в безличной форме, сквозь эту безличность проступает трагедия Хакуина, едва не погибшего на пути к целостному сознанию. Предание фиксирует здесь не гибель, а победу, но многие гибнут, не добившись победы. Архимандрит Софроний, издатель книги «Старец Силуан», рассказывает о монахах, сошедших с ума. Есть «дзэнская болезнь» (ею болел Хакуин). В тибетских книгах рассказывается о четырех стадиях болезни, в которой рождается новое сознание. Миркина пишет о «болезни прорастания крыльев». Она хорошо знает эту болезнь. Путь подвижника проходит по краю гибели, физической и духовной. Мимо этого испытания нельзя пройти. Дзэнцы называют свой путь «великим сомнением», и принято считать, что чем глубже сомнение, тем глубже и «сатори» (пробуждение к новому сознанию).

Стихи Зинаиды Миркиной закружились вокруг этой темы без знания какой бы то ни было традиции, на ощупь подбирая нужные слова. Во время болезни, приковавшей ее к постели на пять лет, она

разучилась многому и потом заново начала учиться складывать стихи. Выходило неловко, но сквозь неловкость проступала открывавшаяся глубина, и я сразу прочувствовал эту глубину. Когда мы познакомились с «Проповедями и рассуждениями» Мейстера Экхарта, то нашли у него некоторые темы стихов Миркиной, стихов, заброшенных впоследствии из-за несовершенства формы. Тема «вечного рождения» отчетливо видна в стихотворении, из которого в нашей памяти осталось только четыре строки:

Не все можно взвесить, измерить и перечесать,
Хоть закон нерушим и строг,
Люди, в мире живет, он есть,
Еще не рожденный Бог...

Пятнадцать лет спустя родилось слово «прорастание». Впервые в стихотворении «Богородица»:

1

Стихи... Они родятся из земли Души моей. Из
этих неподвижных Пластов, где Бог хозяин.
Бог созиждет,
А я — в пыли.
А я нема, безропотно темна.
Как чернозема поднятая груда,
Покорно принимаю семена,
Не спрашивая: «Для чего?», «Откуда?» Какой
порыв, какой реки поток Занес его? Он вечен
иль мгновенен?
Но каждый всход мой, каждый мой росток И
для меня таинственно священен.
Я знаю лишь зачатъа благодать И тяжесть
вызревания событий.
И что еще могу я вам сказать?
Бессилие мое «не растопчите».

2

Покорной Богу быть... Покорной этой
Бездонности, склонившейся ко мне,
Покорной звуку и покорной свету,
Покорной светоносной тишине,
Любви покорной... Миг зачатъа...
Вот так склонялась Богоматерь.

3

Мой Боже, Бог мой... Из моих берез,

Дождя, травы и звона дальней птицы В
меня вошел и из меня пророс.
Нельзя иначе Богу появиться Здесь на
земле. Есть место лишь одно:
Внутри меня. И в радости, и в муке Вот
это сердце выносить должно Тебя, и
вынянчить — вот эти руки.
Мой Бог — мой сын. И тварь твоя и мать.
О Господи, сумею ли так много?
Зачать, родить и, вырастив, отдать Тебя
во тьму, чтоб Бог вернулся к Богу...

Бог здесь прорастает сквозь природу и раскрывается в человеке.
«Слава Божия — до конца раскрывшийся человек», — писал св.
Иркей Лионский (и несколько раз повторял Антоний Сурож-
ский, у которого я нашел эту цитату). Для Миркиной это не еди-
ничный факт, а путь всего живого. У нее нет разрыва между чув-
ством божественности природы и более поздним пониманием Бога
как раскрывшейся личности. Разрастание человеческого сердца,
подобное росту леса, идет навстречу прорастанию Бога в
человеческой душе:

Жизнь — это сердца разрастанье.
Оно растет всегда, вот так, как лес До
горизонта, до седьмых небес И далее...
Во всей вселенской ткани Одно оно. Оно
растет Вот так, как всеобъяввший свод
Ветвей на древе бытия —
Сквозь всех и все, во все края.
И как его глубоко ранят Все те, кому
мешает рост,
Кто не желает прорастанья Вовнутрь
себя морей и звезд.
Все те, кому нужна граница,
Кто захотел остановиться И тайный рост
остановить,
Не ведая, что жизни нить Перерубает.

В первом опубликованном сборнике стихов Миркиной, «Святая
святых», рядом со стихотворением «Богоматерь» стоит другое,
примерно о том же самом: о действии Бога в душе:

Я есмь орган. Но органист не я.
Во мне волна Его святого хмеля,
И тот разрушит песню бытия,

Кто нас смешает или нас разделит.
По клавишам бесчисленным скользят,
Он трогает мои живые раны.
Я емь орган, но мне самой нельзя
Притронуться к безмолвию органа.
Я емь орган, но лишь Создатель мой,
Вдохнув свой дух, играет на органе.
Я — глубь и тайна для себя самой.
Я оживаю от Его касаний.
Вот Он пришел — предвечный органист.
О, этот свет, вонзенный в темень ночи!
Да будет звук мой первозданно чист,
Чтоб передать все то, что Он захочет,
В бескрайнем мире — только Ты и я.
Во мне волна божественного хмеля.
И тот разрушит песню бытия,
Кто нас смешает или нас разделит.

В другом стихотворении того же периода Бог творит наш духовный мир из ничего — как некогда, по библейскому рассказу, Он сотворил физический мир:

Ничто. Торжественные скалы И моря
синее стекло.
Все смолкло. Ничего не стало.
И Ничего во мне росло.
Когда же весь простор безмолвный
Вошел внутрь сердца моего И мера
оказалась полной,
То мир возник из ничего.

Чем эти стихи отличаются от бесчисленных парафразов Библии? Тем, что это не парафраз. Образ растет спонтанно, из опыта созерцания, и вдруг припоминается — то формула о неслиянном и неразделенном единстве Бога и человека в Христе, то фраза из Ветхого Завета. Вспоминается то, в чем поэт узнает себя самого, свою собственную глубину.

Я много раз читал эти стихи, не вдумываясь в отдельные слова, и вдруг понял, что прорастание — ответ или, по крайней мере, часть ответа на вопросы Иова. Прорастание целостности в мир частностей, и тогда заново прочлось еще одно стихотворение (опять — тех же 70-х годов):

Когда-нибудь наступит твой черед
Остановиться, пятась и немея,

Когда тебя Господь наш перебьет
Разверзшейся всецелостью своею.
Течение мыслей и потоки слов Столкнутся
вдруг с незбылемым порогом,
И ты прервешь стенания, как Иов⁷,
Застигнутый на полуфразе Богом.
И позабудешь, кто не прав, кто прав,
Перемешаешь сроки и границы,
И заново родишься, увидав Ту пропасть,
из которой все родится.

Ничем не заслуженное страдание твари бессмысленно, если глядеть на него глазами твари. Но оно имеет смысл, если взглянуть на него глазами прорастающего в твари Творца. Я могу ошибаться, но в «образ и подобие» Бога входит, по-моему, не только бесконечность, но и смертность и сознание смертности. В полноту бытия Бога входит весь трагизм человеческого бытия. Бог вмещает все противоположности великого искусства. Он не ограничен ничем, кроме низости и ненависти, совершенно оторванных от Его бытия. Не ограничен ни одним из своих совершенств, ни бесконечностью, ни блаженством, ни бессмертием. Стремясь к полноте, Бог входит в конечное, в свою тварь, и страдает вместе с ней и умирает вместе с ней, — оставаясь в то же время вне страдания и вне смерти. Примерно так, как Божья Матерь, в толковании Мейстера Экхарта, остается отрешенной в своей последней глубине, задыхаясь в рыданиях у креста. Экхарт сравнивает отрешенность с крюком, на котором держится рвущаяся от ветра дверь. И Бога можно представить себе одновременно и Отцом на небе, и распятым Сыном. Распятие — не единичный факт, не единичная жертва, а одно из «тел» вечного духа, «тел», как говорят буддисты, различая тело блаженства и тело превращений (страдающее в дробном пространстве и времени). Выход из трагической бессмыслицы человеческого блуждания в мире, оторванном от вечности, — в осознании (сквозь страдание и смерть) единства Бога Воинств на небе и Христа на кресте, во взгляде на это немислимое совпадение противоположностей глазами Бога, прорастающего в душе твари. Тогда прозревается смысл жизни, раскрывается глубина, где происходит чудо и рождается сила, дающая новую физическую жизнь Иову, или (хотя это тайна, полнота которой от меня закрыта) возникают духовные сущности, не зависимые от физического бытия (так, как, может быть, продолжают жить некоторые святые; так, как продолжает жить Христос).

Когда византийские богословы создавали свое учение об Отце,

⁷ Читается Иов.

Сыне и Святом Духе, они кружились, как мне кажется, вокруг этой самой тайны: присутствия бесконечного нетленного Бога в смертном человеке. Все это они вместили в одного Иисуса из Назарета и поместили на одну землю, казавшуюся единственной во вселенной. Бездна пространства и времени, раскрывшаяся перед нами, может быть уравновешена только равновеликим образом второй ипостаси — подобием которой стал рильковский Орфей, разлитый повсюду и единый во всех метаморфозах, умирающий и рождающийся каждый раз заново.

Это близко к мысли Экхарта о вечном рождении Бога в человеческой душе, это близко к словам Рейсбрука, что второе пришествие вечно совершается в душах святых. И мне кажется, что вокруг этого кружатся стихи Зинаиды Миркиной.

Ей очень близки «Сонеты к Орфею» Р.М.Рильке, его контрапункт страдания и радости, смерти и воскресения, его осознанное единство движения и покоя. Однако все влияния, которые Миркина испытывает, — только встречи на пути. Чувство слитности бытия и небытия, Божьего и человеческого, поту- и посюстороннего проходит сквозь ее творчество, начиная с внезапного осознания мира как единого света, испытанного в 19 лет и окрасившего всю ее жизнь, постоянно рождая новые образы, от первых неловких опытов до стихов в Коктебельскую осень 1999 г.:

Когда я сделаюсь бесплотной,
Когда я это тело сброшу,
Не жди, чтоб тенью мимолетной
Являлась я из жизни прошлой.
Когда на волю дух отпущен,
Когда он полный мир обрящет,
Я сделаюсь твоим грядущим И
бесконечным настоящим.
Я знаю, что в нездешнем мире,
В невидимом, бесплотном этом
Вершится расширение шири,
Готовится рождение света.
Идет великая работа,
Невнятная земному слуху,
И эти снежные высоты
Воздвигнуты бесплотным духом.
Да, этот кряж высокогорный И эти
золотые сосны Воистину
нерукотворны И бесконечно
духоносны.
В часы великого затишья,
В священный час касаний Божьих

Я буду ждать, что ты услышишь,
Я буду ждать, что ты поможешь.

Началом пути было не литературное влияние, а выход за рамки обыденного сознания, повернутого к «атомарным фактам», внезапное осознание мира как прекрасного целого, вопреки всем фактам. Этот крутой поворот, никем не поддержанный, был, по-видимому, началом болезни, едва не окончившейся смертью. Я рискну предположить, что болезнь была вызвана сопротивлением материи, контратакой инерционных сил, стремившихся заткнуть прорыв «нормы», прорыв сквозь духовную слепоту. Это мог бы смягчить духовный врач; но помощника рядом не было. Было только духовное одиночество среди «нормальных» людей и духовное невежество врачей, лечивших чем попало неизвестно от чего. Зинаиду Миркину выписали домой умирать — и только очень медленно она научилась находить помощь сама, в молитве, в созерцании красоты Божьего мира и в великом искусстве. То, что она пишет, складывается попутно.

«Сонеты к Орфею» Зинаида Миркина переводила с трепетом и видела в этом одну из своих главных жизненных задач. Образ Орфея вошел в ее собственное творчество, в лирике и в поэме «Семисвечник». Но у нее никогда не было потребности понимать этот образ как замену Христа. Скорее как обновление, как еще один лик Бога, единого во всех своих ликах. Я думаю, что Рильке разочаровался в церковном Христе, почувствовав тесноту жестких конструкций богословов, вмуровавших в стены храмов гибкие образы поэтов — духовидцев. Застывшие словесные конструкции мешали ему высказать то, что рвалось к слову. В полемике с церковью сложилось стихотворение о Христе — человеке, оставленном Богом в Гефсиманскую ночь. И начались поиски новых образов в Орфее и в ангелах Дуинских элегий.

Поэзия Зинаиды Миркиной развивалась иначе. Ее образы Христа и Богородицы с самого начала были узнаны сердцем, не скованным никакими догматическими рамками, и жили в царстве поэзии. Она любила повторять слова Тагора, обращенные к Богу: «О, поэт наивысший!» Ее Бог сохранял имена христианского предания, но образ Его развивался не менее свободно, чем образ Орфея у Рильке.

Сказалось, может быть, то, что церковь в те годы была нема и церковные оценки ни над кем не тяготели. Христос и Богородица были пережиты вне церкви. До своего духовного переворота Миркина просто не понимала Евангелия, а после — прочла как рассказ, в котором она узнавала образы собственной души. Триптих «Богородица» — достаточно яркий пример. Вынашивание божественного младенца сливается там с ростом дерева и творчеством

поэта. В других стихах Христос сближается с образом ее собственной муки, длящейся полвека, и на первый план выходит оставленность Гефсиманской ночи, одинокий человек, почти Иов на своем гноище — и все же Бог. И все же — образ нашего большого «Я», побеждающего слабость малого «я», образ бессмертия, побеждающего сквозь муку и смерть:

Ты есть жизнь и воскресенье,
Ты решение задачи.
Что ж Ты сам, как лес осенний,
Как листва под ливнем плачешь?
Что же, Господи помилуй,
Неужели боль не в меру?
И со всей Твоею силой,
И со всей Твоею верой,
Необъятной, беспредельной...
Всемогущий Сыне Божий,
Что ж душа скорбит смертельно
И утешиться не может?
Иль не знаешь о развязке —
О своей посмертной роли?..
Нам рассказывают сказки,
Ну а Ты кричишь от боли.
Ну а Ты вобрал все горе,
Мир взвалил себе на спину,
И зовешь идти по морю
Слез Твоих — ив нем не сгнуться.⁸

сколько прекрасных стихотворений о Данае, зачавшей от Божьего света, но ее любимое имя Бога — это имя Христа. Боль Гефсиманской ночи уравнивает только образ Бога, не имеющего имени, не имеющего никакого образа:

Бесконечность... Бесконечность...
Вот что нас незримо лечит
Прикасаньями своими.
Только кто же даст Ей имя?
И пускай имен у Бога Так же
бесконечно много,
Как и волн у океана —
Бог остался безымянным.
Очертить его не может Ни одно
созданье Божье Кистью иль

8 Зинаиды Миркиной есть стихи о дне Браны, который длится много тысяч лет, о символике Дао в китайской живописи, не-

резцом иль речью,
Ибо Бог наш — бесконечный.

Опыт суфийской поэзии, более тысячи лет жившей рядом с догматическим исламом, то сталкиваясь с ним, то заключая мир, заставляет думать, что поэтический путь к Богу никогда не станет всенародным. Для этого нужна поэтическая одаренность, а она не становится чаще, чем в прошлом; скорее реже. Большой дорогой развития религии будет скорее постепенное насыщение традиции крупными современными духовными опытами, переданными живым современным языком, как в проповедях и беседах Антония Блума. Но тождество поэзии с откровением всегда находило страстных последователей, и я не думаю, что они когда-нибудь исчезнут. В поэзии религиозного созерцания тонет несовместимость религиозно-философских и богословских систем. В ней рождается чувство, что любая человеческая речь, подсказанная Богом, — только перевод с Божьего на человеческий; и поэтический перевод лучше, чем логически правильный подстрочник, ближе к подлиннику, недоступному человеческому уму. Родство мистической поэзии, мистического искусства разных культур становится прообразом родства великих религий, родившихся в Осевое время и несущих на себе печать Единого Духа. В поэзии Басё, в живописи Ма Юаня и Сэсю европейцы чувствуют и понимают то, чего они не чувствуют и не понимают в философском и богословском изложении. Глядя на Троицу Рублева, я больше понял в тринитарном богословии, чем в трудах святых отцов (и лучше понял сами эти труды). И я убежден, что поэзия веры без догматических границ — один из путей к вселенской вере, которая сделает прозрачными нынешние границы вероисповеданий.

Глядя на иконы Рублёва

Когда я смотрю на рублёвского Спаса, я просто вижу Воскресшего. Но потом, вспоминая его, я много раз думал: что здесь дает чувство подлинного, зримого Бога? Личность Иисуса из Назарета? Но рублёвский Спас не похож на евангельского еврея. И если Воскресшим может быть этот славянин, то, может быть, и другие люди? И в других мирах, совсем не похожие на нас разумные существа?

Важно, что разумные: эта интуиция совпадает в трех религиях: неполные воплощения Вишну мыслились как рыба или вепрь, полное — только человек. Буддой может быть лишь человек (хотя бодисатвой — любой сказочный зверь). И Бог Библии воплотился в человека, при всей скверности людей, а не в смиренные деревья, покорные Святому Духу.

Воскресший — разумное существо, достигшее полного обожения, полной святости. Оно от века пребывает в недрах Отчих и бесконечно рождалось в бесчисленных мирах, возникавших и исчезающих в пространстве и времени. Оно будет снова рождаться, когда от нас исчезнет след. В Иисусе из Назарета вторая ипостась лишь впервые в истории Земли была осознана.

Я чувствую вторую ипостась во всей совокупности святых разных вер; чувствую третью ипостась в «благодати вечернего света» (слова одного из отцов церкви), в благодатной красоте морей, лесов и гор. Первую же мы не видим никогда и нигде и можем созерцать только умом и описывать только словами, созданными отвлеченным умом — как сферу, центр которой всюду, а периферия нигде, или бесплотную математическую точку, где время и пространство становятся нулем, великой пустотой, и из нуля — из ничего — изливается в пространство и время — пространством и временем — божественная энергия.

Образ Троицы, созданный греческим гением, перекликается с буддийской Трикайей. В Трикайе ипостасями становятся две «природы» воплощенного божества — божеская и человеческая (Самбхогакайя и Нирманьякайя), между тем как первая и третья ипостаси сливаются в Дхармакайе. Я не вижу здесь неразрешимого противоречия: все границы, проведенные в Боге, текучи; понятия переливаются друг в друга, и разделительные линии произвольны. Они принадлежат не божеству, единому во всех своих ликах, а человеческому разуму. То, что совпадает, важнее различий; и в рублевской Троице ангелы выглядят тремя состояниями одного лица, тремя ликами одного существа. И может быть, этот образ — предел в понимании Непостижимого, высшее из Подобий, созданных тварью, рвущейся к Творцу.

Почему это единство всех вер не создавалось с такой настойчивостью раньше, до XX в.? Казалось бы, вечные истины неизменны; но слова, созданные целостной религиозной мыслью, общаются с

понятиями нашего дробного ума, с изменчивыми понятиями науки и философии. У нас сейчас другая астрономия, чем в I в. У нас нет больше того неба, на которое мог подняться Воскресший и сесть одесную Отца. Образы двухтысячелетней давности — не факты (которых вообще нет в вечности: там все целостно, а факт — отрезок); это метафоры, подобия чего-то, о чем мы и сегодня, и вчера, и через века веков напрямую ничего не можем сказать (не считая словом молчание).

Вечность неизменна; но меняется мир в пространстве и времени и меняется отражение вечности в потоке, в игре волн. Символика великих религий не теряет своей истинности, но меняется толкование символов, уходя от буквы к духу. Религия, философия и наука связаны друг с другом, и перемены в науке отражаются в богословии. В средиземноморском культурном пространстве сильнее чувствуется обособленность ветвей культуры, но в Индии и Китае вообще не было отдельных слов «философия» и «богословие»; и это не неразвитость; это, может быть высшее развитие. Религия, философия и наука — аспекты единого целого культуры, и невозможно сохранить религию без перемен, когда меняется все остальное.

Мы не живем больше в отдельных культурных мирах, отрезанных друг от друга ничтожеством транспорта и связи. Мы живем в мире, который можно облететь за сутки, а увидеть кусок за куском на экране — мгновенно. Мы вынуждены принять к сведению сосуществование христианства, ислама и религий индийско-тихоокеанского круга. Телевидение напоминает нам о физическом единстве культур земли каждый вечер, и некуда деваться от задачи суперэкуменического богословия. Если мы хотим уберечь от дробного разума свое *чувство Бога*, перегородки между религиями должны стать прозрачными и противоречия свестись к «букве» (которая всегда мертва). И первый догмат суперэкуменического богословия — то, что различие между глубиной и поверхностью любой религии важнее, чем различия религий друг от друга.

Дух любви, объединяющий людей доброй воли, христианин может назвать духом Христа, и он будет прав; но буддист может назвать его духом Майтрейи, и он также будет прав. Майтрейя на санскрите значит любовь; это также имя будды будущего, будды любви; в его башне каждая душа отразится во всех других и исчезнет непонимание: таков миф. Такова же духовная реальность Небесного Иерусалима.

Я смотрю на рублёвскую Троицу, я смотрю на репродукцию Трикайи из японского храма в Наре (VIII в.) — и я вижу одну и ту же небесную Троицу. В обеих отпечатался Дух, веющий всюду, отпечатались тайна воскресения и тайна божественной энергии, изливающейся в мир из точки нуль, ex nihilo. И когда мы до конца

смиримся, мы чувствуем эту точку.

Весны и осени

Тишайший благовест Господень.
Деревья замерли в мольбе.
Весною к нам Господь приходит,
А осенью — зовет к Себе.

У сердца нет пути другого Жизнь
уплывает... Что же, пусть...

О, счастье божеского Зова
И тихая земная грусть....
(Зинаида Миркина)

Мысль, которую я привожу в эпиграфе, не впервые высказана. Мне вспомнился сперва Тейяр де Шарден, потом Фрейд. Концепцию Тейяра, изложенную в «Божественной среде», вполне можно передать двумя стихотворными строчками:

Весною к нам Господь приходит,
А осенью зовет к себе...

Весною Бог раскрывается в рождении плоти, в ликовании плоти, в радости и муках любви. Бог весной разлит во всем, в каждом листочке, в каждом взрыве страстей, в каждом вздохе влюбленных. Потом Бог уходит в Себя, и плоть, оставленная им, вянет. А дух слышит зов — идти за Ним.

Михаил Михайлович Бахтин этот зов слышал. Он написал когда-то книги, дышавшие страстью, а в последние годы ушел глубоко внутрь себя и только слушал собеседников, почти не вступая в разговор, никогда не объясняя своего несогласия. Если нельзя было промолчать, выражал свое отрицание одним-двумя словами. Надо самому понять, почему Бахтин что-то отрицает. Причиной никогда не было самолюбие. Хвалил то, что выходило за рамки его концепции Достоевского, хвалил из бескорыстной глубины. Я трижды беседовал с ним и трижды преклонялся перед величием старости. Мой знакомый, хорошо знавший ветеранов Серебряного века, как-то сказал: надо быть таким стариком, как Бахтин, и не таким, как N...

Бахтина втягивали в новые замыслы, он уклонялся, медлил, с трудом и немного прибавлял к написанному раньше. Когда художник Селиверстов спросил, почему он тянет с предисловием к сборнику старых статей, — ответил: «Потому что я сейчас так не думаю». Но никакой другой интеллектуальной конструкции не хотел создавать. Что-то подобное, видимо, чувствовал на старости

лет Фома Аквинский, сказав о всей «Сумме теологии»: «Это солома». Но не заменял одну солому другой. Все солома, сравнительно с тихой глубиной, с Безымянным, объемлющим Названное.

Смерть Бахтина созрела, как созревает плод, и последние его слова, по свидетельству Селиверстова: «Иду к тебе, Господи».

Фрейд уходил иначе — к Танатосу. Он тоже чувствовал, что взлет страстей сменяется погружением в бесстрастную глубину, но глубина для него — просто могила. Сперва эрос без Бога, потом смерть без Бога. Непонятно, чем она влечет. Скорее тащит, и ничего не остается, как идти на казнь. Откуда же оттенок возвышенности на этом скорбном пути? Все-таки названо имя Бога. Все-таки есть чувство божественности: языческой, осколочной божественности, чувство осколков великого целого. Но нет пути вверх, к единству духа, в котором смыкаются весна и осень. Нет возможности уйти от страсти к бесстрастию, которое больше страстей. Царство Танатоса ущербно. В нем нет места для молитвы смирения, сменившей мольбы влюбленных. Это смерть с кляпом во рту. За стоическим молчанием — невысказанный вопль.

Три синонима

Смирение, тишина, пустота. Я их чувствую, как одно целое. И сразу слышу вопрос: почему пустота? В смиревшемся сердце — тишина. Это понятно, потому что привычно, потому что много раз повторялось. Но пустота кажется здесь чем-то чужим. Христиане приписывают пустоту дьяволу. Дьявол — пустая личина. Видимость тела, а внутри — пустота. И в секуляризованном сознании нигилизм принимается как отрицание всех святынь, всех сверхценностей. Фауст иначе понимал ничто, но «в твоём ничто я мыслю все найти» — не вошло в код европейской культуры. И трудно понять буддистов и даосов, для которых пустота — знак сверхценности. Понимание пустоты как святыни пугает и отталкивает.

Наверное, многие христиане удивятся, если сказать, что Христос говорил о себе как о пустоте. Но что значат его слова «Аз есмь дверь»? Открытая дверь — это пустота. Христос есть пустота, проем в стене мирского, ничто, через которое проходят к Богу или

к нам входит Бог. Буддисты и даосы примерно так и понимают пустоту — опустошенностью от всего суетного, дробного, пустоту сосуда, в которую вливается дух. Если весь наш мир без остатка делится на дробь, то пустота — это опустошенность от *всякого* бытия. Но если вечное и целостное реально, то все эти факты и биты — только шелуха Бытия. Тогда надо «учиться падать и держаться ни на чем, как звезды» (М.Энде). Тогда падаешь в пустоту, в смерть дробного и воскресаешь с чувством целого.

Бог творит мир из ничего, ex nihilo, из нуля, из шуньяты. В буддийских текстах шуньята (пустота) обозначается кружком, который в цифрах стал знаком пустоты, творящей из единицы десять, сто, тысячу — и так далее, до $10^{\text{й}}$. Шуньявада, философия пустоты, была повивальной бабкой математического нуля и всех точных наук.

Смирение имеет много ступеней. Молитва св. Силуана (Господи, помоги мне смириться...) сперва просто очищает душу от суеты, открывает глаз сердца. Но в конце концов, доведенное до конца, смирение доводится до нуля отдельного обособленного «я». И в тот миг, когда мы это создаем, перед умом встает образ нуля пространства и времени как точки, в которую входит целостное и вечное, удерживая дробный мир в своих объятиях.

В одном из стихотворений Джелаледдина Руми путник, изнемогая, стучит в двери хижины. «Кто ты?» — спрашивают оттуда. «Я», — говорит путник и получает ответ: «Здесь нет места для двоих». Много раз путник возвращался и с новой жадой стучал в дверь, она оставалась закрытой. Наконец, на вопрос: «Кто ты?» — он смог ответить. «Ты!» Тогда дверь раскрылась. Она отворилась перед человеком, смирившим себя до нуля, до пустоты.

Вошедший мог бы сказать, как Иисус из Назарета: «Я и Отец одно». Он выполнил заповедь Христа: «Будьте подобны Мне, как Я подобен Отцу Моему Небесному», — даже если не был крещен; даже если ничего не слышал о Христе. Молния мистического знания блещет всюду, где дух стремится к глубине, она не знает различия вероисповеданий.

Эти строки были навеяны одним стихотворением Зинаиды Миркиной. Привожу его целиком:

Как упорна она! Как давно Мысль
простейшая бьется во мне:
Я — никто, я — лишь только окно,
Я — пробоина в плотной стене.
Только плотность стены прорубя,
Только после великих потерь
Понимаю: я — выход в Тебя.
Я — в Тебя уводящая дверь.
С целым миром окончился спор.

Я — никто. Обо мне позабуди.
Я — есть вход в бесконечный простор.
Только вход, только дверь, только путь.

О смысле страдания

Я думаю, что тайна страдания — в Божьем резце, выстраивающем мир и меня в мире, в нераздельности Божьего страдания и радости. Так это в образе Бога, каким я его чувствую, каким он присутствует во мне. И так это во взлетах человеческого чувства, во всяком вдохновении. Между ними есть подобие, как между первой и второй наибольшими заповедями, о любви к Богу и любви к ближнему.

Я несколько раз подступался к этой тайне. Один из подступов был опубликован в журнале «Искусство кино», № 7 за 2000 г. Потом я буду в чем-то отталкиваться от него, но сперва полностью приведу — вместе с названием, придуманным редакцией:

«И так на свете все ведется...»

В поэме Джебрала Халила Джебрала «Пророк» женщина просит:

— Скажи нам о радости и о печали. И пророк ответил так:

— Твоя радость — это твое горе без маски. Ведь тот же самый колодец, из которого подымается твой смех, был часто заполнен твоими слезами... И разве может быть иначе?

— Чем глубже твое горе проникло в тебя, тем больше и радости может вместиться в тебя...

— Разве не та же чаша, что содержит твое вино, обжигалась когда-то в печи гончара?

— И разве лютня, услаждающая твой слух, не то самое дерево, которое страдало под ножами резчиков?

— Когда ты радуешься, загляни глубоко в свое сердце — ты увидишь, что в действительности ты плачешь о том, что было твоей радостью. И когда тебе горько, загляни снова в свое сердце — и ты обнаружишь, что только то, что приносило тебе радость, дает тебе и печаль. Кто из вас может сказать: «Радость больше, чем печаль»? И другие скажут: «Нет, горе больше». Но я скажу вам: они неразлучны.

— Вместе пришли они, нас коснулись едва, и когда одна из них сидит с тобой за столом — помни, другая спит на твоей кровати. Действительно, как стрелка весов, ты колеблешься между горем и радостью.

— И только когда ты пуст, она неподвижна и в равновесии. Но чуть лишь хранитель сокровищ поднимет весы, чтобы взвесить свое золото и серебро, обязательно радость или горе на весах поднимется

или опустится.

Здесь почти все верно, кроме одного преувеличения. Я не думаю, что плачу, когда радуюсь. Но это потому, что я человек и живу на поверхности времени и в миг радости целиком отдаюсь радости. А Бог, который в глубине, где время целостно и называется вечностью, одновременно погружен в полноту боли и в полноту радости. И в той мере, в какой я раскрыл в себе образ Божий, я чувствую привкус боли в радости и радости — в боли.

Этим привкусом большое искусство отличается от такого, которое забавляет, развлекает и отвлекает от глубины духа. Мы испытываем подъем духа, мы радуемся, когда смотрим на муки Эдипа, когда слушаем «Страсти» Баха. Но разве эта радость свободна от боли? И разве в комедии Гоголя нет незримых слез? И в шекспировской комедии, где мы смеемся вместе с героем, а не над героем, где человек не падает в бездну своих ошибок, но со смехом освобождается от них, где царствуют радость, — нет-нет, да и мелькнет грусть:

Страдает раненый олень,
А лань здоровая смеется.
Для спящих ночь, для стражи день,
И так на свете все ведется...

Разве нет тени грусти в сонатах Моцарта? Разве сама форма концерта не требует чередования радости и грусти? И разве муки любви не поднимаются до взрывов блаженства? Об этом писал не только Достоевский. И в песенке Клерхен есть стих, не давшийся переводчику, передаю его прозой: «Быть полным радости, страдания и мысли». Именно это счастье: «Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает лишь любовь».

Разве путь инока не чередование благодати с богоотставленностью? И разве в самой благодати не плачет Силуан о народах, бредущих во тьме? И Рамакришна, плакавший трое суток вместе с отцом, потерявшим своего сына, — разве на четвертые сутки он не запел гимн? И не нарастал ли этот гимн в самой глубине его скорби? Я думаю, что Иов, встретив Бога, испытал радость, перекрывшую все его страдания. Глубина этой радости неотделима от глубины его боли. Потому что боль обнажила все его нервы, и он каждым обнаженным нервом пережил красоту, увиденную глазами Бога.

Когда мне попадаются люди, играющие в карты на пляже, я думаю, что они мелки и в горе, не только перед лицом бесконечности. А разве бесконечность не берedit, не тревожит? Разве не вызывает она мысль о хрупкости мыслящего тростника?

Говорят о счастливом детстве, но разве это не время безутешных слез, плача навзрыд? Способность чувствовать боль та же, что

способность чувствовать радость. Нас удивляют крутые переходы детей от радости к горю, от горя к радости. Детей, наверное, удивляют наша серость, наша неспособность чувствовать по-детски. Только в немногих случаях это сдержанность в мелочах, оставляющая способность к великому чувству, сдержанность в мирском при открытости сердца Богу. Гораздо чаще цена потерянного золота несравненно больше кучи мелкой монеты. И снова приходит на ум Волошин, возле дома которого я писал это:

Ребенок, непризнанный гений
Средь будничных, серых людей...

Мы браним детей за беззаботность. Но эта беззаботность — не-пременное условие счастья. И жизнь в Боге, по ту сторону счастья и несчастья, невозможна при озабоченности. Христос призывал своих учеников не заботиться о дневном пропитании. Дзэнские старцы учили не заботиться и о духовной цели, жить полнотой и глубиной мгновения, тем, что европейские мистики называли «вечным теперь».

В чем счастье дураков? В беззаботности. На фронте мы не соблюдали требований устава, не носили касок, не знали пароля и отзыва. Нашей любимой песней была песнь о беспечности Ермака.

Слово «беспечно» я всегда пел с каким-то замиранием сердца. Беспечность была мигом счастья в каждую минуту, когда война не оборачивалась мучением и ужасом. И мне помнится, что беспечность была нашей общей тайной, что она соединяла меня с другими в одно братство.

«Вы спите, спите, — мнил герой, — Друзья, под бурю ревущей...» Чем ближе к переднему краю, тем крепче я спал. Чем больше напрягала чувства близость смерти, тем острее чувство красоты полей и лесов, по которым перекачивалась война, и самих боев. Я помню, что тяжело раненный, контуженный, лежа на спине, я любовался самолетами, сбрасывавшими на нас бомбы, и самими падающими бомбами, блестящими под февральским солнцем. И потом, когда был случай смотреть на бомбежку, а не утыкивать нос в землю, я сказал сам себе: впечатление от бомбежки, как от великого произведения искусства, никогда не слабеет. То, что потрясает, всегда обновляет наши чувства. И прекрасное, как писал Рильке, это та часть ужасного, которую мы способны вместить.

Все это выросло из наброска, который я сделал, подымаясь к могиле Волошина. Я пошел туда в первый день, еще не окрепшими ногами; идти было трудно, и бросилось в глаза, что сама трудность подъема обостряла чувства и углубляла созерцание трех бухт: Тихой, Мертвой и Коктебельской. Мелькнула мысль, что в этом,

может быть, смысл страдания во вселенском плане бытия. И в этом резон, почему верующие благодарят Бога за боль, почему «боль — по словам какой-то немецкой святой, — это хорошее слово».

Недавно мы говорили об эмиграции, и я вдруг подумал: что мы теряем, уезжая? Боль. Больно за родное. За чужое не больно.

Боль — это вызов, на который стихи Зинаиды Миркиной дают ответ: люблю, люблю, несмотря ни на что. И этот ответ — творчество, подобное Божьему.

Коктебель, 1999, октябрь

В этом эссе есть отпечаток времени и места. Радость тогда господствовала над памятью о горе. И мне казалась достаточной мудрость Джебрана. Хотя я знал, что бывают страдания, которые опрокидывают всякую мудрость, сбивают с ног. Что же тогда позволяет встать, продержаться, жить — со смертью в душе? Что помогает пройти сквозь смерть и дойти до Бога — неважно, самому или после встречи, которая подсказала последний шаг? Мне — подсказала, когда не хватало именно одного шага. И я его сразу сделал, когда выслушал стихотворение «Бог кричал». Еще раз повторю эти несколько строк, каждый раз потрясающих меня как собственное прикосновение к последней глубине.

Бог кричал.
В воздухе плыли
Звуки страшней, чем в тяжелом сне. —
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — по мне.
А кто-то вышел, ветрам открытый.
В мир, точно в судный зал,
Чтобы сказать Ему: Ты инквизитор!
Не слыша, что Бог кричал.
Он выл, с искаженным от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Где нам расслышать за нашим криком
Бога живого крик?
Нет. Он не миф и не житель эфира, —
Явный, как вал, как гром, —
Вечно стучащее сердце мира,
То, что живет — во всем.
Он всемогущ.
Он болезнь оборет, —
Вызволит из огня
Душу мою, или, взыв от боли,
Он отсечет меня.
Пусть.

Лишь бы Сам, лишь бы смысл вселенной
Бредя не сник в жару.
Нет! Никогда не умрет Нетленный.
Я за Него умру.

Таков образ Божий — бесконечное страдание и сострадание, тонущие в бесконечной радости творчества. Но таков только *образ*, с которым мы далеко не тождественны, не всегда, далеко не всегда слитны, к которому только приближаемся в иные минуты. А мир, в котором мы живем, — вечное движение материи к распаду, навстречу которому — только вечное движение духа к чуду возрожденной цельности. Бог присутствует в нас так же, как во всем мире, Он уравнивает стремление к распаду, уравнивает инерцию двойственности и дробности. Но Он не устраняет второе плечо коромысла. И в этом равновесии цветут розы и колются шипы, благодатные дожди дают жизнь лесу и ураганы вырывают с корнем деревья. На глубине бытия зла нет, мы можем иногда почувствовать эту глубину в образе чистого света, но повседневно мы живем в мире, где сталкиваются благотворные и разрушительные силы, и то, что для одного жизнь, для другого смерть.

Все, к чему рвется человек, не дается без боли и не обходится без боли, и все кончается смертью. Будда нашел выход из мира рождения и смерти, но тут же всплыло сострадание, а в сострадании остается отблеск страдания. Этот жаркий отблеск разгорается до белого каления и сжигает малое, замкнутое в себе «я». Сострадание — боль великого «Я», пылающая еще больше, когда совсем сторело малое «я», «эго». Святые плачут о грехах народов, спокойно бредущих по своим дорогам. И после волны благодати Силуан тосковал, как Адам, изгнанный из рая, пока не придет следующая волна. Томас Мертон писал о мучительных сомнениях, неотделимых от глубокого, подлинного созерцания. Великие радости неотделимы от великих страданий. В миру они чередуются, а у святых, которые ближе к Богу, и у любящих, которые приближаются к Богу, ад и рай нераздельны. «Держи ум свой во аде и не отчаивайся», — услышал Силуан. В страданиях, сжигающих душу, рождается новая душа.

Христос вспоминает женщину: она терпит муки, а потом все заливает радостью, потому что человек родился. Я узнал из фильма «Город ангелов», что порог выносимой боли у женщины в десять раз выше, чем у мужчины. Но с этим связана и способность к радости, к ликованию, к экстазу. Женщина ярче любит, чем мужчина, и в материнстве ей дана целая огромная область чувств, которой мужчина, по большей части, может только восхищаться. И подавляющее большинство женщин с радостью идут навстречу горестям семейной жизни и мукам материнства. Даже если нет на-

ивной надежды, что страдания обойдут стороной.

Я убедился на опыте, что боязнь большого страдания иногда закрывает возможность большой радости. В студенческие годы у меня начиналось глубокое чувство к женщине, поразившей меня своей силой в несчастье. Но я понимал, что счастье здесь невозможно, да и желать его недостойно (у нее муж был арестован, и она любила этого человека). После разговора, от которого я опьянел, я два месяца не заходил к ней, чтобы остыть. Потом зашел, снова вспыхнул — и еще недели три не заходил. После этого чувство улеглось в русло дружбы. Я считал, что поступил мудро. Но я мог бы поступить иначе: молчать о любви и страдании и не мешать душе расти вместе с ними. Я напрасно испугался боли.

Лет через пятнадцать, в лагере, я перестал жалеть себя. Не для чего-то, не с какой-то целью, а просто перестал. И вдруг влюбился в одну заключенную, захватившую меня своими ярко пережитыми воспоминаниями. Я просто не думал, счастливая выйдет любовь или несчастная, я был готов на все муки, и я их получил, вместе со взлетами ликования. Они кончились, когда я навестил девушку в ее родном городе и увидел, что все, чем она увлекалась, было довольно поверхностно. Но за два года я пережил то, о чем только читал в книгах, а в жизни не встречал. Я стал другим. Способность выстраивать теории у меня осталась, но она отступила на второй план, вперед вышла способность любить. На четвертом десятке наступило время любви. Оставалось встретить женщину, способную захватить меня (я никогда не влюблялся во внешность). И когда я встретил Иру Муравьеву, то забросил все ученые занятия, чтобы проводить с ней как можно больше времени, и на три года стал счастливым и беззаботным «люмпен-пролетарием умственного труда». (Эта шутка Е.Ф. меня не обидела.) Как-то мы проплывали с одним знакомым на речном трамвае мимо особняка Хрущёва, мне указали на этот дом, стоивший 60 млн., и я подумал: у меня на семи метрах, между кухней и уборной в коммуналке, живет счастье, которого Хрущ и не нюхал.

Мне достаточно было прикоснуться к пальцу Иры, чтобы почувствовать блаженство. И вдруг, 30 октября 1959 г., Ира умерла. Умерла на операционном столе. Я рухнул на колени, чтобы поцеловать ее. Меня зачем-то сразу подняли — и заработала привычка держать удар ужаса, превосходящего ум. Я поблагодарил женщину-врача, не спавшую две ночи, пытаюсь спасти Иру, и, помню, очень твердыми шагами спустился по лестнице.

Еще накануне, когда мелькнула только мысль, что Ира умирает, я среди бела дня увидел, как небо раскололось и кусками падает на землю. После ее смерти я два месяца, закрыв глаза, видел себя рассеченным сверху донизу вдоль позвоночника и половины моего тела со мной не было, она была похоронена вместе с Ирой, а за

мной по тротуару волочились кишки. Я был мертв. Живой оставалась только привычка держаться ни на чем.

Она долго складывалась. Началось в 20 лет. Растревоженный Тютчевым, Толстым и Достоевским, я пошел навстречу ужасу дурной бесконечности, где тонула, становилась нулем пылинки моего живого «я», и три месяца вглядывался в загадку, которую сам сочинил: «Если (научная) бесконечность есть, то меня нет; а если я есмь, то ее нет». До тех пор пока не догляделся до вспышки света из бесконечной черной ямы, в которую падал, и до каких-то идей, изменивших мое мирозерцание. Потом из этой привычки родилась другая, военная, подобная пушкинскому Гимну чуме. С тех пор «все, все, что гибелью грозит» — меня неудержимо влекло, и эта открытость риску сплелась с задачей, поставленной себе в 17 лет, — быть самим собой.

Я приходил в негодование оттого, что каждый монолог в драме меня захватывал, каждое уверенно высказанное мнение раздражало. Я не хотел быть рабом наплывов и вместе с римской чернью восхищаться то Брутом, то Антонием. Я должен был докопаться до той глубины сердца, где жило мое подлинное «я». И сочинение на тему «Кем быть» я кончил фразой, огорчившей учителя. Она действительно несла в себе начало конфликта с системой: нежелание поддаваться пропаганде, нежелание играть заранее предписанную роль. С этих пор я много раз делал глупости, но это были мои собственные глупости, и я защищался от упреков словами Разумихина из романа «Преступление и наказание»: «Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя поцелую. Соврать по-своему — это лучше, чем правда по-одному, по-чужому». И в конце концов я доверлся до понимания, что на самой большой глубине кончается мое малое «я» и открывается Божье «Я», и именно оно придает подлинность моей интуиции правды и фальши, высокого и низкого — моей интеллектуальной совести.

Только одна полоса моей жизни была изменой себе, была отказом от самой задачи — быть самим собой. Это случилось между исключением из партии в 1946 г. и арестом в 1949-м. Мне говорили: надо апеллировать. Исключение за «антипартийные высказывания» — путевка в лагерь. Там очень, очень страшно, не вынести. И я апеллировал. Я лгал. Я делал вид, что не понимаю, за что меня исключили. Хотя я быстро понял, что моя воля быть самим собой не укладывалась в прокрустово ложе системы, начиная с элементарной партийной дисциплины, кончая идеологией и эстетикой. Я фальшивил на 100% в высоких инстанциях, куда подавал свои бумаги, фальшивил наполовину в быту и только в гостях у Леонида Ефимовича Пинского (моего старшего друга — его тоже ждал лагерь) с отрадой снимал маску. Я был наказан: за три года не родил ни одной стоящей мысли, не продвинулся ни на шаг вглубь.

Когда за мной пришли, я почти обрадовался. Меня охватил подъем, как при звуках артоподготовки: в бой! И пока гэбэшники рылись в моих книгах, я со вкусом ел яблоко. Кончилась фальшь. Я снова становлюсь самим собой. Мое место в лагере, и я иду туда. Я был весел в 16-й камере на Малой Лубянке, и ко мне льнули люди, искавшие поддержки; я был весел в Бутырках. Там были свои испытания, и в лагере были, но я держал удары — и радовался тому, чему можно было радоваться, — белым ночам, музыке по репродуктору в ясные зимние ночи, беседам с друзьями, освобожденными от страха. И с этой привычкой держать удар я прошел через смерть Иры. Когда во мне самом ничего не осталось, кроме смерти. Привычка держаться несла меня через смерть. Помогали и близкие, но без привычки держаться я бы не выстоял. А потом оказалось, что это великий опыт: живым пройти через смерть.

Наша читательница писала мне, что без этого опыта я не стал бы тем, чем стал. Может быть. Но я никогда не отдал бы жизнь Иры, чтобы вырасти. Я готов был тысячу раз умереть, чтобы она жила. Я вместе с ней шел на риск операции, я рисковал собою вместе с ней. Открытость риску была частью нашей жизни, нашей верности себе. Но я верил в наше счастье, как на войне верил в свое счастье, подымаясь под огнем, а на этот раз случилось другое: и я познал, как хрупко земное счастье. Чем счастье больше, интенсивнее, тем страшнее крушение. В каждом счастье — зерно страдания. Оно может прорасти или не прорасти. На этот раз оно проросло. Расколосось небо. А есть ли зерно равноценной радости в великом страдании? И если есть — у всех ли оно прорастает? И можно ли искать справедливости?

Среди детей, сожженных в Освенциме, среди детей «кулаков», немцев Поволжья, кавказцев, крымских татар, умиравших в своих эшелонах, среди десятков миллионов погибших на войне было много таких, которых стоило выбрать и сохранить. В институте меня восхищал аспирант Ефрем Янкелевич. Я приходил слушать каждое его выступление. На войне он командовал взводом артиллерийской разведки, его окружили автоматчики, и он передал по радиации: огонь по НП! Красивая, героическая смерть, но лучше бы ее не было. А сколько изувеченных, сколько обрубков — без рук, без ног, без ушей, без глаз, — оставшихся медленно умирать в отдаленных приютах, где они никому не мозолили глаза. Что им дал Бог, этим обрубкам? Толчок обратиться внутрь и увидеть внутренний свет, как Жак Лиссеран, ослепший ребенком восьми лет? Нечто подобное затвору, в полной тьме, на которой подвижники шли по доброй воле? Но кто на это способен? И что делать тем, у кого травма черепа или позвоночника приносит муки ада — и мечту о смерти, которая годами заставляет ждать себя? Какие грехи могут припомнить несчастным друзья Иова?

Бог страдает вместе с каждой страдающей тварью. Это неотделимо от Его вездесущности. Но Он не ведет нас под руки и не шлепает за шалости. Он дает человеку свой образ — и оставляет в море случайностей. «Здесь он не царь», не судья и не судебный исполнитель.

Царство Его Не от мира сего.
Сила Его Не от мира сего.
Здесь — Ему воздух скуп отпущен.
Нет, не всеильный, не всемогущий,
Здесь — задыханья едкая гарь.
Здесь Он не царь.
Кто же Он?
Путь, уводящий отсюда.
Не чудотворец — высшее Чудо,
Выход в мою и твою высоту, —
Насквозь пробитый, прибитый к кресту.
Тот, кто безропотно вынести смог
Тяжесть земли, —
Наш неведомый Бог.
Назван. Описан. И снова неведом.
Только тому, кто пройдет Его следом,
Снова предстанет среди пустоты:
— Видишь? Вот Я.
— Вижу. Вот Ты.

На вопли страдающей твари Бог может ответить только так, как Иову.

Он поднял Иова над всеми его вопросами, на свой уровень, где неизбежность отдельных несчастий — часть общей красоты мира. И Иов понял, что наш долг — не жаловаться на свой жребий. Не мне, так другому неизбежно выпадет невыносимое страдание и бессмысленная смерть. Сердце моего сердца, где присутствует Бог, велит не восставать против того, что именно на мою долю выпала горесть невыносимых ударов. Если есть сила — прими их как опыт и стань глубже, стань ближе к Богу. С верой ты выстоял — так иди дальше. И Иов пошел и зачал других детей и нашел другие стада.

Таков ответ на вопросы: зачем страдает праведный? Зачем страдают дети? Праведные иногда сами шли в печь вместо ближних, охваченных страхом. Адети...

Достоевский как-то нашел ответ, простой человеческий ответ. Без попытки оправдать Бога или судить Бога. Просто поставил себя самого перед вопросом: чего он больше хочет? Идеального, совершенного мира, но без детей? Или мира, полного противоречий, ужасов, низости — но с детьми? И признался, что выбирает второе.

Пусть будут дети. А значит — и все, что ведет к рождению детей. Все страсти, все ужасы, вся грязь, все страдания самих детей, все смерти невинных младенцев. Это можно прочесть в «Дневнике писателя», то есть написано было до бунта Ивана Карамазова. Хотя без всякого осуждения бунта. Смертельно раненное сердце вправе вопить от боли, но мир нельзя переделать. Жизнь прекрасна. И жизнь ужасна.

Мне кажется, не стоит думать, что Бог ее создал для нас, и мы вправе вернуть ему билет. Бог выходит из целостной вечности в пространство, время и материю, чтобы полностью, до конца осуществиться, до сынов и дочерей Божьих, до тварей, тождественных Творцу. Без них бытие Бога было бы неполным. И правильно написано в стихотворении, которое потрясло меня.

Нет, никогда не умрет Нетленный.
Я за Него умру.

И это насыщает мое сердце, потому что я не вне Бога, я причастен к его бесконечности.

Мы брошены в жизнь и смерть, как рыбы мечут в море миллионы икринок — ради лучшего, ради зерна святости, которое даст жизнь святому. В каждом из нас есть это семечко, есть зародыш Божьей природы, и наше глубокое сердце может осознать это и принять свой личный жребий, свое жертвенное участие в бытии: да будет воля Твоя, а не моя.

Есть страдания, которые мы выбираем для радости, с которой они связаны, как рождение ребенка или полет над страхом. Мы можем их выбрать или не выбрать, отказаться от риска, жить достойно, но помельче, без полета. А есть страдания, которые нас

выбирают, хотя мы готовы бежать от них на край света. Они обрушиваются на нас непоправимым крестом. Но в них есть смысл; это проба на излом; в них есть задача: жить или умереть, но оставаться самими собой, расти в своих испытаниях и — если удастся — запечатлеть свой опыт. Как Эли Визель в книге об Освенциме и Тамара Петкевич в своем «Сапожке» — самой поэтической книге о женской судьбе в лагере.

Иисус не искал креста. Он умолял, да минует Его чаша сия. Но когда испытание пришло, Он вырос в нем до Воскресения. И ученики, разбежавшиеся в начале страстной недели, стали апостолами, готовыми на любые муки, и на крови мучеников выросла новая община.

* * *

Postscriptum Зинаиды Миркиной

Мне хотелось бы добавить несколько слов к сказанному Григорием Соломоновичем. Прежде всего об Иове, а потом и о Силуане. Книгу Иова мы оба считаем главной книгой Ветхого Завета. Во всяком случае, она наша самая любимая книга. Это самая горькая, открытая как рана книга о смысле страдания. Очень многие люди не понимают, чем не угодили Богу друзья Иова, ведь они говорили все правильно. Так вот, по-моему, они не угодны Богу тем, что они Его логически последовательно оправдывали. А Он в таких оправданиях не нуждался.

Они пытались за Него отвечать. А Он не собирался отвечать. Он спрашивал.

Когда Бог явился Иову из бури, Он не ответил ни на один вопрос Иова. Он сказал: «Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне».

И Бог спрашивает:

«Где ты был, когда Я полагал основание земли? Скажи, если знаешь.

На чем утверждались основания ее или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?»

И дальше идет могучая поэзия, разворачивается великая творческая стихия — недаром Бог говорит из бури. Сила, творящая жизнь, спрашивает со своего творения равной ответной силы: вместил ли ты Меня, соединился ли со Мною, способен ли отвечать Мне, способен ли вместе со Мною взять на себя ответственность за этот мир? Не только принимать дары Мои, но и взять на себя работу Мою?

Победа Иова — в его поражении, в признании своей малости, в

радостной способности к росту, к ответу. Это как в стихотворении Рильке, конгениально переведенном Пастернаком:

Как мелки с жизнью наши споры.
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
Стихии, жаждущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.
Все, что мы побеждаем, — малость.
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость Зовет
борцов совсем не тех!
Так ангел Ветхого Завета Нашел
соперника под стать —
Как арфу он сжимал атлета,
Которого любая жила Струною
ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на ней сыграть.
Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из любого боя В расцвете
и сознаньи сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб Высшее Начало Его
все чаще побеждало,
Чтобы расти Ему в ответ.

Высшее Начало победило Иова, и он вырос Ему в ответ. В этом задача человека. В этом смысл нашей жизни и всего нашего страдания.

Когда-то, в юности, все вопросы Иова обрушились на меня (хотя я не читала еще этой книги). Когда-то они обрушились на Ивана Карамазова и на его автора, хорошо знавшего и очень любившего эту книгу. Карамазовские вопросы или вопросы Иова как бы смешались в одно (несмотря на то, что Иван Карамазов не был, в отличие от Иова, Божьим праведником). Когда все эти вопросы обрушились на меня, они почти уничтожили меня. Я не могла жить, дышать. Мне было 19 лет. 1945-й год. Шла война. Люди убивали друг друга. Люди голодали. Люди зверели. Весь мир представлялся мне огромной бойней. Животные, поедающие друг друга; люди, поедающие животных и убивающие себе подобных; стихии, опрокидывающие все живое. Все доставляют страдания друг другу. Шквал. Хаос. И я — песчинка в этом хаосе, бесконечно

страдающая и заставляющая неизбежно кого-то страдать. (Ну даже хотя бы невозможностью ответить на любовь.) Куда деваться от

этого?

Ответ пришел ко мне так же неожиданно и так же вразрез всякой логике, как Голос из бури Иову.

У меня это был не голос. Это был Свет. Ель, перед моим балконом на даче, усеянная каплями дождя после только что отшумевшей грозы, вспыхнула в лучах солнца таким светом, что это перевернуло меня, пронзило навывлет. Это невиданное сияние вошло внутрь меня. О дальнейшем я могу говорить только метафорами, потому что в человеческом языке нет точных слов для ЭТОГО. Мои физические глаза видели только сияющие тысячами солнц капли. *Никаких видений!* Никаких образов! Но мои внутренние глаза увидели Бога. Увидели образ такой красоты, высоты и глубины, который я никогда не могла себе раньше представить, ибо сердце мое ЭТОГО не знало.

И вот узнало. Что?

Человек — такой, каким он на сегодня стал, такой, какой есть, — совсем не высшая точка творения, не венец его. Ему еще расти и расти до той высоты, которая называется Человеком, сыном человеческим (дочерью человеческой). Это — божественная высота, совершенно другой уровень чувств и сознания. Это не тот малый ребенок, который спрашивает, почему ему мало дали сладкого и за что его наказывают, а тот взрослый, который за всех отвечает и которому *не с кого спрашивать*. Да, не с кого, потому что, оказывается, он обязан, он может, он призван вместить всё и всех внутрь себя. Он не отделим ни от кого и ни от чего. Он — не только он, не отдельная особь, не атом.

Мир — это не сумма отдельностей. Мир — целостный организм. И человек — ответственной частью единого целого. Он — лицо этого мира. Лицо и слово. Он говорит за всех бессловесных, смотрит за тех, кто не имеет глаз, — за мир, небо, горы, леса. Его устами говорит Вселенная. Он — не только творение, он — Творец, потому что Творец мира — не отдельность, не предмет среди предметов, не часть, противопоставленная другой части. Он — целостность. Он — всё. И когда Христос сказал: «Я и Отец — одно», он отнюдь не возвеличил себя этим, как думали люди, никогда не поднимавшиеся до Его уровня мышления. Он взял на Себя величайшую ответственность за всё и всех.

Величайшая ответственность сопряжена с великим страданием. И Он пошел на это страдание.

Зачем?

Зачем была Страстная пятница?

Он так просил всего лишь час Быть рядом, не смыкая глаз.

Всего лишь только час один Быть с Ним на глубине

глубин.
Глядеть туда, куда глядят Его глаза — в крошечный ад.
В такой огонь, в такую тьму,
Каких не вынести одному...
Он этой ночью приоткрыл Впервые — сколько надо
сил,
Чтоб солнцем встать из тьмы. И вот Отер со лба
кровавый пот,
В молчаньи посмотрел окрест И, встав с колен, пошел
на крест.

Зачем? Зачем пошел на крест?

Чтобы остаться собой. Чтобы просияло внутренне царство, которое в истоке и основе всего внешнего и которое больше всего внешнего.

Он должен был пройти через ад, раз этот ад существовал. Вовне — ад. Но то, что внутри — больше, глубже ада. Он должен был раздёрнуть завесу внешнего и сделать явной сокровенную, тайную, внутреннюю силу. Творящую силу.

«Держи ум свой во аде и не отчаивайся», — услышал св. Силуан в душе. Голос из глубины глубин. Он как бы говорил: Душа больше, чем ад. Больше любых страданий. Душа, достигшая своей предельной высоты — богоподобия, — не подвластна ничему внешнему. Ее смысл — царство Божие — находится внутри неё. Это сам Творец — невидимый, неосоздаваемый Дух, который творит все видимое, осязаемое.

Чудо — это внутреннее сияние, негасимый ничем внешним свет. Когда я увидела — вслед за вспыхнувшим светом, — увидела в самом этом свете высший образ, я поняла, что в нем смысл моей жизни; что моя любовь к Нему несоизмерима ни с какими страданиями. Страдания никогда ничего не смогут сделать с этой любовью, переполняющей душу ликованием, несмотря на все страдания.

Я счастлива сквозь боль. Я счастлива сквозь муку.
В прорывах ада — рай, в прорывах бездны — свет.
И к вечной жизни путь — сквозь вечную разлуку.
Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел её на нет.
Тот, кто прошел сквозь смерть... — Ну, а нельзя иначе?
Быть может, как-нибудь полегче, стороной?..

Не сквозь, а мимо, так, чтоб эти волны плача Не
разрывали грудь, а — рядышком со мной...
Пусть духу моему судьба предел очертит:
От сих, мол, и до сих, как тварям суждено.
— Да разве можно жить, соседствуя со смертью?
Когда — ни жив, ни мертв? — Нет, что-нибудь одно!
Единый небосвод, в котором нету края,
Единый океан, в котором нету дна...
Когда приходит смерть, я с каждым умираю.
Когда ликует Дух, — вся смерть побеждена.
О, Господи, прости за малодушие наше.
За этот вечный страх у роковой черты...
Да, всё еще звучит моление о Чаше.
Но не как я хочу, а так, как хочешь Ты.

Да, так, как хочешь Ты. А Ты хочешь, чтобы я *отвечала* Тебе, а
не спрашивала с Тебя.

Нам даются равнины бескрайние эти И молчащих
морей синеокая гладь,
Чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить.
Вопрошают они, а душе — отвечать.
Я в сей мир рождена для ответа, я знаю,
И течение дней, нагнетание лет —
Это тихо растущий, как чаща лесная,
Это мой вызревающий в сердце ответ.
Лишь ко мне обращаются сосен вершины И
пронзительный глаз мирового огня.
И никто не поможет ни словом единым, —
Не ответит никто никогда за меня.
Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить,
Созерцая Твой крест. Я же слепну от слез И глаза
отвою уже двадцать столетий,
Задавая Тебе свой ненужный вопрос.

Ты хочешь моего со-творчества с Тобой, моей со-ответствен -
ности.

Ответить Богу — значит среди ночи Проснуться
вдруг по первому же звуку:
Я — здесь. Я — вот. Твори со мной, что хочешь. Я —
тетива натянутого лука.
Не отвлекусь уже ни на мгновенье.
От рук Твоих я ожидаю взмаха.
Я вся с Тобой в священный миг творенья.

В миг созидания меня из праха.

Ты предстаешь передо мной великой красотой и просишь моего соучастия в этой красоте. Ты просишь полноты созерцания, полноты замолкания — до полного слияния с Тобой, в котором только и может открыться смысл жизни и смысл страдания.

Еще чуть-чуть, еще немного Молчанья —
и, гора моя,
Ты возведешь меня до Бога,
До полногласья бытия.
Волны беззвучной нарастанье...
Сейчас дойду до той черты.
Где постигают смысл страданья И тайну
Божьей правоты.

*13 апреля 2001
Страстная пятница*

Мои праздники

Чувство праздника веет, где хочет. Однажды в моем детстве, бедном праздниками, оно пришло ко мне в день рождения. Мы бросались друг в друга подушками, и было как-то особенно весело. Я не знал тогда слов «веселие сердца» или «веселие духа», но целый год ждал его. Пришел новый день рождения, и мы снова бросались подушками — впустую. Того, особенного веселия не было.

Лет в 14—15 я с упоением бродил в праздничной толпе, любовался иллюминацией. Что-то особое было в самой толпе. Во всяком случае, так мне казалось. Не было чужих, все стали родными. Я перестал быть недотепой, я становился частью своего народа. Слово «народ» тогда еще не было реабилитировано, говорилось и думалось иначе: «Я каплей лился с массами». И это был праздник. Это было бытие, подымавшееся над бытом. Это было торжество общей веры в социализм. Вряд ли толпа понимала про прыжок из царства необходимости в царство свободы, из обычного времени (предыстории) в какое-то особое, подсвеченное изнутри. Но что-то священное носилось в воздухе. Потом, 9 ноября или 3 мая, бытие кончалось, и быт становился на место. Через тонкую стенку слышно было журчание воды в уборной и воркотню хозяек на кухне. А память о бытии хранилась, как вера в воскресение мертвых.

Конфуций был прав: общий праздник восстанавливал народ как соборное целое. И это чувство соборности (по-китайски оно, конечно, называлось иначе) помогало весь остальной год поддерживать иерархию и требовать честного выполнения долга. Когда я

потерял соборное сознание? Кажется, виноват Стендаль. В 16 лет на даче мне попался потрепанный томик, без обложки, я нехотя стал читать — и на четыре года Стендаль стал моим кумиром. В Люсьене Левене я почувствовал своего лирического двойника, речь Левена-старшего в парламенте по тезисам, набросанным на игральной карте, дремала в моем сердце до речи против отмыкания Сталина (тридцать лет спустя), судьба автора, расписавшегося после сорока лет, сразу была принята как моя судьба (я действительно стал писать свои эссе после сорока). Стендаль передал мне свой «эготизм», свое нежелание слиться с массами. Сочинение на тему «Кем быть» я закончил словами: «Я хочу быть самим собой». С тех пор я иду не в ногу с народом. За исключением четырех лет войны и нескольких дней 1991 г.

Между тем толпы народа собирались по-прежнему. Они все чаще требовали чьей-то казни: троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев. Я не понимал, к чему столько казней. Я искал собственные праздники. Праздником становились приливы вдохновения. Праздником стало признание моей курсовой о Достоевском, разруганной на кафедре русской литературы, двумя богами западников: Леонидом Ефимовичем Пинским и Владимиром Романовичем Грибом. Праздником был ужин на крыше ресторана «Москва», куда они меня пригласили вместе с несколькими аспирантами. Я чувствовал себя смертным на Олимпе. Праздником были три беседы с Грибом, умевшим как-то мгновенно устранять внутренние препятствия моего вдохновения, словно пробку выталкивал, мешавшую вырваться самым важным мыслям, — и вдохновение лилось рекой. Но Гриб внезапно умер от белокровия. В аспирантуру меня не взяли. Через год началась война.

В этом празднике демонов были свои дни и ночи внутреннего праздника, когда красота становилась сильнее страха, — красота мужества и красота природы, взиравшей на людское безумие. Захватывали сердце лунные ночи над затемненной Москвой. Захватывали волны влюбленности. Колдовство московских лунных ночей нашло завершение в ночном бою, 22—23 февраля 1942 г., на Северо-Западном. Я носился на лыжах по снегу, по которому брела цепь призраков, сливавшихся со снегом в своих белых маскировочных костюмах, а над нами, как светляки, носились трасирующие пули. Взвод потерял только двоих. Деревню взяли. А днем, под ярким февральским солнцем, начался немецкий праздник, кордебалет юнкерсов, кружившихся над нами и один за другим входивших в пике. Снег покрывал большие розовые пятна — следы прямых попаданий. Меня ранило, потом еще раз ранило и контузило, но была в реве моторов и взрывах бомб какая-то чудовищная музыка, и, лежа на саночках, не в силах шевельнуться, я смотрел на самолеты, сбрасывавшие бомбы, как в

кино.

После госпиталя — другая мясорубка, к северо-западу от Сталинграда, в тех местах, где впоследствии принята была капитуляция Паулуса. В августе капитуляцией еще и не пахло и вместо музыки боя — одно убийство. Степь была завалена трупами советских солдат, сметенных огнем на рубеже, где они встали из окопов. Я каждый вечер проходил через поле смрада, наталкиваясь на недохороненные руки и ноги. Я хромал (медленно восстанавливался нервный ствол). Меня прикомандировали к редакции. Я должен был писать о подвигах. Подвигов не было. Все было тошнотворно, как вода из лужи, где лежала гниющая лошадь. Мы эту воду пили (все равно война). И вдруг пришла нечаянная радость: тишина. Попытки наступления кончились. Мертвых похоронили. Живые снова увидели над головой синее небо. И это тоже было праздником.

А потом пошли победы. Я сравнивал их с рождением ребенка. Как бы ни мучилась женщина, человек родился. И все сметает радость. На моих глазах, возле села Калиновка, падали убитые наповал, смертельно раненные, — а я побежал с карандашом в кармане, вместе с атакующей цепью, словно Фетида погрузила меня в Стикс. Или в Берлине, что бы ни творили наши солдаты с немками, как бы я ни хватался за голову от ужаса и отвращения, все перекрывало ликование: вы нашу Москву не взяли, а мы ваш Берлин взяли! Впечатления, противоречившие друг другу, сливались в стройный хор, и само собой всплывали строфы из «Торжества победителей»: слезы троянок, ликование ахейцев — и голос рока, глухо доносившийся с какой-то священной высоты:

Все великое земное
Разлетается, как дым.
Ныне жребий выпал Трое.
Завтра выпадет другим...

Что именно рухнет? Этого я не знал. Но трепет сердца говорил мне, что цепь крушений только началась. И вспоминая свое чувство в 1984 г., я осознавал: рушится век империй, четыре тысячи лет сменявших друг друга. Победила не одна империя — другую, победила идея Европы, обошедшейся без империи, и в восстаниях колоний Англии и Франции против своих метрополий было

торжество той же европейской идеи, разрушившей имперский Берлин. В 1945-м я не мог додумать это словами — я только чувствовал высшую волю, священную волю, создававшую и рушащую города. Над империей Сталина, водрузившей свое знамя победы над Рейхстагом, нависла тень рока. И в этом таинственном прикосновении вечности была полнота праздника.

Праздник — это праздность от забот во времени и пространстве, это поворот сердца горе, остановившийся миг — иногда только миг в грохоте бури и боя, миг взлета над тем, что «гибелью грозит», над чумой истории, а иногда — забвение истории, разлив тишины. В лагере оставалось только второе. Зато как они глубоки, эти разливы! В моем опыте — белые ночи, в опыте других — северное сияние. Есть в природе свои богослужения, свои литургии света, и церковь только копирует их в своих праздниках, хорошо — если талантливо, искренне, сердечно.

Петр Григорьевич Григоренко рассказывал мне незадолго до своего отъезда в Америку, как навестил родное село. Когда-то там служил очень хороший батюшка, и праздник начинался благоговейно, в церкви. Потом парни и девушки собирались, сбивались в хоры, и до глубокой ночи продолжалась переключка хоров с одного конца села до другого. Никаких следов этого Петр Григорьевич не нашел. Люди сидели по хатам, уставившись в голубой экран. Телевизор развлекал, но не связывал прикосновением к общей святыне, не вызывал взрывов общего веселья. Быт потерял связь с бытием.

Не знаю, как для других, тень общего праздника всплывает для меня только в Новый год. Вдруг старый год — целый год! — становится ничем, исчезает, а нового еще нет, он еще не родился. Мы празднуем его рождение, а пока нет никакого года, ноль, дыра во времени и сквозь дырку просвечивает бездна, перед которой трепещет сердце один миг, и сразу же мы кричим: с новым годом, с новым счастьем! И никто не растаскивает людей по вероисповеданиям.

А главные мои праздники — не общие. Мы сами их находим на закате или создаем, как костры в лесу, как встречи с горами и морем. И сами создаем праздники елки, который начинается в Новый год, сливается с Рождеством и длится иногда более двух месяцев (лишь бы елка не засыхала).

Праздник наступает, когда незримая волна смывает перемычку между нашей замкнувшейся, ограниченной жизнью, ушедшей в заботы, и внутренней бесконечностью. Не бесконечностью пространства и времени, о которой страшно думать, а царствием, которое внутри нас. Целым царствием, отделенным от сознания мусором повседневности. Я сравнивал наше обыденное «я» с прудом или даже с лужей, отделенной от моря мелью, а большое «Я»

— с заливом, где та же вода, что в океане, только что не вся, одним краешком. Иногда мы долгими усилиями раскачиваем волну, переливающуюся через мель, иногда она нахлынет внезапно, как влюбленность с первого взгляда, но так или иначе открывается океанская ширь. Каким-то приближением к этому иногда может стать национальный праздник. Мне показалось это в норвежский День независимости, без единого солдата, — только школа марширует за школой и народ радуется своему живому будущему. Что-то похожее мелькнуло после ГКЧП, когда Москва торжествовала победу «живого кольца». Но это не имело продолжения. И не будет у нас общего праздника без прорастания новых общих святынь.

Созерцатели нашего века

Уязвимость Антония Блума

Вера в течение многих веков противопоставлялась сомнению. Казалось парадоксом дзэнское изречение: «Три вещи нужны на пути к истине: великая вера, великое рвение и великое сомнение в словах просветленных и патриархов». Однако для верующего интеллигента это становится правилом. Разные системы слов сталкиваются в его уме, и путь к единому духу истины проходит через снижение авторитета «буквы» (как это назвал Павел), через понимание разницы между луной и пальцем, указывающим на луну.

Есть старый афоризм — он принадлежит Свифту: «Авторитет убивает свободу исследования. Свобода исследования убивает авторитет. Это дуэль насмерть». Дуэль тянулась более трехсот лет, и сегодня авторитет повержен. Европа сама называет себя пост-христианской. Но что, собственно, рухнуло?

С тех пор как существует Святое Писание, не прекращался спор схоластики и мистики, книжного и непосредственного подступа к откровению. Схоластика шла от цитаты к цитате. Мистика — от озарения к озарению. Схоластика твердо знала свои аксиомы, мистика каждый раз узнавала их заново. Схоластика была рациональной, мистика — иррациональной. Сегодня мистика по-прежнему противостоит рационализму. Однако современный рационализм претендует не только на первое место, а на все место в царстве Истины. Схоластика недоверчиво относилась к новым мистикам, нарушавшим порядок. Старых мистиков она почитала. Современный рационализм отрицает все, что выходит за его пределы. И сегодня мистика сталкивается не с инквизицией (проверяющей, соответствуют ли новые озарения старым образцам), а с отрицанием истинности любого озарения. То, что не может стать

опытом каждого и доказано каждому, отнесено в область субъективного, недостоверного, призрачного.

Таким образом, нет больше надежных цитат. Рухнула вера друзей Иова, знавших готовые ответы на все вечные вопросы. Те, кто хочет от веры уверенности, остались без почвы под ногами. Но нельзя отнять возможность спрашивать, не находя и не ожидая ответа. Остается вера Иова, что есть, кого спрашивать, и опыт озарения, снимающего все вопросы, хотя бы никто другой этого не узнал. Никакое исследование не способно опровергнуть опыт благодати, самадхи, сатори. Он так же достоверен для мистика, как стол, на котором лежат его руки. Условны слова, условно само слово «Бог». Но это и в древности знали создатели апофатического, негативного языка религиозного чувства; «безымянное переживание» Кришнамурти так же невозможно опровергнуть, как «не это! не это!» Яджнявалкьи, жившего между VIII и VI вв. до Р.Х.

Всегда и всюду есть созерцатели, которые просто видят в глубине своего сердца полноту бытия, превосходящую все обыденное. Иногда это приходит вместе с образом Кришны, или Будды, или Христа, иногда как чистый свет. Этот образ или этот свет вытесняют сознание малого «я», эго, связанного с обыденным опытом. «Я тот, который есть, а ты та, которой нет», — сказал Христос в видении Екатерины Сиенской. Антоний Блум назвал свой опыт встречей. Это не научное доказательство. Можно считать встречи галлюцинациями. Но галлюцинации не рожают взгляда, которым смотрит на нас рублевский Спас. Флоренский говорил: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». Юноша Мертон увидел в Риме византийские мозаики, почувствовал реальность Бога и упал на колени. Старые мастера умели передавать взгляд, который нельзя смешать со взглядом безумца.

Встречу можно узнать и по тексту, на который лег отпечаток встречи. Однако узнавание встречи не всем и не всегда дается. Для такого узнавания нужно хоть предчувствие встречи, хоть тоска по встрече, не говоря о собственном опыте зарниц вечного света. Так я, при первом знакомстве с Зинаидой Миркиной, почувствовал, что ее духовный опыт глубже моего, и никогда в этом не сомневался. Так я, прочитав несколько страниц Томаса Мертона, опубликованных в «Вестнике РХД», почувствовал, что он правильно определил уровень моего опыта, далекий от просветления.

Священные тексты — следы древних встреч, осознанных древним умом и изложенных древним языком. Я уже говорил, что в этом языке было преимущество простой цельности и ярких, не-придуманных, увиденных образов. Потом текст, согретый дыханием благодати, комментировался, рождал логически организованные системы, и потрясение встречи постепенно подменялось стройной

картиной мира. На ней основано средневековое мировоззрение. На нее опиралась власть церкви над умами. Но все, что выстроено, может быть разрушено. Все, что доказывается, может быть опровергнуто.

Ничего большего и не случилось. Владимир Соловьев точно определил характер события: упадок средневекового мировоззрения. Упадок средневековой *формы* религии. Упадок буквального понимания одних цитат и игнорирование других цитат. А встречи продолжались. Пожалуй, они стали реже. Им мешало общее недоверие ко всему, что не научно, не может быть научно познано. Даже «узнавание» стало редкостью.

Обстановка обрядоверия и схоластической учености мешала, но не очень сильно мешала «узнаванию». Обстановка научного сомнения и исследования мешает больше. Она не грозит костром, но делает встречу чем-то небывшим. В сказке Зинаиды Миркиной старой фее говорят: никаких фей нет. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Социология, оперирующая массами, не замечает встреч. Она видит только переход от схоластически застывшей иерархии ценностей к хаосу. «Схоласт, — пишет Карл Манхейм, — создавал статичную и замкнутую систему понятий в соответствии с собственным стабильным образом жизни. Он ставил только те вопросы, на которые уже имел ответы. Он выражал сомнения, чтобы рассеять их, и не принимал близко к сердцу факты, которые не могли подкрепить его убеждения. Современный интеллигент динамичен в своих склонностях и пристрастиях, он всегда готов пересмотреть свои взгляды и пойти по новому пути, так как терять ему почти нечего, а приобрести он может все» (Манхейм К. Избранное. Социология культуры. М.-СПб., 2000, с. 115).

«Почти нечего» — это какие-то остатки прежних верований, а все — это чувство интеллектуальной свободы. Вероятно, под этим расписался бы Степан Трофимович Верховенский, воспитатель Ставрогина. Однако и пролетариям, о которых писал Маркс («пролетариям нечего терять...»), и интеллектуалам, о которых писал (перефразируя Маркса) Манхейм, было, что терять. Терялись образы жизни как осмысленного целого. Оставались абстракции, годные для научных схем, но душа оставалась голой на морозе, как это пережил Лев Толстой (и описал в романе «Анна Каренина»). И на развалинах средневекового мировоззрения поселилась «одичалая кошка тоски». Слушая этот текст, Зинаида

Миркина вспомнила старое стихотворение Хаима Нахмана Бялика (в авторизованном переводе на русский язык):

Словно в дом, где разбито имя Бога над дверью,
В ваше сердце ворвалась толпа бесенят.

Это бесы насмешки новой вере — безверью —
Литургию-попойку творят.
Но живет некий сторож в покинутых храмах,
Он живет, и зовется отчаяньем он,
И метлою великой стаю бесов упрямых Он
безжалостно выметет вон.
И дотлевши, погаснет ваша искра живая,
Онемелый алтарь разобьется в куски,
И в руинах забродит, завывая, зевая,
Одичалая кошка тоски.

Эти стихи, в свою очередь, вытянули у меня из памяти другие
— Федора Ивановича Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени,
А свет обретши, ропщет и бунтует.
Неверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит,
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры, но о ней не просит.
Не скажет век с надеждой и слезой,
Как ни скорбит пред запертою дверью:
Я верю, верю, верю, Боже мой,
Приди на помощь моему неверью!

Тоска заставляла искать веру, а ум не принимал старых догм. Я уже несколько раз говорил, как обошел эту трудность, начав с абсурдных афоризмов дзэн и с поэзии, образы которой будили чувство глубины без всяких догм. Только потом, взглядевшись в иконы, написанные красками, я стал понимать догмы как интеллектуальные иконы и стал присматриваться к попыткам заново истолковать эти старые иконы. Сегодня я рассмотрю три такие попытки: у Антония Блума, Мартина Бубера и Томаса Мертона.

Разговор о вере вл. Антоний начинает с веры человека в собственную глубину, в чувство, идущее не от глаз, не от ушей, а из глубины сердца. Это не анатомическое сердце, а примерно то, что в Индии называли *чакрой* сердца. У святых отцов не было теории чакр, они просто говорили о «глубоком сердце». Глубокому сердцу дается понимание целого, которое ум раскалывает на части, понимание непосредственной правды по ту сторону принципов и логических рассуждений.

Такое понимание не сразу рождается в ясной и отчетливой форме. Оно может быть смутным, туманным, хаотичным; но в нем

идет становление сверхразумного. Вл. Антоний уверен, что «за пределом того, что мы уже узнали о человеке, за пределом того, что нам видно, что нам постижимо, есть в человеке такие глубины, которые нам непостижимы: тот глубокий, глубинный хаос, о котором когда-то писал немецкий философ Ницше, говоря: кто в себе не посеет хаоса, тот никогда не породит звезды». Есть «возможность творческого хаоса, — продолжает Антоний, — не хаоса в смысле безнадежного беспорядка, а хаоса в смысле неоформленного еще бытия, в смысле клубящихся глубин, из которых постепенно может вырасти строй и красота, осмысленность. Настоящая вера в человека берет в расчет именно то, что человек остается тайной для наблюдателя, тем более для умственного наблюдателя, потому что подлинное видение человека идет не от ума, а от сердца. Только сердце по-настоящему зряче и раскрывает уму такие глубины, которые тот постичь не может; настоящая вера в человека учитывает возможность этих глубин, потаенных возможностей в них, и ожидает, что неожиданное, непостижимое может случиться» (*Митрополит Сурожский Антоний. Человек перед Богом. «Паломник», 2000, с. 16*).

Вл. Антоний не раз цитировал св. Иринея Лионского: «Слава Божия — до конца раскрывшийся человек». И он смело рисует, как происходит это раскрытие: «Настоящая вера в себя — это уверенность в том, что во мне есть что-то, чего я не знаю, что-то мне самому непостижимое, что может раскрываться и дойти до какой-то меры полноты и совершенства; самоуверенность основывается на *знании* самого себя, может быть, на какой-то преувеличенной самооценке; вера же не нуждается ни в какой самооценке, потому что предмет ее — это именно *тайна* человека. Когда я говорю о тайне человека, я хочу сказать не то, что в каждом человеке есть что-то потаенное, а то, что *весь* человек есть сплошная динамика, сплошная жизнь, сплошное движение и становление, и что ни в какой момент, ни сам человек и никто другой не может *заморозить* это, остановить эту динамику для того, чтобы в нее заглянуть; динамика заморозению не поддается; человек динамичен все время и всегда.

И вот вера в человека, в самого себя — это вера в то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика жизни и что единственное, что может помешать этой динамике осуществиться и вырасти в реальность, это моя *трусость*, моя нерешительность, но никак не окружающие меня обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни были хороши или плохи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были направлены на то, чтобы *сломить* человека, являются только поводом к тому, чтобы эта внутренняя, творческая динамика себя выразила по-новому, по-иному, неожиданно, — но все равно: выразила себя и ничто другое. Вера в себя есть уверенность в

этой внутренней, таинственной, творческой и, в конечном итоге, победной динамике. Вера в себя поэтому заключает в себе уверенность, что в каждом человеке, и *во мне* в частности, есть область, которая для меня самого неуловима; и что, будучи изо дня в день самим собой как можно более совершенно, сколь можно более искренне, правдиво, честно, смело, жертвенно, в конечном итоге, я буду раскрывать и приводить в движение все новые и новые силы, которые ничем не могут быть остановлены» (с. 18).

Я думаю, что Антоний сознательно избегает штампов, сознательно говорит языком человека, стоящего вне религиозных традиций. Вера, на которой вл. Антоний настаивает, — это вера в правоту собственного сердца, в правоту глубин, в превосходство глубины, уходящей во мглу, над ясно освещенной поверхностью. Именно в этой смутной глубине коренится образ Бога, о котором писал Рильке:

Есть братья у меня, одетые в сутаны,
Там, далеко, где южный лавр высок,
В монастырях, в залитых солнцем странах.
И грежу я о юных Тицианах,
К которым в пламени приходит Бог.
Но есть во мне мой Бог, и он как мгла,
Как молча пьющие в потемках корни.
Я только знаю глубиною всей,
Что возникаю из Его тепла.
Я весь в Его немеряности черной,
Донесшей вверх лишь тихий плеск ветвей.
(Перевод З. Миркиной.)

Вл. Антоний несколько раз повторяет в разных беседах слова архиепископа Кентерберийского Рамзая: «Человеческая душа — это бездна, которую может заполнить только Бог». Если мы чувствуем бездну и ищем, чем ее заполнить, мы будем искать Бога, пока не найдем. Чувство бездны — прямой путь к вере.

Что касается убеждений — в том числе религиозных, — то в этой области нет никаких границ для свободы исследования: «На устах верующего может показаться странным утверждение — с таким

вдохновением, с такой уверенностью — права человека на сомнение; на самом деле, это только другой способ выразить известную и всеми принимаемую мысль о том, что человек должен быть честным *до конца*, честным безусловно, с готовностью самого себя поставить под вопрос, свои убеждения поставить под вопрос. Это можно сделать, если мы верим, что есть нечто незыблемое, являющееся предметом нашего изыскания. Человек боится сомнения

только тогда, когда ему кажется, что если поколеблется уже созданное им мировоззрение, то колеблется вся реальность, колеблется все, и ему уже не на чем стоять. Человек должен иметь добросовестность и смелость постоянно ставить под вопрос все свои точки зрения, все свое мировоззрение, все, что он уже обнаружил в жизни, во имя своего искания того, что на самом деле есть, а не успокоенности и не „уверенности“¹» (с. 23).

Любопытно, что очень сходные трудности повторялись при распаде коммунистической схоластики. Шагнуть в глубину, от разума к сердцу, коммунистическая система идей не давала, там была схоластика, но не было мистики, не было прямого опыта встречи. После одного разговора с Зинаидой Александровной отец ее сказал: «Доченька, если ты права, то мне надо покончить с собой». Потом случилось другое: поворот времени захватил его друзей, и он сделал несколько шагов вместе с нами. Человеку страшно оставаться со своими сомнениями один на один; вместе с другими уже легче. Группа друзей заменила партию. Точно так же сегодня церковь иногда подменяет Бога, а патриархия — церковь. Я думаю, это объясняет позицию о. Андрея Кураева, по- своему искреннюю, хотя в частностях он позволяет себе ложь. Так и коммунисты позволяли себе ложь, честно позволяли себе ложь, если партия велела. Это даже в стихах было воспето, в стихах хорошего поэта:

И если прикажет солгать — солги,
И если прикажет убить — убей.

Нет, по сути дела, ничего удивительного, что дьякон Андрей Кураев, бывший воинствующий безбожник, стал воинствующим защитником патриархии. То есть именно организации, плоти, а не духа православия. Одно и то же православие можно толковать по-разному. Так, как по-разному толкуют завет с Богом Иов и друзья Иова. Иов откровенно говорит, что не понимает Бога (и взывает о помощи), а друзья Иова уверяют себя и других, что они поняли Бога, что Бог им все сказал и остается только твердо выполнять все сказанное. На «круглом столе» в Горбачёв-фонде о. Андрей так и возражал мне:

«Проповеди пророков, которые вы упоминали, строятся на том, что Бог им сказал: „Я не вот это. И вот так обо Мне думать нельзя“... Когда начинается диалог между религиями, очень важно не выпасть из диалога с Богом, в котором Бог не только пассивен, не только претерпевает наши умствования, но все-таки способен их и скорректировать» («Этос глобального мира». М., 1999, с. 139). Говорится о диалоге с Богом, но имеется в виду диалог с текстом, обращение к тексту как к справочнику, где все уже сказано. Между

тем то, что мы называем голосом Бога, это не текст. Жак Лиссеран, ослепнув восьми лет от роду, в какой-то миг почувствовал внутренний свет, заменивший ему свет внешний и наполнивший сердце радостью. Свет помрачался, когда мальчик испытывал страх или раздражение, злость или желание первенствовать в игре. «Мне не нужны были никакие моральные правила, — писал Лиссеран в своей автобиографии. — У меня в душе был светофор...» Нечто вроде этого светофора — то, что мы называем совестью, и то, что мы называем интуицией истины. Голос Бога — сигнал светофора, *свет* истины (или негативный сигнал — помрачение света). В блеске внутреннего света мы вдруг понимаем то, вокруг чего, может быть, очень долго бродили в потемках, но бродили *мы*, и узнали *мы*, на нашем языке и в терминах нашей культуры.

Так мой друг, норвежец Лайф Ховельсен, услышал голос, велевший ему простить своего палача. Этот голос созрел в глубине его сердца несколько дней после того, как он вылил ведро воды на голову эсэсовца, попросившего пить. Я не думаю, что Бог заговорил по-норвежски. Бог говорил душе как совесть, говорил несловесным чувством фальши, манил несловесным, туманным образом истины. Но то, что родилось как решение простить палача, — это решение Лайфа Ховельсена, и слова «ты должен» — это слова *его* глубины, пришедшие от чувства, что ненависть разрушает его самого, помрачает в нем самом внутренний свет. Эти слова пришли из такой глубины, которую он не подозревал в себе. Но это была *его* глубина.

Можно вспомнить метафору, которую я уже предлагал: есть «я» как пруд и даже лужица и «я» как залив океана. Залив неотделим от океана. Сравнительно с океаном он ничтожен. Но и капля тождественна океану (хотя океан не тождественен капле!). Такая капля вечной целостной истины, Божьей истины — голос совести. Это наш голос и в то же время Божий, наш с отпечатком Божьего света. Слова, услышанные пророками, слова на иврите, санскрите, арабском языке, по-русски у св. Силуана и т. п., оформились в человеческом уме. Зинаида Миркина сравнивает это с переводами с Божьего на человеческий язык. Переводы могут ветшать. Устарелые формы языка могут заменяться новыми. Но сомнение не может затмить *свет* истины. Примерно так я понимаю уподобление богословия другим наукам, как это делает вл. Антоний.

Неверно, говорит он, «будто надо смотреть только назад, чтобы не потерять из виду того, что когда-то было сказано кем-то, коллективом или отдельным лицом. Это трусость перед жизнью, это страх перед истиной, это отрицание многогранности и глубины самой реальности. И то, что я говорю сейчас о науке, о философии, можно сказать также и о религиозных мировоззрениях — не в том

смысле, что Бог меняется, а в том, что мы можем с громадной радостью и вдохновением проходить мимо наших детских, юношеских представлений, представлений еще не зрелых, — для того, чтобы вырастать в полную меру познания живого Бога, невыразимого до конца никакими картинами, никакими определениями...

То отношение к жизни, та внутренняя установка, которую мы называем верой, то есть радостная, творческая уверенность и равновесие, содержащее одновременно и тайну, и сомнение, является одной из самых больших радостей жизни человека... Человек, который смело, дерзновенно, творчески всматривается в жизнь, в человека перед собой, в общество, где он находится, в природу, в жизнь в целом, в историю, — такой человек не боится лицом к лицу стать перед действительностью, он перерастает, преодолевает то мертвое равновесие, безжизненность, от которой так страдают многие, потому что им не хватает решительности броситься в область неизвестного. Это происходит от страха, от тщедушия, от малодушия. И тот момент, когда мы решим со всей смелостью, со всей своей творческой силой войти в область неизвестного, лицом к лицу стать перед ним, является моментом, когда вдруг собираются все наши внутренние силы и загорается радость. И эта радость возможна только по мере того, как растет в нас бесстрашие» («Человек перед Богом», с. 24—25).

Полнота бытия, к которой призывает вл. Антоний, напоминает слова Гёте: «Быть полным радости, страдания и мысли. Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает лишь любя». На высшем взлете чувства радость и страдание сливаются. И так же — в молитве Антония, в *уязвимости*, к которой он стремится. Этого нет в беседах, собранных Еленой Майданович, и я воспользуюсь докладом Александра Филоненко, прочитанным в Лидсе в 1998 г.⁹ Филоненко ссылается на книгу американского ученого Джекоба Нидлмена «Утраченное христианство». «Автор описывает беседы с митрополитом Антонием, посвященные в основном различиям между православным опытом и американской концепцией религиозности. Нидлмен был поражен видимо парадоксальным утверждением митрополита Антония, что „эмоции должны прекратиться“¹ и „мы должны освободиться от эмоций, чтобы достичь чувства“ (насколько я понимаю, эмоциями Антоний называет сентиментальную, романтическую религиозность, а чувством — примерно тот уровень, который передают глаза древних икон, чувство контакта с глубинной тайной; это согласуется с другой мыслью

⁹ Опубликовано в журнале: Religion, State and Society. 1999. Vol. 27. № 1. Тема доклада: «Русская православная церковь в Британии XX века: миряне и открытость миру».

Антония: „Каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной”. — *Г.П.*) Нидлмен вернулся к началу разговора и спросил митрополита Антония: „Что такое молитва?” И я сам (пишет Филоненко) был потрясен ответом на вопрос: „В молитве человек уязвим... Вы не должны быть охвачены ни энтузиазмом, ни отрицанием, но только открытым. Это вся цель аскезы — открыться”.

Так открытость обнаруживает свой аскетический характер, раскрывается в уязвимости. Между тем, разве мы не склонны связывать религиозный поиск с надеждой достичь неуязвимости? Я хотел бы прибавить, что отождествление религиозной цели с неуязвимостью — быть может, самое нездоровое проявление постсоветской религиозности... Уязвимость раскрывает тайну открытости как идеала, не только трудного, но вызывающего благоговейный страх; принять его невозможно без известной решимости. Если отношение Бога к миру — образ отношения церкви к миру, то, по словам митрополита Антония, „мы должны согласиться быть только тем, чем Бог был, каким он явился в своем откровении (то есть во второй ипостаси, в человеке. — *Г.П.*): уязвимым, беззащитным, хрупким и побежденным, как будто презренным и презираемым; и в то же время откровением чего-то исключительно важного — величия человека” (с. 69).

Это очень далеко от просьб о защите и очень близко к радости мужественной встречи с любой смертельной опасностью. Видимо, чтобы передать чувство высшего напряжения всех физических и душевных сил, вл. Антоний использует иногда метафору встречи с тигром. Хотя, разумеется, буквальное понимание метафоры здесь невозможно — так же как буквальное понимание пушкинского Гимна чуме. «Есть вдохновение в бою и бездны мрачной на краю» — и это вдохновение — подобие вдохновения «встречи». Оно не нуждается в авторитете. Оно предшествует авторитету.

Один из моих друзей критиковал вл. Антония за «неколлегиальное поведение» митрополита, пренебрегающего иерархией, к которой он принадлежит, и назвал это тяготением к «мистическому анархизму» в духе некоторых славянофилов. Быть может, вл. Антоний ссылаясь где-то на Хомякова, но это так же не определяет его, как ссылка на Ницше. Вл. Антоний равнодушен к системам и цитирует любые афоризмы, которые ему понравились, а потом связывает их по-своему. Он независим от любых коллегий, коллективов и систем. Его почва, на которой он прочно стоит, — не система, а встреча. Мне говорили, что православие не может не быть инертным, застывшим в определениях соборов. Вл. Антоний — живое опровержение этого тезиса.

Вера и неверие Мартина Бубера

Такое же опровержение инертности — иудаизм Мартина Бубера. Он опирается на вспышку интуиции после разговора с ученым пастором Гехлером в мае 1914 г. Гехлер верил в пророчество Даниила о светопреставлении. Обдумывая это, Бубер внезапно осознал: «Если вера в Бога означает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю в Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в Бога. Бог, который дал Даниилу такое предвиденье... не мой Бог и вовсе не Бог. Бог, к которому Даниил взывал в своих мучениях, — это мой Бог и Бог каждого». Сформулировано очень круто, не отличая *рассуждений* о Боге от поэтических метафор. Но что-то здесь сверкнуло.

Из какой глубины вырвались эти слова? Что там от Бога (принимающего молитвы и отодвигающего в сторону богословие)? И что от современной ума, потерявшего веру в старые мифы? Как складываются обе воли — Божья и человеческая?

Есть какие-то особые состояния, состояния внутреннего взрыва; и есть обычная работа ума и чувства. Ислам различает Коран и хадисы. Хадисы — высказывания Мохаммеда в неозаренном состоянии. Коран — запись мыслей, родившихся в блеске внутреннего огня. Мохаммед считал, что ему прямо диктовал Бог. Бубер так про себя не думает. Более того, он считает, что и пророчество Даниила — не прямой диктат Бога. Это пророчество — «не про то», как сказал бы князь Мышкин, это не раскрытие глубин, а футурология — и плохая футурология, соблазнившая многих последователей. Достоверно чувство связи с Богом во время глубокой молитвы. В пространстве молитвы Бог ощутим, как ощутимы предметы. Мы убеждаемся не ложно, что Сущий — действительно Сущий, что он есть, и мы с ним связаны. Но слова, рождающиеся в человеческом сердце, — *человеческие* слова, по-человечески великие и несовершенные.

В блеске озарения приходит итог *человеческих* поисков, иногда бессознательных, иногда отчетливо выявленных. Я уже приводил пример Лайфа Ховельсена. Приведу в пример и себя. В 1938 г. я три месяца вглядывался в задачу, которую сам себе поставил: увидеть духовную ложность научной картины мира — и выносил два подступа к этой проблеме, явившихся мне в блеске внутреннего света. Очень сходным образом пришла мне, примерно в 1970 г., фраза, ставшая поговоркой: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело»... Кружение вокруг истины получает как бы помощь свыше — и вдруг распутывается целый клубок, напутанный неозаренным умом. Но озарение не говорит. Только вырывает кусок мира из тьмы. А говорим мы.

Вспомним еще раз Жака Лиссерана, его внутренний светоч, помрачение внутреннего света от каждой фальшивой мысли, фальшивого чувства. Кто не испытывал чего-то подобного? Хотя бы

отчасти подобного? Иногда так рушились нормы, внушенные нам и принятые умом, не спросив сердца. Иногда рушится теоретическая конструкция, усвоенная из книги или на лекции и казавшаяся бесспорной, пока вдруг не посветило из глубины — и сразу все рассыпалось. Я много раз вспоминал роковой вопрос мамы: неужели это социализм? Ради этого люди шли на каторгу, на виселицу? Мне тогда мгновенно стало ясно, что не ради этого, не ради той жизни, которая была в 1936 г. Так Буберу посветило, и он увидел различие отношения Я — Ты и отношения Я — Оно.

Простое деление на объект и субъект смешивает отношение к матери с отношением к мыльнице, выстраивает мир, в котором для Бога не остается места. С деловой точки зрения мир без остатка делится на предметы, объекты. Мы так и говорим: объективная реальность, то есть действительная, невоображаемая. Но Бог не предмет. Он не вмещается в предметы. Следовательно, он остается только в воображении субъекта. Верующие говорят, что Бог отрывается глубокому сердцу, но что такое сердце, помимо мотора, качающего кровь? Только метафора, созданная воображением. Нечто нереальное для атеиста, нечто недостоверное для агностика.

Так же недостоверна любовь. Ты любишь химию, я люблю яблоки. О вкусах и цветах не спорят. Это все субъективная реальность, а субъективное недостоверно. Субъективная реальность — условная реальность, игра воображения. Умер человек, и ничего не осталось. Бердяев попытался выйти из этого ничто, придумав слово «трансубъективное». За ученым словом стоит догадка, что какая-то важнейшая истина не может наблюдаться глазами, ушами, регистрироваться приборами, что есть полнота бытия, не вмещающаяся в факты, и эта полнота иногда прикасается к человеческому сердцу, дает себя почувствовать. Когда не мешают абстракции, созданные для научных целей.

Тут есть одна тонкость. В английском переводе Грегори Смита «Я и Ты» Бубера преданы словами «I and Thou». И у Мертона Бог есть «Ты (Thou), пред которым наше глубинное Я пробуждается к сознанию (или: прорывается в сознание. — Г.П.)» (из конца главы 2 книги «Новые семена созерцания»). Глубинное Я человека, в образном мышлении Мертона, — эхо Божьего Я; наше Аз Есмь — эхо Божьего Аз Есмь. И точно так же, как есть малое «я», эго, огражденное берегом запруды, и есть великое «Я», залив, открытый морю, океану, так есть малое «ты» (английское you) и великое «Ты» (Thou). Мне рассказывали, что квакеры, «трепещущие», обращаются друг к другу Thou. В немецком тексте Бубера это не могло быть лексически выражено — у каждого языка есть свои границы; но тот, кто читал «Я и Ты», чувствует, что в тексте это всегда любовная пара: или молящийся и Бог, или двое возлюбленных, с сердцами настолько открытыми, что Беатриче может стать проводницей по раю и Данте

вступает в этот рай.

Более того. Глубинная связанность Я и Ты (I and Thou) может перейти в тождество. Правда, Бубер до тождества не доходит. Может быть, сказывается догматика иудаизма. В иудаизме эпитет *святой* прилагается только к Богу. Праведник может быть *собеседником* Бога, но не больше. И Иисус из Назарета, для Бубера, только собеседник Бога, Пророк Божий. Впрочем, и для церковных христиан слова «Я и Отец одно» мыслимы только в устах человека, не зачатого мужчиной, как все прочие люди, и не могут быть никем повторены. А суфии, повторявшие нечто подобное, шли навстречу тюрьме и казни. Люди, не подступавшие близко к опыту тождества, не могут его понять, и мусульманские мистики научились передавать этот опыт так, чтобы не волновать толпу, — метафорой и притчей.

Хорошо известная притча Джелаледдина Руми рассказывает об усталом путнике, подошедшем к желанному приюту. Он стучится в дверь хижины. «Кто ты?», — спрашивают его из-за закрытой двери. «Я», — отвечает путник и слышит ответ: «Здесь нет места для двоих». И снова и снова для двоих нет места, двойственность должна быть преодолена, капля (говоря языком индийского мистика) должна слиться с океаном. Наконец, на вопрос из-за двери путник говорит: «Ты. Ты пришел к тебе». Тогда дверь открывается. Это Ты, вошедшее в дом к Ты, — не you, а Thou. И в земной любви бывают состояния, когда Я становится Ты и Ты становится Я и оба проваливаются из времени и пространства — где я и ты различны — в вечность.

Thou — одно из тех слов, которые Гумилев называл словом-Богом. Этому слову-Богу противостоят у него слова-числа, термины логического рассуждения. Божественные слова рождаются в отношении любви, Я — Ты; математические и логические термины в рабочем отношении Я — Оно, я и предмет. Тут важен общий контекст. В возвышенной поэзии и во взлете религиозного чувства может употребляться местоимение третьего лица, но оно сакрализуется контекстом. И наоборот: в быту и Я и Ты десакрализируются, попадают в царство Я — Оно. Офицер говорит солдату ты — но это не значит, что солдат для него Thou, подобное Беатриче для Данте.

Решает контекст, личный или безличный. Когда природа была храмом, каждое дерево имело некоторое лицо, некую живую душу, и встреча с деревом могла быть счастьем и откровением. В природе, ставшей мастерской, это труднее почувствовать, и странно, непривычно звучат слова князя Мышкина: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» Даже человек, наш ближний, становится дальним, отделенным от нас стеклянной стеной, становится другим; предел отчуждения выразили слова Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого — недопустимый скандал». Это гипербола, но то, что она преувеличивает, не придумано. Западные люди вежливо закрыты друг

от друга. Там меньше хамства, но гораздо меньше и открытости. Это связано с логикой, вошедшей в плоть и кровь, с хорошо усвоенным правилом: А равно А и не равно Б. Логичность хороша в отношении Я — Оно, но любовь, отношение Я — Ты, она разрушает:

И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

Так кончается стихотворение Анны Ахматовой «Разрыв». «Ты» в этих стихах надо перевести как you. Thou исчезло, рухнуло в логике спора, и оба освободились от связанности друг с другом, стали друзьями. Евклидовский разум победил сердце.

Попытка Бубера выделить «Я — Ты» из царства законов была подхвачена Габриэлем Марселем. Французский философ подчеркнул, что дело идет о чем-то очень важном для каждого, о чем-то более глубоком, чем различие вероисповеданий. Сосредоточенность мысли на мире как предмете, как Оно, «ведет к технократическому развитию, все более губительному для целостности человека и даже для его физического существования...» (эти строки были написаны в 20-е годы XX в., то есть задолго до обнажения экологического кризиса. — Г.П.). «Еврейский мыслитель пошел гораздо дальше меня в освещении структурных аспектов этой фундаментальной человеческой ситуации». Однако Марсель предпочел описывать ситуацию в других терминах. Составные существительные (а заодно и местоимения) были укоренены в языке немецкой философии и звучали неуклюже для французского или английского уха. Дихотомия «иметь» и «быть», раскрытая Марселем, оказалась удобнее и распространилась по всему свету, в своей первоначальной форме или в пересказе Эриха Фромма. Она опирается на вспомогательные глаголы европейских языков и кажется естественной, как воздух, которым мы дышим. Однако язык буберовской мысли не потерял своего значения.

«Я—Оно» рождает образ работы, где человек в одиночестве противостоит миру. Другой в это отношение входит только случайно, как партнер или помощник (или, напротив, конкурент). Отношения между партнерами требуют регламентации и оформляются договором. На Западе и дело любви, союз мужчины и женщины, оформляется брачным договором.

В мире, каким его увидел Бубер, — в мире Я—Ты — не нужны никакие договоры. Любовь может быть высказана любыми словами и без всяких слов. Это имеет огромное значение в области религиозной веры, если на первом месте любовь, общая любовь к священному. Различие слов, идей, концепций теряет свои позиции, отступает на второй план. На этом основана буберовская идея диалога религий.

Теория диалога излагается довольно сложным языком, и помнится,

что при первом чтении она показалась мне трудной. Однако основная идея Бубера очень проста: общая любовь к священному важнее, чем различие идей священного, чем все различия догм, обрядов, таинств. Я — Ты (отношение иудеиста Бубера к своему христианскому коллеге) важнее, чем Я — Оно (неприятие чужой веры). Это раскрывается на простом жизненном примере.

Начало философии диалога относится к весне 1914 г. Шел спор, кто лучше понимает Христа. Бубер Христа любит, но не принимает византийского богословия. Христос для него — великий еврейский пророк. После ответа Бубера христианин «встал, я также стоял, мы посмотрели в глаза друг другу. „Забыто“, — сказал он, и мы братски обнялись в присутствии всех. Выяснение отношений между евреями и христианами превратилось в союз между христианином и евреем, и в этом превращении совершился диалог. Мнения исчезли, произошло во плоти фактическое».

«Мне можно возразить, — продолжает Бубер, — что там, где речь идет о существенных, мирозерцательных взглядах, разговор нельзя обрывать таким образом... Я отвечаю: ни один из спорящих не должен отказываться от своих убеждений, но...они приходят к чему-то, называемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы».

Были и другие возражения: «Даже если это возможно в границах воззрений (философских, идеологических. — Г.П.), в области вероисповеданий это неприменимо... Для того, кто готов умереть за свою веру, готов убить за нее, не может быть царства, где закон веры не имеет силы...» Бубер ответил «признанием»:

«Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать Цвингли, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божье настолько проникло в души людей, что они способны признать его однозначно и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божие подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит; вспышки я не увижу, я могу говорить только о свете, но не показать камень и сказать: вот он. Но различие в вере не следует считать только субъективным, оно основано не на том, что мы, живущие сегодня, недостаточно стойки в своей вере; это различие останется, как бы ни окрепла наша вера. Изменилась сама ситуация в мире в самом строгом смысле слова, точнее, изменилось отношение между Богом и человеком. И сущность этого изменения не может быть постигнута, если мыслить лишь о столь привычном нам затмении высшего света, о ночи нашего лишенного откровения существования. Это — ночь ожидания, не смутной надежды, а ожидания. Мы ждем Богоявления, и нам известно только место, где оно произойдет, и это место именуется общностью».

Бубер не говорит, каким образом раскроется священная общность.

Но из всего контекста его творчества следует, что он ищет эту общность в диалоге. Дух всех великих религий бесконечен, и ни одна традиция не может быть вытеснена, как вытеснены были верования древних греков, древних египтян и т. п. Неизбежен диалог, основанный на движении каждого — каждого человека и каждого вероисповедания — от буквы к духу. Здесь нет пределов для чуда любви.

Каким-то шагом в нужную сторону была «теология после Освенцима», учение о выборе религии как деле личного риска, без попыток доказать умом, что один выбор лучше другого. Эта идея предвосхищена в буберовской философии диалога:

«Религия как риск, готовая отказаться от себя, — это питающая система артерий, а как система, обладающая истиной, уверенная и предоставляющая уверенность, — религия, верящая в религию, — венозная кровь, останавливающаяся в своем движении. И если нет ничего, что может так исказить лицо людей, как мораль, то религия может, как ничто другое, исказить лик Божий».

Так искажает лик Божий фундаментализм, беспомощно хватающийся за буквы различных преданий как за соломинку в море вседозволенности; и одна крайность порождает другую крайность.

«Созерцание» Томаса Мертона

То, что Бубер назвал затмением Бога, не кончилось. Для общества, для человечества оно продолжается. Но появились зрячие среди слепых. Они готовы были на муку, чтобы раскрылись глаза, и они начали диалог созерцателей.

Томас Мертон — один из самых замечательных созерцателей моего поколения. Он родился в 1915 г. во Франции. Его отец, новозеландец, и мать, американка, оба художники, поклонники Сезанна, искали смысл жизни в искусстве и ничего, кроме этого, не сумели передать сыну. В юности он был потрясен византийскими фресками в старинных церквях Рима, почувствовал реальность Бога, падал на колени и молился, но этот порыв не был поддержан и угас. Мертон объездил с отцом половину мира, начал учиться в Англии, закончил в Америке, пережил обычное после Великой депрессии (1929—1933) увлечение марксизмом, искал себя в литературном творчестве, но ни в чем не мог уйти от чувства пустоты. Его трогали лица молящихся в католических храмах (он не находил ничего подобного в протестантских молитвенных собраниях), и это оказалось сильнее обычного для его среды неприятия католицизма. Неосхоластики (Жильсон, и потом Маритен) открыли ему возможность примирить католическую догму и современный ум. Став католиком, Мертон не остановился на участии в обрядах и таинствах. Ему нужен был, говоря словами поэта, «весь Бог», полнота присутствия Бога. Монастырь он

назвал «четырьмя стенами своей свободы», свободы от суеты, от несобранности.

Одна из самых сильных страниц его книги «Новые семена созерцания» посвящена пустоте жизни без Бога: «Каждый из нас затенен иллюзорной личностью, ложным „я“. Мы не очень справляемся с распознаванием иллюзий, в особенности тех, которые лелеем о самих себе... Для большинства людей на свете нет большей субъективной реальности, чем это ложное „я“, которое не может существовать...

Все грехи начинаются с утверждения, что мое ложное „я“, „я“, которое существует только в моих эгоцентрических желаниях, — это фундаментальная реальность жизни, которой соподчинено все остальное в мире. Таким образом, я использую свою жизнь в желании наслаждений и жажде переживаний, власти, почета, знания и любви, чтобы приодеть это ложное „я“ и превратить его небытие в нечто объективно реальное. И я окутываю себя переживаниями и удовольствиями и славой, как бинтами, чтобы сделать себя воспринимаемым собой и миром, как если бы я был незримым телом, которое могло бы стать видимым, если что-то зримое покроет его поверхность.

Но нет никакой субстанции под вещами, которыми я одел себя. Я пуст, и моя постройка из наслаждений и амбиций не имеет фундамента. Я опредмечен в них, но все они при первой случайности обречены рухнуть. И когда они упадут, ничего не останется от меня, кроме наготы и пустоты, говорящих, что я — моя собственная ошибка».

Это — та точка, до которой доходил подпольный человек Достоевского. Это много раз повторялось, разными словами, в философии экзистенциализма, в стихах Бродского — и снова об этом пишет Александр Мелихов в романе «Нам целый мир чужбина» («Новый мир», 2000, № 7, 8).

Современный ум, строго верный основам точных наук, не может не прийти к отчаянью. Для позитивиста реальна только поверхность бытия, шелуха бытия. Суждение «Сикстинская мадонна прекрасна», с точки зрения Карнапа, — междометие, эмоциональный всхлип, нечто вроде «Ах!». За это «Ах!» очень трудно удержаться в бытии. Поэт чувствует себя бабочкой-однодневкой, и лучшее, что он может сказать о жизни своего сердца, — «ты больше, чем ничто» (И. Бродский, «Бабочка»).

Говоря языком Кришнамурти, современный ум постоянно задает неправильные вопросы. Эти вопросы уводят в мир атомарных фактов, окруженных пустотой. И хотя ум бывает удовлетворен, доказав действительность одной из атомарных истин, сердце задыхается в пустоте. Надо задать правильный вопрос, ведущий к целостности и смыслу жизни. Но «на правильные вопросы нет ответа» — или, если снять парадоксальность мысли Кришнамурти, — нет рационального

ответа. Нет логического пути к тайне жизни, к смыслу жизни. На правильные вопросы отвечает только глубина сердца, но его ответ не имеет принудительной силы. Он не убеждает тех, у кого глубина сердца молчит. Или тех, кто настолько поверил в науку, что не верит глубине собственного сердца.

Эта тема требует отклика в стихах, и я здесь и ниже буду перебивать себя стихами Зинаиды Миркиной:

Не зови. Я не отвечу.
На леса нисходит вечер.
Свет спускается все ниже.
Я все тише. Я все ближе.
Ели замерли в тумане.
Только не прерви молчанья.
Не проси, не гнись в мольбе.
Я безмолвствую в тебе.
Так зачем ты ждешь ответа?
Я внутри тебя, но... где ты?

Мелихов — математик и писатель. Как математик, он убежден, что наука — единственный путь к истине. Как писатель, он чувствует, что наука, отбрасывая все недостоверное, лишает жизнь смысла. Ибо святыни, дающие жизни смысл, рождаются не во всех сердцах. То, что вл. Антоний называл встречей, и то, что я называл узнаванием встречи, научно недостоверно, не может быть проверено повторными опытами и доказано каждому; и для Мелихова это иллюзии, фантомы. Сердце Мелихова не может жить без фантомов, а ум их отбрасывает. Он пытался отделить священное от личных прихотей, не покидая почвы науки, но ничего не получилось. Осталась только память об очередном фантоме:

«Вот, вот в чем суть: наши чувства, мнения бывают двух совершенно разных видов. Одни — наши личные, мы их приобретаем, меняем, но даже в момент нашей самой сильной захваченности в глубине души чувствуем, что они наша личная собственность: я рассердился, я могу и простить — мое дело. Но есть в нас чувства, убеждения совершенно другого рода — их мы не ощущаем своей собственностью: оскорбили твою мать, твой народ, Толстого, логику — ты-то лично, может, и наплевал бы, но чувствуешь, что не имеешь права, это и есть с в я т ы н я — то, что хранится в твоей душе, но тебе не принадлежит, ты получаешь ее по наследству и по наследству же передаешь дальше: вот эта не зависящая от тебя ре- шалка в тебе и есть общая воля. Свою частную волю мы переживаем со страстью, а общую — с благоговением. Вот это благоговение в себе люди и называют присутствием бога. То есть н е р е л и г и о з н ы е чувства про исхо д я т из бо га, а, нао б о р о т, б о г

и з религиозных чувств, — открытие кажется мне настолько потрясающим, что я немедленно решаюсь посвятить ближайшие годы разработке всех его следствий — воссозданию атеистических аналогов всех этих отмерших понятий: „бог“, „душа“, „святость“, „Вечность“...

Неужели это был действительно я? Чем же я был так пьян — просто молодостью? Или каким-то иным наркотиком?» (Новый Мир, 2000, № 8, с. 125).

Атеистические аналоги религиозных терминов давно были созданы, две с половиной тысячи лет тому назад. Отшельник из рода Шакия отбросил все священные слова и заменил их отрицанием обыденного, отрицанием шелухи мира, указанием пути в глубину, которая не может быть названа: «Есть, о монахи, нечто не-ставшее, нерожденное, несотворенное, ибо, если бы не было не-ставшего, нерожденного, несотворенного, где бы мы нашли убежище от ставшего, рожденного, сотворенного, от мира рождения и смерти, от страдания?» Дело, однако, в том, готовы ли мы поверить Будде в реальность его опыта, хотя сами мы просветления не испытали? Готовы ли мы поверить в реальность опыта Христа — «Я и Отец одно», — хотя сами ничего подобного не испытали? Готовы ли мы поверить вл. Антонию, что лет семьдесят тому назад, решившись прочесть Евангелие от Марка, он между первой и третьей главой пережил присутствие Христа? «Можете считать это галлюцинацией», — признает Антоний. Научно это недоказуемо. С точки зрения логического позитивизма это только междометие, «Ах!».

Проблема не в терминах — традиционных для религии или нетрадиционных, — а в готовности поверить в возможность опыта, более глубокого, чем та шелуха мира, которую изучает наука, шелуха пространства, времени и материи. Чем вся шелуха, в которой человечество за последние четыреста лет добилось призрачной власти. Мелихов к этому не готов, мешает гордыня научной мысли, и его позитивизм приводит к философии абсурда:

«Я к тому времени уже давно считал, что велик в математике только пронизывающий ее дух честности, дух, способный принести истинно ценные плоды лишь в изучении человеческой души — в психологии, в социологии, в искусствоведении. Теперь-то я понимаю, что человеческая душа принадлежит к тем объектам, изучая которые, разрушаешь их — разрушаешь фантомы, кои только и могут нас воодушевлять и утешать: реальность всегда ужасна, стоит заглянуть в нее поглубже, — наука — организованная честность — не позволит ничему живому ужиться рядом с собой» (с. 115).

«Честность — это всеобщность: я признаю лишь такие доказательства, которые убедительны для всех. Хотя, опять-таки, и знаю, что для всех разом очевидным бывает только сверхпримитивное: сухие ноги лучше мокрых. А даже хваленые математические теоремы

истинны только для тех, кого годами школили, да и то при наличии способностей. Даже математические истины являются плодом социальных усилий, в каждом поколении формирующих особую аристократию. Аристократию, которая учит повиноваться материи, подчинять суждения реальности, а не воспарять над нею. Ее кодекс — гордость подчинения. Требование не таить от себя даже самой тонюсенькой иллюзии, которой можно было бы согреться на беспощадном космическом морозе. Сам-то ты в одиночку (в одиночке), глядишь, еще бы и поверил во что-нибудь тепленькое, но аристократический кодекс не терпит ничего индивидуального: чем дороже тебе „убеждение“¹, тем с большей беспощадностью ты обязан передать его в руки правосудия для перепроверки независимыми наблюдателями. А уж они-то самое драгоценное для тебя, будь уверен, оценят в ноль, ноль и еще раз ноль.

Сверхдемократические аристократы, мы разрушаем наше личное во имя всеобщего, наш кодекс — это кодекс камикадзе. И когда ты, наконец, понимаешь, что тебя одурачили, тебе все равно остается только погибнуть с честью: вернуться назад уже не хватит бензина.

А душа-то ноет, скулит — не хочет погибать с честью. Ум востр — дух немощен. Но мы на него „цыц!“ — и замер, руки по швам» (с. 125—126).

«Впрочем, я и сейчас ничуть не сомневаюсь, что наука должна нас кормить, лечить... Но, обращаясь к миру наших чувств — в психологию, в социологию, она превращает нас в одну из железок. Десакрализуя все фантомы, она оставляет несомненными лишь такие очевидности, как „сухие ноги лучше, чем мокрые“. Заставить ее исполнять наши желания, но не разрушать животворные иллюзии — это будет потрудней, чем оседлать термоядерную реакцию» (с. 127).

То, что пишет Мелихов, глубоко пережито и достойно уважения. Не всякий способен на такую беспощадность к себе. Но абсурд — это тупик известного уровня бытия, это призыв к слепому верить, что он слеп, что красное и зеленое, вопреки его слепоте, реальны и можно их увидеть, если срезать бельма. Истина, захватившая Мелихова, — полуйстина, первая половина поучения, услышанного св. Си-луаном: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Дай мне поверить глубине своей.
Дай мне поверить собственному сердцу!
Заброшенный во глубину морей,
Давно затерян скипетр Миродержца.

Всесилье наше спрятано на дне
Миров и чуть поблескивает в лицах;
Но это дно находится во мне...
Дай мне своей же глуби причаститься!

Прочтем теперь еще раз текст Мертон, который я уже цитировал, без купюр, сделанных, чтобы выдвинуть вперед то, что сближает Мертон с философией отчаянья: «Каждый из нас затенен иллюзорной личностью, ложным „я“».

Это человек, которым я хочу быть, но кто не может существовать, потому что Бог ничего не знает о нем. А быть вне познания Бога, значит совершенно и полностью обособиться.

Мое ложное и частное „я“ хочет существовать вне достижимости Божьей воли и Божьей любви — вне реальности и вне жизни. И такое „я“ не может быть ничем, кроме иллюзии.

Мы не очень хорошо справляемся с распознаванием иллюзий, в особенности тех, которые лелеем о самих себе — с которыми мы рождаемся и которые питают корни греха. Для большинства людей на свете нет большей субъективной реальности, чем это их ложное „я“, которое не может существовать. Жизнь, посвященная культу этой тени, — вот что называется жизнью в грехе.

Все грехи начинаются с утверждения, что мое ложное „я“, „я“, которое существует только в моих эгоцентрических желаниях, — это фундаментальная реальность жизни, которой соподчинено все остальное в мире. Таким образом, я использую свою жизнь в желании наслаждений и жажде переживаний, власти, почета знания и любви, чтобы приодеть это ложное „я“ и превратить его небытие в нечто объективно реальное. И я окутываю себя переживаниями и удовольствиями и славой, как бинтами, чтобы сделать себя воспринимаемым собой и миром, как если бы я был незримым телом, которое могло бы стать видимым, если что-то зримое покроет его поверхность.

Но нет никакой субстанции под вещами, которыми я одел себя. Я пуст, и моя постройка из наслаждений и амбиций не имеет фундамента. Я опредмечен в них. Но все они при первой случайности обречены рухнуть. И когда они упадут, ничего не останется от меня, кроме наготы и пустоты, говорящих, что я — моя собственная ошибка.

Тайна моей реальности скрыта в любви и милосердии Бога.

А все, сущее в Боге, тождественно Ему, ибо Его бесконечная простота не допускает никаких делений, никаких различий. Потому я не могу надеяться найти себя ни в чем, кроме Него. И нет другого пути к реальности самого себя, кроме отождествления с Ним, в Ком скрыты смысл и полнота моего бытия».

Я не знаю, кто в мире смог
Оправдать этот смерч бесцельный.
Я не знаю, что значит Бог
Тот, другой, — от меня отдельный.

Есть у боли земной края?

Что до жизни и что за гробом?
Я не знаю, но знаю я —
Нет в глубинах тоски и злобы.

Если чаша души тиха,
Если в ней — средоточье света,
Если нету во мне греха,
Для отчаянья места нету.

Если сердце вопрос прожест О
причинах смертей беспельных,
Если стал бесконечный Бог Тем,
другим, от меня отдельным,

Если душу на части рвут,
Если больше души тревога,
Значит, надо вернуться внутрь,
Значит, я отошла от Бога.

Дай мне жар Твоего огня!
Я Тебе до конца открыта.
Святой Отче, прости меня Вот за то
лишь, что мы не слиты

До конца.

Для созерцателя глубин фантом — его ложное «я», это — и неполноценна наука, созданная этим ложным «я», цепляющимся за доказательства своего бытия, как Декарт (предмет беспощадной критики Мертон). Созерцатель глубин верит в свет истины, не требующей и не допускающей доказательств. Но он сомневается во всех словах, сказанных об истине. Он понимает, вместе с Тютчевым, что мысль изреченная есть ложь, есть только несовершенный отблеск вечного света, и постоянно надо проверять, насколько этот отблеск отражает свет, а насколько искажает его. В главе «Афоризмы» Мертон пишет (перекликаясь с Антонием Блумом): «Вы не можете стать подлинно верующим, пока не научились сомневаться. Вы не можете поверить в Бога, пока не поставили под вопрос авторитет предрассудков, даже если эти предрассудки кажутся религиозными. Вера — это не слепое согласие с предрассудками, не заранее известный приговор (pre-judgement). Это решение, приговор, полностью и сознательно вынесенные в свете истины, которая не может быть доказана. Это не простое принятие решения, сделанного кем-то еще».

Бросается в глаза нечто новое сравнительно с традиционным определением веры. Ап. Павел еще не сталкивался с научным ми-

ровоззрением, утвердившимся со времен Декарта. Мертон подводит итог царству науки. Он признает правомерным научный анализ всего, ставшего словом, отлившегося в частную форму, но отвергает науку как путь к истине целого, нераздельного — о котором иначе, как в стихах, и не скажешь:

Бог — сердце сердца моего.
Вне сердца жизни нет.

Дорога к неразложенному свету, вспыхивающему в груди, как знак истины, — не рассуждение, не научный метод, а созерцание. Но Мертон, выбрав это слово, тут же признает его неточность. Словарный смысл не передает всего, что ему хотелось сказать. Смысл созерцания раскрывается только всей книгой «Новые семена созерцания».

Насколько я понял, вчитываясь в текст, это *высший уровень* созерцания эстетического, философского, богословского. Это вспышка внутреннего огня, в котором сгорает эго и остается только эхо Божьего «Я». Это состояние, которое может быть подготовлено множеством путей, но к которому напрямую не ведет никакой путь. Это состояние, которое не всем дается, не всем дается в равной мере, и надо радоваться, когда другие превосходят тебя, когда другим дается больше, чем тебе, без зависти Сальери к Моцарту. Это встреча двух созерцаний: человека, созерцающего Бога, и Бога, созерцающего человека. Это причастность Иова Богу, заговорившему с ним, причастность Божьему взгляду, в котором вместились все страдание вселенной и потонуло в творческой радости. Это состояние, в котором прошлое исчезает, а потом продолжается, но с новым пониманием каждой прочитанной буквы. Это смерть, за которой следует воскресение. Многое здесь напоминает проповеди Мейстера Экхарта и стихи Зинаиды Миркиной:

Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо,
И свет вовек бы не сошел с лица.
Когда б в какой-то уголок земли Вгляделись мы
до сущности небесной,
То мертвые сумели бы воскреснуть,
А мы б совсем не умирать могли.
И дух собратья до конца готов.
Вот-вот, сейчас... Но нам до откровенья
Недостает последнего мгновенья,
И — громоздится череда веков.

* * *

Я смотрю на Тебя. Внутрь Тебя — на огонь.
О, прожги этот мир! Сердце пламенем тронь!
Дай почувствовать вновь Твой пугающий Дар —
Беспощадный огонь — миротворческий жар.
Я смотрю на огонь. Я сгораю в огне.
Только так — сквозь меня, Ты приходишь ко мне.
Погружаясь в Тебя, я сгораю дотла.
Только так расступается смертная мгла,
Только так раскрывается в вечное вход,
Только так из Ничто этот мир восстает.

* * *

Когда движется Дух, тогда Время стоит.
Это два несовместных движенья.
И внутри неподвижности каменной скрыт Все миры
созидающий гений.

Вот зачем этот штиль. Боже, вот почему Мы в
молитве встаем на колени.
Мы должны замереть, приближаясь к Нему.
Он творит нас вот в это мгновенье.

Некоторые афоризмы Мертоня напоминают стихотворение в прозе:
«Поэт погружается в себя, чтобы творить. Созерцатель погружается в
Бога, чтобы быть сотворенным». «Созерцатель знает Бога, как если бы
прикоснулся к нему. Или скорее он знает Его, как если бы Бог
прикоснулся к нему». Легко продолжить это стихами:

Я знаю Бога точно так,
Как лес — свой затаенный мрак,
Как ветка ведает свой путь И знает, как и где
свернуть.

Я знаю Бога, как зерно —
Тот плод, которым рождено,
И так, как знает зрелый плод Зерно, что в глубине
несет.

Я знаю Бога, как свою Любовь, которую даю
И вновь вбираю грудью всей От
ветра, света и дождей.

И Боже мой, как мне смешны Все
знания со стороны.

Глава «Что такое созерцание» переходит от парадокса к парадоксу:

«Созерцание — род духовного видения, к которому стремятся и разум, и вера, по самой своей сути, потому что без него они не полны. Но созерцание — *не* видение, потому что оно видит, не глядя, и знает без знания. Это более глубокий уровень веры, знание слишком глубокое, чтобы схватить его в образах, в словах, даже в яснейших понятиях. Его можно подсказать словами, символами, но при каждой попытке обозначить, что оно значит, созерцательный ум берет назад то, что он сказал, и отрицает то, что он утверждал. Ибо в созерцании мы знаем благодаря незнанию. Или, вернее, мы знаем по ту сторону знания и незнания».

Здесь вспоминается язык буддаяма дзэн. Мертон очень серьезно отнесся к опыту дзэн и, видимо, сознательно принял часть его наследства. Незнание — обязательное условие открытости неслыханно новому. Если ум заполнен старым знанием, мы неслыханно нового не почувствуем. Кажется, что в христианской традиции эту готовность к новому лучше всего выразил Николай Кузанский в своей концепции «ученого незнания».

Мертон продолжает: «Поэзия, музыка, живопись имеют что-то общее с опытом созерцания. Но созерцание — по ту сторону эстетической интуиции, по ту сторону искусства, поэзии. Оно также по ту сторону философии и богословской мысли. Оно подытоживает, превосходит, восполняет их, и в то же время оно их, в известном смысле, вытесняет и отрицает. Созерцание все время по ту сторону нашего собственного знания, нашего собственного света, по ту сторону систем, объяснений, рассуждений, диалогов, по ту сторону нашего „я“. Чтобы войти в царство созерцания, мы должны в известном смысле умереть: но эта смерть, на самом деле, — вступление в высшую жизнь. Это смерть ради жизни, оставляющей позади все, что мы могли узнать или хранить как жизнь, мысль, опыт, радость, бытие.

Итак созерцание видимо вытесняет и отбрасывает каждую иную форму интуиции и опыта — безразлично — в искусстве, философии, богословии, в литургии и на обычных уровнях любви и веры. Однако это отрицание только мгновенно. Созерцание совместимо и не может не быть совместимым со всем этим, ибо это их предельное восполнение. Но в живом опыте созерцания весь прежний опыт на миг исчезает. Он умирает, чтобы возродиться на высшем уровне жизни».

Остановка. Ни шагу.
Стихнул гомон дневной.
Силуэт Карадага Под повисшей луной.
Рокотанье морское.
Волны плещут, шурша.
Дай мне столько покоя,

Чтоб воскресла душа.
Месяц осветил горы,
В небе звезды зажглись.
Дай мне смерть, из которой Начинается
жизнь.
Кто не знает, поверьте,
И в прошедшем и впредь Можно только
лишь смертью Нашу смерть одолеть.
Над бессильем и болью,
Надо всю тоской —
Только смерть своеволя И великий
покой.

* * *

Бог может слиться только с мертвым:
С горой, застывшей на века,
С морскою гладью распростертой И с
сердцем, где — ни ветерка,
Ни слабенького дуновенья —
Мария у Христовых ног.
И безразлично — камень, пень я Или
всю смерть вместивший Бог.
Две тыщи лет твердят нам: верьте,
Что у Него хватило сил На третий день
восстать из смерти.
Но кто поймет, что Он вместил Всю
смерть в себя. И только это И стало
воскресеньем света.

Теперь несколько мест из другой главы — «Что не является созерцанием»:

«Созерцанию нельзя научить. Его нельзя даже ясно объяснить... Чем более объективно и научно мы пытаемся анализировать его, тем более мы опустошаем его от реального содержания, ибо этот опыт по ту сторону вербализации и рационализации... Описывать реакции и чувства — значит искать созерцание там, где его нельзя найти, в поверхностном сознании... Это поверхностное сознание — часть того внешнего „я“, которое умирает и отбрасывается, как грязная одежда, в подлинном пробуждении созерцателя...

Мы должны помнить, что наше поверхностное „я“ — не наше подлинное „я“. Это наша индивидуальность, наше эмпирическое „я“, но не та скрытая, таинственная личность, в которой мы предстоим перед очами Бога. „Я“, действующее в мире, думающее о себе, наблюдающее свои реакции и рассуждающее о себе, это не подлинное „я“, соединившееся с Богом в Христе. Это в лучшем случае одеяние,

маска, скрывающая таинственное, неведомое „я“, которое большинство никогда не открывает, пока не умрет». К этому месту есть примечание: «Ад может быть описан как вечное отчуждение от своего подлинного бытия, подлинного „Я“, которое в Боге».

«Наше внешнее, поверхностное „я“, — продолжает Мертон, — не вечно, не духовно. Совсем напротив. Это „я“ обречено исчезнуть без следа, как дым из трубы. Это „я“ предельно непрочное, мимолетное. Созерцание — это именно сознание, что эмпирическое „я“ поистине не „Я“, и пробуждение неведомого „Я“, которое по ту сторону наблюдения и размышления и не способно толковать о себе. Оно не может даже сказать „я“ с уверенностью и дерзостью поверхностного „я“, ибо сама его природа — быть скрытым, неназванным, неотожествленным в обществе, где люди говорят о себе и о других. В таком мире подлинное „Я“ остается невысказанным и незримым, потому что ему слишком много надо сказать — но ни слова о самом себе».

Что значит счастье? Счастье — это
Не я. Исчезновение «я».
Совсем чиста душа моя.
Совсем порожняя посуда,
В которую втекает чудо Из
половодья бытия.
Не я, не я, и только это Сплошное
половодье света,
Разлив вселенского огня.
Есть только Он, и нет меня.
Вопросы? Но к чему вопросы,
Когда костер души разбросан По
всем мирам. И угольки Его то здесь,
то в поднебесье,
То звездной россыпью, то смесью
Лесов весенних и реки.
О, этот ветер меж мирами,
Раздувший маленькое пламя Души за
страны, за края!
Великий ветер благодатный —
Мой Дух. Так этот Необъятный И
Вездесущий — это я?!

Вот еще одно замечательное место из той же главы:

«Созерцание — не транс или экстаз, не внезапное слышание непроизносимых слов, не воображение вспышек света. Это не эмоциональный огонь и сладостность религиозной экзальтации. Это не энтузиазм, не чувство восхищенности стихийной силой и унесенности

в освобождение мистическим безумием. Все это может казаться подобным созерцательному пробуждению в той мере, в какой они приостанавливают обыденное сознание и контроль, осуществляемый нашим обыденным „я“. Но они не суть действие „глубинного Я“, а только эмоции соматического подсознания. Это наплыв дионисийских сил „ид“ (их еще иногда называют витальными. — Г.П.). Такие проявления могут бесспорно сопутствовать глубокому и подлинному религиозному опыту, но они не то, что я называю созерцанием.

Созерцание не есть также дар пророчества, и не дает оно способности читать тайны человеческих сердец. Подобные вещи могут сопутствовать созерцанию, но они не существенны для него, и было бы ошибкой смешивать их».

В другом месте Мертон говорит о видениях пророков и древних святых как о черте примитивного сознания, смешивающего метафоры с реальностью. Критика его направлена не на саму образность, метафоричность потрясенного сознания, а на смешение сопутствующих явлений с самой сутью встречи человеческого «аз есмь» с Божьим «Аз Есмь». Это близко к тому, что на языке православной аскезы называется трезвением.

Я думаю, что стихийные прорывы сквозь обыденное сознание, прорывы вдохновения в бою (прославленные в Гимне чуме), в любви, в творчестве могут быть подготовкой к встрече двух созерцаний, и созерцание завершает, восполняет их (об этом говорится в отрывке, который я цитировал немного раньше). Но встреча двух созерцаний не только восполняет, а отодвигает их, взлетает над ними. И то, что я пережил при стихийных прорывах, которые у меня случались, подготовило меня только к *узнаванию* высшего уровня созерцания. Я его домыслию умом на основе своего скромного собственного опыта. Встреча двух созерцаний невозможна без участия Thou. Эту встречу надо выстрадать, как выстрадал ее Иов. И после встречи страдание не прекращается.

«Пусть никто не надеется, — пишет Мертон, — найти в созерцании убежище от конфликтов, тревог и сомнения. Напротив, глубокая, невыразимая несомненность опыта созерцания пробуждает трагическую тревогу и открывает в глубине сердца многие вопросы, подобные кровоточащим ранам. Ибо каждый шаг в глубинной несомненности ведет к росту поверхностных сомнений. Эти сомнения ни в коем случае не противоположны истинной вере, но они беспощадно испытывают и ставят под вопрос мнимую „веру“ повседневности, человеческую веру, которая является ничем иным, как пассивным принятием общего мнения. Эта ложная „вера“, которой мы часто живем и которую мы даже смешиваем с нашей „религией“, подлежит неумолимому испытанию. Мучение наше подобно испытанию огнем, в котором свет незримой истины, достигшей нас в темном луче

созерцания¹⁰, присуждает нас испытать, подвергнуть сомнению и, в конечном счете, отвергнуть все предрассудки и условности, которые мы принимали как догмы. Поэтому подлинное созерцание несовместимо с благодушием и самодовольным признанием устоявшихся мнений. Это не пассивное восприятие status quo, как некоторые склонны полагать, — потому что это свело бы созерцание к духовной анестезии. Созерцание не транквилизатор. Какой великий жертвенный костер разгорается в постоянном сжигании дотла старых изношенных слов, клише, лозунгов, рационализации! И хуже всего, что пламя пожирает видимо святые понятия вместе со всем остальным. Это страшная ломка и сожжение идолов, очищение святилища, так чтобы ничто смертное не могло занять место, которое Бог повелел оставить пустым: центр, экзистенциальный алтарь, который просто «есмь».

И в конце созерцатель испытывает мучительную тревогу от сознания, что он больше не знает, что такое Бог. Ему может или не может выпасть счастье осознать, что это великий дар, ибо «Бог не **что**», не вещь. Это именно одна из существенных характеристик опыта созерцания. Он видит, что нет никакого «что» по имени Бог. Нет «такой вещи», как Бог, ибо Бог не «что» и не «предмет», но чистое «**кто**». Он есть Ты (Thou), перед которым наше глубочайшее я прорывается в сознание. Он есть Аз Есмь, перед которым мы, нашим самым личным и неотчуждаемым голосом, откликнемся, как эхо: «Аз есмь» (с. 13)

Мы обречены на бесконечность,
Нам простор без стен и крыши дан.

¹⁰ Метафора темноты созерцания не допускает однозначной трактовки.

Наш Творец нам мнится бессердечным.
Он забыл нас, бросив в океан.
Он нам не залечивает раны,
Он на наш не отвечает зов.
Мы — родные дети Океана.
Нам лишь снятся почва и покров.
Нам лишь грезится укрытие в гнездах.
Ты, владыка неба и морей,
Не по мерке эту душу создал,
А по всей безмерности Твоей.
Всей землею нашей дух нагружен.
Радость в дверь стучится иль беда, —
Нужен нам наш Бог или не нужен —
От Него не деться никуда.
Мы обречены на бесконечность.
Ветер яви гонит наши сны.
Нам от Бога защититься нечем —
Мы на высь и глубь обречены.
Ты велишь средь бури быть спокойным,
Твердью духа укрощая вихрь, —
Твоего величья стать достойным,
Стать достойным крестных мук Твоих.

Подводя итог, можно сказать, что великие созерцатели XX в. во многом сходятся. Они все отвергают религию, верящую в религию, отбрасывают штампы, «букву» традиции и заново, опытно открывают ее дух. Они принимают научную критику частных истин и отвергают науку как путь к целостной истине. Они ищут истину во встрече глубинного Я со священным Ты. Во встрече, которая не всем дана, но всеми может быть узнана.

* * *

И тишина плеснет мне в сердце,
Как будто бы в лицо вода,
И вдруг смываются года И
происходит омовенье В
волне прозрачного
смиренья,
И это только от следа Той, все смыкающей
волны.
А если б море тишины!..

* * *

И стало тихо так, что было слышно, Как
дышит дерево, поет листва —
И даже то, что думает Всевышний, Пока

еще не начались слова, —
Как этот мир из зернышка родится, Как
раскрывается небесный свод, Откуда
вытекает песня птицы,
Куда она сквозь грудь мою течет.

* * *

Ты всего Себя нам отдал —
Нет Тебя. И все же, все же —
Эта бездна небосвода,
Это море — Ты, мой Боже.

Линия прибрежных склонов,
Наклонившиеся звезды —
Это Ты преображенный,
Превратившийся в наш воздух.

Не встаешь перед глазами В облаченье
Миродержца.
Ждешь, чтоб мы узнали сами Бездну —
бездной, сердце — сердцем.

Этот мерный плеск прибоя...
Многослойность этой дали...
Дышим мы одним Тобою,
И доселе не узнали...

Вавилонская башня цивилизации

Пауза созерцания

Только очень давно, в доисторических, бесписьменных обществах не было кризисов. Трудности и катастрофы приходят извне, люди эти трудности сами не создавали, и потому не было необходимости ломать устои жизни, перестраиваться. Перемены все же происходили, по крайней мере, у некоторых племен, — но так медленно, что их не замечали и принимали сегодняшнее за вечное и неизменное. Очень не скоро этот золотой век кончился, и начались кризисы. Однако острые, заметные кризисы только *случались*; они не были чем-то постоянным. Кризис заканчивался либо крахом, распадом общества, либо новым устойчивым порядком.

Так, история Египта делилась на Древнее, Среднее и Новое царства. Так Римская республика уступила место империи.

Потом кризисы стали чаще, промежутки между ними короче. А

сейчас ломка идет непрерывно. Постоянно рушится связь поколений, теряется тождество с самим собой, связь со священным и вечным. Люди, защитившие себя от стихийных бедствий, оказались во власти техногенных стихий, под угрозой экономического, экологического, информационного, духовного кризиса. Сейчас на каждом перекрестке нужен регулировщик. Не только в прямом смысле. Кризисы ветвятся, превращаются в букет кризисов. Общество постоянно надо спасать, и усилия выйти из кризиса создают новые кризисы.

Старым цивилизациям не хватало ума. Ум блистал в философии, но практика оставалась во власти преданий и предрассудков. Консерваторы с этим очень долго мирились, но темп перемен ускорялся, и традиция перестала отвечать на неотложные вопросы. Отвечать стал свободный разум. На первых порах это захватывало и вдохновляло. Гегель писал о величественном восходе солнца. А потом победа разума оказалась пирровой. Я говорю не об отдельных решениях, а о более глубоких следствиях рационализма.

Опыт последних веков показал, как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической силой, опасен. Опасен научный ум со своими открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительных сил ума, как на АЭС — от атомного взрыва. Ни один злодей, разбойник, садист не совершил столько зла, сколько энтузиасты благородных идей, прогрессивных идей, целенаправленного добра (я соединил в одной фразе мысли, высказанные несколькими моими современниками: Василием Гроссманом, Юрием Айхенвальдом, Наумом Коржавиным, Александром Галичем). Миллионы людей убивала идея *окончательного решения*, окончательного выхода из всех кризисов, идея прыжка из царства необходимости в царство свободы (или в другую утопию). Проекты разные, но итогом всех окончательных решений и ликвидации вредных классов было одно и то же: шигалевщина. «Цицерону вырезывается язык, Шекспиру выкалываются глаза». Люди превращаются в образцовых северокорейских коммунистов, изучающих чучхе.

Каждое время считает себя неповторимым. Каждое новое движение уверено, что оно учло ошибки своих предшественников. Ленин учел ошибки французских революционеров, мусульманские интегралы — ошибки диктаторов, действовавших без благословения Бога. И даже Баркашов критикует Гитлера, недооценив

шего славян. Новая версия тоталитаризма всегда уверена в своей творческой силе.

Однако дело не только в крайних формах административного восторга. Термин «административный восторг» был создан Щедриным на опыте *царской* администрации. А Роберт Белла опирался на опыт американской администрации, сформулировав задачу мыслящего современника: «Удерживать деятелей от охватывающего их транс».

Современная цивилизация не может обойтись без вмешательства врачей и без лекарств, противопоказанных к применению, которых, в свою очередь, надо лечить. Без растущего и растущего государственного попечения общество погружается в хаос и народ может просто вымереть. Но уму реформаторов даются только частные решения, лечение отдельных органов, а не оздоровление организма. Медицина цветет, а организм приходит в упадок. Мы вынуждены жить, глотая пилюли. На Западе — хорошо подобранные препараты, дающие ощущение здоровья. У нас в стране — что подешевле. И мы поострее чувствуем кризис. Но кризис — общий. И основа его глубже административного, политического уровня.

Цивилизация в целом, то есть совокупность Запада и вестернизированных стран, становится сложнее и сложнее и темп перемен — все стремительней. Чем сложнее система, тем вероятнее сбой, срывы, катастрофы. Экономическая катастрофа, как в 1929—1933 гг., экологическая (о которой говорят сегодня) и неизвестно еще какие.

Алистер Хулберт, эссеист, долгие годы работавший в одной из комиссий ЕЭС, писал, что государственные мужи Запада только делают вид, что они понимают, куда нас несет. И дело не только в ограниченности того или иного президента, премьера. Среди них попадаются люди довольно умные и глубокие. Беда в том, что даже выдающиеся умы беспомощно стоят на берегу потока перемен. Они не в состоянии охватить то, что уже сегодня бесконечно сложно и что становится еще сложнее. Развитие цивилизации есть развитие человеческой *неспособности* разбираться в жизни общества. Древние мудрецы разбирались в целостности человеческой жизни лучше, чем современные ученые. Взгляд с птичьего полета на гигантский поток времени, оторвавшегося от вечности, дается единицам, и даже эти единицы воспринимают целое как бы в тумане, не различая подробностей. А когда покров тумана рассеивается и что-то выступает ясно и отчетливо, никто не верит Кассандре.

В 1972 г., прочитав книгу Роберта Беллы «По ту сторону верований», опубликованную двумя годами раньше, я был поражен сходством его мыслей с моими мыслями и мыслями нескольких моих соотечественников. Примерно в то же время я написал свой «Эвклидовский разум»; десятью годами раньше Василий Гроссман создавал опыт о преступлениях добра, вошедший в «Жизнь и судьбу» как записка Иконникова; десятью годами позже Юрий Айхенвальд

готовил к публикации «Дон Кихота на русской почве» и набрасывал концепцию «кихотизма» (сердечного, спонтанного добра), противостоящего «целенаправленному добру», действиям на благо общества. На разных концах земного шара, в разных, непохожих странах мы думали об одном и том же: как защититься от инерции мысли, потерявшей чувство священных границ? Как спасти Филимонов и Бавкид от предприимчивости Фауста?

Идеи, создававшие Колыму и Освенцим, не умерли. Несмотря на «теологию после Освенцима». Несмотря на своего рода «этику после Освенцима», которую пытался создать Эммануэль Левинас. Возникают новые проблемы, не разрешимые в рамках либеральных порядков, и новые эксцессы. Ни учение Христа, ни этика Канта их не предотвратили, и нет надежды, что какие-то поправки в заповедях совершенно устранят опасность. И все же священник, учитель, писатель, ученый, философ обязаны сделать все, на что они способны, чтобы удержать от соблазна ничем не ограниченного насилия *ради чего бы то ни было*, ради выхода из любого кризиса, из любой беды. Надо, по крайней мере, знакомить с тем, чем это все кончалось, что об этом думали Гроссман, Айхенвальд, Левинас, ссылаясь на Достоевского или без ссылок:

«Единственная абсолютная ценность — это человеческая способность отдавать другому приоритет». Мы все ответственны за все и всех, и я ответствен более, чем все другие, — не дожидаясь взаимности от Другого, не требуя от него равенства ответственности. «Я ответствен за Другого, даже если он наводит на меня скуку или травит меня» (подробнее в кн.: *Левинас Э. Избранное*. М.— СПб., 2000, с. 356—366). Все это и подобное много раз написано; однако сорняки тоталитарных идей будут расти вновь и вновь, если не изменится сама почва истории. Когда эта почва становится раскаленной лавой, истерика охватывает культуру и любая клетка может стать злокачественной. Коммунизм вырос из Просвещения, нацизм — из Романтизма. Сегодня экстремизм растет из ислама, из католической теологии освобождения¹¹, из традиций «черной сотни», поддержанных патриархией. Завтра он может вырасти из экологического активизма. Политическая мысль с ее проектами тотальных и окончательных решений — только следствие лихорадочного темпа научно-технических сдвигов, следствие Нового, ставшего разрушительной силой. Потеряна способность культуры осваивать Новое, приручать его, сохраняя равновесие. Сегодня Новое так стремительно нарастает, что культура разваливается и падает «ценностей незыблемая скала». Разрушительная роль телевидения, о которой с тревогой писали Поппер, Гадамер и другие, — только

¹¹ Теология освобождения использовалась для обоснования диктатуры Саидино в Центральной Америке.

частный случай.

Министр просвещения России Геннадий Ягодин пишет об экологическом кризисе: «Дальше — только два варианта. Либо фашизм, диктатура, которая говорит: „Ведите себя так, иначе погибнете“; либо такой уровень сознания, когда человек без диктатуры будет вести себя так, чтобы не погибнуть» («Зачем нужны умные люди?» «Педология», 2001, май, с. 16).

К сожалению, именно умные люди создали реальность, с которой умные люди не знают, что делать. И фашизм в глобальном масштабе — такая же головная вероятность, как и неожиданно выросший уровень сознания. Глобальная диктатура не может утвердиться мирным путем; а война — еще более конкретный путь к гибели, чем нынешнее сползание в пропасть под контролем НАТО. Мы должны быть благодарны англосаксам за то, что они не поддались соблазну безумных идей, завладевших Россией, Италией, Германией, Китаем, Вьетнамом, Кубой... Но порядок, который хранит Америка, — это порядок движения к катастрофе.

Одна из проблем, которую нельзя решить высокоточными ракетами, — миллиарды недорослей, недоучек, недоразвитков. Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и девочек. Простая культура целиком влезала в одну голову, и в каждой голове были необходимые элементы этики и религии, а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой цельности оставались отец с матерью. Сейчас они банкроты. Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного умнее деда, пишущего авторучкой. Мир изменился, каждые пять лет он другой, и все старое сбрасывается с корабля современности. Растут миллиарды людей, для которых святыни, открывшиеся малограмотным пастухам, не стоят ломаного гроша. Полчища Смердяковых, грядущие гунны, тучей скопились над миром. И они в любой день готовы пойти за Бен Ладеном или Баркашовым. Записку Иконникова гунны не прочли (а если б и прочли — что им Иконников? Что им князь Мышкин?). Судьбу Другого они на себя не возьмут.

Одно из бедствий современности — глобальная пошлость, извергаемая в эфир. Возникает иллюзия, что глобализм и пошлость — синонимы. И глобализм уже поэтому вызывает яростное сопротивление. Не только этническое. Не только конфессиональное. Культура (в понимании Шпенглера) противится цивилизации. В этом встречается достаточно много безумия, но есть и глубокий разум. Сопротивление американизации увеличивает шансы другого, старого, проверенного историей проекта глобализации, европейского. Европа (в отличие от всех империй, азиатских и старой Российской) — осуществленный проект культурного мира как концерта (или хора) самостоятельных голосов. Россия XIX в., войдя в этот хор, впервые

открыла в себе самой возможность полифонии. Одни русские опирались на Францию, другие на Англию, третьи на Германию — и возникла перекличка голосов внутри русской культуры, создавшая условия для расцвета русского романа и русской философии.

Можно быть радикалом, или либералом, или почвенником, но все согласится, что Россия, став европейской, пережила взрыв духовных сил. Я думаю, что это достаточная проверка плодотворности европейского глобального проекта. И можно представить себе глобальную культуру как подобие сводного хора, куда отдельные культурные миры (Европа, Ислам, Индия, Дальний Восток) войдут как отдельные хоровые группы. Музыкальное действо, в котором четыре ансамбля, разбросанные на десятки метров друг от друга, подчинились одной палочке дирижера, я слушал в Риме в 1992 г. И дело только за палочкой дирижера, за прислушиванием всех культурных миров к единству Святого Духа.

В этом направлении действовали зачинатели диалога вероисповеданий, начатого II Ватиканским собором, — Томас Мертон, Джон Мейн, Д.Судзуки, Далай Лама XIV и другие. За поверхностным противостоянием Запад—Восток, Север—Юг стоит тенденция техногенной цивилизации покорить себе весь мир и разрушить его, а в борьбе с этим — силы, пока разбросанные, но способные соединиться. Пафос этого противостояния лучше всего выразил Рильке:

Древнюю дружбу богов — этих великих, незримо и
ненавязчиво сущих (мы их не слышим в азарте гонки, в
гуденье машин)... Что ж, их отринуть должны мы, или начать
вдруг искать их поселения на карте?

Властные эти друзья, те, что в безмолвные дали мертвых
берут, никогда не обнажат свои лики.
Наши купальни, кафе, игрища наши и крики их оглушили. Мы
так давно обогнали

медлящих проводников в вечность, и так одиноки рядом друг
с другом, друг друга не зная.
Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки дивным меандром.
Он — краткость, прямая.
Так лишь машины вершат взлет свой искусственнокрылый. Мы ж,
как пловцы среди волн, тратим последние силы.

(Сонет к Орфею, ч. I, 24) (Перевод З. Миркиной.)

Спешкой задушены,
Вздыблены, взвихрены...
О, если б стихли мы!
О, если б слушали!

Нет, не шумихою Мутною, пенною, —
Музыкой тихою Выходит Нетленное.

О, не теряйте сил!
Что вам угар побед?
Мальчики, мир глубок!

Крылья покой раскрыл:
Ночь и внутри — рассвет Книга и в ней — цветок.
(Сонет к Орфею, ч. II, 22) (Перевод З. Миркиной.)

Одна из особенностей великих культурных миров — способность к историческому повороту, переходу от расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного центра и покаянию за отрыв от него. Соединенные Штаты пережили несколько движений аутсайдеров: волну, вызванную уходом Томаса Мертона в монастырь, дзэн, йогу. Но американская культура в целом, начавшаяся с высадки колонистов в Виргинии (XVII в.), не имеет способности к повороту в своей исторической памяти. Она очень односторонне воплощает дух Нового времени, дух Просвещения, и поэтому я жду конца американского века. Последний подвиг Америки — укрощение тоталитаризма. Лидерами станут страны, которые лучше других сумеют создать новый стиль жизни, включить паузу созерцания в череду дел, избавиться от *лихорадки* деятельности, от «блуда труда, который у нас в крови» (Мандельштам). Пионерами могут быть и большие и маленькие страны, сильные и слабые. Мы не знаем, кто вырвется вперед. Но начинать должны все.

Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки нового быстрее взрослых. Я вспоминаю слова девочки четырех лет: «Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья». И слова другой девочки, в детском саду, после разговора о Боге: «Это как чувствовать маму с закрытыми глазами». С самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую дает созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой.

Если мы будем просто звать людей ограничить свои потребности, ничего не выйдет, кроме раздора. Петр кивнет на Ивана, Европа на Америку, Азия на Европу. Поворот может дать только открытие ценности созерцания, паузы созерцания в делах, в диалогах и дискуссиях, в развитии мысли, в сближении влюбленных. Когда Моцарта спросили, что всего важнее в его музыке, он ответил: паузы! Паузы, в которых он слышал — мы услышим, если вслушаемся, —

божественное дыхание.

Школа не может отвлечься от сегодняшнего дня, не может не готовить программистов, юристов, менеджеров. Но сегодняшний день скоротечен, и течение несет его к смерти. Слово «кала» на санскрите — омоним: и время, и смерть. Культура, не нашедшая опоры в вечном, падет под напором перемен.

Школы могут и должны учить паузе созерцания: через искусство, через литературу. Со временем — используя телевидение, если оно повернется к величайшей проблеме века. А пока — используя медитативную лирику, медитативную прозу. И от случая к случаю включая радиостанцию «Орфей».

Глас вопиющего в пустыне

Особенность современного кризиса в том, что в центре перемен, на Западе, достигнута относительная стабильность. Психологическая напряженность вместе с грязными производствами вывозится на периферию. И возникает впечатление, что если африканцы научатся жить на американский лад, то всем будет хорошо. Между тем, если уровень потребления США станет глобальным, мы сразу пожрем биосферу и выйдем. Избежать этого можно разве только повернув (как писал Чеслав Милош) от стремления «вперед» к стремлению «ввысь», к движению по лестнице духовного роста, при стабилизации внешнего роста и постоянном усилии очеловечивать народившихся детей, не давая им сложиться в массу недоразвитков. Это немного напоминает переход от развития ребенка, накапливающего силу мышц и запасы знаний, к духовной жизни взрослого. Но человечество не обладает единой волей, нужна солидарность. А без общего неба не выходит земной солидарности. Убедить 6 200 000 000 людей по доброй воле умерить свои аппетиты и искать радость в созерцании — задача, которая кажется невыполнимой. Разве Бог поможет.

Одним нужно развитие экономики, чтобы не умереть с голоду, другим — чтобы ежегодно покупать новую автомашину. Одни хлопчут о планировании рождаемости, другие видят в этом кощунство. Одни говорят о глобализации, другие отчаянно противятся ей и готовы весь свет погубить, только бы пить свой собственный чай. Хаос национальных и религиозных идей не обещает ничего доброго, многие в России ждут катастрофы и читают Откровение Иоанна Богослова как прогноз погоды на ближайший месяц. События легко подводятся под туманные образы Апокалипсиса. Например, Чернобыль — звезда Полярный, павшая на источники вод. Фраза «Времени больше не будет» воспринимается как простое и понятное обещание. Хотя пророческие угрозы — только предупреждения (если не покаетесь), а обещания направлены внутрь, в царствие, которое внутри нас, и просто не могут быть реализованы вовне. 2000 лет тому назад люди не понимали, что

время, пространство и материя нераздельны. Нельзя вытащить из связи время, оставив остальное нетронутым. Если не будет времени — не станет и пространства, не станет материи. И мы войдем в совершенно иное. Мистики называют это «вечным теперь». Они пережили то, о чем говорили, но только лично, внутренне, не как событие перед глазами. Пространство, застывшее в остановленном времени, — это икона, «неподвижный образ незыблемой вечности» (так или примерно так выразился о византийской иконе Р.О.Блайс). Но символ нельзя толковать как факт. Опыт мистика Иоанна обещает другим мистикам пережить то, что он пережил, и он не лгал, многие мистики после него пережили «вечное теперь». Но это не путь, по которому могут пойти народы. Как образ народного спасения — это миф. И образ гневного Бога, пославшего ангела свернуть небо, как свиток, — тоже миф.

Реально другое: возможность гибели человечества на земле. Не по воле Бога, а по собственной дурной воле, по несогласованности миллиардов волей. И как ни странно то, что я скажу, — сам Бог не в силах предотвратить катастрофу. Ибо существует свобода воли. Бог входит только в душу, открывшую Ему двери. Бог сможет преодолеть раздор только вместе с нами. Бог может спасти человечество только вместе с нами, а не без нас. Никакие ангелы без нас Ему не помогут. И гибель цивилизации вполне вероятна. Но я не вижу здесь неизбежности.

Неизбежность — довольно редкая вещь в истории. Становление жизни, становление человека, развитие цивилизации идет через ряд маловероятных поворотов. Как будто Бог имеет свой план и присоединяется к маловероятному, дает ему силу, и с Богом оно побеждает. В роковом стечении обстоятельств всегда почти есть щелочка для свободы воли, вдохновленной Богом. Даже Ставрогин имел шанс спастись, если покается; и наша цивилизация не хуже этого героя Достоевского. В другой книге, у Зинаиды Миркиной, один из персонажей говорит Христу, что у меня на роду, мол, написано... А Христос отвечает: написано на плоти, дух свободен. Что-то в этом роде неоднократно показывают и история, и искусство. В преступлении Раскольникова чувствуются и инерция помысла, и прорывы сквозь инерцию, мгновения свободы. Искушение и благодать накатывают волнами, и у каждой волны есть свой гребень и свой спад. Когда светлая волна спадает, может победить волна тьмы, хотя сама по себе она не сильнее. Впрочем, слова «свет» и «тьма» условны, и дальше я воспользуюсь другими символами: море и пруд.

Душу можно вообразить себе заливом, куда забегают большие океанские волны; но иногда ум создает перемычку, обособляется, и тогда душа превращается в пруд. Застойную воду шевелит любой комок грязи, шлепнувшийся в нее. В прудовом и болотном царстве правит всякая дрянь. Она прячется в уголках памяти и дремлет, пока какой-то случай, какая-то ассоциация позволит зацепиться и как бы с

черного хода, прячась за любую спину, проникнуть во внутренние покои и рассестись на авансцене сознания. Раскольников услышал, что в 7 вечера старуха будет одна, и заработали механизм идеи, инерция искушения, помысел теоретика: поставить эксперимент.

Если душа — залив, единый с морем, океаном, то движение, вызванное камешком идеи, ничтожно и будет смыто большой морской волной. Но душа, оторвавшаяся от бесконечности, ставшая крошечным прудовым мирком, удерживается от искушения только инерцией нравственных привычек. Без жестко воспитанных привычек человек легко покоряется разным фантазиям, идеям, носящимся в воздухе, и, наконец, — духу превратности. В нас есть какой-то дух разрушения и саморазрушения, и если душа не заполнена чем-то лучшим, он может стать хозяином.

Достоевский изображает не дисциплинированных немцев, а фантазирующих русских, доступных всем неожиданным идеям. Подхваченный лучом закатного огня, Раскольников чувствует всё ничтожество своей идеи и с отвращением отбрасывает ее. Но потом большая волна спадает. У всякой волны есть подъемы и спады. В полосе спада залив превращается в пруд, и Раскольников, или Аркадий Долгорукий, или Иван Карамазов способны поддаться самым подлым искушениям. Стойкость души требует способности держаться добра не только под лучом закатного огня, но и во тьме, в богооставленности, сохранять *память* большой океанической волны, смывающей прудовую грязь, сохранять ценностей незыблемую скалу, на которой идеи-искусительницы сразу ставятся на свое место. Раскольников понял это только тогда, когда идея захлебнулась в луже крови. Но опыт Раскольникова очень трудно передать миллионам людей; и сегодня они снова благословляют сталинский топор. Инерция тьмы в их душах так велика, что кажется непреодолимой. А тут еще приходит мысль о космических силах распада, безгранично более сильных, чем человек, — и добрые люди опускают руки, не верят в свои силы.

Однако мир существует вопреки законам термодинамики, вопреки разбегающимся галактикам. Бог вновь и вновь связывает рассыпающийся мир. Мир не был сотворен единожды. Мир вечно творится.

Мне нравится метафора Гераклита: мир — вечно живой огонь. Но этот огонь не горит сам по себе, без высшей воли. Греки хорошо представляли себе то, что можно увидеть или представить себе увиденным. А по ту сторону пространства и времени, поту сторону царства Хроноса они не заглядывали. И не угадывали вечного возрождения вечно рушащегося мира плоти, вечного творения из ничего.

К этому незримому прислушивались евреи и расслышали «да будет!» — но поняли это как единичный акт, или, вернее, шесть единичных актов, после которых Бог присел отдохнуть, словно

плотник или каменотес. В чем-то правы греки: вечность не имеет начала и конца. В чем-то правы евреи: мир времени, пространства и материи вечно творится заново. С вечной паузой созерцания, с вечной субботой, с вечным возвратом к молчанию, из которого родится слово.

Образы, созданные древними евреями, иногда нелепы физически — Иисус Навин не мог остановить солнце; иногда они нелепы этически и до сих пор вызывают возмущение (например, Книга Иова у Юнга: как оправдать Бога, отдавшего праведника в руки сатане?). Но за метафорами открываются глубины, в которые греки не заглянули. И каждое время вынуждено искать новые толкования библейских и евангельских легенд. Этот процесс виден и в самой Библии. Исайя иначе понимает Бога, чем Моисей, и невозможно представить себе Книгу Иова во времена Давида и Соломона. Бог не менялся, но переживания Божьего света в груди у разных духовидцев разное и рождающее разные слова. Если мерить по вершинам, то духовидение становится глубже, тоньше. Но что-то и теряется.

Быть может, иногда мешает ум, от века до века более сложный; целостность Бога доступнее простоте. Позднейшие откровения приобретают характер толкования первичных образов, первичных заповедей. Но поток откровения не иссяк не только в конце I в., но и в конце XX в. В мире ислама откровение приходило к суфиям, в западном христианстве — к Экхарту, Рейсбруку, Иоанну от Креста, Ангелусу Силезиусу, Рильке. Я нахожу молнии откровения у Силуана Афонского, у Антония Блума и Томаса Мертон. Участие Святого Духа в природе и культуре никогда не кончалось, хотя бы в форме вестничества (как это назвал Андреев) — сквозь вдохновение поэтов, художников, музыкантов. И в человеческой истории непрерывно происходят чудеса. Здесь многое легче сказать стихами, чем прозой:

Мир только чудом не исчез.
Удерживает мирозданье
Невидимый противовес,
Немое противостоянье Души с ее
крылатым «нет»
Растущей тяжести в ответ.
Души, поставившей предел
Могуществу и власти тел,
Предел всем волнам и ветрам,
Души, противящейся нам¹².

Тема эта все время была с нами в Коктебеле, и там было написано еще несколько стихотворений — о том же. Вот первое из них:

¹² Здесь и далее стихи Зинаиды Миркиной.

Творецдохнул, и мир возник.
Вздох Бога — эта высь.
Жизнь вечная есть каждый миг
Творящаяся жизнь.
Нет акту творчества конца.
Огонь в недрах не потух.
Во мне — дыхание Творца,
Животворящий Дух.
И как бы ни текли года,
Не утечет простор.
Творится жизнь во всем, всегда.
Всему наперекор.

Поток творчества выправляет не только мир — он выправляет душу. Надо только целиком отдаться созерцанию божественной цельности, как Иов в конце книги, когда Бог открылся ему:

Я не знаю, кто в мире смог Оправдать
этот смерч бесцельный.
Я не знаю, что значит Бог —
Тот, другой, от меня отдельный.
Есть ли мера у бытия,
Что *до* жизни и что *за* гробом?
Но в моем бесконечном «я»
Ни отчаяния нет, ни злобы.
Если чаша души тиха,
Если в ней — средоточье света,
Если нету во мне греха,
Для отчаянья места нету.
Если сердце вопрос прожест О
причинах смертей бесцельных,
Если стал бесконечный Бог Тем,
другим — от меня отдельным;
Если душу на части рвут,
Если больше души тревога, —
Значит, надо вернуться внутрь,
Значит, я отошла от Бога.
Дай мне жар Твоего огня! —
Я Тебе до конца открыта.
Святой Отче, прости меня Вот за то
лишь, что мы не слиты До конца.

Я иногда думаю, что только человеческая свобода есть почва, в которой Бог может раскрыться в своей второй ипостаси и повести за собой. И только совокупность святых создает полноту Божьего бытия и гармонию вселенной. Может быть, именно это угадывал Шефлер

(Ангелус Силезиус) в своем дерзком двустишии: «Я без Тебя ничто, но что Ты без меня?» Пока люди не впускают в себя Бога, Бог, чуждый человеку, не определяет человеческого бытия, не царит в истории, в культуре.

Как давно мир Божий болен?
О, когда впервые Сила вырвалась на
волю,
Власть взяла стихия?

Кто на сей вопрос ответит?
Кто нам точно скажет,
Сколько дней, часов, столетий Князь
бездущный княжит?
Но не он хозяин всходов —
А взрастивший семя.
Все бесчисленные годы —
Это только время.

То, что канет, то, что кружит, —
Рушит, а не лечит.
И оно всегда снаружи,
А внутри нас — вечность.

Не единой силой живы — Тайною
великой.
Есть в глубинах молчаливый
Внутренний владыка.

Мир принадлежит по праву Не
стихии — Духу.
Бог есть космос, а не хаос, Строй, а
не разруха.

Длится каждое мгновенье Клич в
Господнем стане — Бьется сила
разрушенья С силой созиданья.

Кто Творцу на самом деле Вышел на
подмогу?
Мы пожертвовать сумели Не
собой, а Богом.

И останется навеки В небеса
впечатан Бог, распятый в человеке,

Бог, людьми распятый.

Но вершится неизменно Тайная
молитва —
Нас зовет Творец вселенной На
немую битву.

Адский грохот бьет и глушит Голос
Божьей шири:
Строй и космос в ваших душах —
Строй и космос в мире.

Чтобы Бог помог людям, нужно согласие людей помогать Богу. Пусть согласные составляют ничтожное меньшинство. Но всё в истории начиналось с нескольких людей и даже с одного человека, решившего, что он и Бог — это уже большинство.

Нужно меньшинство, которое учится молитве и учится созерцанию, смыванию мусора, нанесенного в души суетой жизни и болтовней ума, смыванию мусора волнами света, волнами моря, волнами холмов и гор, древесных крон под ветром, волнами стихов, музыки, волнами форм и красок, созданных искусством. Мусор, занесенный в душу, совсем не безобиден, я уже говорил, за него цепляется дух превратности, он прячется в углах сознания и пользуется всякой минутой духовной вялости, прудовой замкнутости, чтобы вылезть и попытаться овладеть нами. Всякое погружение в мир бездушных частных дел, даже для очень важных дел, опасно, чревато грехом, дает всплыть грубым и тонким соблазнам и без противовеса в молитве и созерцании, от которых мы отвыкли, искажает дух. Между тем современную цивилизацию невозможно представить себе без *нарастающего* погружения в бесчисленные сложности бесчисленных наук и технических устройств. И восстановление духовной целостности человека становится всё более трудной задачей. Чтобы решить ее, нужно великое согласие. И в следующий раз мы поговорим о том, что делается во всем мире ради этого согласия.

Солидарность ради спасения
То, о чем я хочу сказать, Михаил Михайлов назвал планетарным сознанием. И я начну со странички из интервью, которое он дал Ирине Дорониной («Дружба народов», 2000, № 2):

И.Д.: Создается впечатление, что человечество стремительно катится к всемирной катастрофе. Видите ли Вы хоть какую-то обнадеживающую перспективу?

М.М.: Я вижу ее только в религиозном возрождении. Понимаю, что для современного человека, уверенного, что он — лишь былинка, полностью находящаяся во власти физических, биологических, психических и социальных законов, такое заявление звучит диковато, но язык нового религиозного сознания, которое я называю «планетарным», почти не имеет отношения к языку церковному. Когда меня спрашивают, верую ли я в Бога, я отвечаю: объясните мне сначала, что вы подразумеваете под словами «Бог» и «веровать». Исходя из этимологии слова «религия» (по-латыни «связь»), я имею в виду связь внутреннего мира личности и мира внешнего. Космоса. Она не имеет ничего общего с тем механическим влиянием внутреннего мира человека на события его жизни, какое устанавливает психоанализ, не только по Фрейду, но и по Юнгу. Напротив, новое сознание предполагает необъяснимую, но вполне реальную зависимость самой жизни, истории от внутреннего мира человека. Если человек смотрит на мир не как на живое целое, таинственным образом связанное с душой каждого, а как всего лишь на внешний объект, то объектами постепенно становятся и люди с их страданиями, даже ближние, и в конце концов человек остается совершенно один в Космосе-объекте. И тогда страдание, вызванное одиночеством, открывает дорогу к религиозному возрождению, мир снова превращается в живое целое, за судьбу которого каждый человек несет полную ответственность. Душа выходит из одиночной камеры на свободу.

И.Д.: К слову, в заключительной части своей работы «Возвращение Великого Инквизитора» Вы пишете: «Родина человека — это свобода, а не географическая, государственная или национальная принадлежность». Следовательно, под свободой Вы понимаете не свободу в политическом, экономическом и даже физическом смысле?

М.М.: За историю человечества вопрос о том, что есть истинная свобода, обсуждался столько, сколько, пожалуй, не обсуждался ни один другой. Обычно под свободой подразумевают свободу слова, волеизъявления, совести и т. п. Тем не менее взгляните: на Западе все эти свободы существуют довольно давно, но сколько же там внутренне несвободных людей, несвободных от собственных пристрастий — к наркотикам, к наживе, к власти... И в то же время даже в условиях тоталитарных режимов, даже в лагерях существовали люди, которые были внутренне свободны.

И.Д.: Да, мы много читали об этом и у Солженицына в «Архипелаге», и у Синявского в «Голосе из хора», Вы, вероятно, poznali это на собственном опыте. Но есть ведь и другой опыт, о котором писал Шаламов, — страдание может ожесточать.

М.М.: Да, необходимое условие состоит здесь в том, чтобы в страдании человек обратил взор на себя и осознал, что страдание

дано ему в наказание — не назначенное по суду, а в наказание за собственное неумение, следуя внутреннему голосу, открыть для себя путь к истинной свободе личности.

И.Д.: Если я правильно поняла, Вы говорите о новой, глобальной религии?

М.М.: Именно. Об абсолютном начале, которое должно быть явлено человечеству как религия личности и свободы. И в ее основе будет лежать способность человека следовать собственному внутреннему голосу, что требует невероятных духовных усилий. Когда Линкольна, каждый день уединявшегося на несколько часов для молитвы, спросили, молится ли он о том, чтобы Бог был на его стороне в Гражданской войне, он ответил: «Ни в коем случае! Я молюсь о том, чтобы мне достало сил оставаться на Его стороне». Вот эта духовная сила и открывает путь к истинной свободе личности, которая каким-то мистическим образом приводит порой и к внешней свободе, и к физическому спасению, и к осознанию связи между внутренним и внешним. Эта связь недоказуема, но существует. И когда достаточно много людей это поймут, появятся основания для религиозного возрождения.

Мы много раз сходились с Михаилом Николаевичем во взглядах, начиная с 60-х годов, и я рад, что и сейчас мы не разошлись. Однако кое в чем я иначе смотрю на вещи. Я не думаю, что возможна единая религия для индийской, китайской, мусульманской и христианской цивилизаций. Разве только каждая из них перестанет быть самой собой, как это случилось с Древней Грецией и Древним Римом. Такой поворот в ближайшие века немыслим. Между тем, движение к катастрофе идет быстрее. И я просто не могу представить себе религию, которая отодвинет христианство или буддизм так, как христианство отодвинуло племенные культы. Я долго вживался в символику великих религий и в каждой из них почувствовал великую бездну, способную уравновесить дырявый мешок пространства, времени и материи. В этой предельной глубине, по-моему, и корениться «планетарное» духовное единство: в сознании, что глубина каждой великой религии ближе к глубине другой религии, чем к собственной поверхности. На этой глубине, постижимой только в молчании, за уровнем слов, возможно согласие созерцателей глубины. И диалог созерцателей может стать согласным хором. А к этому хору постепенно могут примкнуть и другие, подталкиваемые необходимостью.

Еще в XIX в. Рамакришна созерцал внутреннее единство Будды, Христа, Мохаммеда, Джины и, по-моему, правильно установил уровни, на которых они стоят. Впрочем, иерархия — опасная тема, и лучше оставить ее личному духовному опыту. Сегодня важно другое: внутреннее единство разных образов высшей святости. В Индии это

сознается со времен Вед: «Одну и ту же птицу мудрецы называли разными именами...» Западный ум, опирающийся на логику Аристотеля, с трудом усваивает чувство и понимание недвойственности. Однако II Ватиканский собор все же перешел к диалогу, то есть к сознанию, что католицизм обязан не только учить, но и учиться. И есть признаки, что элементы восточной философии начинают входить в католическое богословие так же, как некогда во вселенское христианство вошли элементы платонизма. Так, в справочном аппарате к книге «Доброе сердце», о которой я еще буду говорить, есть определение вечной жизни, основанное на принципе недвойственности: «По христианскому учению, вечная жизнь — не бесконечное и утомительное прохождение времени; напротив, это безвременное теперь, предшествовавшее сотворению всякой двойственности, даже двойственности начала и конца». За этими несколькими словами стоит сплав опыта мистиков Запада (вечное теперь) и философии Востока.

Опорой диалога религий может быть и тринитарное мышление, развитое византийцами. Если человек и Бог могут быть слиты «неслиянно и нераздельно», то почему нельзя помыслить себе «неслиянное и нераздельное единство» великих религий? Если все они помечены печатью Святого Духа? Дело только за тем, чтобы признать реальность этой печати. И она начинает сознаваться великими созерцателями нашего времени.

Трудности возникают, как только мы попытаемся перенести опыт встречи созерцателей вширь, в массы священнослужителей и верующих. Наступление техногенной реальности может давать парадоксальные результаты. Человек массы, ставший мерой всех вещей, делает своей мерой удовольствие. И тогда рушатся все высшие ценности: молитва иногда приятна, но секс приятнее, а наркотик дает еще более острое наслаждение. Как реакция укрепляются фундаментализм, религия запретов, основанных на букве Писания. Каждый фундаменталист отстаивает свою букву, и арабский фундаментализм несовместим с иудейским (мы это видим в Израиле). Ото всего этого хаос только возрастает. С другой стороны, атеист Мелихов восстает против «мастурбационной цивилизации», исходя из чувства человеческого достоинства, и ищет путей к спасению человечества. Этого достаточно для плодотворного диалога. Можно объединить все противотечения, которые рождает духовный распад мира.

Одно из таких противотечений — чувство ритма истории, чувство назревшего поворота, назревшей переоценки ценностей. Развитие техногенного мира долгое время было условием духовного роста. Города, а не деревни, создали великие цивилизации. И техника, позволив сократить рабочий день, на первых порах освободила человека для всестороннего развития. Маркс отчасти был прав,

рассчитывая на это. Но он не учел негативных последствий углубления в технические проблемы. Освободились руки, но закабален был ум, и чем дальше, тем больше. Сегодня дело дошло до того, что техногенный мир, разрастаясь, угрожает самому существованию биосферы. Можно создать роботов, которые будут управлять машинами без кислорода воздуха и без людей, но перспектива такого технического прогресса сравнима с диагнозом прогрессивного паралича.

Приходится вспомнить, что есть разные степени свободы — не только вширь, но и ввысь, не только «вперед, к новым землям!», «вперед, к новым завоеваниям техники!» — но и «ввысь, к новым ступеням духовного роста». Лестница вверх ограничена справа и слева. Поворот к медленному созерцанию требует пространственного самоограничения. Знаковая фигура этого поворота — Томас Мертон, назвавший траппистский монастырь «четырьмя стенами своей свободы». Без ограничения роста техногенного мира, без охраны условий для созерцания нельзя перейти к цивилизации духовного роста — к тому, что отличает совершеннолетнего от подростка. Это общая задача всех стран. Это важнейшее условие сохранения жизни на Земле.

Наступил час переоценки ценностей. В западной цивилизации господствует пафос достижений, пафос игры на выигрыш. Этот пафос захватил и нашу страну. Г-н Березовский открыл его заново и в каком-то порыве самопознания озвучил его в эфире. Он, кажется, не читал Макклелланда и не знал, что теория достижений давно выстроена. Современный капиталист — не Скупой Мольера или Пушкина, ему неинтересно копить деньги в сундуках. Он может и не прикасаться к деньгам и жить скромно. Цифры с большими нулями — счет очков в его игре. Но для души бизнес так же разрушителен, как рулетка. И возрождение души требует восстановления ценностной вертикали, поворота «сердца горе». Хотя совершенно не обязательно, чтобы каждый дошел до самого верха, до встречи с Богом. Достаточно стремления и доверия к тем, кто дошел.

Чеслав Милош, у которого я заимствую образы «вперед» и «вверх», говорил о подмене истинного «*вверх*» ложным «*вперед*». Я думаю скорее о ритмической смене ценностных ориентаций. Чистого порыва вверх ни у какой цивилизации не было, это и в Средние века было достоянием одних монахов. Пожалуй, строго «вертикальной» была разве цивилизация Древнего Египта. Египтяне строили пирамиды и совершенно не старались расширить свое культурное пространство. Но соседи оказались более динамичными. Началась игра имперских сил. Египет в нее втянулся, проиграл и оказался провинцией — персидской, эллинистической, римской. Установился римский мир. Но пафос расширения его иссяк. Не хватало сил даже для защиты размахнувшихся границ. Дела шли худо. И победила

религия, родившаяся в презренной Иудее; она осмыслила внешне неподвижную жизнь, создала внутреннее пространство храма и увлекла поисками царствия, которое внутри нас. На этой вере держалось единое для Средиземноморья небо.

После этого около тысячи лет излишняя любознательность считалась похотью. Данте встретил Одиссея в преисподней. По византийской кормчей книге за путешествия в чужие земли полагалось проклятие. Индеец, выехавший за рубеж, терял касту. Китайцы просто презирали варваров и не верили, что у них можно чему-то научиться. Особняком стоял ислам. Правда, беда (новшество) так же пугало правоверных, как ересь (выбор). Но расширение границ оправдывалось распространением веры, а международная торговля была освящена примером Мохаммеда. Контакт с исламом был одним из факторов, будораживших Европу. Вторжение мавров в Испанию вызвало Реконкисту, продолжением Реконкисты стал прыжок в Атлантику. И тут вырвалась в пространство динамика, накопленная в вольных городах. Началось Новое время.

Героями снова стали Одиссеи, открыватели новых земель, и Прометеи, изобретатели машин. Они создали глобальную цивилизацию — с небом, по-прежнему разорванным на куски: христианским, мусульманским и т. п. Они создали техногенный мир, теснящий и разрушающий биосферу. Те, кто созерцает этот процесс как великое целое, не запутываясь в мелочах, вступают в ряды солидарных в борьбе за жизнь как историки, как экологи, попросту люди с широким взглядом на вещи. Читатели научной фантастики могут мечтать о завоевании космоса. Но пока кроме Земли у нас ничего нет. И на Земле нет никакой другой альтернативы гибели, кроме нового поворота к царствию внутри нас. Без этого призывы к солидарности столкнутся с личным и национальным эгоизмом и люди задохнутся, грызясь друг с другом за последний глоток воздуха.

Пару лет тому назад мне пришлось участвовать на конференции круглого стола «Этос глобального мира». Вел его Михаил Сергеевич Горбачёв. Как политик, он понимал необходимость единых нравственных норм для всех режимов и стран. Но профессора, собравшиеся в Горбачёв-фонде, с ним не согласились. Они согласились с дьяконом Андреем Кураевым, что нравственность связана с религией, а религии несовместимы. Я в одиночестве защищал противоположный тезис: религии несовместимы на уровне буквы; дух, царствующий в глубине, — един. В поисках авторитетов я сослался на Далай Ламу. В 1996 г. в Швейцарии, на юбилее Общества морального перевооружения, его спросили, в чем особенности ламаизма. Он ответил: «Главное — любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские, — дело второстепенное». Профессор Шохин (не политик, а философ) уверенно оборвал меня: «Ну, это демагогия». Я промолчал. Против презумпции

неискренности, игры на публику трудно бороться. Нам слишком много лгут. Однако постепенно у меня накопились факты для ответа. В книге Томаса Мертона «Мистики и дзэнцы» можно прочесть: «Я могу сказать, что для Дайзетцу Судзуки, бесспорно, самого авторитетного и законченного истолкователя традиции Риндзай (последователей старца Линь-цзи. — Г.П.), „самое важное — это любовь“. Это он мне высказал в доверительном общении (in a personal conversation), и я почувствовал, что так он подвел итог всему, что когда-либо писал, пережил или говорил» («Mistiks and Zen masters», N.Y., 1999, p. 41).

Свидетельство Мертона много стоит. Не знаю, попадались ли читателю его странички о созерцании, напечатанные в «Вестнике РХД» довольно давно, возможно, вскоре после смерти Мертона в 1968 г. Мне этот отрывок сразу дал масштаб, с которым я сопоставил свой собственный скромный опыт, и я безусловно доверяю интуиции одного из величайших созерцателей XX в. Беседа с Судзуки произвела на него огромное впечатление; я слышу отзвуки ее в двух других местах книги: «Что-то проясняет до ошеломления, когда говоришь с японским буддистом дзэн (отвергающим всякую букву буддизма во имя духа. — Г.П.) и находишь, что между вами больше общего, нежели с теми соотечественниками, которые мало заботятся о религии или проявляют интерес только к внешней ее стороне» (с. 209). И еще: «Хотя существуют многие важные различия между традициями, у них есть и много общего, включая некоторые основные черты, которые отделяют монаха и дзэнца от людей, предающихся жизни, которую я назвал бы агрессивно не-созерцательной» (с. VII). Говоря о монахе, траппист Мертон имел в виду, прежде всего, себя самого.

Я получил книгу Мертона в руки 21 мая 2000 г., в первый же день, проведенный в Осло, а 23 мая присутствовал на встрече Далай-ламы с норвежцами. Первыми на эстраду вышли старейший местный философ Арне Несс, Эрик Даманн, основатель общества «Будущее в наших руках», и епископ Розмари Кён. Госпожа епископ держалась очень просто и улыбнулась пятитысячной аудитории, как при встрече со знакомым на улице. У мужчин были более собранные лица, выражавшие готовность что-то сказать (они действительно воспользовались правом одного вопроса, чтобы излагать свои взгляды). А Далай-Лама, вышедший из противоположной кулисы, был более чем прост. Он всем собой взламывал торжественность встречи.

В Швейцарии в 1996 г. его, видимо, сковывала обстановка юбилея. В Норвегии он чувствовал себя по-домашнему, в одном из убежищ тибетской диаспоры, рассыпанных по всему свету. Его поведение было совершенно свободным от сознания своего сана. Так мог держаться дзэнский наставник Иккью, называвший себя

«сыном безумного облака»; анекдоты о нем издавались и переиздавались в Японии с XV в. до наших дней. Не знаю, каким был Далай-Лама в Тибете, с ног до головы опутанный ритуалом. Выбранный для своей роли мальчиком пяти лет, он зависел от конгрегации лам еще больше, чем Президент РФ от кремлевской администрации. Изгнание вытолкнуло его на волю, на перекресток всех восточных и западных духовных течений, и он раскрылся как личность с точкой опоры внутри и необычной свободой вовне, в поведении. То, что он сказал в Швейцарии, было теперь удостоверено каждой улыбкой, каждым жестом. Не было никакой заданности, никакого «чина». В буддизме это ближе всего к дзэн, в православии возможно только у юродивого.

Выходя на эстраду или кончая ответы на вопросы, Далай-Лама соединял ладони в традиционном благословении, но с какой-то улыбкой дзэнца. Ее можно смешать с улыбкой авгура; однако она имеет другой смысл. Это легкая подсказка о ничтожестве всех жестов, о различии между луной и пальцем, указывающим на луну. Дзэнец, в отличие от авгуров постмодернизма, *знает о* реальности луны (примерно как св. Силуан писал: «Я не верю в Бога, я знаю Бога»). И именно поэтому он не боготворит дорожные знаки и указатели.

Лекция Далай-Ламы была посвящена этике III тысячелетия. Основой ее он считал внутреннюю готовность встретить неожиданное и найти непредсказуемый ответ, опираясь на постоянный контакт с вечными началами: любовью, миролюбием и терпимостью. Это несколько напоминает правила дзэнской живописи: рисуй, что хочешь и как хочешь, но в состоянии единства с космосом (без раздвоения на физическое и духовное). Все видимые каноны заменяются канонem внутреннего взрыва творчества. В христианской этике что-то подобное сказал Августин: «Полюби Бога и делай, что хочешь». И о том же — менее парадоксально — говорят две *наибольшие* заповеди Христа (полюби Бога всем сердцем и ближнего — как самого себя). Все остальное в христианстве есть нечто *меньшее*, и если законы сталкиваются с сердцем, повернутым к Богу, Христос пренебрегал законами (и нам повелел быть подобными Ему).

Меня иногда спрашивали о том, как я представляю себе XXI век. Я отвечал, что XXI век, возможно, будет еще более неожиданным для сознания, сложившегося в XX в., чем XX век — для XIX. И то, что говорил Далай-Лама, опираясь на свое понимание буддизма, вытекает также из глубокого понимания нашей христианской или, может быть, постхристианской цивилизации. Напрашивается вопрос о диалоге; он был задан епископом, госпожой Кён, и далай-лама подробно ответил. Мой друг Петер Воге записал ответ на кассету. Вот русский перевод записи:

«Епископ г-жа Розмари Кён: Ваше превосходительство, я недавно читала книгу, которая произвела на меня большое впечатление, — „Доброе сердце“, Ваши заметки о Евангелиях. В Вашей сегодняшней лекции Вы повторили фразу из этой книги: диалог между буддизмом и христианством может быть расширен, и люди могут учиться любить друг друга *благодаря* различиям между ними. Можете ли Вы сейчас раскрыть возможности диалога между буддизмом и христианством?

Далай-Лама: Как я уже сказал раньше, все великие религии имеют одинаковый потенциал и одинаковую цель, несмотря на то, что между ними существуют конфликты и разногласия, даже серьезные разногласия. Но то, что существуют разные религии, очень важно — разные религии делают возможным видеть индивидуальные особенности жизни; эти особенности и различия так же важны, как общая цель всех религий. Как я уже упомянул, одна и та же религия для всего мира немыслима и нежелательна. И хотя у всех религий одни возможности, ни одна из них не способна стать единственной мировой религией — религии нуждаются друг в друге.

Это означает, что надо учиться понимать верования друг друга. И чтобы добиться этого, я думаю, мы, прежде всего, должны иметь мужество признать различия, увидеть различия и даже противоречия между религиями. Мы должны осознать, что у каждой религии свой характер, что она отличается от других.

Однако различия существуют только на одном уровне, это так же важно. Если мы посмотрим на цели и на то, что у всех религий — общее, мы скоро поймем, что эти общие черты гораздо важнее, чем различия, и что эти общие характеристики существуют на более высоком уровне. Терпимость, мир, любовь — вот общие черты всех религий.

Итак, чтобы вести плодотворный диалог между буддизмом и христианством или между любыми другими религиями, надо, прежде всего, попытаться реализовать те качества, о которых все религии говорят и которых добиваются от нас. Другими словами, мы должны стать терпимыми, миролюбивыми, любящими. Мы должны понять, когда религия нужна, и попытаться в таких случаях быть тем, что религия от нас требует. И тогда мы увидим, что религия проверяется не в церкви. Там мы сидим с закрытыми глазами, мирно, спокойно, ничто нас не возмущает — и мы становимся терпимыми, любящими и миролюбивыми без помощи религии, да, — это даже совсем не трудно быть (в церкви. — Г.П.) любящими и терпимыми.

Другое дело — вне церкви, когда мы живем своей обычной жизнью и нас оскорбляют, задирают, когда я думаю, что со мной несправедливо поступили, возмущаюсь чем-то, когда мы

сталкиваемся с трудной проблемой и захвачены негативными эмоциями — вот когда нужна религия! Нам нужна религия в бизнесе, в повседневной жизни, когда нас надувают и мы испытываем искушение негативной реакции. И так же — это очень важно — когда мы сталкиваемся с людьми другой веры.

Вот когда надо напоминать себе: „Я христианин, я буддист, я индуист“. Не для того, чтобы подчеркнуть различие между собой и другими, но чтобы напомнить себе, что религия от меня требует, вспомнить, что надо быть терпимым, действительно встретить и понять другого и его или ее религию.

Поэтому я думаю, что прежде всего надо жить в духе своей религии и через этот опыт приобрести способность понимать религию другого. Тогда мы будем не только видеть различия, мы научимся почитать верования другого, научимся почитать и то, что различно, и то, что сходно».

(Здесь мне хочется, перебив текст, вспомнить слова св. Силуана: «Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, — не христианин». Теперь продолжим.)

«Очень важно быть терпимым. Терпимости учат все религии. Очень важно встречаться с исповедниками других религий как с соседями, понимать и почитать сходства и различия их вер. Важны также встречи на более академическом уровне, обсуждение сходств и различий. Это второй шаг: познавать традиции друг друга. Открытость другим традициям очень плодотворна. Для меня всегда были важны встречи с христианами, укорененными в практике своей веры, со священниками и епископами. Это давало случай почитать их традиции, и понимание их религии помогало углубиться в свою собственную...

Третий шаг — общее паломничество, путешествие по святым местам других религий, не туристами, а паломниками. Я побывал в Иерусалиме не как посетитель или турист, но как паломник. И я участвовал в семинаре имени Джона Мейна, где более ста христиан и нехристиан вместе жили, читали, погружались в молчаливую медитацию. Два года спустя мы вместе направились в Индию и произошло событие, которое я считаю историческим: впервые христианские священники сидели в медитации под деревом Бодхи (где Будда испытал просветление. — Г.П.). Я думаю, что можно получить огромное вдохновение от таких святых мест чужих религий.

Четвертый шаг — устраивать встречи между главами общин и представителями священства разных религий, чтобы они могли постигать чужие традиции, и не только изучать их — они должны пытаться войти в них с искренним благоговением. В семинаре Джона Мейна я пережил великий опыт. Я должен был не только прочесть отрывок Евангелия, но толковать его и обратиться к

другим с речью, основанной на прочитанном.

Как буддист я, разумеется, не верю в Бога, в Творца, но когда я читал Евангелие и должен был объяснить то, что прочел, я говорил, что Творца невозможно отрицать: взгляните вокруг — разве не ясно, что все эти вещи и все эти силы должны иметь начало! Это было моим скромным даром христианским братьям и сестрам».

Последние фразы могут смутить, показаться скептическими, безразличными. На самом деле, это слова мистика, для которого молчание — отец слова и слово «Бог» — только одно из названий внутренней бездны, уравнивающей бездну внешнюю. Там, где верующий христианин или мусульманин скажет «Бог», буддист говорит «неставшее, нерожденное, несотворенное». Мартина Бубера это различие в словах не обмануло, и он признал слова «неставшее, нерожденное, несотворенное» одним из имен Бога. Я думаю, с этим согласился бы и Мейстер Экхарт. У него в проповеди есть загадочная фраза: «И Бог преходит». Я думаю, что Экхарт в умозрении, в мистическом опыте, в молитвенном опыте мог обращаться к божественному, к глубине священного не со словами «Бог», «Господь», а с молчанием или знаком молчания перед непостижимым. Судзуки в своей статье «Мистицизм христианский и буддийский» восхищался Экхартом. Католическим богословам XIV в. Экхарт показался еретиком, но современные католики смотрят на вещи иначе.

Многие мудрецы Упанишад еще до буддизма не решались называть тайну священного каким-либо словом. Высшая точка в «Брихадараньяке» — повтор отрицаний: «Не это! Не это!». И в самом деле, в слове «Бог» есть нечто от примитивных культов, от богов грома, молнии и т. п., перед которыми дикари падали на колени, и хотя еврейские пророки по мере сил очистили это слово, возвысили его, Бог до сих пор легко становится кумиром. Впрочем, как всякое слово и образ. Некоторые средневековые раввины задавались вопросом: не может ли сама Тора стать кумиром? И они были правы. Для иконоборцев кумиром стала заповедь «Не сотвори себе кумира». Они не понимали, что икона, какой она сложилась после VII Вселенского собора, — это богословский текст, «умозрение в красках», по удачному выражению князя Трубецкого; это текст, внутренне сопротивляющийся кумиротворению; хотя в конечном счете решает наше восприятие. Всякая буква может убивать дух, и то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом. Эти слова Павла и Силуана я много раз повторял.

Одно из противоядий кумиротворению, отделяющему людей друг от друга и от Бога, — это равновесие слова и молчания. Каждое занятие семинара имени Джона Мейна, на котором Далай-Ла-

ма комментировал Евангелие, начиналось с молчаливой медитации. Многие участники медитации называли это молчаливым диалогом, диалогом любви — без тех препятствий, которые создают различия слов. Только потом Далай-Лама читал Евангелие, комментировал его, а иногда сам задавал вопросы, на которые отвечал бенедиктинский богослов о. Лаврентий Фримен. Из этих вопросов ясно, что далай-лама захвачен тем, что на Западе называли «аджорнаменто», осовремениванием языка веры, и искал поддержки в опыте католиков. Таким образом, диалог двух религий становился одновременно диалогом религии с современным умом, не способным путать мифы с фактами. Вот замечательный фрагмент:

«Далай-Лама: Какой смысл для христиан имеет небо?

О. Лаврентий: Небо — это переживание радости, мира и любви Бога до полноты человеческих способностей.

Далай-лама: Так что нет необходимости ассоциировать его с физическим пространством?

О. Лаврентий: Нет. Только во сне.

Далай-Лама: Подобным образом можно ли понять ад в терминах крайне негативного, помраченного состояния духа?

О. Лаврентий: Да, конечно.

Далай-Лама: Так что мы не должны думать о небе и аде как о внешней среде?

О. Лаврентий: Нет. Ад был бы переживанием совершенной отделенности от Бога, что само по себе нереально. Оно иллюзорно, потому что ничего не может быть отделено от Бога. Однако если вы думаете, что вы отделены от Бога, то вы в аду.

Далай-Лама: В Евангелии есть такое место. Иисус говорит: „Я не пришел судить... *Слово*, сказанное мной, будет судьей...“ Я чувствую здесь большую близость к буддийской идее кармы. Нет автономного существа вовне, которое решает, что мы должны пережить и понять; вместо этого есть истина, содержащаяся в принципе причинности самом по себе. Если вы действуете этически дисциплинированно, будут желанные последствия; если вы действуете дурным и вредным образом, вы также столкнетесь с последствием этого. Истина принципа причинности судит, не сущность или существо, которое издает приговоры. Как вы это истолкуете?

О. Лаврентий: Есть поэтическая метафора в Библии, в которой Бог наказывает человечество за его грехи. Но я думаю, что учение Иисуса выводит нас по ту сторону образа Бога, наказывающего нас, и заменяет его образом Бога, любящего безусловно. Грех остается, грех — это факт. Зло — это факт. Но наказание, ассоциирующееся с грехом, заложено в самом грехе. Однако вместо того, чтобы подчеркивать причинность, хотя это кажется логичным, я

думаю, что христианин скорее станет подчеркивать свободную

волю. У нас есть свободная воля в этих делах, по крайней мере, до некоторой степени».

Это место можно пояснить другим:

«Далай-Лама: Есть ли в христианском контексте верование, что каждый человек имеет свою судьбу, которая должна свершиться?»

О. Лаврентий: Да. Судьба каждого — разделить, в конечном счете, бытие Бога.

Далай-Лама: А можно сказать, что при некоторых обстоятельствах личная судьба может измениться?

О. Лаврентий: Да, потому что личность свободна принять свою судьбу или свое „призвание“ или нет. Есть взаимоотношение между судьбой и свободной волей»¹³.

Таким образом, судьба, рок, предопределение, карма рассматривается вероятно, как весьма большая вероятность, как очень сильный вектор, но всегда мыслится нечто вроде щели для прорыва свободной воли.

Этот общий принцип не устраняет различия религий, Далай-Лама несколько раз повторял тибетскую поговорку: нельзя приставлять голову яка к туловищу овцы. Но не следует делать и другого: превращать различия в антиномии. Антиномии — создание западного ума. В восточном уме их нет. И можно чему-то научиться от восточной философии. Вспомним еще раз, что христианство стало мировой религией, усвоив некоторые элементы платонизма. Не грех усвоить и кое-что от индийского и дальневосточного понимания противоречий.

На «круглом столе» о глобальном этосе дьякон Андрей Кураев опровергал меня, указывая, что христианство — это чистый свет без тьмы, а даосы говорят о гармонии света и тьмы. Возражение имело бы смысл, если бы физический свет и тьма вызывали одинаковые ассоциации во всех культурах. Между тем в китайской культуре дело идет о гармонии инь и ян. Инь по первоначальному значению иероглифа — это влагище, ян — член детородный. На архаическую основу наложился ассоциации: текучее и твердое, воды и горы, наконец — тьма (не как зло, а как ночь, когда происходит зачатие) и свет (как день, когда человек рождается на свет). Такое противопоставление ночи и дня — без антагонизма — и в Библии можно найти, в Книге Иова. Вечная ночь заморозила бы поля, вечный день сжег бы их. Зло не в ночи и не в дне, не в тьме и свете, а в нарушении их гармонического чередования. Дао рождает инь и ян не как зло и добро, а как женское и мужское. Мужчина и женщина различны, но это различие — условие их любви. Мужчина и женщина

¹³ Цитируется книга: *Dalai Lama. The good heart*. L., 1997, p. 114, 92.

принадлежат к одному роду (как инь и ян — к дао), и дао, путь, притягивает друг к другу инь и ян. В любви, создавая семью, женщина и мужчина образуют единство, не переставая быть самими собой. Именно в любви, в семье женщина полностью раскрывает себя, «становится женщиной». Я думаю, что до какой-то степени это относится и к мужчине. Мужчина, никогда не любивший, чувствует себя неполноценным. Всякую неполноценность можно компенсировать. Расслабленный Стилихон, передвигавшийся на носилках, был великим полководцем. Но естественный путь расцвета и мужского, и женского характера — любовь.

Бывают браки, в которых та или другая сторона господствует и подавляет. Точно так же бывают диалоги, где один говорит, а другой не находит слов для ответа, теряется или, наоборот, поддакивает. Однако в подлинном диалоге личность раскрывается. Мы узнаем Сократа по диалогам Платона. Страх некоторых церквей перед диалогом говорит об их убожестве, о боязни, нырнув в единство, не вынырнуть из него, раствориться, распасться. Золото, даже брошенное в серную кислоту, останется золотом.

В индийской культуре нет китайского стремления к наглядной образности иероглифа, к чувственной ощутимости символа, но есть другой способ понимания единства различий: в созерцании недвойственности. Большинство философских школ относит двойственность к поверхности бытия, а глубинное мыслит как недвойственное. Индийский ум не поработен логикой. Нагарджуна показал, что всякое логическое предложение ложно по отношению к Целому. Логика раскалывает целостность на субъект, предикат и связку, то есть с самого начала сводит дело к отношению кусков, дробит целое и не может его восстановить. Через две тысячи лет молодой Людвиг Витгенштейн, призванный в армию и не слишком отягощенный своими обязанностями офицера, написал в своем «Логико-философском трактате»: «Мистики правы, но их правота не может быть высказана — она противоречит грамматике». В этой фразе «мистика» — это именно созерцание целого, недвойственного; и немудрено, что Витгенштейн, записанный в классики логического позитивизма, впоследствии искал подступ к целому в дзэнских парадоксах.

Различия становятся непреодолимыми только в логически организованной речи. Они снимаются в абсурдных высказываниях (и абсурдных поступках юродивого), в поэтической речи и в молчании. Мысль о том, что Бога можно почтить только в молчании, восходит к Григорию Нисскому. Она никогда не умирала в Византии и одно время, при Ниле Сорском, укоренилась и в русских заволжских скитах. Любящие не раз открывали что-то подобное: если спор заходит в тупик, надо замолчать и подумать: наша любовь

больше того, о чем мы спорим. Так могут прийти к согласию и религии, вероисповедания, секты: замолчать и всем своим существом обратиться к непостижимому. Выполнив эту первую из наибольших заповедей, они легко выполнят и вторую (о любви к ближнему). И тогда — в великом молчании над землей раскроется единое небо, и солидарность религий вдохновит практику глобальной солидарности.

К этому же ведет и поэтическое слово, родившееся из глубины святого безмолвия. Такое слово создает волны смыслов, волны ассоциаций, обходящих тупики логики. Поэтому есть ответ на вопрос Ли Бо, обращенный к Лао-Цзы: «Если знающие не говорят, а говорящие не знают, то почему ты, который знал, написал трактат в три тысячи знаков?» Потому что этот трактат, «Даодецзин», поэтичен. Мысль изреченная есть ложь, но стихотворение Тютчева истинно. И поэзия может коснуться величайших глубин, не оскверняя их, если родилась из молчания и живет на краю молчания.

Мне хочется сказать, что на краю безмолвия живут и Спас, и Троица Рублева, и лучшие страницы музыки Баха. Они родились из смирения пред непостижимым, и само непостижимое водило руками мастеров. Это же можно сказать о дзэнга (живописи дзэн). Но текст легче иллюстрировать поэтическими примерами.

Творящий Дух не знает сна.
У творчества свои законы.
Полна значенья тишина,
В которой веет Дух бессонный.
Адам не шевельнул рукой И вовсе
яблока не трогал,
Но он нарушил тот покой,
Где вызревают мысли Бога.
И делит род людской вину За это
древнее деянье —
Тот, кто нарушил тишину,
Лишился внутреннего зренья.
И как бы мудрость ни росла,
Как ни растет земная сила,
Познания Добра и Зла Она с тех пор уже
лишилась.
И, как в дурном бессрочном сне,
Мы ищем смысла, смысл отринув, —
Мы познаем Его извне,
Того, Кто скрыт у нас в глубинах,
И делим с праотцем вину,
Ее от года к году множа, —

Боимся кануть в тишину,
Где вызревает мысль Божья.

* * *

Не тот, кто говорит со мной,
Приносит мне благие вести,
А тот, кто словно дух лесной,
Как свет, молчит со мною вместе.
Кто, позванный на тайный пир,
Как чашу разопьет со мною Молчанье,
глубиною в мир,
Молчанье — с сердце глубиною.
Поэзия — не гордый взлет,
А лишь неловкое старанье,
Всегда неточный перевод Т ого бездонного
молчанья.

* * *

Есть степень затихания. Есть мера Свободы
духа от мирских забот,
Та глубина, где зародилась вера И где
богопознание живет.

И что таланты все, что первородство? Ведь
мы равно от Бога рождены.
И если есть на свете превосходство,
То только превосходство ТИШИНЫ...

* * *

Есть сила молчанья. Есть сила такая, Пред
коей все ветры земные смолкают. Есть сила,
воздвигшая все мирозданье. Могущество
Божье есть мощь умолканья. Конец
разногласья. Окончились споры. Молчание
наше есть слово простора.
Есть слово-грозда, есть слово-лавина, Есть
слово, собравшее мир воедино.
То слово великого Божьего лада, Которому
слов наших дробных не надо.

Одинок прочерченный путь

Элегия Рильке, посланная Цветаевой, кончается так:

Боги обманно влекут нас к полу другому,
Как две половины к единству.
Но каждый восполниться должен сам,
Дорастая, как месяц ущербный, до полнолуны.
И к полноте бытия приведет Лишь одиноко
прочерченный путь Через бессонный простор.
(Перевод З. Миркиной.)

Должен ли духовный путь оставаться одиноким до самой смерти? Так думали основатели буддийского и христианского монашества. Я так не думаю. Индийская мудрость предписывает целомудрие ученикам, но потом брахманы создавали семью. Дзэн дает полную свободу тому, кто выучился. Созерцатель, утвердившись на пути в глубину, может оставаться в обители, а может вернуться в мир. Одинок прочерченный путь достигает цели, когда сердце освободилось от господства гормонов, страсти перестали дурачить волю, раскрылась глубина, в которой можно прислушаться к Богу и в человеке полюбить образ Божий, а не изгиб плоти.

Гормоны — не единственная причина мнимосвободных решений. Всё причинное поработает: и безусловные рефлексy, заложенные в нас природой, и условные, созданные воплем «наших быют!» или рекламой. Решение, родившееся в глубине, беспричинно. Океанская волна духа прорвалась через перемычку, пруд стал заливом, исчезло обособленное «я», эго, и нет различия между словами «я решил» и «Бог подсказал».

Гормоны — частность, метонимический образ всех сил, поработивших нас. Автор «Сонетов к Орфею» не перестал чувствовать себя мужчиной; но мужское заняло свое место в духовной иерархии, где высшее не то что андрогинно, а просто выше пола. Дао выше инь и ян. Рильке отождествляет себя с Орфеем, а не с сатирами и нимфами.

Ребенок, легко поддающийся многим страстям, от *этой* страсти свободен. Я помню, как мы с мамой остановились у витрины на Арбате. Там выставлена была картина, изображавшая обнаженную. Мама — не обделенная ни красотой, ни талантом — ее бескорыстно похвалила. Она всегда хвалила чужой талант, чужую красоту, но само ее чувство красоты было окрашено взрослыми страстями, мужским желанием осязать красоту и женской гордостью вызывать восхищенные взгляды. У меня взрослых страстей не было, и я возразил: «Что ты, она жирная!» Почему-то я этот случай запомнил.

Следующее воспоминание — через промежуток лет в десять. Я смотрю на картину Коро «Купальщица». Деревья там поэтичнее, таинственнее, они трогают сердце, что-то освобождают в нем, и в то же время я не могу оторвать взгляд от купальщицы, в которой нет никакой тайны, нет отсылки в глубину. Эстетическое чувство, не окрашенное гормонами, борется во мне с другим, толкающим любоваться воображаемой возможностью продолжения рода вот с этой, образцово сложенной женщиной, созревшей для материнства. Лань меня не захватывает больше самца с его великолепными рогами. И олень, если вообразить его посетителем картинной галереи, не поймет, что так привлекает к купальщице. Его влечет лань, а не эта дама. Я сам в десять лет равнодушно скользнул бы по ней взором. Впрочем, я бы тогда и деревьев Коро не почувствовал. Бескорыстное чувство красоты, просвечивающей за оболочкой плоти, и корыстное чувство к оболочке выростали во мне почти одновременно. Я сознавал, что глубинное важнее, но чувство иерархии встречало сопротивление, и победа его никогда не была бесспорной.

Прошло еще лет пятнадцать. Выставлены были в Москве картины Дрезденской галереи. Я вставал в пять часов утра, чтобы еще раз увидеть Сикстинскую мадонну и спящую Венеру Джорджоне. По-своему они обе меня потрясали. Мадонна Рафаэля — чудом, исчезавшим в репродукциях. Чудо было только в подлиннике, неповторимое, божественное. Но божественна была и Венера, спящая богиня, а не обнаженная красавица. Я бросал взгляд на линии ее тела и снова впивался в безмятежный покой лица.

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина!..

Божественность приглушала гормоны. Оказывается, и обнаженная женщина может быть образом божества. И этот образ божества надо созерцать — без желания схватить. Желание схватить разрушает образ — как в стихотворении Зинаиды Миркиной:

На серебряном море забыта,
Как средь книг — непрочитанный стих,
До сих пор каждый день Афродита
Выступает из глубей морских.
Точно море и небо нетленна И хрупка,
как морская волна;
В волосах ее белая пена,
А в зрачках у нее — глубина.

Вот ступила на берег пустынный,
На песке отпечатала след,
И улыбка в глазах ее длинных Задрожав,
зачинает рассвет.

Вот садится на камень прибрежный Возле
самых лепечущих вод И кого-то
настойчиво-нежно И доверчиво-тихо зовет.

Все нежней, все невятней, все тише
Вторит голосу хор аонид...
Тот, кто вслушаться хочет — услышит,
Кто сумеет взглядеться — узрит.

Вот сомкнула блаженные веки И, покоясь в
полднемном тепле,
Захотела остаться навеки Здесь, на
ласковой этой земле.

Но... за камня мохнатою глыбой Кто-то
спрятан... — внезапный рывок —
И богиню, как бедную рыбу,
Человечий хватает силок.

О, какой невозможный, мгновенный Стон!
И снова волна разлита,
На руках победителя — пена,
А в глазах у него — пустота.

Митя Карамазов называл то, что его поработало, «изгибчиком». Кажется, именно это имел в виду Владимир Соловьев, когда писал о влюбленности в фартук или в косынку. И когда Митя вдруг увидел Грушеньку глазами любви, не делящей женщину на тело и душу, поработание кончилось, любовь прогнала демонов, любовь готова была на жертву ради мнимого счастья Грушеньки с «прежним, бесспорным».

Я уже понимал это, когда вставал на рассвете, чтобы увидеть картины Дрезденской галереи, «благоговей богомольно перед святыней красоты». Но ради Рублева я тогда, в 50-е годы, не просыпался бы в пять часов утра. «Троица» казалась мне бесплотным символом, холодновато-прекрасным. Огня в глазах «Спаса» я не видел. А теперь мы с Зиной ходим в Третьяковку только ради пяти-шести икон. А в Эрмитаже — к Рембрандту и старым испанцам. На остальное не хватает времени.

И постепенно стало для меня любимым стихотворение «Мо-

литва». Сперва я его обходил. Оно меня пугало. Потом перестало пугать, — кажется, после того как я увидел огонь в глазах «Спаса» и сам зажегся от этого огня. Вот эти стихи Зинаиды Миркиной:

Я пью тишину из большого ковша
Твоей родимой ладони,
Я пью глубину янтаря,
Золота тусклого блеск.
Я пью все цвета и цветы До дна,
До густой темноты Жаркой Твоей
ладони,
Даятель.
Ты — мой последний предел.
Ты — беспредельность моя.
Я знаю Тебя, Даятель.
Я знаю, что там, где Ты,
Нет места моим глазам.
Я знаю, что там, где Ты,
Нет места моим словам.
Я знаю, что там, где Ты, —
Сердце стучит,
Даятель.
Возьми же мои глаза,
Возьми же руки мои И волю мою
возьми —
Дохни на меня,
Даятель.
Задуй меня, как свечу.
Я только к Тебе хочу,
Я только туда хочу,
Где сердце стучит,
Даятель.
Выстукивается Жизнь,
Смешавшая верх и низ,
Смешавшая тьму и жар В ударе.
Ведь мир — удар,
Внезапный прорыв огня, —
Ударь же огнем меня!
Ожги меня жаркой тьмой!
Пространством Своим размой —
Возьми меня в Жизнь,

Изящество линий не перестает радовать меня. Но сердце загорается от внутреннего огня, от внутренней красоты, от красоты духа. Она может светить и сквозь хрупкую юную плоть, но неважно, через что она светит. Может и через старость, как у Рембрандта, как на многих иконах.

Одинок прочерченный путь выводит к беспричинному, вневременному. Путь может быть очень долг и захватывать десятки лет (у иных — и всю жизнь). Он бывает коротким, как вспышка молнии, и сразу дает духовную зрелость. Наша встреча с Зиной была встречей обоих путей — долгого и короткого. Мы оба вышли из-под власти гормонов, оба узнали друг друга духом и причастились друг другу, как верующий принимает церковное причастие. Причастием может быть любое естество, пережитое как символ сверхъестественного, бесконечного. Всякое прикосновение может подняться до таинства и может опуститься до смертного греха. Покойный Сергей Алексеевич Желудков пересказал мне слова знакомого, тоже священника, о его родне: они жрут причастие, как свиньи. Таким же свинством может быть близость мужчины и женщины, но по Божьему замыслу в ней нет греха. Первородный грех — выход из Божьей воли, и не один раз, а каждый день. И не только из-за гормонов. Каждый день мы забываем Бога ради яблока, выходим из глубины на поверхность, теряем чувство целого и запутываемся в частностях. Каждый день нам не хватает воли к глубинному, тихому и целостному.

Я помню прекрасный месяц в Пицунде, в сентябре-октябре 1962 г. Ровное тепло воздуха и воды, ни капли дождя, запах сухой хвои и моря. В этом раю мы не теряли чувства целого, чувства глубины, мы не грешили. Никакой змей не соблазнял нас, и никакого соблазна не было, что мы обнимали друг друга. Но попробуйте сохранить чувство глубины на работе, на рынке, на кухне, когда подгорает лук. Мандельштам был прав: «Есть блуд труда, и он у нас в крови». Попробуйте сохранить цельность души, сядя в переполненную электричку. Попробуйте сохранить не только ум, а сердце в бою, как ординарец генерала Григоренко, который целился по ногам неприятельских офицеров, подымавших цепь, и остановил венгров, никого не убив. Это редкость. Обычно солдаты, дойдя до окопов противника, в первые несколько минут убивали немцев, уже поднимавших руки вверх,

¹⁴ Это стихотворение перекликается с другим, коротким:
О Дух сжигающий! Когда наступит тишь,
Душа в Твоих лучах заплещется, сгорая,
Неотвратим, как смерть, Ты смерть испепелишь
Одним Ты адский огонь, другим Ты солнце рая.

уже сдававшихся.

Бывает ли подобие такой ярости в половой близости? Да, бывает. Об этом Марина Цветаева писала Бахраху, я несколько раз цитировал ее письма. Любовник иногда становился привеском к своим гениталиям, совершенно забывавшим, кого он обнимает, кого любит, терявшим отношение сердца к сердцу, души с душой. Бердяев, по-видимому, не умел справляться с собой и писал, что при половой близости всякий человек опускается до животного; но это его личное дело. Пастернак утверждал прямо противоположное: всякое зачатие непорочно. Надо бы только добавить «бывает». Всякое зачатие может быть непорочным, без явной помощи Гавриила Архангела, если человек сохраняет в сердце любовь, не забывает любви в захваченности страстью. И это относится не только к зачатию, а ко всякому страстному делу. Все естественное может быть непорочным, и труд — не обязательно блуд. Но это задача, это не так легко дается.

Есть суфийская притча. «Один человек взлетал во время молитвы», — сказал ученик. «Птицы летят еще выше», — ответил учитель. «Одного человека видели сразу в двух местах», — не унимался ученик. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест»... «Что же высшее?» — «Встать поутру, пойти на базар, купить провизию, сварить себе обед, — и не забывать Бога». Сохранять чувство глубины, по необходимости выходя на поверхность, в будничную суету. Участвовать в суете, не суетясь душой, продолжая прислушиваться к дыханию Бога, к голосу совести.

В православной аскезе есть средство не терять глубины — непрерывная молитва. Архимандрит Софроний рассказывает, что однажды монахи Афонской горы разговаривали друг с другом, как это трудно: то одно, то другое сбивает. Св. Силуан, присутствовавший при разговоре, нахмурился и сказал, что с ним такое не случается. Но он один имел право это сказать.

Дело здесь не в словах той или иной традиции, а в простой и прочной обращенности вглубь, в своего рода пружине, которую дела сжимают, а она тут же разжимается снова. Дайзецу Судзуки определял дзэн так: «Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей». То есть с сердцем, в котором всегда остается любовь, что бы нас ни захватывало, что бы ни возбуждало или, наоборот, — что бы ни притупляло все чувства. В Фиваидской пустыне очень боялись половой страсти, и отцы-пустынники иссушали свою плоть, но не заметили опасности страстей в богословских спорах.

Я об этом писал лет тридцать тому назад и радуюсь, что несколько написанных мной слов вошли в поговорку: «Дьявол начинается с пены на губах ангела...» Дальше молва не запомнила. А дальше так: «Все рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух

ненависти в борьбе за правое дело, и благодаря ему зло на земле не имеет конца». Сходные мысли я потом нашел у Гроссмана, у Айхенвальда.

Все может быть извращено. Злом может стать борьба за истину, за справедливость. Но сама по себе истина и справедливость — не зло. И любовь мужчины и женщины — не грех, более того: поэты не раз брали образ такой любви, передавая чувство близости к Богу. Это освящено опытом нескольких великих традиций.

Зинаида Миркина переводила Тагора, переводила суфиев, и сама она к этому очень близка. Она никому не подражает, когда сводит звезды к изголовью. Это само по себе у нее рождалось:

Нарастанье, обступанье тиши...
Нас с тобою только сосны слышат.

Прямо в небо, прямо в сердце вниди...
Нас с тобою только звезды видят,

Наклонившиеся к изголовью.
И остались мы вдвоем, — с Любовью.

Для того лишь и замолкли звуки,
Чтоб Она могла раскинуть руки.

Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб Она смогла расправить тело.

Задрожали, растеклись границы,
Чтоб Она сумела распрямиться,

Каждый миг ушедший воскрешая...
Боже правый, до чего большая!

Боже святой, до чего огромна!
Кто сказал, что Ей довольно комнат?

Кто задумал поместить под крышу
Ту, которая созвездий выше?

Кто осмелился назвать мгновенной
Ту, которая под стать вселенной?

В этом причастии звездному космосу есть что-то от возвращения к детству. Ребенку церковное причастие ни к чему. Он прикасается к сверхъестественному в игре, в сказке, с которой засыпает. Он открыт Богу, как залив открыт океану. У залива есть берега,

неповторимые очертания береговой линии, но вода в нем — океанская. Есть начаток личности, но нет обособленности от любящих и от океанских волн. Наверное поэтому было сказано: «Будьте как дети». Но выход на уровень свободного духа — не простое возвращение к детству. Ребенок то открыт Богу, то заикается и плачет. Он почти одинаково любит сказки и сладости. Он не умеет бороться с соблазном обжорства и не замечает, как логически правильный строй языка постепенно отгораживает его от океана, как понимание причин заслоняет беспричинное. Океанская волна то перехлестывает через перемычку, то оставляет наедине в лужице. Океан еще не создал двойника в уме, и нет в ребенке *сознательного* движения к океану, нет образа океана как святыни, как высшей цели. Поэзия Миркиной одним из своих корней уходит в мир ребенка, но она знает и тоску неразрешимых вопросов и выходит поверх неразрешимого в космических образах прекрасной целостности:

Вот он звучит — тишайший в мире рог —
Беззвучный гром, что, мира не нарушив,
Вдруг отзывает ото всех дорог,
Из тела вон выманивает душу.

Когда сей гром, сей рог тебя настиг,
Он протрубил: «Готовься к предстоянью!
Сейчас наступит вожденный миг —
Века обетованного свиданья!»

Сейчас... сей час... все глубже, внутрь. В упор.
И — собран дух. Аз есмь! И вот тогда-то
Выходишь ты в торжественный простор,
В великую расправленность заката.

И тянутся объятия зари,
И в этом нескончаемом полете —
Единый возглас: «Господи, бери!»
О, убыль мира, истонченье плоти!..

И Он тебя воистину берет,
Тот, Кто насущней воздуха и хлеба,
И длится нисхождение высот,
Земле на грудь приникнувшее небо...

И после полной близости, такой
Пронзительно мгновенной и бессрочной,
Приходит тот прозрачный покой,

Который люди называют ночью.

Хрустальный час. Он бережно принес
Желанный отдых. В тишине высокой
Дрожат крупинки благодарных слез,
Не пролитых из замершего ока.

Это очень точное описание вечера в Паланге. Сперва мы вглядывались в игру краснеющих лучей на ветках сосен, потом перешли через дюны к морю и созерцали зарю — до звезд. Но эротическая образность не только передает напряженность созерцания. Она одновременно бросает свет золотых вечерних лучей на страстную близость, продолжающую созерцание, близость как причастие Богу в любимом, как любовь к Богу через обоженную любовью тварь. В стихотворении, начинающемся с нарастанья, обступанья тиши, мы движемся от изголовья вверх, к звездам; а здесь, в созерцании объятий солнца с морем, — к символу космического соития в живом объятии. Два причастия сливаются вместе; и в созерцании приморского заката, и в созерцающем осязании тайны через чувство кожи.

Восполненность встречи двух восполненных включает в себя и «одиначества верховный час», о котором писала Марина Цветаева, час полноты внутренней свободы, погружения в бездну бесконечности и творческого порыва, вырастающего из ее глубины:

Одиначество — это свет, тот, в котором
почти тону.
Нет опоры. Другого нет.
Но душа не идет ко дну.
Одиначество — это круг неба, крыльев моих
разлет.
В мире нету врага, а друг одиначества не
прервет.

Бесконечное торжество, когда сердце мое
полно.
Друг мой просто войдет в него.
Нас не двое. Мы с ним одно.

Можно вспомнить современного богослова: отрешенность и одиночество — не пожизненное призвание, а часть большого ритма жизни.

Однако встреча, подобная нашей, случается редко. Чаще восполненность остается неразделенной. Тогда она держится на собственных крыльях, подхваченная духом любви, не ждущим и не требующим страстного ответа. А иногда ответ приходит после всех мыслимых сроков, поздно, даже слишком поздно, как в повести Гроссмана «Все течет».

Есть один замечательный эпизод в «Семирусной горе» Мертона, книге (с подзаголовком «Автобиография веры»), которая разошлась в 20 млн. экземпляров на двадцати языках и еще ждет перевода на русский язык. На Томаса Мертона произвела огромное впечатление русская эмигрантка, добравшаяся до Нью-Йорка после очень трудного пути. В своей борьбе веры с судьбой баронесса Колышкина де Гук приобрела такую силу духа, что выступления ее ошеломляли и поражали. Мертон, войдя в круг ее друзей, заметил, что священники внимали ей примерно как в легендах о св. Екатерине, переспорившей пятьдесят докторов. Екатерина де Гук создала Дом Дружбы в Гарлеме и звала туда всех католиков, а Мертона особо. Он, поколебавшись, согласился, — как вдруг пришло другое решение. Приведу несколько строчек его рассказа об этом. Он очень короток:

«Последние три дня прошли без заметных событий. Был конец ноября. Дни становились короткими и сумрачными.

Наконец, в четверг вечером, я внезапно почувствовал себя полным живой уверенности: „Пришло для меня время стать траппистом“.

Откуда взялась эта мысль? Я знаю только, что она явилась внезапно. И это было чем-то властным, неудержимым, ясным».

Мой друг Лайф Ховельсен, несколько раз переживавший подобные внезапные решения, называет их Божьим Интернетом. Вы обдумываете важное дело, составляете план, и вдруг в последний миг из какой-то глубины приходит другое решение и настаивает: так! только так!

Мертон искал выход из суеты, в глубину одиночества, но опасался строгости монашеских уставов. Он долго перебирал их, выбрал то, что казалось полегче; потом почувствовал, что и это ему не по силам. И вдруг — избрал самое суровое послушание: получать только четыре письма в год, объясняться, по возможности, знаками... Какую роль во всем этом сыграла дружба с баронессой?¹⁵

¹⁵ Я называю ее так, как в тексте. Видимо, американцам было трудно произносить ее фамилию.

Влияние ее личности было огромным. Мертон это очень ярко описал, но нельзя сказать, что он *подчинился* влиянию. Баронесса звала помогать бедным, опустившимся неграм в Гарлеме, а он выбрал орден созерцателей, ушедших от мира. Видимо, повлияли не слова баронессы, а сама ее личность, ее нравственная цельность. Пример цельности ускорил выход из расколотости, ускорил воссоединение всех сил в глубине. И когда это произошло, глубина мгновенно все решила, не слушая ничьих слов. Лайф Ховельсен сказал бы: сработал Божий Интернет. В глубине стал слышен голос: выбирай самый суровый путь. Тебе надо чем-то заменить путь, по которому прошла баронесса. В Доме Дружбы, который она создала, ты этого пути не пройдешь.

Между тем самой баронессе уставная аскеза была ни к чему. Сравнивая ее с двумя знакомыми священниками, Мертон пишет:

«Молитва и жертвенность и полная, бескомпромиссная бедность наполнили ее душу чем-то, что, видимо, эти два францисканца тщетно созерцали перед собой в сухой, условной и заученной отрешенности, выпавшей на их долю». И далее о естественной, не условной и не заученной деятельности баронессы: «Когда Бог находит душу, в которой он может действовать, он использует ее для множества целей, открывает перед ее глазами сотни направлений, умножает ее труды и апостольские возможности почти невероятно, гораздо больше обычных человеческих сил».

Несколько лет спустя баронесса встретила человека, способного разделить с ней ее служение, и вышла за него замуж. Она эмигрировала из России вскоре после революции молодой женщиной. Рассталась с мужем, не способным разделить ее путь. Долго жила одна. И снова вышла замуж на пятом десятке. Не будь случая, осталась бы одинокой. Но состоялась встреча, и двое людей продолжили свое служение вместе.

Между тем к самому Мертону после «Семиарусной горы» пришла та полнота творческих сил, которую можно передать словами его любимого святого Августина: «Полюби Бога и делай, что хочешь». Эта свобода духа не укладывалась в монастырские правила. Пятнадцать лет боролся Мертон с рутинной, не считавшейся с кипением его мысли и обрекавшей его на хроническую бессонницу и целую серию болезней.

Только в условиях аджорнаменто, к 1960 г., удалось переселиться в маленький домик, где отшельник принимал, кого хотел, или никого не принимал и погружался в созерцание. Именно в эти последние годы жизни были созданы лучшие книги, в том числе «Новые семена созерцания», которые я могу сравнить разве только с «Проповедями и рассуждениями» Мейстера Экхарта; других примеров, между XIV и XX вв., не нахожу. И лишь в 1968

г., когда аббатом стал его же ученик, Мертону дали полную свободу передвижений, плодом которой стал «Азиатский дневник».

Чем глубже он созерцал, чем непосредственнее становилось то, что он называл прикосновением к Богу, тем глубже были его сомнения в букве предания и монастырских правилах. Он пишет Розмари Рютер, женщине-богослову, вызвавшей его доверие, что чувствует себя скорее дзэнцем (а дзэнцы имели право вернуться в мир); и Рютер отвечает ему (повторяю эти слова): «Отрешенность и одиночество — не пожизненное призвание, а часть большого ритма жизни». Думаю, что она права и жесткие формы монашества принадлежат к общей жесткости сословного и кастового общества.

Я не ставлю точки над *i*, но мне кажется, что многие плодотворные случаи современной аскезы отходят от средневековых образцов. Последний пример — духовный путь Антония Блума. Юность его была такой же мучительно тяжелой, как у баронессы. Вдруг, в 15 лет, читая Евангелие от Марка, между первой и третьей главой, он пережил незримое присутствие Христа. С той поры — буквально сгорел душой и думал только о служении Христу. Духовник потребовал от него уйти из дому. Антоний долго боролся с собой и наконец сказал: «Я готов. Куда теперь идти?» — «Как куда?» — ответил духовник. — Иди домой». Нужна была только *готовность* на жертву, и эту готовность мы чувствуем в глазах вл. Антония, вживе или с видеокассет. А жить он продолжал в семье, с нежно любимыми бабушкой и матерью, до последнего дня матери, умиравшей от рака. Никаких монастырских стен ему не нужно было, и чем дальше, тем меньше были нужны догматические определения вселенских соборов. В выступлении 8 июня 2000 г. он прямо признает их лишними. Итогом духовного пути была духовная свобода, призыв укорениться в Боге и мыслить свободно. Так, как живет и мыслит он сам, передавая ученикам полноту любви, в которой начало и конец истины и жизни.

Postscriptum Зинаиды Муркиной

Одиночество птицы, которой принадлежит всё небо, одинокий рыбак — излюбленный сюжет сунской¹⁶ живописи, где человек и пространство как бы становятся единым целым и Человек соединяется с Бесконечностью. Наполняется Ею. А в иконе Бесконечностью наполнены глаза святых.

Одинокое прочерченный путь — путь в собственную Бесконеч-

¹⁶ Династия Сун правила Китаем до монголов.

ность — в свою бессмертную душу. Соединение с собой.

«Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство, но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолуния». То есть глубинный любовный союз, великое соитие — это соитие прежде всего со своей собственной душой, с предельной глубиной ее.

Она приходит, спрятавшись в предмет,
Одевшись в звуки, линии и цвет,
Пленяя очи, грезится сердцам,
И Еву зрит разбуженный Адам.
И всей душой, всем телом к ней влеком,
Познав ее, становится отцом.
С начала мира это было так,
До той поры, пока лукавый враг Не
разлучил смутившихся людей С
душой, с любимой, с сущностью
своей.

Так видит первородный грех великий суфий Ибн аль Фарид. Соитие с любимой становится священнодействием, таинством, когда одновременно это соединение с твоей сутью — с Богом. Грех — в отпадении от Бога. Когда из целостного и бессмертного существа ты становишься частным, отдельным, смертным. Суть аскезы — не допустить такого отделения или, если оно уже допущено, преодолеть его, восполниться до Бесконечности — дорасти до Бога.

Самое великое одиночество — это одиночество Бога, все вместившего в Себя, все объявшего. Ничего внешнего, ничего не вмещенного внутри у Бога быть не может, или Он не Бог. Для Бога нет другого. Все — Он. Для дьявола Бог — другой, но для Бога дьявол — это Его отпавшая часть. И потому «возлюби врагов своих», ибо без них ты — еще не *весь* ты. Враг — это большая часть тебя самого. Надо исцелиться — стать целым.

Обычно люди, стремясь друг к другу, бегут от самих себя, пугаются одиночества и попадают в ту тесноту духовную, в ту зависимость, которая переходит во вражду, в ненависть. Каждый отстаивает свое собственное ограниченное «я». Хочет другого скроить по своему образу и подобию. Каждый отнимает у другого пространство. Вот почему герой Рильке, Мальте-Лауридс Бригге, бежит от тех, кто любит его, и говорит парадоксальные на первый взгляд вещи: «Как плохо тем, кого любят»... Слово «любящий» у Рильке становится существительным и противопоставляется любимому. Тот, кто по-настоящему любит, не может любить безответно. Ответ, когда это нужно, приходит не извне. Ответ находится в нем

самом, в той полноте души, которая и есть подлинная совершенная любовь.

Вот как он пишет об этом в первой Дуинской элегии:

Т олько томление духа — воспетое счастье влюбленных.
Это еще не бессмертное чувство.
Зависти нашей достойна не та, что нашла свое счастье и в нем по-
лусонно застыла.
Я восхваляю другую — ту, что, любя без ответа,
Знала такую наполненность сердца, которая вводит в бессмертье. Вот
кого надо воспеть!.. Одинокая эта душа так глубоко и полно жила,
Что вдохнула свой дух в опустевшее сердце другого, преображая
его...
О, не пришла ли пора, сосредоточась внутри,
Не зывать ни к кому и не ждать ничего от любимых? —
Быть только Любящим, только самою Любовью,
Чтоб напряжение сердца было подобно стреле на натянутом луке,
Взвиться готовой и вылететь вдаль за пределы себя,
Ибо остаться в пределах своих — значит не быть.

**Это призыв к совершенной внутренней восполненности, в ко-
торую душа зовет всех. Войдите и разделите!**

**Разделить полноту и весомость мира — это великое счастье и
великий духовный труд.**

**Тот, по чьему образу и подобию мы созданы, зовет нас в Свое
Одиночество, как птицу в небо. Он раскрыл перед нами всю душу
— всю бесконечность: Войдите!**

Побудь со мной в тот самый трудный час,
Когда сквозь мир просвечивает пламя,
Когда с меня проникновенных глаз Не сводит
свет, прощающийся с нами.
В тот самый час, когда малейший вздрог Уже
подобен громовому звуку,
Когда весь мир на это сердце лёг,
Как яблоко в протянутую руку.
Последний зов, последняя труба...
И где-то на весах у миродержца
В такой тиши решается судьба
Всех лепестков и всех движений сердца!
Весы дрожат... дрожат и — наконец,
Сейчас! Сей час... Так вот он, час мой судный!
Но кто же я — ответчик иль истец?
И почему мне так блаженно-трудно?
Побудь со мной у этого огня...
Вот так с небес из своего далёка,
Вот так когда-то Бог позвал меня С Ним

разделить такую одинокость!
(Перевод З. Миркиной.)

Одиночество Бога — это величайшая полнота, величайшее счастье и великая тоска о нас, взывание к нам. Огромное небо, огромное море растят наши души. Бог учит нас бесконечности, как птица учит птенцов полёту. Перекличка dorosших до бесконечности, соединение их — это новый уровень полноты бытия. Dorosшая до Бесконечности душа ни с кем не меряется, никого не превосходит, она просто сбрасывает свое эго, как бабочка — кокон.

В новом бытии нет обособленности. Оно соединилось со всем. Отдельности нет. Душа, ликуя, чувствует полное исчезновение своей отдельности. Ликование нищеты. Заповедь о духовной нищете очень трудна для понимания. Но это величайшая заповедь о внутренней свободе. Тот, кто обладает чем-то, не свободен. Антоний Блум приводил пример: когда мы зажимаем часы в руке, мы как бы лишаемся руки — она не может действовать. Дух ничем не обладает. Он причащается всему. Можем ли мы обладать утром, небом, солнцем? Мы ничего этого *не имеем*, но причащаемся этому. Душа становится сквозной, прозрачной, она — никто. Встреча dorosших до бесконечности — это встреча двух «никто», как в стихотворении Эмили Дикинсон.

Я — никто. Может быть ты тоже никто?
Тогда нас двое. Молчок.
(Перевод В. Марковой.)

Молчок, ибо здесь несказуемая тайна. Двое в то же время одно. Двое, узнавшие, что в две оболочки влито одно и то же содержимое. То, что они принимали прежде за свое «я», — никто, оболочка, а подлинное «я» — всё. Всё — одно во всех. И только узнавшие это осуществляют великую встречу, которая не ограничивает внутренней свободы — великого одиночества — единства Духа.

И есть еще один аспект у одиноко прочерченного пути. Он одинокий потому, что на пути этом нет и не может быть никакой внешней опоры. Держаться не за кого. Это наука — держаться на внутренней тяге. Душа должна *сама* узнать то, что ей нужно. Узнать истину не с чужих слов, даже самых верных и самых прекрасных, а изнутри самой себя. Таким образом всё, что относится к фактам, явлениям внешней жизни, становится знанием со стороны и не имеет отношения к внутренней духовной жизни. Это «не про то», как сказал бы князь Мышкин.

«Главного нельзя увидеть глазами», — говорил Сент-Экзюпери. — И нельзя прочесть в книгах — добавлю я. Главное — это то,

что душа может узнать сама, даже если ей никто про это никогда не говорил. Ни про какие факты, которые можно проверить, удостоверить извне, душа знать не может. Она может знать только про то, что есть в ее глубине. Докопавшись до своей глубины.

Одинок прочерченный путь — это путь в глубину, которая говорит сама. В этом смысле — сама является Словом. Мы заучили, что Слово — это Бог. Но Бог есть особое Слово, приходящее не извне, а изнутри: Слово, которое нельзя подсказать, списать откуда-то. Ниоткуда не спишешь, пока не взойдет из Глубины.

Путь, прочерченный в глубину, — непременно одинокий, как одиноко предстояние перед Богом. Один на один. Отъединенный ото всего внешнего и вошедший в единую для всего живого Глубину. Открывший сам, что эта Глубина — есть. Бог есть.

Я хотела бы закончить маленькой сказкой о стране Небывалии. Это такая страна, чьи законы обратны всем привычным законам нашего мира. Обычно другой отнимает у нас пространство, и чем больше людей, тем больше тесноты. В стране Небывалии как раз наоборот: каждый приносит с собой пространство. — Не отнимает удругого, а прибавляет. Чем больше людей, тем больше пространства. Встреча людей, прошедших одиноко прочерченным путем, открывает ворота Бесконечности. Это и есть страна Небывалия.

Разговор с Бесконечным

— Господи, я уже понял, что смысл жизни не во мне, а в Тебе, и если Ты пророс во мне (дай Бог, чтобы пророс!), то пройден квадрильон, смысл найден, и душа, ликуя, погружается в океан света, и миллион, квадрильон терзаний кончился, потонул в бесконечной радости. Но почему болит душа за любимых — и даже за тех, кого я не знал, когда до меня доходит их боль. Почему больно за всех, которые не дошли? Почему так откликается сердце на вопросы Иова? Почему я чувствую за Иовом, за Иваном Карамазовым правду, на которую нет ответа в словах? Я вспоминаю стихи о Твоей участи:

Один на один, опрокинут, разбит И
кажется Богу не нужен.
А лес всё шумит, и шумит, и шумит,
А мысли все кружат и кружат.
О Бога незримого явленный Сын!
Все правда — что было, то было.
Скажи мне, легко ли, один на один,
С несметною адскою силой?

Я вслед за Тобою на муку иду,
И кто там о славе пророчит?
Скажи мне, легко ль в Гефсиманском саду
Глухой нескончаемой ночью?
Легко ли вот так, умываясь в крови,
Без славы, без ангелов Божьих...
А лес все шумит и шумит о Любви.
А сердце... И сердце про то же.

Господи, сегодня я погрузился в Любовь, и я хочу смириться перед Любовью. Помоги мне смириться, помоги мне смириться перед Тобой, разлитым, как море, перед Тобой, прорастающим внутри, прорастающим как любовь, прорастающим как сила, прорастающим как чудо! Помоги мне войти в смирение, прозрачное для Тебя и непроницаемое для духа превратности! Помоги мне понять то, что я способен понять...

— Я прорастаю в каждой твари. В бессловесной природе — не спрашивая ее. В тебе, когда ты смиришься передо Мной, когда ты сам скажешь: «Прорастай во мне, я очистил место!» Зачем Мне это — ты не поймешь, но Я дал тебе разум и дал тебе право задавать вопросы, на которые нет ответа. Пусть они вырастают в твоей душе, погружаются в Меня и тонут во Мне.

— Господи, я начал смиряться перед Тобой на пороге старости. Я много раз мог не дожить до нее. В чем был бы тогда смысл моей жизни? В чем смысл жизни детей, о которых спрашивал тебя Иван Карамазов? Я не говорю о самых маленьких, в них Ты рос вместе с костями. Но те, которые оторвались от незримой пуповины и не нашли другой связи с Тобой, — зачем они жили и умерли? Зачем умерли молодые солдаты, пошедшие наступать в августе 1942 г. и сразу скошенные огнем? Я никогда не забуду, как проходил по полю смрада, натываясь на недохороненные руки и ноги. Зачем гибли дети, обувь которых плотным слоем слежалась в Майдане-ке, — все, что от них осталось? Это все ради лучшего, как говорил Лука? Ради уцелевшего Эли Визеля, написавшего «Ночь»? Или ради того, чтобы я оставил свои записки? Погибли лучшие. Я думаю, их было много, среди десятков миллионов, ставших прахом, не успев прикоснуться к Тебе.

Кто виноват, что мы так медленно идем к Тебе, по шагу в десять лет? Только ли мы сами? Не подумай, что я хотел бы искать смягчающие вину обстоятельства. Я заканчиваю свой квадрильон и подошел к краю смирения, и передо мной целая земля смирения. Я понимаю притчу о рабочих, которые все получили оди-

наковую плату. Я не жалею, что прихожу в последний день. Я хочу понять, что мешает прийти моим друзьям, моим собеседникам, всем, кто будет спрашивать меня, читать мои книги. Что нам всем мешает? Почему мы все так медленно идем к Тебе? Если вообще идем? Где начинается наша вина? Где кончается общий порядок жизни, выбрасывающий миллионы икринок, чтобы выросла одна рыбка? В чем разница между Тобой и полководцем, посылающим солдат на смерть ради победы? Или администратором, урезающим квоты на бесплатные лекарства, чтобы выровнять доходы и расходы бюджета?

— Полководец не гибнет вместе с каждым солдатом, не остается доживать жизнь обрубком, без рук, без ног, без глаз. Я выношу всю бездну страдания и топлю ее в бесконечности творчества. Я умираю в каждой твари и воскресаю как Бог.

— Я прикоснулся к этой мысли давно, выслушав стихотворение «Бог кричал». Я понимаю, что Ты ничем не ограничен, даже пропастью между Богом и тварью. Ты и Бог, и каждая тварь. Ты вездесущ. Я одного не могу понять: почему тромб должен был попасть именно в сердце Иры Муравьевой? Свое мучение после ее смерти я давно принял. Но согласилась ли она с Твоим замыслом, если у Тебя был такой замысел? Согласилась ли она с порядком, при котором ей выпал этот жребий? Почему она не дошла свой квадрильон? Или она дошла? Познают ли души смысл своего бытия, своей доли за порогом смерти? Уходят ли они с миром в бесконечный свет? По крайней мере те, кто любил всем сердцем... Разве не все равно — Бога до ближнего или ближнего до Бога?

— Ты уже понял, что смысл во Мне. А во Мне все живы. Не спрашивай, как. Это тайна, которую не понять, только сердце может ей причаститься. И сердце видит смысл в глазах, через которые проходит Мой огонь, в живых глазах и в глазах икон... Без Меня — труд Сизифа, но в центре лабиринта бессмыслицы провал и в глубине ничто — Я. Разлитый как туман — Я. Родившийся от смертной — Я. Сама мысль обо Мне, войдя в твой ум, дает ему меру, перед которой все земные меры ничто, и все земные страдания ничто, и квадрильоны верст и лет ничто. Разве может рыцарь думать о своей ране, если ранен король? Помни эти слова

Мейстера Экхарта и смиришь, как он смирился. Король всегда ранен — и ликует сквозь боль. Это великая тайна, раскрывшаяся на Земле в судьбе Христа. Не отрывай от нее судьбы других сынов Божьих и судьбу каждой твари, в которой Я прорастаю. Степени высоты — мирская забота. В Евангелии сказано: всякому простится слово на Сына, но не простится хула на Святой Дух; и в Святом Духе нет степеней. Святой Дух диктует каждому, кто слышит:

Нет у жизни порога. Океан
впереди. Нарастание Бога В
этой смертной груди.
И немое сражение Двух
невидимых воль, Глины
сопротивление И великая
боль.
Кто осилит — не знаю,
Но конец — не конец. Пусть
Любовь распинают, Но
Любовь есть творец,
Всемогущая сила И начало
начал:
Даже тех сотворила,
Кто ее же распял.

(Зинаида Миркина)

Зинаида Миркина

О том, что не утекает

Вглядываясь в небо

Работа Авраама

Сколько слов о Боге сказано и написано людьми! Сколько богословских трактатов, теодицей... А горы по-прежнему молчат, подводят нас к Богу — и оставляют наедине с Ним.

Есть Горный дом в швейцарской деревушке Ко. Туда съезжаются люди со всего света. Там происходят конференции. Жители разных стран слушают друг друга. Но попадая туда, я неизменно чувствую, что главное слово принадлежит Горам. Как будто устроители Горного дома поставили себе целью прежде всего научить людей видеть и слышать, а потом уже говорить. И начиная говорить, люди сознают, что лишь переводят на человеческий язык божественный подлинник. Слова их становятся бережнее, тише. И постепенно растет чувство, что над каждым высказанным словом возвышается Гора Несказанного. И все мы находимся перед лицом Бога.

Какого Бога? Христианского? Мусульманского? Иудейского? Буддийского или индуистского? Мне задали этот вопрос. «Я не вижу лица вашего Бога», — сказал мой собеседник.

Я задумалась. И мысли мои ушли к далекому началу монотеистических религий, к нашему праотцу Аврааму.

По коранической легенде и по еврейской Агаде мальчик Авраам продавал глиняных божков в лавке своего отца и вскоре увидел, что божки эти не более чем идолы, создания рук человеческих. И тогда он ушел в Пустыню искать живого Бога, встретиться с Ним лицом к лицу. Лицо живого Бога... Где Оно? Что оно такое?

Над Пустыней взошла звезда. Прекраснее нее Авраам ничего не видел до сих пор. И он сказал — вот Бог мой! Но луна затмила звезду, а солнце — луну. И Авраам, менявший одного бога на другого, всё более прекрасного и могучего, вдруг понял, что Бога истинного нельзя увидеть физическими глазами. И

впервые человек поклонился незримому Творцу всего зримого.

Ни звезды, ни луна, ни солнце не стали от этого менее прекрасными и ничуть не меньше волновали его сердце. Но он почувство-

вал, что они — лишь частицы великого орнамента, частицы того Целого, которое не может предстать перед глазами человека, хотя бы по тому одному, что глаза эти — тоже его составная часть. «Ты невидим, потому что Ты — зрачок моего глаза», — сказал Тагор о Боге.

И вот человек, находящийся в Пустыне, впервые пережил Причастие и понял, что Бог не что-то отдельное, не предмет среди предметов, а то Всеобъемлющее, что включает нас в Себя. И пережив это, Авраам поклялся, что никогда не обожествит никакой части, ничего зримого, что имеет границы, форму.

С момента этой клятвы Авраам был обречен на свою страшную жертву. Чтобы служить незримому, необъятному Богу, надо быть готовым пожертвовать всем зримым, осязаемым, всем, что можно объять руками и умом. Даже сыном, обетованным, вымоленным, бесконечно любимым? Даже им.

Но почему обязательно такая невероятная жертва? Разве нельзя чтить незримого Бога и иметь горячо любимого сына? Это несовместимо? Совместимо. И в конце концов Богу эта жертва не понадобилась. Но готовность на нее — обязательна.

Тот, кто дал тебе сына, — прежде сына. Незримый источник жизни — прежде *всего* зримого. Творец — прежде твари.

Выбор между Творцом и творением есть, наверно, всегда. Это выбор между творчеством и обладанием. Все творения появляются неизвестно откуда и уходят неведомо куда. Они — преходящи, но они же есть знаки и символы чего-то не преходящего, не исчезающего никогда. Жизнь творения есть дар неведомого Творца. И каждое творение должно быть воспринято как дар Творца и отсылка к Творцу.

Есть звезды, и луна, и солнце. Но есть еще огромное пустынное пространство, вне которого они не могут появиться. Есть небо, в котором не ведомым для ума образом движутся светила, и есть сердце, в котором таким же неведомым образом происходит творчество. И небо и сердце должны быть всегда пустынными, предоставляя место Творцу. Если земное займет слишком много места, если мы не будем видеть и чувствовать небо, нам нечем будет дышать. Если сердце все целиком будет привязано к какому бы то ни было творению, к какой-то части бытия, эта часть займет место целого, творение станет на место Творца. И самая сильная любовь к творению, замкнутая на этом творении и не открытая Творцу, не будет любовью,

дающей жизнь. Она станет душевной любовью, в которой потеряна связь с источником жизни.

Творец... Незримый источник жизни... Имеет ли Он лицо? Бога не видел никогда и никто — гласит Библия. А лицо есть только у человека.

Однако что такое человеческое лицо? Чем оно наполнено? Что из него глядит? «Лицо, о лицо мое, чье ты? — восклицает Рильке в „Импровизации на тему Каприйской зимы“. — Для каких же существ и пространств ты — лицо? Что явилось лицом этой горной твердыни?..»

Действительно, есть ли у природы лицо? Или это слепоглухонемая стихия, равнодушная к нам сила, которой все безразлично? Какое-то могучее чудовище, с равным рвением создающее и разрушающее жизнь? Есть ли лицо у Деревя, у Горы, у Моря и Неба?

В них есть что-то, без чего наша жизнь лишена смысла. Они способны одарить нас великим счастьем, наполнить жизнью.

И все-таки лица в человеческом понимании у них нет, как нет и слова. Это есть только у человека. Но если лицо человека не наполнено небом, светом, красотой мира, это лицо пусто и безжизненно, как слово человека, которое говорит только о себе одном, слово без любви — кимвал бряцающий.

Природа, стихия, таящая в себе огромную жизненную силу, пока что безразличную к добру и злу, является как бы нравственным хаосом, которому еще предстоит образовать некий космос. Только слившись с лицом человека, наполнив это лицо, природа станет истинным космосом, а человек осуществит свое богоподобие, став микрокосмом. Когда человек почувствует Вселенную своим собственным телом, когда он почувствует неразрывную связь с каждой былинкой и каждой звездой и ответственность за каждую былинку и звезду, когда все человеческие души будут неотделимы от него, лицо его станет лицом мира, лицом жизни. Сосредоточив внутри себя всю жизнь, он вытеснит смерть из мира.

«Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Это, может быть, самые таинственные слова в Евангелии, не поддающиеся буквальному толкованию. Но слов бльшей силы я не знаю.

Итак, это лицо есть. Мы знаем Его. Это лицо как бы проявило некий негатив и сделало видимым лицо невидимого Бога.

Значит ли это, что кончилось время невидимого Бога? Что с приходом Христа Бог стал зримым?

Ведь вот же Оно — Его лицо. Оно глядело когда-то на людей

глаза в глаза. А теперь глядит на нас с икон. Все так. Но Бог по-прежнему остался незрим. Мы хорошо знаем теперь, что у него есть лицо. Но чтобы узнать это лицо, мы должны взглядеться внутрь самих себя. Только если душа наша стала чистым незамутненным зеркалом, если в ней осталось нетронутым, пустынным пространство для Творца, Оно, лицо это, изобразится в нас. И только тогда мы научимся Его видеть и узнавать. Иначе, как бы

близко Оно ни подходило к нам, Оно будет неузнанным, как в земные дни Христа.

Богочеловек — бесконечная помощь в нашей работе собирания Вселенной в единое целое. Но Он ни в коем случае не избавляет нас от этой работы, не делает ее за нас.

Значит, нам надо начать с работы Авраама, отказавшегося видеть что-либо отдельное как законченное и самодостаточное. С работы Авраама, готового принести великую жертву. — Ничего моего. — Все Божье.

Герой Рильке Мальте-Лауриде Бригге увидел мир примерно так, как Авраам увидел сменяющие друг друга светила. — Бесконечный ряд отдельных предметов, существ, спорящих друг с другом, борющихся, объединяющихся в группы, противостоящие другим и не догадывающиеся о своей неразрывной связи, о том, что они могут жить только как единое целое, а не как оторванные от целого куски.

— У мира нет общности — вот что увидел Мальте. — У мира нет Бога.

После 19 веков христианской цивилизации он вдруг почувствовал себя таким же одиноким, как удалившийся в пустыню Авраам.

Не звезду, не луну, не новое солнце, а нечто невидимое, связывающее все светила единым внутренним законом, — вот что нужно найти человечеству. Но никто даже не ставит перед собой такой задачи. И потому Мальте чувствует, что вынужден поставить ее один за всех. Поставить задачу и решить ее — найти, выявить, показать эту незримую связь всех со всеми. Непосильная работа, с которой он, может быть, и не справится. Но он начинает ее. Работа Авраама, требующая готовности принести в жертву Исаака. Полный отказ от самоутверждения. Всё, что мы видим, — лишь фрагменты, частицы Истины. Истину — лицо Бога — мы можем увидеть лишь как целое, собравшееся в некоем фокусе внутри нас. Наше самоутверждение есть великий самообман. И мы сами, и наши представления о Боге совершенно недостаточны, если они хоть кого-то исключают, хоть одну каплю бытия оставляют отдельной, не вмещенной внутрь. «Одна капля твари вытесняет всего Бога», — сказал Мейстер Экхарт. Любое противопоставление своего бога другому делает Бога не всеобъемлющим. А не всеобъемлющий бог — это не Бог.

На свете так много вероисповеданий. И все они делятся и размножаются. Но ведь размножаются только творения. Творец один. Я ничего не имею против множества путей к Богу и множества форм поклонения Единому. Но они должны осознавать себя лишь формами и путями, ведущими в единую

глубину, на одну высоту. Тогда борьба вероисповеданий друг с другом осозналась бы как борьба членов одного тела. Борющиеся друг с другом пальцы, руки, ноги... И — «любая победа — распятие Бога».

«Кто не любит своих врагов, тот не христианин, — сказал св. Си- луан. — В том числе и врагов церкви». Покажите мне церковь, которая признала и вместила бы это. А ведь это и критерий Соломона. Та мать является истинной, которая не дает расчленить ребенка.

У нас один земной шар, одно небо, один Бог.

Хотим мы или не хотим быть связанными с теми, кто нам совсем не нравится, мы все-таки связаны с ними. Это условие жизни. И осознание этой связи — наша задача.

Наши представления о Боге могут быть самыми прекрасными, наши мечты — самыми голубыми или золотыми, но пока мы вынесли за пределы Бога хоть одно искаленное безобразное существо, отвернулись от какого-нибудь отвратительного грешника — наш бог будет бессильной мечтой, а не истиной, ограниченной выдумкой, а не Безграничной Действительностью.

Безграничная Действительность подступала к Мальте-Лауриду-су как ужас, как «То, громадное», что опрокидывало его в детстве и несказанно пугало. Может быть, не меньше, чем пугала Авраама необходимость принести в жертву Богу Исаака. Дорогое существо или дорогие, а может, единственно возможные представления о мире — все должно быть принесено в жертву непредставимой реальности. О которой неизвестно ничего, кроме того, что она создала нас и этот мир. Она — Реальность. — Безграничная Действительность, сносящая все наши границы.

Есть одно стихотворение Гумилёва, в котором присутствует ужас, подобный ужасу, пережитому Мальте. Люди испытали этот ужас, когда впервые взглянули на небо и увидели тысячеглазое чудовище. Его многозвездный взгляд выдержать было невозможно. Те, кто глядел, умирали один за другим. Пока не взглянула в небо одна маленькая девочка. Она легла на землю, подняла глаза к звездам и — запела. Родилась песня. Родилась гармония, уравновесившая безграничное. Безграничность была вмещена в человеческую душу. Эта маленькая девочка и юный Авраам выдержали взгляд неба. И оставили нам эту задачу. Человек должен вместить Безграничность, или он будет опять и опять распинать Бога, раскалывать свое собственное сердце, расчленять душу и в конце концов погубит нашу Землю и небо над нашей Землей.

Призыв к осознанию нашего единства очень далек от

призыва к равенству всех со всеми, к духовному компромиссу во имя замирения. Речь совсем о другом. Мышь не может быть равна слону, камень — Горе, волна — Морю. Но волна едина с морем, камень с горой, каждое создание — с Богом. Верующие не равны друг другу. Они не равны степени своего приближения в Единству. Степенью осознания того, что я — не только я, а другой — не только другой. Все мы члены единого организма. И сознающий это берет на себя ответственность за другого. Высота уровня нашей религиозности прямо пропорциональна уровню нашей ответственности за всех и каждого.

Одной из самых глубоких встреч в Ко лета 1995 г. оказалась для меня встреча с Хайнцом Кригом. Мы сидели за одним обеденным столом на веранде в семистах метрах над Женевским озером, на другой стороне которого возвышались снежные французские Альпы. Мы с мужем и Хайнц Криг с женой. Мой муж и Хайнц Криг воевали когда-то по обе стороны фронта под Сталинградом. Об этом свидетельствовала покалеченная рука Крига. Но другой, здоровой рукой он чертил на бумаге конус и говорил, показывая на его вершину: здесь все религии сходятся. И сюда ведут множество путей. Но чаще всего люди идут не к вершине, а в самых разных направлениях по конусу, сталкиваются, враждуют и бесконечно отдаляются от цели...

И еще Хайнц Криг рассказывал нам свои сны. Один из них был таким: он шел по берегу моря и видел, что на песке что-то начертано — какие-то иероглифы или арабская вязь. Эти таинственные письмена что-то значили. Он чувствовал это всем сердцем. Но что? Волны слизывали знаки, которые он не сумел разгадать. Он шел дальше, и знаки проступали снова, и только проснувшись, он понял, что есть какая-то связь всего со всем, некое Целое, которое мы можем и должны проявить, увидеть.

Каждое явление в мире есть таинственный иероглиф. Каждое явление в мире бесконечно значимо. Оно не самодостаточный отрезок бытия, а живая частица великого Целого. У всего, что мы видим, есть незримый корень и уходящее за пределы Земли продолжение. И однако все нити бытия непостижимым образом скрещиваются у нас в сердце. Там, в нашей глубине, происходит эта работа обнаружения Целого, проявления невидимого орнамента, связывающего все миры, — работа Авраама.

Я не знаю

Есть такое дзенское стихотворение:

Как бабочка подлетает к едва
распустившемуся цветку.
Бодхидхарма¹⁷
говорит: я не знаю.

Чего не знает Бодхидхарма? И чему он радуется?

Потому что он ведь радуется своему незнанию. Он ведь радостен, как бабочка на весеннем лугу, полном свежих пахучих цветов. Так чего же он так радостно не знает?

Он не знает, когда и как началась жизнь и когда и как она окончится. Он не знает, как называется Причина жизни, точно так же, как бабочка не имеет понятия о названии цветка.

Что знает бабочка о цветке? Откуда он взялся? Куда уйдет? Живой цветок, как сама жизнь, неведом. Неведом нам. Не ведает о нас.

Весна! Она о нас не знает,
О нас, о горе и о зле.
Бессмертьем взор ее сияет,
И — ни морщины на челе.
Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая Весна.
Была ль другая перед нею,
О том не ведает она.

(Ф. Тютчев)

Вот оно — это мистическое неведение, которое является условием таинственного ведения. Неведенье всего внешнего и полное погружение внутрь.

Какое значение имеют все наши объективные знания о цветке, о жизни, если они не дают нам счастья? Зачем мне знать, как называется этот цветок, если от его запаха я не теряю ощущения пространства и времени, не уплываю на седьмое небо, к неведомым истокам бытия?

Зачем мне знание, если это не есть знание самого истока?

Сколько бы мы ни узнавали о цветке, о Море, мы будем вечно двигаться по замкнутому кругу, по окружности, равно удаленной от центра.

Сказать «я не знаю» так, как Бодхидхарма — или тютчевская Весна, — значит остановить движение по кругу, прервать, рассечь бесплодное кружение и рвануться к центру, провалившись внутрь — в себя.

¹⁷ Бодхидхарма — легендарный основатель дзэн (VI в.). По преданию, на вопрос, кто он такой, ответил: «Я не знаю».

С поверхности — в глубину!

С берега — в море!

Из клетки — в небо!

В полную неведомость! В полную безграничность!

Ибо граница есть, пока я нахожусь в мире разграниченном, разделенном на части.

Граница есть, пока каждый предмет закрыт от другого оболочкой, стеной — пока мы находимся на поверхности.

В глубине бытия границ нет! Знание о мире, о предмете есть знание оболочки, этикеток. Но там, где нет оболочек, — нет и знания о них.

Я не знаю своих границ. Я знаю свою безграничность. Я не знаю о смерти и о зле, я знаю бессмертие и любовь.

«Мир во зле лежит». Но тот, кто говорит «Царство мое не от мира сего», зла не знает. В Нем его нет. Неоткуда, негде быть. Зло там, где сталкиваются лбами, толкаются, отбирают пространство у другого.

Но во внутреннем мире нет другого. Там — все едино.

Попробуйте разделить море или небо на куски. Неужели Дух разделить легче? Бодхидхарма говорит: «Я не знаю». Но когда мистика спрашивают, верит ли он в Бога, он отвечает:

«Я не верю, я знаю».

Но ведь и Бодхидхарма — мистик. Так знает он или не знает?

О Боге он ничего не знает. Но самого Бога знает.

Когда Христа спросили: «Что есть Истина?» — Он ответил молчанием. Знал Он или не знал?

Он знал Истину, как знают самого себя. Изнутри. Погружаясь в Нее. Причащаясь Ей — до полной неразделимости с Ней. Как морская волна знает море. Она и есть море. Он и есть Истина.

Но от Него ждали определения, которое можно было бы отделить от Него самого. Такого определения Он не знал.

От Него ждали внешнего, объективированного знания, которым можно *обладать*. Но *такого* знания у Него не было. Обладать можно какими-то частными сведениями. Безграничной истиной *обладать* нельзя.

Вода в стакане прозрачна.

Вода в море — темна.

У маленьких Истин есть ясные слова.

У великой Истины — великое Безмолвие.

(Р. Тагор)

Можно выразить Истину в образах. Можно найти

поэтическое слово об Истине, так же как можно нарисовать или сфотографировать море и небо. Но поставить перед собой мы сможем только картину или фотографию. Небо и море всегда будут вне всяких рамок, ибо *Они больше нас*.

И великая Истина больше нашего сознания.

Можно приблизиться к Ней, как к морю. Можно почувствовать себя как бы на Ее берегу. Можно ощутить, как Она бьется о стенки нашего ума, грозя смести их, размыть. Можно почувствовать это со страхом или с восторгом. Можно радостно выйти из своих рамок, выйти из кожи вон, навстречу Истине, как бабочка вылетает из кокона. Или — не выходить, а сопротивляться Ей. Это тоже можно.

Нельзя только одного — совместить безграничную Истину со своей ограниченностью. Нельзя сохранять рамки сознания, не отрываться от дна, не терять из виду берегов и в то же время говорить: я знаю безграничную Истину. Вот это невозможно.

Если ты действительно созерцаешь Безграничность, ты говоришь «я не знаю» со всем мужеством, со всем смирением, а под конец — с ликованием. Ты сознаешь несоизмеримость всякого внешнего знания с внутренней Безграничностью. Ты даешь согласие на Тайну, не вмещающуюся в твое ограниченное сознание.

Тыходишь в Тайну, как входят в море. Ты теряешь дно под ногами. Теряешь всякую внешнюю привычную опору и ощущаешь священный трепет. Окунающийся в Бесконечность всегда трепещет. Этот трепет и есть религиозное сознание.

Сознание Тайны, открытой перед нами как море и небо, распахнутой перед всеми и все-таки вечно остающейся Тайной, сколько бы Ее ни познавать. Она неисчерпаема, эта Тайна. И —

Какое счастье жить на берегу Того,
что сердце исчерпать не в силах!

Разница между религиозным и атеистическим сознанием отнюдь не в том, что одно знает, что Бог есть, а другое — что Бога нет. Тут, как говорил Достоевский, всегда может быть разговор не про то. Иногда говорящий, что Бога нет, может быть по существу религиозен; а утверждающий, что Бог есть, — по существу не религиозен. Разграничение это проходит где-то не на линии слов.

Религиозное сознание — это трепетное сознание Тайны, превосходящей наш ум. Атеистическое сознание — сознание, лишенное трепета перед Неведомым и Безграничным.

Бестрепетная уверенность в своей истине, бестрепетная уверенность в том, что ты можешь обладать истиной, есть свойство

атеистического сознания, даже если оно принадлежит религиозному фанатику.

Ибо уверенность в себе и вера в нечто бесконечно высшее, чем ты сам, не вмещающиеся в рамки слов и определений, — это вещи совершенно разные.

Бестрепетная уверенность в четком и точном, безапелляционная уверенность в абсолютности относительного и есть идолопоклонство.

Фанатизм есть бешенство ограниченного сознания, пытающегося подчинить себе мир и подменить собою Безграничность.

Священный трепет истинно религиозного сознания — это трепет перед внутренней Безграничностью, а не перед внешней мощью; трепет перед неисчерпаемостью Тайны, а не перед непробиваемостью стены. Это трепет только что родившихся или еще не рождающихся крыльев, ощутивших простор неба. Трепет, с которым проходят через смерть. Да, надо пройти через смерть собственных границ, чтобы воскреснуть в Безграничности, с восторгом приветствуя Ее, как птица — зарю.

Можно быть правым или неправым в каком-то частном споре. Это ничего не решает. Решает, есть ли у тебя бестрепетное сознание обладателя Истины или его нет, а напротив, есть священный трепет перед Ее непостижимостью.

Когда неофит отстаивает свою Истину, он, как правило, не замечает, с какой бестрепетностью это делает. Ему важно доказать или оттолкнуть. Но Истина не доказывает себя и не отталкивает других.

Она — не о том.

Она по ту сторону себя и других. Она — в другом измерении. Она не фотография, она не лежит на плоскости нашего сознания. Она — море и небо. Она — наше новое измерение. А по отношению к старым измерениям — наша Безмерность.

И Тот, кто не знает границ своего Духа, тот, кто знает свою внутреннюю духовную Безграничность, будет снова молчать, как 2000 лет назад. Он будет молчать перед ограниченностью всех обладателей Истины, и они снова будут делать с Ним все, что им заблагорассудится.

Узкий вход в бесконечность (Рильке и Россия)

Есть братья у меня, одетые в сутаны,
Там, далеко, где южный лавр высок —
В монастырях, в залитых солнцем странах.

И грежу я о юных Тицианах,
К которым в пламени приходит Бог.

Но есть во мне мой Бог, и он как мгла,
Как молча пьющие в потемках корни.
Я только знаю глубиной всей,
Что возникаю из Его тепла.
Я — в нем, внутри, откуда в мир просторный
Доносится лишь тихий плеск ветвей.

Это стихотворение из «Часослова» Рильке — книги, написанной от лица русского инокa, как бы сборник его молитв и раздумий. В русском инокe почувствовал Рильке свое второе «я», в России увидел свою духовную родину.

При этом «братья, одетые в сутаны» и живущие в южных монастырях, остаются *братьями*. Они не враждебны, не чужды ему, северянину. Лирический герой Рильке иногда грезит о них. Их пламенный Бог вызывает у него восторг. Но у него есть *свой* Бог...

И у Бога этого, может быть, нет никаких отличительных черт. У него вообще нет четких черт. Черты проступают потом, на поверхности. А в той глубине, где находится этот Бог, царит ощущение таинственной общности, в которой зачинаются все формы. Их множество. Но их существование возможно только потому, что там, на глубине, есть это непредставимое *сквозьмирное* единство.

Корень бытия... Ощущение этого Корня — сквозная тема Рильке.

Там, в основание — немой
Корень глубокий,
Сросшийся с древнею тьмой,
С тишью Истока...

О загадочной русской душе говорилось много. Не слишком ли много? Не миф ли это? И может статься, «никакой от века загадки нет и не было у ней»... Одно воображение, усыпляющее народ, который никак не может устроить собственную судьбу, навести порядок в доме?

Я думаю, что великая загадка была и есть. Это не романтика — а реальность. Эту загадку загадывали и загадывают нам русская природа, российские просторы. Загадка Бесконечности, обращенная к человеку. И разгадать ее способен тот, кто посмотрелся в ясное зеркало нескончаемых северных зорь и — нет, не понял, но почувствовал всем сердцем, что ему надо

отмыть свою душу до такой же ясности, обнажающей Бесконечность, что Бесконечность эта нам заповедана, что душа человеческая так же всеобъемлюща и неделима на куски, как этот простор перед нами и над нами.

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно.
Спит Земля в сияньи голубом.
Что же мне так больно и так трудно? —

(М. Лермонтов)

Действительно, что же так больно и так трудно, когда чудо рядом? Когда мировая гармония вся перед тобой — но в то же время далека, как звезда небесная?

И почему же в общем хоре Душа не то поет,
что море,
И ропщет мыслящий тростник?

(Ф. Тютчев)

Оказывается, запеть «то» не так-то просто. Но душа слышала «то» и знает, что это такое. У нее есть свой камертон, своя мера. Она мерится полной мерой. Она знает, сколь многого ей не хватает. И тоскует по своему изначальному «Я», равному Бесконечности. Сколько конечных суетных вещей отвлекали от Бесконечности, но тот, кому она хоть раз предстала, ЗНАЕТ ее и стремится к ней.

Только когда открылось над головой небо Аустерлица, князь Андрей понял, насколько же до сих пор все было не то, не то...

Цельному морю нужно все небо.
Цельному сердцу нужен весь Бог.

(М. Цветаева)

Весь Бог — вся Бесконечность — вот она, загадка цельного сердца, и ничем оно не удовлетворится, кроме всей Бесконечности.

Быть в гармонии с Бесконечностью — вот его великая задача, не сводимая ни к каким другим задачам. Хотя есть и другие.

На берегу пустынных волн Стоял он, дум
великих полн,
И вдаль глядел.

И думал он: отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен Назло
надменному соседу...

Таким взрывом деловой энергии ответил Петр Великий на вызов Пространства. Это фаустовский ответ. Европейский. Петр — один из любимейших героев Пушкина. Пушкин любит его, влюблен в его творение. Петр в «Полтаве» почти божественно прекрасен, но у Пушкина, как и у Рильке, есть СВОЙ Бог. И ему недостаточно мощи и красоты. Он должен быть еще велик нравственно.

Оставь герою сердце. Что же Он будет без него? Тиран.

Если Гёте, взвесив на небесных весах дела Фауста, простил ему Филимона и Бавкиду, то Пушкин ни к какому ясному ответу нас не привел. В конце «Медного всадника» он оставляет читателя на берегу Бесконечности, перед великим вопросом. Дело жизни Петра свершено. Город построен. Творческий гений проявился так полно, так блистательно! Он ли не оправдание всем жестокостям Петра? Но безумный Евгений, грозящий чудотворному строителю, задает неразрешимую задачу всей русской литературе. Он станет родоначальником того маленького человека, который ляжет на русском сказочном раздорожье: не переступишь через него, вперед не двинешься — дела не сделаешь. Переступишь — душу потеряешь, сердце окаменеет. Иными словами: не переступишь — окажешься бессильным, переступишь — медным.

Как же остаться живым из плоти и крови, а не из меди — и все-таки сильным, не раздавленным? Это логически неразрешимая задача, она стоит перед человеком изначально. Со времени написания священных книг.

Это вопрос Бесконечного неба, обращенный к Бесконечной душе. Однако человек живет не только под небом, но еще и под крышей дома. Крыша прикрывает от дождя и холода, и она же отгораживает от неба. Человек не может не строить дома, не может не ограничивать пространства стенами, но нельзя замуровывать выходы из дома, закрываться наглухо от Бесконечности. Иначе тюрьма, а не дом. Человек должен жить, как бы помня, что у него два дома: земной ограниченный и

небесный безграничный.

Если созерцающий пространство Петр задумывает великое Дело, то выходящий на дорогу лирический герой Лермонтова хочет только «досмотреть» простирающееся перед ним чудо до полного слияния с ним, до исчезновения вопросов.

Я б хотел свободы и покоя,
Я б хотел забыться и уснуть.
Но не тем холодным сном могилы,
Я б хотел навеки так уснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь...

И опять не могу не процитировать Тютчева:

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Это уничтожение малого, отдельного «я» есть причастие Бесконечному. Растворение в вечерних сумерках перекликается с растворением в Весне, с восторгом погружения в миротворчество.

Игра и жертва жизни частной,
Приди, отвергни чувств обман
И ринься, гордый, самовластный
В сей животворный океан.

Приди, струей его эфирной Омой
страдальческую грудь И жизни
божески всемирной Хотя б на миг
причастен будь.

Не этого ли причастия ждет от нас великая Творящая Сила?

Не для этого ли глядит в нас всем своим бессонным, бездонным внимательным Простором?

И как чувствует на себе этот взгляд русский гений!

«Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» Какой русский не знает этой цитаты? — можно было бы сказать, перефразируя того же автора. «Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца?» И далее без перехода: «Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти

ему?» Но беспредельная мысль и богатырское дело, удал богатырская — может быть, не так быстро сопрягаются друг с другом, не так безусловно переходят одно в другое... Гоголю никак не удавался богатырский подвиг. Русь глядела и глядела в него своими загадочными глазами и не принимала его ответа... Все, что он ни делал, было мало ей, да и нужно ли? Он ясно чувствовал, что чего-то самого нужного не сделал. И — никак не может сделать. Не от того ли — трагический конец. Не ответил Простору. А отвести взгляда — не мог.

А Лермонтов и Тютчев, острее, чем кто-либо, чувствовавшие призыв Космоса, желавшие слиться с ним, «вкусить уничтоженья»... Разве они достигли желаемого? Можно ли сказать, что это были гармонические поэты?

Нет. Никак.

Это были расколотые поэты. Поэты, глубоко тосковавшие и мечущиеся, мучимые Бесконечностью. Их глубокая тоска, их непрекращающаяся жажда могли быть утолены только из Вселенского источника, только согласием со всей Вселенной, с каждой звездой, и с каждой былинкой, и с каждой душой.

Может быть, вся великая русская литература священна глубиной, силой и неотступностью своего вопроса, неотступным стремлением к Бесконечности, постоянной тоской по ней. Но вопрос еще далек от ответа. А связь скорее напоминает мучительную, доводящую порой до безумия влюбленность, чем благодатный и плодотворный любовный союз.

В небесах торжественно и чудно...

Что же мне так больно и так трудно?

Но уйти от беспредельных небес, закрыться в доме и заняться какой-нибудь полезной деятельностью?.. Каким саркастическим смехом ответил бы Лермонтов... Можно ли уйти от своей души, выбрать себе душу поменьше, так чтобы донышко было видно? Нет, не получится. Надо устанавливать отношения вот с этой, бездонной. Но как это больно и трудно!..

Все истинные герои русской литературы устанавливают отношения со своей бездонной душой. И прежде всего, герои Достоевского. Тот, кто не чувствует в себе бездонную душу, тот вообще за пределами внимания писателя. Он еще как бы и не живой человек вовсе, а нечто вроде Петра Петровича Лукина, который вполне доволен собой, не мечется, не мучается, но и не живет. А почти все другие, живые — сплошная мука. И однако же с ясным чувством, что там, в небесах, — торжественно и чудно... Соединить небо и землю никак не удастся — почти никому. Но если неба нет, если нет измерения высоты, то и

жизнь земная теряет всякий смысл.

Как ни безобразен бывает Митя Карамазов, он слышит, как там, у него в душе (или в том необъятном просторе, который — та же его душа) — «дитё» плачет. И он, Митя, обязан успокоить дитё. Вот когда жизнь его будет оправдана.

«Широк, слишком широк человек, — сокрушается Митя, — я бы сузил». Как сузил? Что это значит?

Может ли жить человек, чувствуя одновременно тягу и к небесной красоте, «идеалу Мадонны», и к безобразию, «идеалу содомскому»? Жить, чувствуя Божье небо над головой и адскую бездну под ногами?

Но такова реальность. Именно так, между этих двух бездн, мечутся герои Достоевского. И великий, мучительно добытый духовный опыт писателя отливается во фразу, так затрепанную сегодня: «Мир красота спасет».

Красота, божественная красота не отпустит душу, не отдаст ее на поругание. Сила жажды красоты не уживется с безобразием. Огонь божественной ревности сожжет безобразие. И залог этому — то, что без Красоты, без небес, в которых торжественно и чудно, *не может* жить Душа. Поэтому от Красоты этой душа не отступится, как от самой жизни. Но пока идет борьба, пока еще две бездны совмещаются — больно и трудно. И как!..

И от этой боли бежать хочется куда угодно! Только бы не видеть этих неотступных тихих глаз Бесконечности... Может, русский

бунт, бессмысленный и беспощадный, — реакция на невыполненную внутреннюю задачу?

Это от нее, от бесконечной бессмертной своей души бежит Митя Карамазов, размахивая пестиком, почти что готовый убить отца. От нее — соблазняет чёрт укрыться Ивана, «вселиться в семипудовую купчиху»... Все, кажется, лучше этой неразрешимой муки...

И вот появляются спасители народа, которые обещают избавить его от боли, от анархии, от безобразия. Сузить. Извне, взмахом топора. Вместо Бесконечной меры предлагается прокрустово ложе. Именно для того и предлагается, чтобы отрубить это излишество — бесконечную бессмертную душу. От нее — все беды. А без нее — все будет хорошо.

И родится на земле нашей — шигалевщина... Торжествующая шигалевщина, едва не соблазнившая полмира простотой и выполнимостью задачи, ясностью и мнимой доступностью целей и средств. В прокрустово ложе не умещалась Бесконечность — и она была упразднена. Готовилось это прокрустово ложе давно — со времени первых народовольцев, твердо знавших, кого и что им надо убирать с дороги народного счастья. Больше века вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» набирали силу и оттесняли молчаливый вопрос Бесконечности, избавляли нас от Предстояния Ей. И только сейчас, когда Утопия рухнула, мы снова остались с глазу на глаз с молчаливым простором, уже поруганным и загрязненным нами, распятым нами простором... Снова глядит он в нас и чего-то от нас ждет. Чего же?

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?

(Н. Гумилёв)

Действительно, что с этим *делать*?

«Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать»...

Да, с этим нечего *делать*. Это надо *вместить*. Надо затихнуть и очиститься до состояния ясного зеркала.

Тихих зеркал неподвижные шири,
Кто вашу суть разгадал и назвал?
Эти просветы — сверкнувшие в мире,
Время стоящее, в вечность провал...

Это опять Рильке... Он хорошо знает, что пока душа не

станет таким вот чистейшим зеркалом, она не выполнит своего назначения в мире.

С какой тоской видит он замутнения наших душевных зеркал! Век все больше и больше отходит от Вечности и не только не выполняет задачи очищения и преображения — он перечеркивает эту задачу; в погоне за множеством конечных задач теряет сверхзадачу — постижение Бесконечности — и проскакивает на своих новых скоростях мимо собственной сущности.

Древнюю дружбу богов, этих великих, незримо и ненавязчиво сущих... Мы их не слышим в азарте гонки, в гудении машин. Что ж, их отринуть должны мы, или начать вдруг искать их поселения на карте? Властные эти друзья, те, что в незримые дали мертвых берут, никогда не обнажат свои лики... Наши купальни, кафе, игрища наши и крики их отпугнули. Мы так давно обогнали медлящих проводников в Вечность. И так одиноки Рядом с другом, друг друга не зная...

Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки, дивным меандром. Он — краткость, прямая...

(Сонеты к Орфею. 24.I)

Век спрямляет пути, становится прямолинейным и плоским, теряет глубину. Покоряя пространство и время, он на самом деле оказывается в плену у них. Век теряет тоску по Бесконечности, теряет жажду духовную. Это для Рильке катастрофа. И тут он в начале века обращал взгляды к России, которая, как ему представлялось, не может потерять этой жажды, ибо тогда она потеряет самое себя.

Россия — страна, граничащая с Богом, чувствовал Рильке. Если ступил на Российскую землю, оказался рядом Бог... Россия, как и он сам, кружится около узкого входа в Бесконечность — входа в то самое царство, которое внутри нас. Ему нет конца и края, этому царству, но как трудно туда войти! И образ русского Севера становится знаком этого трудного входа, так же как в других стихах — образ зимы:

Каждый день ты встаешь перед сердцем моим,
Крутизна, бездорожье.
Без меры и края —
Бог, в котором один я блуждаю.

Оступаюсь. Встаю. О, тропа круговая,
Внутрь ведущая!

Так начинается «Импровизация на тему Каприйской зимы». Это поэма о Созерцании, о духовном труде воссоединения с миром и с самим собой.

Может быть, нет труда большего, чем этот.

Это задача, как войти в игольное ушко. И нет другого способа, кроме аскезы, но добровольной, внутренне необходимой аскезы — отбрасывания всего лишнего. Войти в свое внутреннее пространство может только тот, кто отказался от всего НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО, не необходимого. Входящий внутрь должен не дать отвлечь себя ничему внешнему. Отвлечь — развлечь — значит распылить, раздробить внутреннюю силу, которую мы *должны собрать* воедино.

«Что же мне так больно и так трудно?» — спрашивает Лермонтов. Рильке очень любил это стихотворение и превосходно перевел его на немецкий язык. Но все его творчество — это готовность на боль и на труд. Это неотступное созерцание того же Торжественного простора и вмещение его внутрь себя. Иногда это тяжело до того, что кажется, может разорваться земная оболочка, но

Какого немого упорства полна Твоя воля,
стянувшая столько путей,
Точно сеть желобов, в этот омут без дна,
В эту дикость седых пропастей!
Дай мне, дай мне, смыкая глаза, проглотив Свое
зренье, стать молча спиной к громадам,
Встать и ждать, ощущая Твой край, Твой обрыв,
Чтобы это кружение чувств, водопады В крови
улеглись, и я снова сумел Обрести свое место,
свой ясный предел, —
Зреть и слышать.

Ему надо *понять* волю Творца жизни, чтобы сотрудничать с ней. Ему надо как бы нащупать сердцем — Вечность.

Все ли движется? Все ли во мне сорвалось С
мест? А нет ли в глубинах чего-то
Неподвижного? Центр мой внутренний. Ось.
Это самое чуткое... То, что в пустоты Сбросит
вихри.

И вот из глубины глубин приходит вопрос: кто он сам? Что

такое его лицо? Существует ли он отдельно ото всего безликого, безязыкого, громадного мира? Что такое этот мир? Тысячи и тысячи различных лиц, тел, которые борются друг с другом, отнимают друг у друга пространство. Или?..

Ответ на вопрос этот приходит из тишины созерцания. Рождается великая отгадка: все, что он видит и слышит, только на поверхности кажется сонмом разрозненных существ. На самом деле это **ОДНО КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО**, одно существо, включающее в себя всё и всех. Но — его нельзя увидеть **ПЕРЕД СОБОЙ**, ибо **ОНО** — в тебе. И ты в **НЕМ**. И Его поймет (увидит сердцем) только тот, **КТО НАЙДЕТ СВОЕ МЕСТО В НЕМ**, отгадает свое назначение.

Лицо... Лицо человека предстает перед мировой Всецелостью. — Не какой-то внешний, чужой бог отвечает за наши страдания. Мы сами отвечаем за страдания мира. Всего мира, ибо мое лицо — лицо всего, что в мире есть:

Лицо, о лицо мое,
Чье ты?
Для каких же вещей и существ Ты лицо?
Что зовется лицом этих темных провалов,
Этих внутренних бездн, где концы и начала,
Черт не зная, влились в нескончаемость линий?

Есть у леса лицо?
Есть лицо у твердыни Этой горной?
И разве вмещается море В лик? В него
погружаются зори.
И небесный простор, в нем расправленный, пуст
Как сплошное чело — без очей и без уст...

Так вот чего хотят от нас наши великие молчащие просторы — нас самих. У них нет глаз. Они хотят глядеть через наши глаза. Они хотят заполнить наши глаза до краев. Они хотят, чтобы наши глаза вобрали бы все, что есть в них, и глядели бы за всё и всех...

Всякое противопоставление одних другим — иллюзия. Нас нельзя разнять на отдельные существа, как нельзя разнять ладонь на пять пальцев, не убив ее. Как нельзя разделить на куски небо. Небо — образ нашей единой внутренней бесконечности. И хочет оно от нас только одного: чтобы мы поняли сами, по чьему образу и подобию созданы.

За вещью вещь в неистовой погоне Мы

разрываем. Но внутри предмета Нет ничего.
Опять пусты ладони.
Мы жаждем ЗНАТЬ. — И в старой книге где-то

Подчеркнуты места, непостижимо
Невнятные... Ты там прошел. Но — мимо.

Кто удержал тебя? Идешь, ломая Все
загражденья — мимо нас, сквозь нас.
Те говорил? Но вновь душа немая.
Ты здесь дышал? Но где же ты сейчас?

Так и со мной случалось. Но Тебя я Не
спрашивал. Я лишь служу Тебе И жду
Лица, сквозь вещи прозревая Невидимое.
По ночам в мольбе Склоняюсь, не жалуясь.
Я — вглядываюсь...

(«Импровизация на тему Каприйской зимы».
Все переводы Рильке мои. — *З. Миркина.*)

Вслушиваясь во время

Смена идей, или Преображение
Год назад в «Новом мире» (1988, № 8) появилась статья А.
Латыниной «Колокольный звон — не молитва». Статья эта
вызвала много откликов в умах. И несколько — на печатных
страницах. Затем появилась новая статья Латыниной, уже в
«Московских новостях» (1989, № 1).

Итак, переключка, перезвон, если воспользоваться той же
метафорой, продолжается. А вот молитва... Что она такое и как
к ней перейти? Вероятно, автор, взывающий молитвы, имеет в
виду истинное духовное действо, поиск глубинного
направления, духовную ориентацию в дезориентированном
мире. Что ж, намерения прекрасные. Попробуем разобраться, к
какой молитве зовет нас А. Латынина, кому и как хочет она
молиться.

Правда, когда интервьюер задал подобный вопрос Феллини,
маэстро заметил, что вопрос этот пахнет инквизицией;
однако от ответа не уклонился. Ответил честно. Хотя думаю,
что для многих такой ответ — не ответ, а чистая уловка. Он
сказал, что в момент захваченности делом, страстью, в момент
перенакала, высшего азарта он вдруг чувствует, что должен
остановиться и как бы выключиться из хода событий. Пусть
все будет, как будет. Он ни о чем не просит, ни в чем не
заинтересован. Отказ от своей воли — вот это он и ощущает как
молитву.

Мне такой ход мыслей бесконечно близок и дорог. Но все-таки ответ ли это? И молитва ли это? Кому? О чем? Ни о чем и никому.

И, однако, думаю, что именно это и есть молитва. Ибо настоящая молитва начинается с предоставления себя Высшей и всегда неведомой нам Воле. Не мы действуем, а Она — в нас. Мы же только чувствуем в самой глубине нашего существа, что Она — Воля эта — Высшая. И говорим: «Да будет воля Твоя, а не моя».

Прислушивание к этому Высшему, умение затихать перед Ним (перед ней: древние называли это Музой) — начало всякой творческой работы. Кто знает, что такое эта работа, тот ни с чем другим ее не спутает. И как прекрасно было бы всем идеологам, публицистам и радетелям Истины знать, что Истину не добудешь, наступая на горло собственной песне и слишком идеологизируя действительность. Наши настоящие отношения с действительностью всегда сродни художественному творчеству. А оно есть нечто многомерное и ни в какие наши линейные представления не укладывается.

На вопрос «Что есть Истина?», задаваемый нашим разумом, художник сплошь и рядом отвечает так же, как Христос Пилату, — молчаливым показом несказуемой Истины.

Показать Истину... Это дело художника — показать то, что он увидел внутренним зрением. Не тот обрывок, который предстает внешним, физическим глазам, а нечто, уводящее внутрь, к целостному образу.

Вовне всегда обрывки. Чтобы объять Целое, надо уйти внутрь.

Дело художника — показать. Дело глядящего — увидеть. Но не так-то просто увидеть даже живую воплощенную Истину. «Имеющий глаза да видит». Ну а как быть слепцам, у которых духовное зрение еще не развилось? И таких слепцов много. Есть ли хоть какие-то ориентиры вовне?

Есть. Простой евангельский ориентир: «По плодам их узнаете их. Ибо плод добрый от древа доброго, а плод злой от древа злого».

Вот и все. Такая вот абстракция — Добро и Зло без всяких эпитетов. Не классовое, не национальное, не конфессиональное. Не слишком ли уж просто? А не есть ли это та самая «неслыханная простота», о которой Пастернак сказал, что

...мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Эта Простота очень далека от логического упрощения. Это нечто совсем иное: перевод восприятия на другой уровень Бытия — уровень Целостности. И это наша главная духовная задача: восстановление Целостности человека, то есть единства человека с самим собой, с другими людьми, с миром.

Целостность. Связь. Это и есть религия в ее первоначальном смысле. Дьявол — логик. И своей блистательной логикой он пытается упростить нам духовную задачу, свести ее к чему-то внешнему. Он хочет оторвать цепь рассуждения от процесса высветления души; оторвать мысль от сердца, оторвать одно сердце от другого — расколоть целостность нашего духовного «я», нашего бесконечного «я», в котором все мы друг с другом связаны.

Но вернемся к статье А. Латыниной. Пафос этой статьи благородный. Она хочет уберечь нас от новых крайностей, от которых время давно устало. Она говорит: «Время напоминает о трижды осмеянной радикалами теории малых дел — именно малые дела сегодня и способны постепенно преобразовать общество». Она обращается к древней мудрости «Махабхараты» и цитирует слова Кришны: «Итак, не плодов ты желай, адеянья...». «Долгое время, — пишет далее Латынина, — мы желали только плодов, звали „грядущие века“, еще несколько усилий — и наши дети, наши внуки будут жить при...»

Да, мы устали от жертв «светлому будущему», которое превратилось в страшного Молоха и съело настоящее. Здесь у меня с Латыниной нет ни тени спора.

«Время устало от окончательных идей», — говорит она. И опять с ней невозможно не согласиться. Все радикальные окончательные Идеи оказались безответственными утопиями и завели нас в тупик. Вот они, эти основные идеи. Их две: социальный радикализм и радикализм национальный. Если идея классовой исключительности вела к утопии безнационального бытия, то отталкивание от этой идеи приводит автора статьи к мыслям о реальности бытия национального, то есть к умеренному национализму, или, если до конца освободиться от надоевших слов, — к естественному национальному самоощущению, обязательно самокритичному, без всякого национального самодовольства.

Все это прекрасно. И, на мой взгляд, бесспорно. Сердце не может не откликнуться на трезвый голос, одергивающий новых ми- фотворцев, которые ищут врагов нации там, где раньше искали врагов класса или врагов народа. «...Разрушали церкви люди того же духовного типа, что и те, кто теперь ревностно ищет виновного в разрушениях, — люди, легко дающие увлечь

себя мифу, духовно поработить...» Нет, не Каганович рушил церкви, говорит Латынина, а вера в социальную утопию, та самая вера, что рушила и синагоги, и мечети, и памятники светской культуры. Точно так, как в свое время христиане рушили античные храмы и статуи, не считаясь с тем, что это великие культурные ценности. Дело все в смене веры, в новом божестве, которому не ужиться со старым. Храму Христа Спасителя нельзя было ужиться со зданием, стоявшим напротив, — то есть с Домом на набережной. И даже если Каганович и предавался идее разрушения с особым сладострастием, дело не в нем, а именно в новой вере, которая началась вовсе не с Кагановича и не со Сталина.

И это верно. Все верно. А дальше следует логический вывод о том, что «надо расстаться с кастовостью наших группировок, рождающей привычку лупить по именам, а не спорить с идеями». Кажется, не придерешься? Железная логика. А мне хочется именно на этой фразе остановиться и прервать здесь логическую цепь.

Ну конечно, идея виновата. Об этом сейчас много пишут все, кто хочет выглядеть лояльными в спорах, — и не только Латынина, а Латынина не только в «Новом мире» (в этом же духе и другие ее статьи: в «Московских новостях», в «Литературной газете»). Но неужели только идея? Ведь идея не входит в жизнь без интерпретации, без людей, ее интерпретирующих. Можно ли сделать ответственной за все саму по себе идею, которую так же легко отделить от человека, как масло от воды? Тогда, пожалуй, не так далеко до полного детерминизма в истории. И оттого, что Каганович исходил из идеи пролетарского интернационализма, а не жидомасонства, еще вовсе не следует, что, покончив с идеей пролетарского интернационализма, мы все объясним и тем более переменим.

Четкая разделенность человека и идеи помогает отряхнуться от ложной идеи и выйти сухими из вод истории. Стоит только понять, какая идея верна, а какая нет, и вот мы уже обладатели истины, знаем, как надо, и способны учить других. Ну разумеется, совсем не тому, чему учили нас. Может быть, прямо противоположному, ибо теперь мы знаем. Неужели все дело в знании?.. Но ведь и они «знали». Из того, что мы видим теперь, что они ошибались и жестоко ошибались, еще не следует, что мы сами научились жить и мыслить безошибочно.

И неужели все они одним миром, одной идеей мазаны и их человеческие лица слились в одну массу? Только потому, что имели общую веру?

А не является ли такой взгляд на вещи тоже чересчур радикальным? Не слишком ли быстро мы нашли корень зла? И

не напоминает ли это нам что-то другое, что мы уже проходили? Идея самодержавия в корне плоха. Поэтому неважно, каким человеком был царь. Искать в царе человеческие черты — это следствие неуглубленного взгляда на историю. Важно только то, что он — царь. Реформы бесполезны. Надо свергать самодержавие!

Вот и Сталин сам по себе пешка. Он был жестко предопределен. В других странах, пошедших по тому же пути, непременно находится свой Сталин, неважно, под каким именем — Мао или Пол Пота. Борьба вокруг завещания Ленина представляется Латыниной детской игрой, все участники которой заранее обречены. Один должен выиграть, остальные подчиниться. И что тут толковать, кто именно?

Латынина (в противоположность Стивену Козну) не хочет выбирать между Бухариным и Сталиным, и из того, что ей не нравится статья Карякина, просит не делать выводов, что она за Жданова. «Либо ты в восторге от статьи Ю. Карякина, — пишет она, комментируя Б. Сарнова, — либо ты за Жданова. Либо ты молишься на Бухарина — либо ты сталинист. А если тебе Сталин отвратителен, но и Бухарин, утверждающий в своем предсмертном письме, что у него „вот уже седьмой год нет тени разногласий с партией“, не кажется достаточно разумной альтернативой Сталину — тогда как?»

Выходит, что все перечисленные — прежде всего социальные радикалы и совершенно не стоит разбираться, чем они отличаются друг от друга. Неужели так? Все дело только в идее?

Но ведь в свое время революционная идея захватила даже Платонова... «Котлован» и «Чевенгур» — это было уже потом. А сперва захватила. И онова? Не призывал ли Блок слушать Музыку Революции? Не рифмовал ли Белый Россию с Мессией (грядущего дня)? И сколько еще имен можно поставить рядом! Правда, эта захваченность длилась недолго. Но можем ли мы так точно знать, кто еще из погибших тогда отошел бы потом, а кто нет? А тот же Бухарин, который в конце жизни в тюремной камере писал о человеческой природе и на очной ставке советовал своему ученику Ал. Айхенвальду «забыть об идеологических вопросах, экономике, политике и попытаться понять смысл и цену жизни вообще»¹⁸. А Рубашов из «Слепящей тьмы»? Он все равно проклят? Что он, что Сталин — нам не важно?

А что если зло лежит не в идее самой по себе, а где-то еще глубже? А что если, перефразируя Аллу Латынину, мы и

¹⁸ Бергер И. Крушение поколения. Флоренция, 1973, с. 141.

старые идеи социального радикализма чувствуем изжитыми и никакой новой идее молиться не хотим? Даже идее личной свободы? Тогда как? Если мы ищем вину все-таки в человеке, а не только в отвлеченной идее и считаем, что не идея создала человека, а человек идею? Что если нас больше волнует вопрос не о том, какая идея верна, а какая неверна, а о том, почему одни и те же идеи становятся «материальной силой» в определенных умах и в определенные времена и не становятся такой силой в других умах, в другие времена или на иных географических широтах?

Одни и те же идеи... Почему и как видоизменяются эти идеи, почему один и тот же идеологический вирус действует совершенно по-разному в разных организмах? И может ли организм влиять на вирус или только вирус на организм? Есть ли жесткий исторический детерминизм, или мы придерживаемся других мыслей, и более углубленный взгляд на историю предполагает для нас включение такого понятия, как свобода воли и чувство личной ответственности, которые каким-то таинственным образом все-таки взаимодействуют с коллективной волей и коллективным безумием? Вот те основные вопросы, которые мне хочется поставить и по мере сил попытаться ответить на них.

В «Московских новостях» Латынина развивает свои взгляды, опираясь на Волошина и Гроссмана. Они видят начало зла, конечно, не в Сталине и не в Кагановиче, а гораздо раньше и глубже. Что ж, с этим не поспоришь. Разумеется, оба они хорошо знали, что не в 30-е, а в 20-е был расстрелян Гумилёв. Многие русские писатели отнюдь не приукрашивали революцию. Ни Волошин, ни Короленко, ни даже Горький, назвавший свои раздумья об этих днях «Несвоевременными мыслями». Мы сейчас, оглядываясь, найдем многих союзников в русской интеллигенции, не услышанных и отвергнутых в гуле времени, в запале борьбы. Тогда они были несвоевременными. И вдруг стали самыми своевременными, самыми современными. Камень, отвергнутый строителями, мы теперь хотим положить во главу угла. Что ж, учимся на горьком опыте. И если опыт не прошел даром, если он хотя бы способен научить чему-то, то у нас еще есть надежда. Весь вопрос в том, как и чему мы учимся. Как мы осмысливаем пережитую трагедию? Способны ли мы испытать катарсис? Или ищем выхода, бросаясь в противоположную сторону, и, минуя ценности вечные, проскакиваем к ценностям антивремени?

Сегодня очень ясно видна правда несвоевременных мыслей Горького, но не так ясно, почему же они в свое время оказались

несвоевременными. Неужели потому, что мы настолько лучше и умнее наших отцов и дедов и сразу разглядели то, что было не видно им? Полно, так ли уж сильно изменились люди? Или это изменилось время и стрелки тех самых часов, которые давно остановились и были выброшены на помойку, вдруг совпали с переживаемыми минутами?¹⁹ Бывает и так...

Но вернемся к Волошину и Гроссману. Оба они хорошо понимали, что зло началось не в 30-е годы и не со Сталина. Но вот когда и с кого? С создания партии нового типа? А может быть, еще раньше — с Французской революции? С просветителей? Ну а в России? С 17-го? А до 17-го — святая Русь? Волошин отвечает на эти вопросы иначе:

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.
Вздеть на виску, выбить из подклетья
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества —
Тот же хмель и та же трын-трава

Если бы все зло было в одних идеях! Людей ввели в заблуждение. Людей можно вывести из него... Солженицын считал в свое время, что если бы все прочли «Архипелаг ГУЛАГ», ГУЛАГу пришел бы конец. Блажен, кто верует... Просветительская идея наизнанку.

Волошин понимал, что идеи, которые носились в воздухе, нашли себе точное время и место: Россию 1917 года... Здесь их ждали, жаждали. Здесь перед ними открыли умы и сердца. Он не снимает исторической вины с России за весь разгул террора, хотя не склонен и абсолютизировать эту вину. Он смотрит глубже. «Путями Каина» назвал он цикл стихов. Вся человеческая история пошла путями Каина, путями братоубийства, для которого находятся все новые и новые оправдания, называемые идеями. Человек придумывает себе оправдывающие его идеи, потому что они нужны ему. Человек — духовно несовершенное существо; вот в чем причина всех бедствий! И если тех, кто не снимает вины с России, называют русофобами, то к русофобам надо причислить и Волошина. Но не только к русофобам, а (идя по ходу слова) к антропофобам — к человеконенавистникам. Вероятно так же, как библейских

¹⁹ Образ В.Э. Мейерхольда.

пророков, обвинявших весь род человеческий, но прежде всего свой собственный народ в грехах перед Богом.

И Гроссман видит начало зла не в Сталине. Но и не в определенной идее. Он первый сопоставляет идеи-антиподы, заставляет их взглянуть в лицо друг другу, и лицо оказывается зеркалом для другой — прямо противоположной идеи... Гроссман срывает маски в страшном маскараде XX века, обнаруживая под разными идеями одну и ту же адскую образину.

Допустим на минуту, что все социалисты на одно лицо. Гитлер ведь тоже называл себя национал-социалистом. Ну а Хомейни? Ведь тут ни социализма, ни национализма. Один ислам. Религиозный фундаментализм. Неужто и за Хомейни в ответе идеи Маркса, Энгельса и Ленина?

Был такой русский интеллигент, который чувствовал себя возможным виновником всего и мучился этим бесконечно. Тот, кто потерял веру в божественное происхождение человека; тот, кто считал, что в его собственных человеческих идеях больше смысла, чем в божественном промысле; тот, кто пытался возвысить Идею над непостижимой жизнью.

Пытался. И не мог. Проводил эксперимент и, кажется, сошел с ума. Это он создал легенду, героя которой целует отвергаемый им Христос, целует за его страдание. Я говорю, разумеется, об Иване Карамазове. О том самом, кому прозорливец-брат крикнет в ответ на невысказанные сомнения:

— Не ты убил отца! Не ты! Это, может быть, первый в истории русской мысли атеист-мученик, идеолог-мученик. Тот, кто не мог совместить человеческих страданий с добротой Бога. И так как страдания были слишком бесспорны, сделал вывод, что Бог не добр и не любит своего мира. Этот вывод ему дорого стоил. Он наступил на свою любовь, на свою душу. Ибо этот атеист, отрицая Бога, не покоряясь Его воле, все-таки Его глубоко любил. Любил, но не верил.

Он поверил своему разуму и всей очевидности больше, чем невидимому Богу. А очевидность была в том, что человек грешен, ущербен. И что если какие-то идеалисты и создали высочайший образ Христа, то это все-таки лишь Идеал, абстракция. Верить в то, что человек создан по образу и подобию столь высокого Бога, невозможно. И пока мы уходим мыслью в эти абстракции, люди-пауки сосут людей-мух и генерал травит мальчика собаками на глазах у матери.

— Ну, что делать с этим генералом? — спрашивает Иван у бра- та-христианина, у ангелического брата Алеши. И получает в ответ: расстрелять.

О, Алеша спохватился тотчас же! Он понял, что ответил отнюдь не по-христиански. Но Иван не так просто отпускает ему эту глупость, это первое движение сердца, потрясенного описанной картиной. И Достоевский хотел во втором томе „Братьев Карамазовых“ сделать Алешу революционером...

Да, реальность требовала действий. И пока Иван Карамазов мучился, решая, сможет или не сможет он жить без Христа, конкретные люди, осудив его гамлетизм, стали действовать. И отнюдь не одни смердяковы. Напротив, смердяковы пришли много позже. Все времена и сроки сгущены в пространстве романа-пророчества. В реальной жизни процесс растянулся почти на столетие. Но в истоке этого процесса — люди, которые от абстрактных дум о Добре и Зле обратились к конкретным действиям. То, что они пришли к новым, гораздо более страшным абстракциям, — это впереди. Исток — в отгалкивании от «абстракции».

Гроссману из середины XX в. видно то, что еще пряталось в тумане, когда век только рождался: то, что люди рванулись из огня да в полымя, от одних абстрактных идей к другим, проскочив мимо живой духовной реальности. «Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность, — сказал Рильке. — И так одиноки рядом друг с другом, друг друга не зная».

Правда состоит в том, что духовную реальность нельзя увидеть глазами, но можно пощупать сердцем. Можно удостовериться в том, что духовность реальна, а реальность духовна. Можно, но это трудный и долгий путь. Наши отцы и деды предпочли путь более быстрый. Продолжая тот же сонет Рильке: «Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки, дивным меандром, он — краткость, прямая».

И кто знает, так ли легко было решиться на медленный путь, когда мировое зло нарастало с быстротой снежного кома и требовало немедленного ответа...

Несколько раз показывали на телеэкране трехсерийный фильм «Монолог Камо» (сценарист и режиссер А. Зурабов). Фильм, по-моему, замечательный и требующий отдельного разговора. Но здесь скажу лишь несколько слов о его главном герое.

Я не знаю, таков был Камо на самом деле или совершенно не таков. Но я твердо знаю, что такой герой мог быть среди революционеров. И этого одного достаточно, чтобы понять, что мазать их всех одним миром — невозможно. Человек к идее не сводится. Тут все гораздо сложнее.

И пока идее революции могли служить такие люди, эта идея была живой и обладала огромной нравственной силой. Люди вкладывали силу в идею не меньше, чем идея в них.

Пришло время, и все переменялось. Идея становилась все более абстрактной, холодной, все менее совместимой с нравственным пафосом, ее породившим. Освобождаясь от своих верных рыцарей, идея стала терять силу и вырождаться.

И вот тут перед рыцарями идеи ставится вопрос: или — или. Или они совершенно отождествляются с жесткой идеей, тогда они вырождаются вместе с ней, становясь из свободных людей рабами идеи. Или отрываются от идеи, оставаясь верными своей любви (и тогда, может быть, смогут видоизменить и идею?).

Камо кризиса идеи не выдержал. Он мог выдержать все, только не разочарование в своей вере, в возможности преображения мира по задумке добрых и мужественных, но еще очень не зорких, не умеющих предвидеть реальность зодчих.

Есть другой герой, который выдержал кризис своей идеи, который пережил кризис всех идей и вдруг открыл нечто большее, чем идея — любая идея: открыл то, что отнять у него нельзя. Я говорю о grossмановском Иконникове, который вдруг увидел, что одна идея Добра борется с другой идеей Добра, и величайшее зло, которое совершается в мире, совершается во имя Добра.

И вот после этого краха идей оказалось, что есть что-то, кроме идей, — безыдейная, дурацкая (с точки зрения всех умников), бессмысленная доброта вернула ему веру в жизнь, в человека, в Бога.

Идей было много, а зло одно. Так же, как и настоящее Добро. И то и другое безыдейно-бытийственно. И оказывается, человеку гораздо легче переменить идеи и убеждения, чем преобразиться. А главная задача только и единственно в этом.

Какая идея виновата во всех ужасах XX века?

Может быть, никакая в отдельности. Виновато самодовольство идей. Нарушение духовной иерархии. Обезумевший разум, поставивший себя на высшее место — на место Высшего. Разум, подменяющий собой живую реальность. Бестрепетный разум — вот кто во всем виноват. И назовется ли он идеей классовой исключительности, или расовой, или исключительности религиозной — это все равно.

Наши отцы и деды были галичевскими дальтониками, неразумными детьми, обожествившими человеческий разум. Разум вообразил себя всемогущим, хотя не умел видеть ни неба над собой, ни преисподней под собой. Неумение видеть, может быть, и было их главной бедой. Они были ослеплены собственной горячностью.

Можно слепнуть от ненависти, можно — от любви. Но слепота от любви — это тоже слепота. И от нее надо лечиться.

Живая идея, как и живая душа, должна уметь выдержать беспощадный свет реальности.

Камо, выносивший невозможные физические муки, света этого вынести не может. А если служители Идеи слепы, то их, как и саму Идею, ждет страшная судьба.

И легендарный герой Камо может увидеть перед собой в кривом зеркале фигуру булгаковского Берлиоза (как Иван Карамазов — чёрта). Берлиоз исповедует те же идеи. Это его, Берлиоза, Камо привел к власти²⁰.

И однако, это еще только слепота. Самодовольная слепота становится пошлостью и все же — еще не сознательным злодейством.

Колесо истории подбросило берлиозов и бездомных вверх, а потом сбросило и раздавило. Воланд, подсев к Берлиозу и Бездомному на Патриарших прудах, знает, что Аннушка уже разлила масло, что комсомолка в красной косынке (или человек во френче со знаменитыми усами) непременно отрежет голову, возмнившую, что она и впрямь всему голова. Не знали этого только два слепца. И другие слепцы, певшие хором в домкоме у Швондера.

Можно взглянуть на них взглядом сатирика — и тогда на первое место выступит пошлость. Можно по-платоновски подчеркнуть наивность — простодушие... Так или иначе, герои Булгакова и герои Платонова, вообразившие себя хозяевами жизни, очень сильно отличались от тех, кто пришел им на смену и стал действительно хозяйничать.

И не то чтобы на смену искренности сразу пришла ложь. Промежуточной стадией между наивностями и нелепостями революционных лет и полным угасанием души был период лжи самим себе. Это период слепой веры в кумира, заменившей ум, совесть и зрение. Именно в этот период душа как-то удивительно съеживалась, сморщивалась, становилась почти что пережитком прошлого, почти таким же предрассудком темных веков, как сам Бог. Нечто Высшее утверждалось не внутри, а вовне: Кумир. Кумир-идея отождествилась с кумиром-человеком, с человекобогом.

С этим кумиром душа не вступала ни в какие контакты. Об этом страшно и подумать было! Что она такое, жалкая человеческая душа, рядом с ним самим, с живым богом?! На свою душу надо было наступить, как на горло собственной песне. Люди сами себя уговаривали, что только так и нужно. Душа ушла в пятки. Душу выдрессировали. И вот он, стиль сталинской эпохи: дрессированная душа. Недаром одна из

²⁰ Подробнее о Камо см. в статье «Мой брат воробей».

первых смелых статей, которая появилась в первую оттепель, называлась «Об искренности в литературе». Она вызвала скандал. Евнухи при дворце падишаха возмутились, что их назвали скопцами.

Герои времени ставили перед собой цель освободиться от мирового зла и верили, что для достижения этой сверхцели все средства хороши. Они начинали во имя святой любви, продолжали, воодушевляясь святой ненавистью, — и не заметили, какого джинна выпустили из бутылки...

С идеей, что все средства хороши, можно и нужно спорить. Но ведь жизнь уже поспорила и переспорила эту идею. И сейчас мы, наконец, осмелились повторить то, что жизнь давно сказала. И мы очень легко забываем, что в ленинское время жизнь еще не высказалась с такой определенностью. Длился живой спор. Ленин был азартный спорщик. Может быть, слишком азартный...

Да и стиль спора бывал подчас не самый лучший. И все-таки человекобогом Ленин стал только посмертно.

Давайте сделаем мысленный эксперимент — попробуем вернуться в то время, когда еще не все было ясно...

Сделаю маленькое отступление, кажущееся мне существенным. Мой отец вырос в Баку. В октябре 1918-го в город вошли турки, и на три дня город был отдан в распоряжение турецкой армии. Эти три дня турки, курды и азербайджанцы резали армян. Картину, которую описывал мне отец, я не забуду никогда в жизни. И именно после этих трех дней отец еще мальчишкой стал организатором Союза учащихся-коммунистов. Он и его товарищи искренне хотели покончить с ужасами национализма, с национальной ненавистью.

Не они принесли в мир ненависть. Ненависть была до них. И кто знает, каким путем пошла бы Россия, если бы не Первая мировая война. Пастернак устами Лары говорит об этом в «Докторе Живаго»: война «была виною всего, всех последовавших, донныне постигающих наше поколение несчастий... Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной»²¹.

Человек и человеческое затерялись. Человек сделался солдатом и стал маршировать в ногу. Солдату требовался генерал,

²¹ Пастернак Б. Доктор Живаго. // Новый мир. 1988, № 3, с. 165—166.

маршал. Армия ненависти уже была. Стала формироваться другая армия, выходящая на борьбу с первой. Но тоже армия и тоже ненависти.

Так, как действовали наши отцы, нельзя было. Да. Но оттого, что мы знаем, как не надо, еще не следует, что мы знаем, как надо... Перед нами стоит та же задача. Ее надо решать по-другому. Но ее надо решать. Надо бороться с ненавистью — вот она, старая задача. Ненависть бушует по всей земле. Ненависть раскалывает планету.

Вся наша история — это, может быть, прежде всего история ошибок и преступлений человеческих. История их терпит — до тех пор, пока не перейдена некая черта. За ней — гибель. Апокалипсис. Но апокалиптическое время — это не время, когда Бог придет откуда-то извне и будет что-то делать с нами. Это время, в которое обнаружится то, что мы сами сделали с Богом, с собой, со своей землей и со своими душами. Поэтому задача наша — осмыслить свои жизни и свою историю. Как мы допустили то, что мы допустили? Какое мы имеем ко всему отношение? Никакого? Неужели никакого? Это все — «они»?

Но на Страшном суде так не ответишь. Кого бы ни возненавидел, ненависть будет сжигать тебя самого. И окажется, что надо ненавидеть только ненависть.

Но успели ли мы этому научиться?

Что нам мешало? Идеи?

Можно спорить с идеями Ленина, но спорить с идеями Сталина? Он пришел к власти, разделяя идеи Ленина, укрепился, воспользовавшись идеями Бухарина, потом повернул к идеям Троцкого, Петра I, Ивана Грозного и, наконец, стал хорошо усваивать идеи Гитлера. Вот и поспорь тут с идеями. А человек один.

Неужели можно не видеть разницы между «съеденными идеями» (Дотоевский) и Сталиным? Готовым любые идеи поставить на службу себе? Даже если вы совершенно не согласны с любыми коммунистическими течениями?.. И почему можно в чем-то соглашаться с попутчиками «черной сотни» и уж никак, никогда и ни в чем — с Бухариным? Если уж спор так идеен и беспристрастен... Здесь, по-моему, пошли у Латыниной и логические неточности. Хотя я это замечая лишь вскользь.

Все не так просто с теми страдальцами, которые дорого заплатили за свои идеи, пусть даже неверные...

Может быть, увидеть со стороны, что человек натворил, куда легче, чем проникнуть внутрь его души и понять, чего это ему стоило... Отделить себя от ошибок и преступлений. Вот

поэтому и выходит, что мы осуждаем преступника, а преступления спокойно продолжают жить. Мы остаемся чистыми, побив камнями грешника. А грех в это время чувствует себя вполне комфортно.

Что все-таки плодотворнее — отгородиться от опыта истории, назвав его ложным и чужим, или пережить его как свой собственный опыт, как череду своих заблуждений и тупиков?

И вот мне хочется снова вернуться к Гроссману, которого Латынина взяла себе в союзники. Есть в «Жизни и судьбе» такой герой — Крымов. Малосимпатичный человек. Фанатик идеи. Доходивший в своей преданности идее до идейного доноса. Жена Крымова — одна из самых симпатичных фигур в романе — оставляет его, любит другого. Но когда Крымова сажают, она бросает своего избранника. Она снова жена Крымова, который из идейного палача стал жертвой. Теперь она шлет ему передачу с запиской, подписанной «твоя Женя».

Идеи... «Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей» (Н. Коржавин). Женское сердце смотрит сквозь идеи. Оно на стороне страдальца. И только поэтому сердце остается живым среди мертвящей всё логики. Оно отшатывается от зла, которым чревата всякая самодовольная идея, всякая самоуверенность. Интуиция сердца выше логики.

В конце солженицынского «Ракового корпуса» есть незабываемая сцена: слепая обезьяна в зоопарке. Она ослепла потому, что какой-то злой человек швырнул ей в глаза горсть песка. И перед клеткой со слепым зверьком стоит потрясенный Костоглотов. Человек сталинских времен потрясен простым словосочетанием — «злой человек». Не враг, не империалист, не изменник Родины — просто злой человек.

«Время устало от окончательных идей», — говорит Латынина.

О да! Реальность устала от людей, навязывавших ей свои выдумки. Время устало от бескомпромиссных, прямолинейных умов, но оно никак не меньше устало от компромиссов совести. Время устало от окончательных идей, но время более чем когда-нибудь требует окончательного выбора между добром и злом. Просто добром и просто злом (на официальном языке — абстрактными), не отягощенными нашими эпитетами, не определяемыми нами, но определяющими нас.

Апокалиптическое время — это время умирания иллюзий, это время вызревания плодов добра и зла; время, которое уже не судимо нами, ибо оно само судит нас. Есть времена, когда зло уже не может прятаться под маской. Когда оно вызрело и обнаружилось. Когда становится ясно, что по ком бы ни звонил

колокол, он звонит по тебе. Это и есть наше время. Оно много суровей и страшнее, чем кажется спорящим идеологам. Все эти споры — желание оттяжки, стремление спрятаться за слова. Но уже некуда прятаться от реальности, предъявляющей нам свои счета.

Так поглядим же на спорящих. Что стоит за их словами, за их идеями? Мне как-то совестно детально разбираться в этом. Но, к сожалению, кое о чем сказать придется.

Две идеи раздирают мир: социальная и национальная. Но кто в России стоит сегодня за социальный радикализм? Очень немногие. Вот что касается идеи националистического радикализма, то эта идея изжила себя в Германии, но, к величайшему сожалению, не у нас! Эта идея у нас сегодня жива. И ее сторонники от окончательных идей не устали. Поворот от идеи классовой исключительности к исключительности национальной начался давно. При том самом Сталине, которого адепты национальной идеи не хотят отделять ни от Ленина, ни от Бухарина и которого хотят представить законченным интернационалистом, готовившимся завоевать мир при помощи идей III Интернационала. Но ведь Сталин III Интернационал распустил. Неужели же мы это так быстро забыли?!

Так от кого же защищает Латынина либерализм и зачем? Или ей хочется, чтобы идеи радикального национализма изничтожались не столь радикально? И какой-нибудь Кунаев оказывается прав, как только он спорит с идеями III Интернационала — безразлично, с каких позиций? Спор не с именами, а с идеями...

Но ведь и Гитлер идейно критиковал Сталина. И Гитлер распорядился в апреле 1945 г. писать огромными буквами на дорогах, навстречу наступающим советским войскам, два русских слова: «Жид виноват».

И вот идет пальба по идеям. Или по именам? По-моему, разница не так велика. Важно, что истинный враг оказывается в нас самих — ненависть. И высокомерная самоуверенность. И слепота. И бестрепетное желание сказать окончательное слово. А попробуй-ка разберись в словах, когда один и тот же человек говорит в одном случае: «Взявший меч от меча и погибнет», а в другом: «Я принес не мир, но меч». И в обоих случаях говорит правду, вновь и вновь напоминая, что нет абсолюта вовне. Что истина только внутри, в той глубине глубин, где мы одно с миром, одно со всем, что живо.

Меч не должен подниматься на живое. Но он должен, обязан отсекал от живого мертвое: от человеческой души — человеконенавистничество, от человеческих идей —

надчеловеческие претензии. И может быть, главное в том, что сейчас принято называть новым мышлением. Это не ниспровержение старых идей и утверждение новых, а утверждение относительности всякой идеи и абсолютности человека и человечности.

Иерархия реальности и свобода*

Я прочитала статью Е. Бича и почувствовала оторопь. До невозможности отвечать. Статья его адресована не мне, а Нине Андреевой²² ²³. Первое движение было — пусть Нина Александровна и отвечает.

В самом деле, если моя статья — умелая маскировка консерватора, который не хочет, чтобы наше прошлое рисовали одной черной краской... Что тут можно сказать? По логике Е. Бича, кто не согласен с ним, тот должен быть согласен с Н. Андреевой.

Третьего не дано. «Кто не с нами, тот против нас». А не получается ли здесь какой-то большевистский антибольшевизм? И я думаю, что пока мы живем по черно-белой логике, мы верные продолжатели того, против чего боремся. Так люди боролись с самодержавием и установили самодержавие в сто раз худшее. Боролись с империей и образовали империю, которая срывала с корня целые народы...

В статье Бича есть немало мест, с которыми я вполне могу согласиться. Ну, например: «Этот открывшийся новый мир вовсе не такой светлый и чистый, как мечталось годами, а совсем другой». Значит, все-таки мечталось о светлом и чистом? В другом месте: «Я могу говорить о нем (о Ленине. — З.М.) как о чистом идеалисте только до семнадцатого года». Значит, когда-то Ленин все-таки был чистым идеалистом? А знаете, уважаемый оппонент, ведь кто-то и вас, пожалуй, обвинит в защите истоков... Мечта о новой справедливой жизни... Вы ее признаете. Только «это было выдуманно не Лениным, а задолго до него. И начало, пожалуй, было чистым, это была мечта о равенстве, социальном равенстве человека». Вот оно что. Смотрите, мы договорились до чистого начала... «Но ведь это была иллюзия», — продолжает Бич. Так с кем же вы спорите? И я говорю, что это была иллюзия. Я только

* В этой статье З. Миркина отвечает на дискуссионные материалы Е. Бича «Реабилитация идеи, или Преображение?», Б.Хазанова «Из письма...» и А. Нуйкина «О „Покаянии“ ли спор?», опубликованные в «Искусстве кино», 1990, № 8, а также статью Б. Хазанова «Письмо из прекрасного далека» (Искусство кино. 1990, № 5).

²³ Защитница сталинизма, автор статьи «Не могу поступиться принципами».

отказываю в таких иллюзиях Гитлеру. А вот Бухарину и даже Ленину не отказываю. Почему? Дело в том, что Гитлер о равенстве и справедливости *никогда* не мечтал. У него было с самого начала тысячелетнее царство одних и порабощение других. И как ни страшна идея беспощадной классовой борьбы, она связана была с идеей царства свободы *для всех*, мыслилась как путь к свободе.

Ну да, на деле все было не совсем так или совсем не так. Но ведь мы *говорим об идее*. Пока — об идее. В гитлеровской идее еврею и цыгану деваться некуда. Перестройка невозможна. Они обречены с самого начала и навсегда. Славяне по этой идее — навсегда люди третьего сорта, и т. д. и т. п. Расовая теория мечтой о справедливом мироустройстве никогда не страдала. Право сильного — вот на чем она зиждется. Нет, в истоке это разные идеи. А в воплощении, в истории — близнецы-братья. Тут доказывать нечего. Это мне было слишком ясно задолго до нашего спора.

Когда я (в 1982 г.) прочла «Жизнь и судьбу» Гроссмана, я была потрясена точностью и справедливостью приговора, вынесенного нашей системе. Гроссман одним из первых поставил знак равенства между нами и фашистской Германией. Но вот что интересно: ночные разговоры Мостовского с оберштурмбаннфюрером Лиссом очень напоминают разговоры Ивана Карамазова с чёртом. И чёрт, и Лисс подносят своим собеседникам зеркало и просят только одного — поглядеть в него. И Иван и Мостовской в ужасе отшатываются. Да, и чёрт и Лисс обнажают своих собеседников, доводят их идеи до логического конца. В соседстве чёрта и Лисса Ивану и Мостовскому некуда и не за что спрятаться. Сходство полное. Они — двойники. Но тут-то и обнаруживается то единственное, в чем они все-таки не совсем двойники, та ниточка надежды на очищение: ни Иван, ни Мостовской не хотят походить на своих собеседников. Они их ненавидят. Они *хотели быть* другими. Чёрт и Лисс никем другим быть не хотят. У них идеи и воплощение — один к одному. Никаких иллюзий. Конечно, во всяком лагере есть люди *мелкие*, которым нужно было некое комфортное и сильное «мы» и которые предпочитают не видеть и не знать другой стороны медали. Но Достоевский и Гроссман вглядывались в людей покрупнее.

Итак, коммунист Мостовской *в ужасе* от того, что его идея приравнена к фашистской. Фашист Лисс совсем не в ужасе от этого равенства. И в этом ужасе — вся разница. Разница человеческих истоков двух движений.

Но вот теперь, сидя на обломках, которые оставила нам история, может быть, мы отбушем, затихнем и задумаемся?

Нет, не о том, как реабилитировать идею... Постарайтесь поверить мне — не о том. О том, что же осталось живого в наших душах, в нашей жизни? Можно ли спасти из-под обломков что-то живое? И может быть, мы снова делаем что-то страшное, не приглядевшись к живому и вечному и хороня это живое вместе с мертвым? Ведь необходимо похоронить мертвецов и созвать живых. Так или не так?

Вы боретесь с жестокостью революционных методов? Вы считаете, что они достойны самого решительного осуждения, даже проклятия? Я тоже. Ведь сегодня все это носится в воздухе, которым дышим. Сама жизнь вынесла приговор... Он окончателен и не допускает спора. Спор о другом. Повторяю снова: по-моему, и вы и многие, многие другие продолжаете то самое, что столь гневно осуждаете. Вы боретесь с прошлым, сохраняя его же логику.

«Старый мир был несправедлив и неправеден, но он отражал то, что есть, он отражал реальность», — пишете вы. И дальше делаете вывод, что надо «принять реальность, посмотреть ей в глаза и, сбросив обветшалые формы старого мира, строить новую жизнь исподволь, понемногу, с учетом этой реальности». К чему относятся эти слова, к какой ситуации? 1917-го или 1990-го? Разве можно повернуть историю вспять, прокрутить назад киноленту, отменить Октябрь, разгон Учредительного собрания и т. д.? Если можно, сделайте. Если нет, давайте будем реалистами *сегодня*.

А для этого надо прежде всего оглянуться и осмыслить, каким образом *нас всех* могла поработить эта утопия. Оглянуться и осмыслить и побороться за живые души мертвых и живых Родионов Раскольниковых, и Николаев Бухариных, и Симонов Тер-Петросянов (Камо), и многих и многих с ними. Да не будет этого больше с нами...

Задача нелегкая. Куда легче осудить, проклясть вместе с идеей всех, кто был ей привержен, и, выйдя сухим из воды, повторять то, что они делали (под другим знаменем).

Да. Не буквально повторять. Но по методу мышления, по однозначности и прямолинейности выводов... Ибо если вы не хотите разбираться во всех этих бухариных, троцких и лениных, если для вас все приверженцы этой идеи на одно лицо, то вы недалеко ушли от них. Они тоже не хотели разбираться во всех этих александрах с двумя или тремя палочками, во всех николаях и алексеях — тот же классовый, идейный подход.

Я предлагаю другой критерий. Можно ли отождествлять человека с его идеей или с его делом или же нельзя? Остается зазор между человеком и его делом или нет? Я думаю, есть рубеж, до которого хорошие, даже жертвенные люди могли

служить ложной идее и делать чудовищные дела. Дальше — идея поглощает людей, вымывает из них все человеческое, превращает в рычаги, в «человекоорудия»²⁴.

Как научиться различать ложную идею *вовремя*? Как выработать иммунитет от идеологического вируса? Вы ставили перед собой этот вопрос? Вряд ли. У вас идея сразу видна. Вот христианская идея, по-вашему, была всегда доброй и на протяжении всей истории творила только добро. Полно! Это даже странно. Неужели вы не знаете об инквизиции и обо всем, что творилось в истории именем Христа? Неужели этого можно не знать?

Да ведь утопическая мечта о немедленной насильственной справедливости была реакцией на несостоятельность исторического христианства, на лицемерие и малодушие служителей церкви. Как только ни толковались христианские идеи!.. Сегодня мы вновь возвращаемся к ним. Так вот, я мечтаю, чтобы возвратились не к идее христианства, а приблизились бы к живому Христу. Вот в чем моя надежда.

А наши отцы и деды, делавшие революцию, кажутся мне сейчас подростками, воинственными подростками, воображавшими, что можно решить спор добра и зла мечом. Им когда-то уже было сказано: «Вложи меч свой в ножны, ибо...»

Что делать миру со своим подростковым прошлым? Вырасти из него.

Задача роста... Это и есть наша сегодняшняя задача. Конечно, было бы гораздо доступнее сформулировать какую-нибудь простую конструктивную задачу и ответить на два традиционных вопроса: кто виноват и что делать. Евгений Бич призывает меня ответить на первый вопрос; три других моих оппонента хотели бы получить прежде всего ответы на второй вопрос (хотя и для них вопрос «кто виноват» не безразличен). А я отказываюсь отвечать на оба эти вопроса и говорю о задаче внутреннего роста.

— И это все? — разочарованно отвечает мне на это Нуйкин.

— Да, все. Потому что я убеждена, что все наши частные задачи, над которыми мы сейчас бьемся, неразрешимы, если не сочетать их с задачами действительного роста и обновления сознания.

Андрей Нуйкин сомневается, что мой спор с Карабчиевским велся о фильме «Покаяние». Ему кажется, что фильм — это только предлог для того, чтобы поговорить о чем-то более существенном, подойти «ближе к делу», то есть к нашей

²⁴ Термин Даниила Андреева.

сегодняшней жизни. Нуй- кин академически отдает должное моей правоте в оценке фильма, но... Бог с ним, с фильмом, — все и так знают, что он хороший, — поговорим о другом.

Однако начнем с того, что совсем не все знают, что фильм хороший. И мнение о нем Карабчиевского — отнюдь не эпатаж. С ним солидарны очень многие. Ну вот тот же Борис Хазанов, замечательный писатель и эссеист, полностью принял сторону Ю. Карабчиевского.

Осталось сказать еще совсем немного, хотя это едва ли не самое трудное, — о внутренней свободе. Вы видите различие двух оттепелей в том, что в 56-м и 63-м годах «мы менялись вместе со всей страной...», а сегодня нам незачем меняться; напротив, вы боитесь, как бы незаметно для себя не перестроиться, не подстроиться, не выстроиться в затылок и не потерять себя.

Видимо, у нас не совсем одинаковое понимание внутренней свободы. Для меня это не только независимость от власти и навязываемой идеологии, не только невозможность рептильного существования. Внутренняя свобода — жизнь во внутреннем пространстве души; очищение и расширение этого пространства до полного единения с миром. Это открытие и освоение той глубины, где мы все оказываемся тесно связанными друг с другом и составляем Мировое Целое.

Если мы не сумеем, не успеем открыть этой глубины, мир рухнет. Несмотря на прогресс и парламент.

Более того, по-моему, Ю. Карабчиевский и Б. Хазанов судят о фильме органичнее, последовательнее, чем А. Нуйкин, который расходится с ними в оценке фильма, но очень тесно сходится в оценке самого понятия — Покаяние.

«Я не люблю никаких публичных покаяний, особенно за чужие грехи», — говорит он. И еще: «Не устраивает меня в акте покаяния обязательность облачения в хитон покорности. Перед кем надо смиренно казнить себя за гулаговский геноцид?»

У Б. Хазанова: «Следуя этому образу мыслей, надо просто все бросить и всем огромным хором каяться». Если прибавить возмущение Карабчиевского тем, что все дороги должны вести обязательно к храму, то позиции оппонентов очень ладно соединяются. Хотя, может быть, и не совсем. К позиции Б. Хазанова я еще должна вернуться. А пока мне хочется вдуматься в отношение к искусству и к жизни всех трех оппонентов.

Карабчиевскому и Хазанову фильм кажется плохим, фальшивым, а Нуйкину — безусловно хорошим, но, скажем прямо, — не самым нужным на свете. Впрочем, Андрей Нуйкин

вообще не уверен, что искусство в наши дни может быть чем-то самым нужным и насущным. Может быть, оно должно уступить место чему-то другому. «...Искусство даже гениальность освободить полностью от искусственности не может, — пишет он. — И перед лицом каких-то реалий оно вдруг обнаруживает свое бессилие... и начинает раздражать своей претензией стать выше или хотя бы вровень с жизнью». Тут Нуйкин ссылается на пример Пастернака, сказавшего «здесь кончается искусство»...

Да, Пастернак написал эти слова...

Однако и не подумал отказаться от искусства, уйти из поэзии и противопоставить ей «фрагментарность и сухость документальных свидетельств». И в самом деле, когда строку диктует настоящее чувство, неужели искусство кончается? Буквально? По-моему, оно здесь только и начинается. Но что правда, то правда — оставаться таким, каким было до встречи со всеопрокидывающим чувством, — не может. Происходит некая мутация. Преображение. Привычное мастерство, базирующееся на всем предыдущем опыте жизни, новому опыту служить не может. Оно — кончается. А то, что начинается, и есть подлинное искусство.

«Мысль изреченная есть ложь», — сказал Тютчев, но отнюдь не перестал писать. И Лао Цзы, сказавший: «Знающие не говорят, говорящие не знают», не перестал мыслить и учить. Но однако их мысль и их слово теряли самодостаточность и самодовольство. Они устанавливали связь с чем-то, что выше и больше них.

Именно такое самоощущение отличает величайшее искусство от просто искусства, даже большого. Оно знает о своей малости, но оно знает и о своей совершенной необходимости. Оно не сравнивается с фактом, документом и не спорит о первенстве. Но оно знает — если жизнь в тупике, кому-то надо искать выход из тупика. И оно берет на себя эту задачу.

Художник, почувствовав дыхание Почвы и Судьбы, останавливается. Дыхание Судьбы, Рока преграждает гладкую, накатанную дорогу и требует от него способности переступить через пропасть — взлететь. Для этого у его души должен появиться иной масштаб, иной строй, иная мера — крылья.

Высшее искусство, растящее душу и готовящее ее к подобным задачам. Такое искусство абсолютно свободно от какой бы то ни было искусственности. Не до нее! Все его силы напряжены для преодоления самой смерти, которую документ может только констатировать.

И только потому, что у человечества существует такое искусство, оно еще живо. Искусство собирания Духа. Искусство

духовного роста.

В 1989 г. издательство «Современник» выпустило книгу Даниила Андреева «Русские боги». На мой взгляд, это великое событие. Поэт-мученик, запертый в тюрьму на долгие годы, лишенный самого элементарного, что нужно для творчества и для самой жизни, не только не перестал творить, а дал такое осмысление своему времени и такой *противовес* ему, какого, может быть, не дал никто другой из художников слова в нашем веке.

Механические гиганты эпохи не плюснули и не унизили его Духа. Живой Дух этой личности противостоял обезличенному легиону. Этот один, эта единственная сохранившаяся личность, уходящая корнями в бесконечность, была сильнее легиона. Даниил Андреев выдержал взгляд «уицраора», встреченного им в ночных видениях, и проводит нас сквозь ад к свету. Свету, который и во тьме светит и которого не объемлет тьма.

Есть и другой наш современник, живший на предельной духовной глубине и принимавший вызов тьмы. Это Шнитке. Его музыка тоже проводит нас через адский огонь, в котором сгорает все тленное. Мы шагаем с ней в пустоту, ибо все вековые построения человеческого разума, вся прежняя гармония рушатся на наших глазах от дыхания мирового хаоса. Опереться не на что. То, что было согласием, хором, превращается в громкоорущее «мы», которое топчет и заглушает глубинное «я».

И вот это одинокое «я» повисает в пустоте, в ничем, и обнаруживает нетленную опору внутри самого себя. На пепелище разрушенной гармонии начинает звучать тихий тонкий голос и ему отвечает другой. Переключка одиночеств в космической пустыне. Из нее, из этой переключки, и рождается новая гармония. Так из ничего зарождается жизнь...

Но ведь я хотела говорить о Покаянии.

Куда же это меня занесло? Да никуда не занесло. Как раз о нем и пойдет речь. Это был подступ, без которого не обойтись.

«В том и дело, — пишет А. Нуйкин, — что есть столь ужасные стороны жизни, факты, акты поведения, проблемы, перед лицом которых всякая художественность, всякая искусственность и придуманность выглядят неуместными, бестактными, легковесными».

Я совершенно согласна, но хочу спросить — неужели эти слова относятся только к искусству? А к нам самим? Ко всей нашей политике и публицистике, к нашей жизни, поведению, уровню чувств и мыслей? Разве недохнула Почва и Судьба в наш страшный век и не потребовала от нас другого масштаба бытия, другого строя души? Разве перед лицом всего, что

происходит в мире, не кажемся мы сами себе легковесными и почти что ненастоящими? Как герои набоковского «Приглашения на казнь»? Разве все, что мы делаем, думаем, чувствуем, уместно перед лицом того, что надвигается на нас, что уже сейчас дышит среди нас, но мы отмахиваемся, предпочитаем не замечать?

Вот тут я снова перебею ход собственной мысли. Виток в сторону, хотя, может быть, и не так уж в сторону. Прочла в № 5 журнала «Искусство кино» совершенно блистательную статью Б. Хазанова «Письмо из прекрасного далека». Прочла, мало сказать, с сочувствием — с восхищением: «Центральное событие нашей эпохи — это Освенцим, — пишет Хазанов. — Это он дал ей имя. Семнадцатый век называется веком Разума, восемнадцатый — веком Просвещения. Деятнадцатый век — это век Прогресса. А двадцатый — век Освенцима». После Освенцима нельзя жить так, как до Освенцима, — вот, может быть, основной пафос статьи. И то, что люди в России, русские правые, живут так, как будто Освенцима не было, приводит Хазанова в ужас. (Разумеется, меня тоже.) После Освенцима никто не имеет права на националистические мифы. Их невинное романтическое начало уже не может смотреться невинным теперь, когда мы видели, к чему это ведет. Анализ развития национализма — шовинизма — фашизма дан прекрасно, с предельной горечью, но и достоверностью и спокойной убедительностью. И прежде всего анализ немецкой культуры (которую автор хорошо знает и любит): «Культура ответственна за фашизм и все его преступления наравне с политиками и „народом“. Немецкая культура преподавала человечеству три урока, — говорит Хазанов. — Первый из них в том, что она изменила гуманизму. Вот почему после веков Разума, Просвещения и Прогресса наступил век Освенцима. И вот тут мне хочется спросить: *только* поэтому? А сами по себе, в чистом, так сказать, виде Разум, Просвещение и Прогресс достаточно твердые кирпичи для основания человеческой цивилизации? Помнится, еще Руссо в этом сомневался. И Достоевский. И Толстой...

Примечательно, что мне приходится вести спор на два фронта. От одних я гуманизм защищаю (в нем есть, что защищать). Но от других я защищаю нечто другое — чего не заметил гуманизм, из-за отсутствия чего оказался в кризисе.

Наш век не только век Освенцима. Освенциму предшествовала Колыма, которую создали интернационалисты. А за Освенцимом — великая «культурная революция» в Китае и эксперименты Пол Пота. И когда Шафаревич задает свои вопросы — почему весь прогрессивный мир поддерживал то,

что вело и привело прямым ходом к Колыме, — от этих вопросов не надо отмахиваться. На них надо ответить и объяснить читателям Шафаревича, как это западный прогрессивный мир, отталкиваясь от Гитлера, растоптавшего принципы гуманизма, надеялся на Сталина, который будто бы стоял за их развитие.

Но это ж была ложь! — скажут мне. Разумеется. Однако она так легко внедрилась в умы (и какие, и сколько!) потому, что в кризисной обстановке даже крупные умы захватывает двоичное исчисление: или — или. Или Гитлер, или Сталин. Именно рационализм сделал возможным такой строй мыслей, при котором принцип «если враг не сдается, его уничтожают» звучал вполне убедительно. И даже другой: «Нравственно то, что полезно революции».

А противостоял этому рационализму иррационализм. Он был еще хуже? Может быть. Но они были в одной системе отсчета. Одно было изнанкой другого.

Меня потрясли, опрокинули звуки Девятой симфонии Бетховена, под которые в «Покаянии» рушилось все, на что мы надеялись. Для меня был так очевиден кризис идей гуманизма — гуманистическое прекраснотушное, поверхностность, слепота... Под эти звуки, так победно звучавшие в дни нашей одновременной с Б.Хазановым юности, рушилось на моих глазах не царство Третьего рейха, а царство великой утопии, выросшей из высоких идеалов, провозглашенных гуманизмом: «Свобода! Равенство! Братство!»

Именно потому, что эти три кита, на которых стоит гуманизм, оказались такими несостоятельными, мировое развитие и пошло от Разума к Колыме и к Освенциму. И самое страшное было в том, что если развернуться на 180 градусов от Освенцима, упираешься в Колыму, а если от Колымы — то в Освенцим.

Шафаревич, между прочим, именно так и развернулся. «Социализм — это воля к смерти». А национализм, видимо, — к жизни. Ну а национал-социализм, наверно, приемлемая смесь того и другого. Для одних жизнь, для других смерть. Все поровну, все справедливо.

Как бы там ни было, но романтизм вырос из кризиса Просвещения, а нынешний романтизм — из разочарования в утопии. И виновными романтики посчитали тех самых гуманистов-утопистов, которые обманули их надежды.

Как, а демократическая Европа? Разве она не стоит прочно на принципах Свободы, Равенства, Братства? Стоит. И, разумеется, это лучшее, что пока есть в мире. И все-таки я никак не могу вместиться в оппозицию «народность или

свобода», так блистательно построенную Хазановым. «Или эротика национализма, или аскеза одиночества. Или мистическая оцепененность перед идолом „почвы“, самоотождествление с народом, с его внеисторической, темной и безотчетной правдой, мистический брак с родиной, и тогда я уже никогда не буду самим собой, не буду свободен, не хочу быть самим собой, ибо вне родины я ничто. Или свобода. Свобода от всяких обязательств перед народом, свобода быть ничьим, свобода, о которой говорит Пушкин („Из Пинденмонте“»).

Ночной разговор Шатова со Ставрогиным, о котором говорит Хазанов, я разбираю в моей работе «Истина и ее двойники». Мне не нравится в этом разговоре то же, что и Хазанову. Но... не только. Да, Шатов видит единственную оппозицию — родина или свобода. Он выбирает родину. Ставрогин — свободу. А я — ни то и ни другое.

Достоевского так ужасает ставрогинский выбор свободы без святости, что он бросается в другую крайность. За этот выбор его у нас клеймили вчера и возносят сегодня. А на самом деле? А на самом деле и Шатов, и Ставрогин проходят мимо Бога, причем умный Ставрогин это понимает. Он проницательно спрашивает добрейшего Шатова, перебивая его панегирики русскому народу:

— А в Бога вы веруете?

И честный Шатов, сбиваясь, лепечет: «Я... буду верить в Бога...»

Вот оно что. Шатов заговаривает себе самому зубы верой в народ. Народом он хочет заполнить духовную пустоту. Он прекрасный, добрейший «Шатушка», как зовет его Хромоножка. Но он Шатов, у него еще очень шаткая духовная основа. Он боится взглянуть в лицо пустоте. Он ищет почву, когда надо вступить на воду по зову Бога живого.

Но что это такое, живой Бог? Многие ли это знают? И есть ли такие, кто не боятся? Миф — это укрытие от страха, это роскошное страусово крыло, куда прячут голову от Реальности.

Так вот, для меня высшая ценность — не свобода, а Реальность. Духовная Реальность. Которая имеет основание внутри себя самой и никогда в жизни утопией оказаться не сможет. Она есть то, что есть. Сущий. Это ведь и есть библейское имя Бога.

Свобода, абсолютная свобода индивидуума, свобода личности — это тоже утопия. Она неосуществима в нашем мире, где все связаны со всеми и всем. Только служа высшей Реальности, причащаясь Ей, личность может быть свободна. Моя свобода в том, что я — не только я.

Я Божий раб. И нет раба покорней.
А вы свободны. И гордитесь вы
Свободой веток от ствола и корня,
Свободой плеч от тяжелой головы.

Итак, мы возвращаемся к догуманистическим истокам нашей культуры, к тем учениям, которые не спешили освободить человеческую природу от ее сверхразумного (и оспариваемого Разумом) долга перед своим Вечным Праобразом.

Я преклоняюсь перед западными немцами, сумевшими очиститься от своей страшной скверны. Но я думаю, что их примеру надо было последовать не одним только националистам всех мастей. Я думаю, что и демократиям тоже есть в чем каяться.

И тут я хочу вернуться к вопросу, от которого как будто отошла. Я вновь прихожу к нему: разве все, что мы делаем, думаем, чувствуем, уместно перед лицом того, что надвигается на нас, что уже сейчас дышит среди нас, но мы отмахиваемся, предпочитая не замечать?

Нет, мы вовсе не самые плохие. Мы лично даже и не виноваты во всех этих прошедших и грядущих ужасах. Это «они», а не мы. И если не «облачаться в хитоны покорности», а как следует поддаться «им», то тогда-то мы, может быть, и добьемся толку...

Таков ведь примерно ход ваших мыслей, мои уважаемые оппоненты? Думаю, что для Нуйкина и Карабчиевского это должно быть так. Но Хазанов! Как совместить его слова о банальности и бесплодности покаяния с той поразительной картиной национального очищения западных немцев, которая нарисована в его «Письме из прекрасного далека»? Или все дело только в разных словах, и Хазанов не доверяет только слову «покаяние»? И заменяет его словосочетанием «национальное очищение», свободным от запаха ханжества? Воля ваша, но для меня «покаяние» именно и значит «очищение». Так что это, спор о словах? Или за спором о словах иногда теряется понимание смысла? Например, А. Нуй- кину кажется совершенно недостаточным мое предложение «исправить имена» и назвать Авеля (Аравидзе) Каином. А Б. Хазанов (в личном письме) пишет: «Может ли выздороветь общество, не сказав всей правды до конца, — хотя бы она была так же ужасна, как правда о двенадцати годах нацизма в Германии?» Но ведь назвать Каина Каином и значит сказать всю правду: Каин — это Каин, Сталин — убийца Кирова, насильственная коллективизация — преступление против человечества... Разумеется, прежде всего сказать всю правду до

конца — и не только другим, но самим себе...

Это и есть первое условие покаяния. Оно начинается с предстояния истине. С беспощадности к себе, которая ничего общего с ханжеством не имеет. Борису Хазанову кажется, что западной демократии каяться не в чем. Разговор о всеобщем покаянии — общие слова. Была конкретная задача. Западные немцы ее выполнили. А теперь поговорим о России, а не о Германии.

Ну что ж, постановка вопроса действительно деловая. Но вот чересчур деловой постановке вопроса я и не доверяю. Она работает лишь на короткой дистанции... Мне гораздо ближе Феллини, который показал в «Репетиции оркестра», куда может привести безоглядное своеволие, принимаемое за свободу (даже когда национальные страсти молчат). Храм нашего Духа разрушается и извне — тиранией, и изнутри — своеволием. И объевшихся «свободой» музыкантов снова умиряет четкая немецкая речь будущего диктатора.

Проблема не снята. Отнюдь. Мир разрушает отказ от духовной иерархии, от служения Высшему в себе самих.

И хочется вспомнить, что Достоевский ринулся в свое почвенничество, отшатнувшись от западного безбожия, бездуховности, приплюснутости к земле. Он ужаснулся этой потере измерения высоты и глубины, этому самодовольству еще только нарождавшегося тогда потребительского общества. Он знал, что мир без Бога стоять не может. И в минуты, когда сомневался в существовании живого Бога, стал придумывать идола — народ.

Духовный вакуум поглощает культуру во всем мире. А в пустую храмину всегда норовят проникнуть бесы. Не те, так другие.

Когда я смотрела фильм «Кабаре», я чувствовала, что в этом мире, гонящемся за развлечениями, людям нужно все, что угодно, кроме одного пустяка: своей бессмертной души. Совершенно бесполезная вещь и обременительная к тому же. Ее вытолкали вназад из комфортабельного дома, и беспризорницу подобрал Дьявол.

Так я увидела становление немецкого фашизма. Это ничуть не противоречит, по-моему, картине, нарисованной Хазановым. Но моя модель просторнее. В нее могла бы войти и другая картина. Например, Рим Нерона и Калигулы. Он не стал ни националистическим, ни коммунистическим. Тем не менее он был бы сведен на нет так же, как Содом и Гоморра, если бы... Если б не такая эфемерность, никем не принимавшаяся в расчет, как Новый Дух. Античный мир спасло христианство, которое само сейчас в глубочайшем кризисе. Если бы религия удержалась на своей первоначальной высоте, наш мир был бы

совершенно другим.

Но есть то, что есть. И без нового религиозного Духа нам не подняться. Меньше всего на свете я надеюсь на официальную церковь. К сожалению... А пока есть «мы» и «они», пока нам представляется дикой возможность покаяния за чужие грехи, пока есть грехи *свои* и *чужие*, этот Дух еще очень далек от нас. А ведь за грехи одних немцев каялись сперва совсем другие немцы. За грехи фашистов — антифашисты. Это они довели до сознания народа всю бездну его вины.

Недавно я прочла в «Досье» «Литературной газеты» потрясающую меня статью В. Чаликовой «Люди с содранной кожей». Она начинается так: «В городе Иерусалиме есть Стена Плача. Если судьба занесет вас в Иерусалим хоть на один день, вас непременно подведут к месту в этой стене, где камни ничем не отличны от остальных, и скажут: „Вот здесь!“ — „Что здесь?“ — спросите вы. „Здесь он стал на колени. Он стоял и плакал и просил прощения у еврейского народа за грех своего народа“. Речь идет об Аденауэре. Это он взял на себя ответственность за геноцид еврейского и других народов, осуществленный нацистами. И государство, возглавляемое им, „само разрушенное и нищее, начало выплачивать и выплачивает по сей день компенсацию всем выжившим узникам концлагерей, кто бы они ни были, где бы ни жили“. И еще: „В те мгновения, когда он преклонил колени, его родина встала с колен“».

Надо ли напоминать, что Аденауэр сам лично был противником нацизма? Но то, что миллионы его соотечественников приняли «причастие буйвола», было его собственным ужасом. Он просил прощения за чужие грехи, не за свои собственные. Без того, чтобы мы почувствовали свою связь со всеми и свою ответственность за всех, нам не одолеть мирового зла. Вот осознание этого я и называю покаянием.

Простое и абсолютно достоверное ощущение вселенской связи всех со всеми и всем, ощущение того, что отдельное самодовлеющее существование есть иллюзия, — это и есть религия (в переводе ведь религия и значит «связь»). Так вот, кто бы и где бы ни был виноват — это моя вина.

Мы все несем ответственность за общий духовный и нравственный климат планеты, не говоря уж о своей стране. И вот еще что очень и очень важно: чем меньше виноват человек, тем больше он чувствует ответственность. Парадокс? Может быть, но это — духовный закон.

К тому, что я скажу дальше, можно отнести, как к сказке, плоду воображения. Для меня — это абсолютная духовная реальность.

Мы приходим в этот мир, чтобы нести его и — вынести. Он

держится духом. Держится потому, что его держат неведомые духовные усилия. Большинство людей от своего долга несения мира уклоняются. Предпочитают, чтобы мир нес их. Брать, а не давать. Но мировая тяжесть останется одной и той же. И она ложится на плечи очень малого числа людей. Мир, согласно поверью, держится на семи праведниках. Или на тридцати шести — по хасидской легенде. Так вот, чем больше дезертиров, тем большая тяжесть приходится на тех немногих... И они изнемогают. Но сбросить — не могут. Они несут за всех, отвечают за всех. Всем своим существом они чувствуют, что мир надо удерживать, иначе рухнет. Ну а если другие этого не чувствуют, тем тяжелее им, тем, кто чувствует. Им не на кого сбросить свою ношу. Они-то знают, что мир един и что нести его надо...

Самый невинный, как известно, дал распять себя на кресте.

И это тот крест, на который навалился весь мир. И обычно люди принимают крещение не для того, чтобы помочь Ему, а для того, чтобы Он помог им... Вот и получается ханжество и публичное биение себя кулаками в грудь и все такое. И никакой помощи нет. Катастрофа все ближе и ближе. Пугающее той, которая грозила античному миру.

Я писала свой ответ Карабчиевскому около двух лет тому назад и не предполагала, что за два года мы так продвинемся. Самые смелые предположения моего оппонента осуществились (или на пороге осуществления). Без пяти минут многопартийность, рынок... И такая головокружительная свобода, при которой уже сегодня можно резать тех, кто в одиночестве противостоит толпе. Все есть, кроме одного пустяка: духа вселенской солидарности; нет общих святынь, уважаемых каждым.

Именно этого я и боялась больше всего: свободы, когда еще неизвестно, что в нас она освободит. Когда внешняя свобода опережает внутреннюю, начинается хаос. И каким словом заклясть его?

Не так еще давно слово у нас стоило очень дорого. За него сроки давали. А иногда и жизнь отнимали. Сейчас слово подешевело. Но не слишком ли? Не происходит ли той же чудовищной инфляции, что и с нашим рублем? И как мы ни пытаемся следовать западным образцам, наши самые смелые слова, в отличие от их слов, не обеспечиваются сложившейся цивилизацией и никак не становятся конвертируемой валютой.

А у меня, кажется, есть уже генетическая память на эти ультрасмелые слова: «Миру — мир», «Фабрики — рабочим, землю — крестьянам».

Погорячились наши отцы и деды. А уж прадеды и прабабки в марте 1881-го такие заложили основы!.. В чем, в чем, а уж в довольстве собой, своим царем-освободителем и своими реформами их упрекнуть нельзя было. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...» Ну да, мы не так, мы — иначе. Но без всякой оглядки на реальность. Без учета места и времени. А ведь проектирование абсолюта в мире относительного — это и есть утопия.

Я стою за духовную бескомпромиссность. Абсолютную. Слава Богу, мне удалось прожить жизнь именно так. И — при условии внутренней бескомпромиссности — я за возможность внешнего компромисса, за худой мир вместо доброй ссоры (сейчас плохое слово «компромисс» заменили хорошим — «консенсус», ну так я за консенсус). Я не знаю и не предлагаю никаких конкретных путей и рецептов. Я знаю одно: при всей колоссальной важности проблем социального устройства, они не могут стоять на первом месте.

И могут быть по-настоящему решены, только когда будут поставлены на свое место — второе после вопросов веры и смысла жизни.

Человек нуждается в вере (в чувстве реальности непостижимо целого, дающего смысл жизни) больше, чем в самой жизни и во всех ее условиях, — социальных, экономических, политических... Поэтому, кстати, нас так легко обмануть ложной верой. Люди не могли долго радоваться открытию, что человек произошел от обезьяны. Они затосковали по потерянному раю. Без этой тоски и без духовного роста нам не выжить. И чтобы создать свою национальную форму европейской жизни, надо ставить и решать не только социальные задачи. Когда все сводится к социально-экономическим проблемам (даже без серьезного учета социальной же психологии), мне хочется вернуть Андрею Нуйкину его вопрос:

— И это все?

А между тем на пороге Апокалипсис. Это не я придумала. Об этом все сейчас говорят. И вот задаются все чаще вопросы — что же такое Откровение Иоанна Богослова? Что в нем — тотальный ужас или надежда?

Апокалипсис — это конец времен. В нем сказано: «Времени больше не будет». Понимаете, у нас больше не будет времени выбирать. Выбирать будем не мы, а — нас.

Верующие мы или неверующие, но мы ведь достаточно разумные существа для того, чтобы понимать, что мир не сам себя построил, как кораблик из песни Новеллы Матвеевой, не сам себя смастерил. У него есть неведомый уму нашему Мастер.

Есть закон, по которому жизнь может продолжаться и развиваться.

Все великие религиозные учения говорят, что жизнь движется Духом. И вот этот-то Дух дал нам полную свободу на одном условии — чтобы и мы Ему дали свободу быть в этом мире. Мы должны не нарушать свободу творящего Духа, Его волю...

Мы только и делали, что нарушали. И вот когда изнеможет под тяжестью мира последний праведник, Бог отнимет у человека свободу выбора. Мы уже не сможем быть такими, какими нам хочется. Мы должны стать или такими, какими нас задумал Создатель жизни, или — не быть. Покаяние и преображение перестают быть личным делом каждого. Они становятся единственной возможностью бытия.

Мой брат воробей
Революционной героиней нас кормили с детства. И перекормили. Легенды о Чапаеве сменились анекдотами о Чапаеве. Умиравшая революционная романтика была добита смехом.

Не так ли в свое время был добит смехом рыцарский роман и в литературу въехал на своем тощем Россинанте Рыцарь печального образа с тазиком цирюльника вместо шлема? Въехал и стал сражаться с ветряными мельницами. Он был очень смешон, этот длинный, как жердь, мечтатель со своим плутоватым оруженосцем. Кто только над ним не смеялся! Граф и графиня Монтесинос устроили себе уморительное развлечение, выставя на посмешище доверчивого безумца. И наконец додумались до поединка рыцаря со львом.

Но когда одинокий человек подходит к клетке и раскрывает ее, смех сворачивается, гаснет при виде этих двух львов... Смех, убивающий ложную героиню, зачеркнут истинным величием — молчаливо раскрывшейся высотой духа. Оказывается, не так-то просто убить эту высоту. До нее еще дорасти надо...

Так смешон Дон Кихот или велик? Смеяться над ним или возторговаться? Ни то, ни другое в отдельности. И то и другое — вместе.

Оставлять Дон Кихота безусловным героем невозможно. От него надо спасти тех, кого он спасает. И чем скорее, тем лучше. И над ним можно смеяться, вернее, нельзя не смеяться, видя, как человек сражается с ветряными мельницами. Но смеяться вправе только те, кто, смеясь над Дон Кихотом, и над собой смеется.

Нужно уметь высмеять утопичность своих прекрасных порывов, потерю чувства реальности. Но если вы будете высмеивать это извне, а не изнутри, если вы надругаетесь над Дон Кихотом, вы надругаетесь над своим собственным сердцем, вы отрубите от себя лучшее, что есть в вас самих. Дон Кихота надо спасти от улюлюкающей толпы, от тех, кто понятия не имеет, что такое вера и жертва.

Но, собственно, кто у нас Дон Кихот? И был ли он вообще? Неужели были среди революционеров такие благородные идеалисты?

С революционерами теперь все ясно. Они не только высмеяны. Они прокляты. Это бесы, и тени их надо изгнать из России, чтобы духу не осталось. Так вот все просто...

Не знаю, похож ли Симон Тер-Петросян, соратник Сталина, легендарный Камо, на Камо — героя повести А. Зурабова «Тетрадь для домашних заданий» (и телефильма «Монолог Камо», сделанного на ее основе), но мне это так же неважно, как неважно было Ивану Карамазову, похож ли его Великий инквизитор на реальных инквизиторов. Там и здесь схвачена идеальная суть трагического явления. Там и здесь герой становится объектом глубокого раздумья.

Революционерам было совершенно ясно одно. Нам теперь — прямо противоположное. Но опять — все ясно и остается только действовать.

А вот герою Зурабова не все ясно. Он переживает странное, мучительное состояние, когда надо не действовать, а думать.

Оказывается, это много труднее. А уж додумать все до конца — труд совсем невероятный, ибо это значит — разобраться в своей душе, познать себя.

Издавна это считалось религиозным трудом, «духовным делом».

Камо ничего об этом не знает. О религии представления у него самые смутные. Он — человек действия. И в то же время — человек «с проснувшейся душой». «Пока душа спит, человек думает о себе, — говорила его мать. — Когда душа просыпается, человек думает о других. Душа у тебя рано проснулась, Сенько, бедный Сенько, душа не даст тебе спокойно жить».

Мать... В детстве он ходил с матерью в церковь. «Отче наш» наизусть знал, раздавал нищим милостыню, плакал... От одной мысли о матери душа разгоралась, как свечка. И он как бы входил в то пространство, где огонь этой свечи свято берегли, где он был бесконечно нужен, этот трепетный огонек...

«Мама, а когда ты молишься, глаза у тебя открыты или закрыты? — Не знаю, Сенько». Такая полнота погружения внутрь... Она не видела себя извне. Она ничего о себе не знала.

Она — была, и в его жизни была святыня.

Он через всю жизнь пронес эту святыню. Но ведь ее защищать надо было! Ведь нельзя же было сидеть сложа руки и смотреть, как пьяный отец избивает мать. Вот когда Сенько впервые взял оружие в руки. Что подвернулось, то и взял: топор. Он взял топор и вошел в комнату, полный такой решимости, что отец, не на шутку испугавшись, выпустил свою жертву. И эта решимость не покидала Камо никогда. Вся его жизнь была жертвенной защитой святыни. Защитой матери. Только этим он и жил, но...

Он вспоминает тот первый митинг, ту демонстрацию на Дворцовой, когда он вскинул красный флаг, а люди подняли его самого. «Он стоял на чьих-то плечах и говорил, уже не узнавая своего голоса. Это было после армяно-татарской резни (татарами тогда называли азербайджанцев. — З.М.). Он кричал о том, что нет вообще наций, и скоро ни дашнаки, ни кто другой не сумеют отделить один народ от другого... но для этого надо сначала скинуть царя и всех других, кто разделяет народы и натравливает один народ на другой...»

Надо было во что бы то ни стало прекратить этот ужас, эту резню, как надо было остановить пьяного отца. И ему это удалось: это был его первый триумф. Он видел вокруг себя восторженные лица, он владел сердцами. Великий час его жизни. Но почему потом, когда он сравнивал этот свой час с глубочайшими молитвенными часами, проведенными рядом с матерью, он чувствовал что-то не то?.. С матерью «и покой был, и благодать». А тогда, на Дворцовой площади, — ни покоя, ни благодати. «Он словно перестал быть тем, кем был до этого, и стал кем-то другим, кто вмещал не то, что он прожил до сих пор, а наоборот, освобождал его от всего». Да, он сливался в одно с толпой и возвышался над ней. И упивался свободой, но это было «освобождение не от внешнего, а от самого себя; не радость, а если и радость, то от сознания своей силы и всеумения и даже могущества; а от той, материнской свободы — чувство беспомощности и неотделимости от мира, над которым тогда, на Дворцовой, он почувствовал свою власть».

Вот оно, оказывается, что... Всю жизнь действовал во имя своей святыни. И выходит, что все-таки от святыни отошел. Как это получилось? В этом ему и предстоит сейчас разбираться. Об этом думать. Но это бесконечно трудно. Думать он не привык. Только действовать. А может быть, нам надо учиться думать вместе с ним? Или нам теперь все ясно и «для чего же читать, если все ясно»? Читать, думать — для чего?

Ему казалось, что только Революция способна разбудить души людей, разрушить спячку эгоизма личного, классового,

национального. Чтобы не погибла Мать, надо поднять топор на отца.

Чтобы не погибли добрые, надо поднять оружие на злых. Так ясно... Ведь другого пути нет.

Какой горчайшей насмешкой звучит для нас сейчас эта уверенность. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» уступил место другому: «Пролетарии всех стран, извините!» Будить души топором оказалось слишком опасно. Это мы ясно видим теперь, через три четверти века. Мы теперь знаем, что так нельзя. Но какие же выводы делаем из этого? — Назад к «неразбуженной душе» («Нельзя в России никого будить», — писал Наум Коржавин), к тому «идиллическому» прошлому, где отец спокойно убивает мать, а турки вырезают армян?.. Ну что ж, это вернуть оказалось не так уж трудно... Но только теперь, когда вспыхнула новая азербайджано-армянская резня, некому и *нечем* остановить ее... Нет никакой собирающей энергии — одна разделяющая.

Недавно я прочла в одной благородной статье, автор которой в ужасе от радикал-национализма, слова о том, как безобразное националистическое собрание разрывало в клочья лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И при всем своем отвращении к тем, кто разрывает лозунги, автор заключает: «Вот чего мне не жалко, так этого лозунга». Автору кажется, что и этот лозунг, и лозунги радикал-националистов — две стороны одного и того же... Может быть — по следствиям. Однако при своем возникновении интернационализм был призывом к защите всех обездоленных, призывом к самозащите «проклятым заклеянным» от «ликующих, праздно болтающих»... И каждый человек с совестью мог примкнуть к нему. Пролетарский интернационализм в истоке своем не был ни для кого закрыт. Террор против классовых врагов пришел позже. В истоке, в идее это был призыв ко всем — отказаться от всякого эгоизма. Камо хочет жить для всемирной революции, потому что все другое ему кажется бессмыслицей: разве может быть революция русской или английской? Тогда опять эгоизм, опять отгораживание. Революция — это справедливость для всех. *Это самоотдача...* Мир представляется этим мечтателям всеобщим братством. И капиталиста Шредера Камо так же зовет в это братство, как любого бедняка. Шредер не верит в осуществление идеалистических замыслов. Но Шредер покорён личностью Камо. Старый капиталист видит в Камо рыцаря великой мечты о справедливости.

Что же делать с рыцарями? Нет, мы не хотим, чтобы они боролись с ветряными мельницами и, думая, что освобождают нас от рабства, ввергали бы в рабство еще более жестокое. Мы не хотим, чтобы Дон Кихот делал то, что он делал. Но нам

совершенно необходимо, чтобы он *был*, чтобы он не исчезал с земли — рыцарь, которому жизнь любого обиженного гораздо дороже своей собственной. Жизнь на земле есть до тех пор, пока есть такие рыцари. Не будет их — и жизни не будет.

«Поднявший меч от меча и погибнет, — сказал Христос тому, кто бросился его защищать мечом. — Вложи меч свой в ножны». Камо и есть новый Петр, поднявший меч для защиты своей святыни. Камо и все его братья по вере. Ибо революция стала верой, совестью, смыслом для многих Камо...

И раздумывающий Камо бесконечно запутывается в своих мыслях. Ему никак не удастся свести их воедино. Они все время рассыпаются... Вот он вспоминает то, что говорили Кон и Либкнехт: «Истина в том, что все едино. Мне кажется, все, что способствует единению, — правда, а все, что способствует разъединению, — неправда». Прекрасно. Что можно иметь против этих слов? Но от слов надо идти к Делу. Вначале уже было слово и не помогло. Революционер идет от слов к Делу. Революционер зовет все начинать сначала. («Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...») «В природе и в истории все совершается через насилие, и если бы не насилие, то не было бы и борьбы, а без борьбы, как известно, нет жизни».

И почему Соня (жена Камо) все время спорит с этим? Да только ли Соня? Разве Камо не спорит сам с собой? Разве ему действительно все ясно? Он продолжает думать, оглушенный, остановленный этой непривычной тишиной. Тишина все время поворачивает его внутрь. Волей судеб он оказался наедине с собой в этой тишине, от которой так отвык... Ничего не происходит снаружи, но внутри столько происходит! И внезапно приходит понимание, что об этом — о том, что происходит внутри, можно рассказать только стихами. Вот почему так нужен Пушкин — он рассказывает о том, что у нас внутри... И вопрос к самому себе: «Сталин поэтому и писал стихи? Потом бросил. Сталину не надо рассказывать о том, что внутри. Е м у э т о с м е ш н о. О н р а з и н а в с е г д а п е р е с т а л з а н и м а т ь с я с м е ш н ы м и в е щ а м и. (Выделено мной. — З.М.) А мне?»

Нет, ему не смешно. Отнюдь. Поэтому между ним и Сталиным, двумя партийными товарищами, делавшими одно общее дело и имевшими общие убеждения, разница бесконечно большая, чем сходство. Есть ли две более отдаленные друг от друга фигуры, чем циник и Дон Кихот?

«—Я буду против всех, кто обижает. Соня, даже если это будешь ты, — говорит Камо.

- Аты?

- Что я?

- А ты не можешь обидеть?»

И честный Камо соглашается, что может. У него слишком горячий характер. И тогда Соня говорит; кто хочет справедливости, борется прежде всего с собой.

«— Значит так, на улице бьют старуху, а ты сидишь дома, смотришь в окно и борешься с собой?

— У тебя был предшественник, Семен. Он боролся с ветряными мельницами...»

Брак Сони (внучки известного общественного и музыкального деятеля В.В. Стасова) с Камо — это брак русской интеллигенции с русской революцией. Было время, когда интеллигенция и революция в России объединились в любви и доверии. И от того, сможет ли этот брак продлиться и упрочиться, зависит их судьба. Сумеет ли русская интеллигенция облагородить революцию, сумеет ли революция выжить, не утратив своего нравственного пафоса? Сумеет ли разделить поровну хлеба и не забыть о том, что не хлебом единым жив человек? Сумеет ли революция наша, встав однажды на путь насилия, сойти с него, когда достигнет победы? Вернется ли она к великой религиозной истине о любви ко всем людям, даже к врагам? Что такое революционная борьба? Временный отрыв от самого себя, выход изнутри для защиты своего внутреннего пространства или забвение этого внутреннего пространства во имя утопических целей?

Пока еще не поставлена точка над *i*. Пока есть нарастающий вал вопросов, но еще нет окончательных ответов, пока еще брак держится... Соня и Камо очень любят друг друга, но... «в последнее время мысли о Соне рождали в нем тоскливое и тревожное чувство, похожее на отчаянье, и это было, как в те редкие дни, когда он терял веру...» Он верит в возможность построить такой мир, где все люди будут братьями. А во что верит Соня? Может быть, в Бога? Да, Соня верит «в непостижимый разум, который устроил мир таким, какой он есть. Но как может этот непостижимый разум допускать столько зла?.. — И что же делать, Соня, сидеть сложа руки?» Он так не может. Он верит в человека, в человеческую способность действовать.

Соня верит в Бога. А он — в человека. Вот капиталист Шредер не верит в человека. Для него «в человеке больше дерьма, чем разума». Для социалистов — больше разума, чем дерьма. «Дело только в арифметике».

Но Соня не верит в арифметику. Хотя как это не верить в то, что $2 \times 2 = 4$? У Сони есть какая-то высшая математика. А над нею этот непостижимый разум... Что это такое?

Нельзя сказать, что Камо совсем не знает, что это такое.

Когда он застывает, задумывается и боится шелохнуться, чтоб не разрушить чувство Единого, он ведь стоит на берегу Непостижимого, на берегу тайны и вдыхает в себя Бесконечность, как запах моря. И тогда он ближе к матери, чем когда бы то ни было. Именно тогда, когда он сам не знает, открыты или закрыты у него глаза, душе его становится ясно, что ничто любимое не прошло. Да. Тогда его вновь настигает чувство бессмертия. Именно это чувство он боится спугнуть. Оно такое хрупкое... Надо быть очень тихим, очень чутким, чтобы оно разрослось и упрочилось внутри. Надо суметь не оторваться ни от чего в этом удивительном мире. Хранить внутреннее единство со всем и ничего не делать отдельно от своего тайного великого Дела...

Истинное единение начинается не во внешнем, а во внутреннем пространстве. Его не создают. Его находят. Ибо оно всегда есть. Надо только дойти до той глубины, где есть нечто общее для всех. Снаружи оно непостижимо. Его нельзя постичь, оставаясь отделенным от него. Но в него можно войти. Ему можно причаститься.

И ведь Камо это чувствовал очень давно. Может быть — с детства. Потому и стал самим собой, что так чувствовал. Почувствовать себя частью, неотделимой от мира, — это живое таинственное переживание. Думать о других больше, чем о себе... Прекрасно. Но всё ли это? Как именно думать о других? И не встанут ли здесь новые вопросы? «Поэзия выше нравственности, или по крайней мере совершенно другое дело», — сказал Пушкин. Когда Бах больше думал о других: когда писал свою «Мессу», когда колол дрова во дворе или делал другое какое-нибудь полезное дело? Кажется, арифметика здесь пробуксовывает.

Внешнее единство — это унификация, упрощение и обеднение жизни. Во внешнем мире существует бесконечность путей, ведущих во внутреннее Одно: бесконечность форм, сквозь которые это Одно просвечивает. Истинное единство только внутри. И соединить, связать воедино внутреннее с внешним можно только путем творчества. Не так-то легко поверить алгеброй, а тем более арифметикой, гармонию. Арифметика измеряет предметы внешнего мира. Истина извне не измеряется, не определяется... На вопрос «Что есть Истина?» Христос не ответил, он, как известно, молчал. Перед вопросом «Что есть Истина?» человек должен замолчать и повернуть вопрос извне внутрь...

Для Камо этот поворот есть поворот к матери, к своей душе, которая входит вдруг во внешнее пространство и приносит с собой величайшие силы. Только соединяясь со своей безбрежной

душой, чувствуя весь мир своим собственным телом, он и может быть тем легендарным Камо. Но... довериться этому чувству до конца он не в силах. Есть какая-то грань, у которой он останавливается, и его ум, его убеждения противятся его душе. Есть такая грань, около которой его вера и его любовь разделяются, и Вера подавляет любовь, отодвигает ее на второй план. Так ради Дела он отказался когда-то от поразившей его гречанки с иконным лицом. Так он сожмет в кулаке революционной воли свою душу и бросит бомбу, когда это нужно будет для революции. И сделает это не один раз, наступая на себя самого и даже на мать, которая — он знает — не поддержала бы его в этом.

А потом лунной ночью в саду вдруг спросит у собеседника, внезапно разделившего его одиночество: «Отчего после победы человеку становится скучно?» И собеседник ответит, что «победа — это поражение». И душа Камо отзовется на это, но так и не найдет слов в поддержку себе, а ум будет говорить что-то совершенно противоположное и так убежденно, что собеседник замолкнет. Он тоже не найдет слов, хотя верит бессловесной душе больше, чем красноречивому уму.

Есть в повести и в фильме сцена, удивительно перекликающаяся со сценой из другой книжки и другого фильма, о которых здесь уже не раз говорилось. Я имею в виду Дон Кихота у клетки со львом. Дон Кихота, раскрывающего эту клетку.

...Конвойные подвели Камо к высокой белой двери и предупредили, что, когда дверь откроется, он войдет один — там его ждет другой конвой.

За дверью его ждал суд. За дверью его ждала смертная казнь. Без вариантов. Один-единственный шанс оставался у него — убедить судей в том, что он — сумасшедший. Надо найти способ подтвердить заключение немецких психиатров, опровергнутое на родине. Он выдержал пытки, страшнее которых, вероятно, не бывает. И не дрогнул. Имитация больного, потерявшего чувствительность, удалась. Но всё оказалось теперь бесполезным. Нужно придумать что-то совершенно новое. Что?

И вдруг пришло понимание, что придумывать ничего не надо. Надо только собраться и соединиться воедино с тем, что есть, — со своей собственной вечной Душой.

И вот вся суета отброшена. Никакого страха. Никакой защитной оболочки. Нагота. Обнаженность того, что есть внутри.

Он открывает дверь. И... Ничто не могло привести судей в больший шок, чем это. Ничто не могло показаться этим затянутым в мундиры, завернутым во все кодексы, отделенным друг

от друга тысячью одежек людям большим безумием, чем эта Душа, так вот представшая перед ними во всей своей наготе.

Камо вошел с воробьем за пазухой. Тем самым воробьем, которого ветер занес в зарешеченное окно его камеры. Ветер занес. Мать послала. Так чувствовал Камо. Ибо воробей влетел в ту редкую минуту, когда Камо оставляли душевные силы. И вот все эти силы собрались в нежности к маленькому замерзшему пернатому тельцу. Обогревая и выхаживая птенца, Камо отогрел собственное сердце. В крохотном птичьем сердце и в огромном человеческом как бы одновременно забились жизнь. Камо почувствовал, что у него есть брат. Что это воробей, не важно. Брат — вот что важно.

Войдя в зал суда, Камо увидел длинный стол и за ним людей в мундирах... И пока он шел, гремя кандалами, а солдаты по обе стороны от него, Камо вдруг почувствовал себя необыкновенно уверенно. Приблизившись к столу и увидев пустой стул, он опустился на него, спокойно достал из-за пазухи воробья, посадил на стол, вынул из кармана хлеб и стал крошить его птице. Воробей клевал хлеб, и Камо, глядя на него, смеялся. Он неразрывно связан с воробьем. Это было для Камо так ясно, что он заговорил об этом — о том, что воробей — его брат, только на нем перья и он маленький. Его прислала мать. Все думают, что она умерла, а она не умерла и прислала воробья!..

Вот и все. Достаточно, чтобы признать человека сумасшедшим.

Итак, подвижник, человек легендарного мужества и сказочной энергии, великой душевной чистоты и красоты, и — террорист, бросавший бомбы, экспроприатор, грабивший кассы, — все в одном лице.

Поэт в душе, для которого важнее всего мир внутренний, и тот, для которого этого мира вообще не существует, — Сталин, — партийные товарищи, делающие рука об руку одно дело...

Но разве только в революции началось соседство несовместимостей? Не раньше?

Сотрясавшаяся от войн земля — и любовь к врагам? Погромы и всепрощение? Политика, сплошь основанная на лицемерии, на жестокости, — и поклонение Распятому?

Вдумаемся: неужели это меньший нонсенс, чем Сталин и Камо — в одной партии?

Революция была кризисным ответом на кризис общества. И мы не можем отменить задним числом всемирный кризис из-за того, что нас не устраивает ответ на него. Этот кризис — данность. И революция — данность. Отказаться от прошлого мы не в силах. Единственное, что мы обязаны сделать, это осмыслить его... и таким образом вырваться из слепоты

революционных иллюзий, из максимализма оценок и контроценок.

Люди рванулись к свободе, не зная, что это такое. Они хотели построить свободное общество, не став свободными личностями. Стать свободной личностью и освободить личность от внешней власти — задачи совершенно разные, подчас прямо противоположные.

Свободной может быть только целостная личность, нашедшая источник жизни внутри себя. Личность, не нашедшая такого источника, обязательно подпадет под власть внешнего: она зависит от внешнего, а не от внутреннего. Свобода может быть только там, где уничтожена зависимость. Духовная свобода — там, где уничтожена духовная зависимость. Тот, кто не нашел внутреннего источника, верит и надеется на что-то внешнее. И происходит незаметная и роковая подмена.

Чистая, религиозная по своему импульсу вера в светлое будущее уводит душу из глубины вширь и вдаль. Бог, который всегда внутри, замещается кумиром, который всегда вовне. Прекрасен этот кумир или безобразен — это уже второй вопрос. Главное — что он кумир. Кумир — нужен тем, у кого нет опоры внутри. Кумиров мы создаем сами. А Бог — то, что есть, то, что создает нас. Кумиру мы подчиняемся, с Богом — сотрудничаем.

Бог соединяется с нами внутри нас. Кумир возвышается над нами вне нас. Бог — это любовь. Кумир — это власть.

И вместе с тем история все время подменяет Бога кумиром, множеством кумиров. И хотя христианская культура дала образ человека, соединившегося с Богом, в массовом сознании настоящей христианизации не было. И духовная история человечества была лишь историей смены кумиров. Воплощение Бога в истории было бы полным концом вражды, концом страха и ненависти, ибо Бог един для всех. Это наша общая глубина. Найти эту общую глубину — вот высшая задача человека. Только выполнивший ее — свободен.

Но можно ли заниматься этой внутренней задачей, когда на улице «бьют старуху»? Вопрос этот напоминает вопрос фарисея, искушавшего Христа. Надо платить подать кесарю или не надо? Скажет «надо» — значит он за несправедные поборы. Скажет «не надо» — тогда он революционер, восставший на власть. Итак, «кесарю — кесарево, а Богу — Богово». Итак, защити старуху, но не думай, что в этом задача твоей жизни. Ты живешь во внешнем мире и должен отвечать на его вызов, но ты укоренен внутри, и у тебя есть внутренняя задача. Выполняй внешние задачи, но не давай совершенно вывести себя изнутри вовне. Религия не отменяет внешних задач, но она не сводится ни к одной из них. Она — не про то.

Всем сердцем любя Камо, Соня хочет оторвать его от заикленности на внешних задачах, от фанатической сосредоточенности на них. Она чувствует, что нужна *иерархия задач*, и хочет передать это чувство мужу. Она не отрицает революции. В отличие от сегодняшних разочарованных идеологов, она революцию приняла как данность. Она понимает пафос Камо, но «революция уже сделана, Семен. Надо жить».

Позиция Сони кажется мне близкой к волошинской. Уже в Февральской революции он предчувствовал начало хаоса и развала России, однако и Февральскую и Октябрьскую революцию принял, ибо понимал, что это данность, судьба, и нашел в себе мужество сказать в конце «Северовостока»: «Божий бич, приветствую тебя!» Так примерно и Соня принимает как неизбежность то зло, которое переплетается с добром на всякой войне за добро. Но она предвидит нарастание зла, которое убьет нравственный пафос революции и погубит ее героев. Соня принимает историю. Она только хочет отделить живые и благородные души от той инерции разрушительных сил, которые готовы захлестнуть их. А для этого надо освободиться от *кумира* идеи — всякой идеи. *Живая идея* — та, которая не застывает раз и навсегда, не подавляет своим величием, а каждый раз рождается заново из глубины сердца, из бездны *благоговейного внимания* жизни. И потому само это благоговейное внимание и есть религиозное действие, подвижнический труд, важнее которого может быть и нет ничего на свете.

Камо, такой, каким его увидел писатель А. Зурабов, не бес, а подвижник, мученик, рыцарь идеи. Однако на высший духовный труд он оказался не способен. Пережить свою идею, остаться наедине с пустотой и там в бездне сердца найти внутренний смысл — вот задача, от которой он отшатнулся.

Может быть, завещав ее нам? Он не сумел пережить свой идейный кризис. Но служить прежней идее больше не мог. И погиб.

Христианство пережило множество идейных кризисов. И если осталось живо, то только потому, что сила его вовсе не в застывшей идее, а в живом Христе.

Вопреки Блоку, Христа за идеями революции не было. Но рыцари этих идей были. И человек, который чувствовал беззащитного воробья своим братом, стоит того, чтобы мы отнеслись к его жизни как к высокой трагедии, с пониманием и сочувствием.

Только тогда мы можем принять на себя ту задачу, которой он не выполнил.

Уважаемый Юрий Аркадьевич!

Несколько лет назад я прочитала Вашу книгу «Тоска по Армении»^{25 26}. Прочитала с огромным сочувствием, даже с восторгом. А недавно мне довелось прочитать Ваши размышления «В поисках уничтоженного времени». И я не могу не написать о глубоком несогласии с Вами. Вы прекрасный стилист; и то, что Вы говорите на первых страницах, кажется убедительным. Потом я к этим страницам вернусь, но прежде всего о «Покаянии».

«Покаяние» — не просто неудавшийся фильм, — пишете Вы, — но намеренный уход от конкретных вопросов, от прямого разговора по существу, нарочитая и вычурная подмена, еще одна в цепи бесконечных подмен...

Искренне ненавидеть обобщенное зло и сочувствовать обобщенным страданиям так же трудно, как искренне любить и беречь обобщественную собственность»...

Вас очень возмущает, что Варлам Аравидзе — никто в отдельности и все тираны вместе. Вам бы хотелось иметь точный портрет нашего владыки с его неповторимыми чертами. По-вашему, Абуладзе ушел от вопроса, о ком этот фильм. По-моему, этот вопрос ушел от Абуладзе. Ибо Абуладзе вовсе не прятался за обобщениями и не задавал никому загадок — кто есть кто. Признавая право на разницу подхода, реалистического и символического, Вы говорите, что «гораздо легче оперировать произвольными символами, задав изначально метафоричность как язык и способ, чем довести до уровня метафоры реальные события». Смею возразить Вам, что есть род искусства, который изначально выбирает «метафоричность как язык и способ», искусства, в котором реальные события иначе, чем метафорой, высказать нельзя. Духовная реальность воплощается во множестве образов, но ни один образ не может исчерпать ее и заменить собой. И если религиозные люди начинают слишком конкретизировать дух, они создают идолов.

Образ духовной реальности всегда символ, подобие, иносказание. Искусство, говорящее о духовной реальности, всегда иносказание. Ибо говорит — о несказуемом. Как Христос в притчах. Прямого языка для того, что говорится в Евангелии притчами, просто не существует. И сложность, с которой мы здесь встречаемся, это не мнимая усложненность, а бесспорная, насущная необходимость. И то, что Вам кажется простотой, для

* Юрию Карабчиевскому в ответ на его статью о «Покаянии».

²⁶ Карабчиевский Ю. Тоска по Армении// Литературная Армения. 1988, № 7, 8.

данного жанра было бы недопустимой упрощенностью.

То, что Варлам Аравидзе совмещает по крайней мере четырех тиранов сразу (никогда не соглашусь, что Сталин в нем вовсе отсутствует), представляется мне не уходом от реальности, а единственным подходом к реальности высшей, глубочайшей.

Как это могло «доброе человечество» родить таких сынков, как Сталин, Гитлер, Нерон, Иван Грозный? Нет, не одного Сталина — имя им легион. Хотя это не умаляет значения каждого. Напротив: каждого множит на легион...

И вот это-то так ужасает Абуладзе. Это-то и заставляет его создать великую притчу, ибо другого языка, кроме иносказания, для его темы нет.

Это фильм о дремлющем в нашей «доброй» природе дьяволе (опять иносказание, но иначе об этом — нельзя). Фильм о том, что человек ушел далеко в сторону от своей *Святыни*, без которой жизнь не может существовать так же, как ветки без ствола.

Путей отхода, отрыва от своего истока много. Человек может быть увлечен идеей, кажущейся ему святой и до какой-то степени действительно святой. И однако где-то совершён незаметный переход через черту... Идея взбесилась, стала самодовлеющей, оторвалась от высшего и глубинного в себе самой.

Взбесившаяся идея или взбесившаяся чувственность, взбесившийся ум или взбесившаяся страсть — все это результат отрыва от истока своего, от священного источника жизни. Может быть, все мысли и все чувства хороши, пока они не оторвались от жизненного Целого. Это Целое символизируется храмом. Человек ушел от своей Высоты и Глубины. Человек запутался на своих дорогах. Вот о чем фильм. И та дорога, которая не ведет к Храму, уводит от собственной сути.

Это не значит, что запрещается ходить в кафе или в гости друг к другу. Все тропинки и переулки остаются в целости и даже любовно сохраняются, если осталась нетронутой основная дорога, ведущая в глубь самого себя, к внутренней, единой для всех Святыне.

Аравидзе всех времен и народов мог появиться только потому, что люди не замечают опасности в самом начале, не берегут своей Святыни, кощунствуют. Потому что в их внутреннем храме не творится великого действия собирания Духа, движения к высшей точке собственной души — не происходит духовного труда.

В Храме рукотворном происходит нечто противоположное. Там есть все, что угодно, только не то, что в нем должно быть.

Но вот в Храме этом раздаются взволнованные, приводящие душу в содрогание слова Альберта Эйнштейна. Действуют ли они хоть как-то? Удостаиваются ли хоть малейшего внимания? Отнюдь. Громкоговоритель передал слова Эйнштейна; а теперь «послушайте концерт легкой музыки».

Вот это сочетание — убийственно. Это оно дает возможность Аравидзе разгуляться на земле. На любой земле. Бездумная облегченность, ничем не останавливаемая жажда удовольствий у одних, розовые очки и культивированная слепота у других, маниакальная уверенность в своей правоте у третьих, недостаток мужества, душевная вялость у четвертых — вот почва для Аравидзе.

Кто он такой и кто такие его гориллоподобные помощники? Это те, кто уверен, что овладели главным секретом Вселенной: Святыни и Совести не существует. «Прошли те времена, когда людей держали во власти тьмы и долбили им, что человек создан

Богом и так далее. Специально скрыли от нас, что мы все от обезьяны произошли...» — говорит ближайший сподвижник «великого деятеля», оценивая по достоинству огромную освобождающую силу этого открытия. Обезьяноподобность — это право не стесняться в своем отечестве, это право разрушать и выбрасывать на свалку все, в чем не нуждается обезьяна.

Но Варлам сложнее. Обезьяна, по крайней мере, естественна. А Варлам Аравидзе — великий лицемер. Свой главный секрет — отсутствие совести и святыни — он не выпаливает в лицо собеседнику, как его помощник. Он держит этот секрет про себя и хочет стать олицетворением попранной им святыни и совести в глазах людей. Это уже не просто Горилла. Это — «отец лжи». И самое страшное, что ему удалось овладеть нами.

Он уничтожил одних, подчинил других, убедил третьих — убедил, ослепил, обратил в свою веру. Превратил людей в стадо, идущее за своим пастухом. Он овладел и телами, и душами. Вот в чем ужас.

Вам нужны особые приметы Сталина? Вам не все равно, какое конкретное чудовище овладело вами? Разве не важнее всего то, что вами могло овладеть чудовище и что это чудовище мы, обыкновенные люди, обожествляли? Мы — Сталина, немцы — Гитлера. Русские бояре слезно просили Ивана Грозного править ими; римляне поклонялись Нерону. Что же происходит с людьми на протяжении всей их истории? Ведь мы так хотим верить в человека. «Человек — это звучит гордо». Свобода! Равенство! Братство! «Обнимитесь, миллионы!»

Но могут ли миллионы обняться, пока жив Аравидзе? А он ведь жив даже и мертвый. Дело в том, что его похороны — такая же условность, как все в фильме. Его вызывают из гроба магическим танцем. Сворачивается некое колдовство. Он приходит на призыв. И всегда будет приходить до тех пор, пока его призывают. Он будет жив, пока есть люди, которым он нужен.

Пока есть Авель Аравидзе, будет и Варлам Аравидзе. Они до того тесно связаны, что по сути встает вопрос: кто кого породил? В феноменальном мире — Варлам — Авеля, но в ноуменальном — в духовной реальности — едва ли не наоборот.

Авель — тот, кто хотел бы пользоваться всеми благами жизни, не создавая ничего, не жертвуя ничем. Он не садист, не мокрушник. Он предоставляет более решительные действия другим. Он будет просто пользоваться плодами их деятельности. Это мародер с лицом простого честного человека. Это Каин, убивающий брата чужими руками. Он убежден, что вопрос Бога: «Каин, где брат твой Авель?» — к нему не относится. Он не слышит этого вопроса. Он присвоил себе имя

убитого брата. Он — Авель. Он спрашивает: «О чем ты, Боже? Авель на месте. А вот где Каин? Кто он такой?»

Тут лицемерие достигает какой-то новой степени, неведомой даже Варламу. Варлам знал, кто он такой. Он и не отрицал в себе Каина. Он был человек по-своему цельный... И когда Торнике кричит отцу: «Ты хуже деда!» — он именно это имеет в виду, и его можно понять.

Дед точно знал, что никакой святости нет и никакого владыки нет — кроме него самого. Нет и не может быть. Невозможно себе представить Варлама Аравидзе стоящим на коленях, молящимся... А вот Авель стоит и молится.

Он не так уж уверен в небытии Бога... Кто знает! И на всякий случай крадет чудотворный крест. Авось сгодится. Если святость есть, то пусть она будет его собственностью.

Можно возразить, что крест украден ребенком. Однако вполне зрелый мужчина хранит у себя все тот же украденный в детстве крест. Этот крест соседствует с драгоценными картинами убитого его отцом художника. Все в целости. Все тут же, в подвалах. Здесь Авель и молится, стоя на коленях около украденного креста.

Надо ли говорить, кому он молится? Надо ли удивляться, кто принимает его исповедь, кто оказывается жив его молитвами?

Без Варлама не обойтись — и он тут как тут.

Настоящая молитва обращена внутрь души, к нашему глубочайшему «я» — внутреннему Господину. Но от Него Авель дальше всего. Это внутреннее «я» — цельно, оно несовместимо с двоедушием. Авель же — само двоедушие, утраченный и заматавшийся мародер, желающий и удовольствие получить, и невинность соблюсти. Но тут его выводит на чистую воду его родной отец: «Не узнал меня, сынок, ты что же это на исповедь к дьяволу пожаловал?»

Да, Варлам Аравидзе — это тот самый, кого в давние времена называли князем мира сего, не конкретизируя и не ища особых примет. Он всегда надевал личины, этот князь, ибо у него нет своего лица. Мы даем ему лицо, пока верим в него, пока ему поклоняемся.

Вы хотели, чтобы Вам показали конкретное лицо Сталина, а Вам показали магическое зеркало, поднесенное к лицу Сталина. И то, что оно отразило, оказалось нечеловеческим лицом — лицом нечеловека. Нам показали это лицо или эту безликость, укравшую лицо человека.

Так вот кому мы поклонялись?! Так вот куда привели нас мечты великих гуманистов?! Поэт, слагавший оду «К радости», и композитор, положивший ее на музыку, не доглядели

человека до его скрытых глубин, не поняли, что человек носит в себе не только небо, но и преисподнюю. И их великий энтузиазм, их героический подъем духа помогают палачам превращать обнявшиеся миллионы в стадо, идущее на заклание...

Как страшно слышать раскаты бетховенской музыки и видеть, что происходит под звуки этой музыки! Ода к радости, заглушающая стоны пытаемых!..

Эта музыка — недаром она часть Девятой симфонии — девятый вал веры в человека, великий всечеловеческий гимн, утверждающий светлое начало в наших душах...

Вы хотели, чтобы здесь звучала «Широка страна моя родная». Воля Ваша, но осмысление эпохи фильмом куда глубже и значительней того, что видится Вам...

Перед нами страшный итог, трагедия человечества. Результат великого духовного подъема нескольких поколений — котлован.

Человек, такой, какой он есть на сегодня, — не прекрасен. Надо иметь мужество сорвать розовые очки и взглянуть правде в глаза. И — выдержать взгляд Правды.

Рухнул не какой-то один эксперимент в отдельной стране. Если бы это было так! Мы заменили бы, умудренные опытом, ложные идеи на истинные — и дело с концом. Но все гораздо сложнее и глобальнее. Недаром весь мир стоит на краю катастрофы. И исток этой катастрофы не в отдельных порочных идеях. Порок во всей нашей цивилизации. Во всех, кто носит ее в себе, — во всех людях и народах. Это надо видеть. Прежде всего ясно видеть себя самих и своих братьев и осознать духовную задачу, которая перед нами стоит.

В чем же она? Прежде всего, как говорил китайский мудрец, надо исправить имена. То есть сделать слова соответствующими тому, что они обозначают. Надо назвать Каина — Каином, Авеля — Авелем. Среди нас ходит Каин, называющий себя Авелем. И пока это так, Варлам Аравидзе живее всех живых и по-прежнему правит нами.

Каин, убивший брата, должен ответить на вопрос, звучащий из глубины глубин: Каин, где брат твой Авель? Пока человек не ответил на этот вопрос, братоубийство продолжается. Оно безнаказанно, оно узаконено, какие бы слова ни говорились.

Авель Аравидзе, оправдывающий своего отца Варлама, продолжает убивать Сандро Баратели. Убийство продолжается. А оно должно прекратиться. Вот что значит *покаяние*. Это не коленопреклоненная молитва, не поток слов, даже не поток слез. Это прекращение *греха*. Прекращение убийства.

Авель, оправдывающий Варлама, окружающий почетом его

могилу, продолжает вместе с Варламом убивать. Все, кто оправдывает нераскаявшегося Авеля, продолжают дело Варлама. И это убивает Торнике. Да, если покаяния не происходит, если Варлам по-прежнему жив в его сыне и во всех его близких, если продолжается сосуществование человеческой природы с дьявольской, то потрясенному Торнике не остается ничего иного, как убить себя. И вот она, судьба молодого, еще духовно живого поколения.

Фильм — грозное предупреждение. Но в его беспощадности (и только в ней) — наша надежда.

Какая надежда остается у Каина после того, что он совершил?

Беспощадность к себе. Созерцание ужаса, им содеянного. Каин должен ответить на вопрос Бога об убиенном брате. Каин должен сказать о себе: «Я — Каин, а не Абель. Я не невинен. Я бесконечно виновен. Я убивал вместе с Варламом. Варлам — во мне. И великий мой долг — исторгнуть его из своей души».

Разумеется, вырывание трупа из земли — такое же иносказание, как и все в фильме. Надо вырвать из себя то, что оскверняет нас. Надо убить убийцу в себе. И только тогда, после покаяния, собраться около разрушенной веры в человечество, как около руин великого Храма. Собраться для созидательной работы. Мы — духовные банкроты. Нас призывают к духовному труду.

И напрасно Вы думаете, что там, на Западе, где с целым рядом вопросов сумели справиться и впрямь гораздо лучше, чем мы, все в порядке. И что достаточно только уподобиться этому многопартийному, рыночному, разумному, оснащенному новейшей техникой Западу — и более, собственно, ничего от нас не потребуется. Не так-то все просто. У меня уже была написана небольшая статья о фильме «Покаяние» под названием «Судья — подсудимая». Там я сравнивала два фильма: этот (обсуждаемый столь горячо) и «Репетицию оркестра» Феллини. Мне кажется, что оба фильма с разных сторон подходят к одному и тому же; не только мы, но и вполне благополучный Запад — на грани катастрофы. И ему нужно покаяние, не только нам. Наш Храм, наша Святыня разрушаются насильственно, извне. Их Храм разрушается изнутри. Разрушение происходит как бы само, от духовной анархии, внутреннего хаоса, своеволия, носящего облик внешней свободы.

Технически и материально Запад цивилизован, а мы варвары. Духовно мы, может быть, стоим друг друга. Или во всяком случае разрыв не так уж велик. На Западе дремлют еще и тоталитарные возможности, и никакие наши кризисы и

разочарования не могут переубедить новых левых и правых радикалов. Все это гораздо более значимо, чем Вам представляется, но я не буду здесь долго останавливаться на этом.

Скажу только, что подчас действительно увидеть — значит увидеть во множестве лиц единую суть. И вот почему в романе Гроссмана «Жизнь и судьба», в котором Сталин дан более чем скупое, нас ошеломляют впервые высказанные вслух (и напечатанные

у нас!) рассуждения гестаповца о единой природе гитлеризма и сталинизма...

Это много важнее конкретики того и другого лидера...

Странное дело. Вы требуете конкретики, когда речь идет о духовных явлениях и о бытийственной сути вещей, и совершенно отказываетесь от всякой конкретики и специфики, когда речь касается географических, временных и всяких других строго конкретных явлений. Вот теперь я перехожу к началу Вашей статьи.

Признав с волнением и удовлетворением, что, наконец, все-таки «сдвинулось», что-то в стране нашей начало воистину происходить, Вы со вздохом и печальным юмором замечаете, что последнего слова никто не решается сказать и последнего шага никто не делает. А сделай его — и...

Что же это за слово и что за шаг? Ну неужели не видно, чьи пироги пышнее? Так чего же в прятки играть? Дойдите до многопартийной системы — и всё. Так просто!...

Нет, не так просто. Вот тут-то и нужна конкретика России, всей ее истории, и особенно сегодняшнего дня. Тут надо быть, надо уметь быть действительным реалистом, а не исходить из всеобщего блага, которое стоит только пересадить на любую почву — и все будет в порядке. Но откуда его взять, этот порядок?

Никаких традиций демократического порядка нет. Есть разоренная страна, искаженные умы, перевернутые представления о добре и зле, потеря всякого умения работать, потеря всяких идейных ориентиров — и духовных тоже... Толпы людей, готовых броситься вслед за демагогами из общества «Память», создают угрозу внутренней (демократической) фашизации. И вот при этих-то исходных данных выйти и сказать, что нам нужна многопартийная система, и все, кто об этом умалчивает, недоумки... По-моему, это все равно, что сказать: лучший способ ликвидации голода — накормить голодных. Полный уход от реальности.

Где наше общественное мнение? Где культура спора без ссоры? Можно разрешить печатать «Котлован», но нельзя разрешить то, чего нет, — сложившихся течений, из которых могли бы возникнуть парламентские партии. «Память» готовится не к парламенту, а к погрому. Как толпа в Сумгаите. Основными политическими силами остаются две группировки правящей партии: реформаторы и консерваторы. За их пределами — политические кружки, из которых когда-нибудь что-нибудь может выйти. На сегодняшний день парламента из этого не получится.

В кружковых спорах не раз предлагалось уравнивать Ленина

со Сталиным — тогда только начнутся перемены. А я думаю, что именно тогда-то ничто и не переменится. Мышление останется старым...

Одно из распространенных упрощений — отрицать у Ленина всякие идеалы и обвинять его в голом властолюбии. Это значит сбросить одним махом в небытие огромную духовную силу, поднявшую целые поколения, осмыслившую их жизнь, вдохнувшую в них веру, которая смогла и впрямь сдвинуть горы, — перевернуть мир. Этот переворот был чреват трагедией. Но герои трагедии — личности, а не марионетки. Трагедия — не плутовской роман, где плут морочит дураков. Тут что-то покрупнее.

Мир, который был потрясен за те «десять дней», был миром глубоко кризисным, захлебывавшимся в крови войны. Наши отцы и деды искали выхода из тупика истории. Искали, как умели. И мы, ищущие выход из сегодняшнего тупика, обязаны осмыслить их опыт, а не отворачиваться от прошлого, как от чужого. Мы не умнее и не лучше. Мы только досмотрели конец пьесы, еще не видный и не понятный им.

Люди верили, что они смогут построить идеальное общество; и все жестокое, что они делали, они делали во имя благородной цели. Теоретически это выглядело так же убедительно, как идея Раскольникова, во имя которой надо было убить старуху процентщицу. Кроткая Лизавета, которая попала под руку, в расчет не шла. Раскольников не хотел ее убивать. Не по своей воле убил. Хотел — только злую старуху.

Наши отцы, революционеры, тоже хотели поразить только зло. Но представляли его себе четко очерченным, совершенно отделенным от добра. Мир был для них черно-белым и точно разделялся баррикадой. А оказалось, что самое большое зло — сама баррикада. Мы это поняли задним числом. А им не так просто было понять...

До нашей Октябрьской революции была французская, с чудовищными взрывами жестокости. И жертвенные, благородные люди, не смущаясь этим, становились последователями ее идей. Можно ли после этого продолжать считать их благородными — или мы откажем им во всяком благородстве, жертвенности, альтруизме? (Антихристово племя! Бесы!)

Но ведь что интересно: Достоевский, написавший своих «Бесов», во многом полемически заостривший ужасы подполья, все-таки понимал, что в центре, во главе революции нужно что-то покрупнее Петра Верховенского. И даже Верховенский сам это отлично понимает. Тут нужна личность трагическая, нужна душа большая и способная на свет. Вдохновителями

могут быть Родион Раскольников или Ставрогин, за которого так борются и темные и светлые силы. Без того крупного и светлого, что было в нем, никогда бы не пошли за ним ни Шатов, ни Кириллов. Революция не начинается со смердяковщины. Нужна воодушевляющая людей вера. Нужна идея, способная объединить людей. Что к Карамазовым примажутся смердяковы, это обнаружится потом. Начинается с тех, кто жаждет добра, жаждет ответа на вопросы «Что делать?», «Кто виноват?»

Кто они — эти идейные люди, плохие или хорошие? Черные или белые? В них борются свет и тьма. В том-то и боль, что черные дела делали отнюдь не только черные люди. И если сегодня мы выкрасим их сплошь черной краской, мы не научимся делать белые дела. А задача-то именно в этом... Осуждая без разбора всех революционеров, мы действуем вполне революционно, то есть хирургически. И — дурная бесконечность продолжается.

Истинная революция должна быть беспощадной и одновременно бескровной: переворотом в самих себе. Наша задача — изменить мышление, стать истинными реалистами, видеть свои действительные, а не вымечтанные возможности, соразмерять каждый свой шаг с жизнью.

Наши отцы были великими утопистами, проглядевшими Варлама Аравидзе. Они не были ни Варламами, ни Авелями. Они были подобными Михаилу и разделили его судьбу. Михаилу и Елене. Они вместе с Еленой пели оду «К радости». Они верили в гуманистические идеалы вместе с Шиллером и Бетховеном. Невидящими глазами, устремленными в светлое будущее, глядели они на мир. И больше всего боялись остаться без веры. Умереть было легче. Над их слепотой и их мукой плывут раскаты Девятой симфонии. Трудно представить себе что-то более трагическое... Насмешка ада. Есть от чего содрогнуться.

А ведь они хотели только победить мировое зло. Ценой человеческих жизней?

Да. Другого выхода они не видели. И прежде всего готовы были жертвовать своей жизнью. Этой ценой они достигали смысла жизни, вырывались из царства абсурда.

Ремизов в своей книге «В розовом блеске» говорит о революционном прошлом своей жены, Серафимы Довгелло. Идеалом ее, сияющим в розовом блеске, была Софья Перовская. При этом, замечает автор, она никогда не помнила, что Перовская убила. Помнилось, виделось только то, что Перовская принесла себя в жертву. Переменились времена. И теперь, вспоминая Перовскую, прежде всего думаем о том, что

она была участницей политического убийства.

Фотография Софьи Перовской стояла на столе у Тургенева. Мы с трудом можем это понять, но не поменялись ли в нашем мышлении попросту местами Люцифер с Иолдобаофом, как во франсовском «Восстании ангелов»? И не осталось ли все по-прежнему? *Ибо сознание осталось прежнее* — однолинейное.

Правда в том, что Софья Перовская была и убийцей, и жертвой одновременно. И какова бы ни была ее вина (а она была), невозможно смешивать Перовскую или Каляева или любого другого революционера с уголовными преступниками. Революционеры — герои трагедии, а не уголовной хроники.

А Сталин принадлежит к персонажам уголовной хроники. Сталин был только убийцей. Ничего светлого. Никакого «во имя». Только культ силы и власти. Полное торжество ада.

Нам не надо выискивать, с кого списан Аравидзе. Гораздо плодотворнее спросить: кого списала природа с невидимого вневременного прототипа — Варлаама Аравидзе? С отца лжи?

Мне хочется припомнить поэму Ивана Карамазова «Великий Инквизитор».

Был ли он виновен, Великий инквизитор, сжигавший людей во имя Христа и собирающийся сжечь самого Христа?

Был. Бесконечно виновен. И вот всю ночь он исповедуется Христу, не чувствуя раскаяния. И все-таки желая перед Ним оправдаться... Что же отвечает Христос? Ничего. Так и не сказав ни единого слова, он целует своего врага в «бескровные девяностолетние уста».

За что? Почему? Ни за что. За страдание. За то, что, осуждая на гибель людей и Его самого, старик не только губит и свою собственную Душу, но чувствует непрекращающуюся великую боль. Казня других, он не ликует, а страдает. Казнь для него одновременно и самоказнь.

Можно, конечно, возразить, что этот Инквизитор — выдумка, что на самом деле все грубее, проще. Одно себялюбие и властолюбие. Примерно это Алеша и говорит Ивану. И Иван согласен, что такой Инквизитор одинок, «не типичен». Но ведь довольно одного, чтобы понять всю глубину его муки. И не только его муки — тупика человеческой мысли, веры. Осознание этого тупика и поиски выхода из него бесконечно важнее и плодотворнее прямолинейного суда.

Два человека могут равно быть убийцами. Но один убийца не способен на покаяние. А другой не способен жить без покаяния. И разница здесь большая, чем сходство. Способность к покаянию, потребность в покаянии — вот, на мой взгляд, главное на сегодня мерило человека, нации, цивилизации.

Да, никакие идеи сами по себе ничего не гарантируют. Даже

христианские. Исповедующий христианство может так же служить дьяволу, как исповедующий социализм. Так же, как оба они могут служить Богу. Критерий, лакмусовая бумажка всех идей — умение ответить на вопрос: Каин, где брат твой Авель? Критерий — закрыта или нет дорога к покаянию?

Наследие революции — это сегодняшняя реальность. Выбросить ее невозможно. Это та почва, которую надо пахать. Набравшись новых сил и нового духа. Стремление обвинять во всем старых революционеров — это по сути дела лишь уход от нашей настоящей задачи. От задачи сегодняшней духовной революции, от подлинного осмысления истории и самих себя.

В фильме «Покаяние» произошло такое великое духовное осмысление эпохи. И оно показало, что никакие, самые прекрасные идеи не гарантируют нравственность человека, что в человеке дремлют страшные возможности; что человек по природе вовсе не прекрасен, что он еще поле битвы добра и зла.

Задачи и люди

Каждое здание хочет быть храмом,
каждая картина — иконой, каждое
стихотворение — молитвой.

Владимир Казьмин

Христианство как динамическая сила

Мои встречи с

Александром Менем

У меня на столе книжка «Смертию смерть поправ» (Минск, 1990). На обложке портрет Александра Владимировича. Одна улыбка. Во все лицо. Во всю душу.

Любопытно, что большинство людей, увидев этот портрет, удивлены. Не узнают. А для меня нет портрета, запечатлевшего Александра Владимировича лучше. Посмотришь — и толчок в сердце: боль, радость, любовь — вместе.

Это улыбка совершенно живого человека. Отважившегося быть живым в любой обстановке — в лапах Кашея или когда вокруг так смердит, что и дышать, кажется, нечем. Улыбка эта как свидетельство, что есть что-то большее, чем все Кашеи, что над всем этим самодовольством тьмы можно так полно рассмеяться. Есть такие духовные просторы, куда всей тяжести земной вход заказан. Она кончается, исчерпывается, а они — просторы эти — бесконечны. Ответ бесконечности — вот что в этой улыбке...

«Есть три чуда о брате нашем Иисусе, еще не записанные в Писании, — сказал великий ливанский поэт-мистик Халиль Джебран. — Во-первых, Он был таким же человеком, как ты и я; во-вторых, у Него было чувство юмора; в-третьих, Он, побежденный, знал, что вышел победителем».

Это неуловимое знание своей победы внутри поражения, это ощущение света, который и во тьме светит, — вот это и есть улыбка Александра Меня.

Я познакомилась с Александром Владимировичем двадцать пять лет назад в доме нашего соседа Юрия Г., неопита, только что со всей семьей крещенного Аликком. (Тогда его все так звали.) Знакомству этому предшествовали постоянные перепалки с Юрой (дружественно мягкие, но постоянные). Юра был счастлив своим обращением и полон благородной жажды распространить это счастье на весь мир, то есть немедленно научить всех тому, что сам постиг только что. К своей роли учителя он относился очень серьезно, а я никак разделить этого серьеза не могла. Не так просты духовные истины, как это кажется многим неопитам... К тому времени, когда крестился Юра, неопитов среди интеллигентов стало довольно много. Правда, не так много, как сейчас. Я открыла для себя Евангелие в другое время. Теперь и представить себе невозможно, каким ледяным холодом встречались слова о Боге, о Христе у нас в университете в середине и в конце сороковых. «Сороковые — роковые», — писал тогда Давид Самойлов, учившийся со мной вместе на филфаке. Как он яростно отвергал мои первые стихи-раздумья, стихи, обращенные к Богу. Ему чудилось в них что-то глубоко чуждое эпохе, ее деятельному, героическому пафосу, ее коллективизму. «Есть стихи декабристские и стихи литфондистские, — говорил он. — Это типичные литфондистские стихи». (Замечу в скобках, что Давид Самойлов переменялся сильно и в 60-е годы смотрел на вещи уже совсем иначе.)

Как бы там ни было, тогда о христианстве говорить и думать было не принято. И вдруг, как-то сразу это стало массовым явлением. Я обрадовалась — но ненадолго; люди метнулись от одной идеологии к противоположной, из одной точки поверхности в другую, минуя глубину.

Мой собственный приход в религию был совершенно неожиданным для меня самой. Я не искала веры, как Колумб не искал Америки. Нужна была Индия, то есть просто возможность жить. Я задыхалась. «До полной гибели всерьез». И тут-то вдруг и пережила нечто, что перевернуло, пересоздало меня и о чем я говорю всю жизнь, но так и не сказала (ибо неисчерпаемо).

Нет, не из книг пришло ко мне мое знание. Хороших книг тогда вообще было мало. Бесконечно меньше, чем сейчас. Правда, был Достоевский. И все-таки можно было достать Библию. Мне ее подарили близкие друзья к двадцатилетию — огромную синодальную Библию с медными застежками. С тех

пор и лежит она у меня на столе. Так вот — читала я ее, и отдельные книги Ветхого Завета действовали на меня своей мощью, какой-то огромной космической волной, а Новый... нет, не действовал. Никакой силы я в нем не чувствовала. И весть шла как-то мимо моего неподготовленного сердца. Так было до того события, до моего опыта. А после него, когда я брала в руки Евангелие, то фраза, начинавшаяся на бумаге, кончалась в моем сердце. И вскоре я столкнулась с радостным потоком новообращенных христиан, которым жить теперь стало легче, и все стало понятно. Еще недавно они яростно негодовали на мою религиозность. Теперь я была для них недостаточно ортодоксальна.

— Что ты говоришь, Зина, ересь какая-то! Сколько ты еще недопоняла, — частенько говорил мне тот же сосед Юра. — Вот познакомлю тебя с настоящим священником, тогда поймешь.

И познакомил.

Алик был необычайно красивым, очень молодым и очень живым человеком. Но, пожалуй, главное впечатление было от взгляда, от глубины глаз. Была в них та спокойная истинность, та незыблемость внутренняя, которую не смогли спугнуть и поколебать необычайная внешняя подвижность, свобода и быстрота реакции. Взгляд его вносил с собой простор, где вольно и глубоко дышалось.

— Алик, а Зина говорит, что не во все Евангельские чудеса следует верить буквально. Разве апостол Павел не сказал, что если Христос не воскрес, то вера наша мертва? — А я и не говорила тебе, что Он не воскрес, — возразила я. — Но ведь Он же говорил, что когда воскреснет, то мир не увидит Его, а апостолы увидят. Значит, не такое простое дело воскресение, не физическое явление. Физически Павел мог видеть Иисуса до смерти Его и не увидеть в нем Христа. Важно то, что душа Павла пробудилась и увидела, что Он вошел внутрь Павла...

Алик быстро обернулся, сверкнул лицом и как-то удивительно весь открылся.

— Ну конечно, ну разумеется так, — сказал он. — Зина правильно говорит, совершенно точно.

Мы прямо-таки окунулись в радость единства — он, я и мой муж. Проговорили около пяти часов. Нам этого времени не хватило. Условились через несколько дней встретиться у нас дома. На прощанье я сказала ему, что была счастлива встречей. Я всегда знала, что наш язык человеческий, наше буквальное слово — лишь указательная стрелочка в пространстве Духа, не более. Но мне казалось, что церковь этого не признает, что церковь давно отошла от Духа и прилепилась к букве. Я считала, что церковь и есть тот самый упрости́тель,

исказивший безмерную истину, чтобы втиснуть ее в прокрустово ложе наших представлений. И встретить такого священнослужителя было для меня чудом.

Примерно это я сказала ему и услышала в ответ:

— Ну что вы, Зина, вы просто не знаете церкви. Церковь сохранила предание, церковь сохранила нам все духовные сокровища.

Видя перед собой такого священника, я готова была сейчас же поверить в это, отбросив все мое знание как несущественное.

Через несколько дней Алик был у нас дома. Бывали и мы у него в Семхозе. Первый раз приехали зимой. Было очень тихо. Удивительное ощущение тишины, в которой так свободно душе. Мансарда на втором этаже со скошенным потолком, деревянные стены. Какое-то тихое мерцание, нет, не свечей, — день на дворе — вещей: икон, книг. А в окне — деревья, небо. Особенно помню крест еловой верхушки, врезающийся в небо. — «Господи, как хорошо у вас», — сказала я Наташе. Она пожала плечами: «Многие так говорят, а вот меняться из Москвы сюда никто не хочет».

Тишина... В первые годы нашей дружбы она была непременным участником наших встреч, едва ли не главным участником. Потом тишины становилось все меньше. Уже редко можно было приехать к Алику и не застать у него множества народу. Причем народу разношерстного; не то чтобы разного (это бы и хорошо), а как будто глухого друг к другу, не затихавшего перед главным, глубинным. Деревья, молчавшие в окне, были среди этого народа одинокими, незамеченными. И та верхушка ели, которая крестом врезалась в небо, — тоже. И показалось мне, что и сам Алик — тоже. То есть внешне как раз наоборот. Он всем был необходим, без него, кажется, ни одного вопроса не решали. Но... его простор внутренний, его глубина — вот это все как будто и не требовалось, этого могло быть и поменьше — не заметили бы...

Однажды в письме к нам у него вырвался просто стон. Мы увидели, что он задыхается среди тех, кто брал его по кусочкам, не замечая целого. И все же — оставался самим собой.

Были в нем духовное равновесие, трезвость духа, позволявшие не застывать в отрицательном, видеть сквозь очевидную дисгармонию глубинную гармонию. Мир — не предмет оценки. Мир — место работы. «Мы, конечно, соавторы Творца, — писал он И. Макаровой-Вышеславской, — но соавторы, настолько же ниже стоящие, насколько наша природа элементарней». И все же — соавторы Творца. Мысль эта кажется мне важнейшей, и бесконечно близка мне. «Освобождение от грехов и греховности, — пишет он тому же

адресату, — это долгий процесс. Сразу ничего не выходит. Чем зрелей художник, тем ясней он видит свои недочеты. (Новичок часто бывает в восторге от своей мазни.) Так и с пятнами на одежде крещения. Их видно только при свете».

Он видел то, что люди не умели или не хотели видеть.

И однако что-то стало отделять нас с мужем от него. Единство, которое казалось почти абсолютным в первые годы дружбы, стало теперь не столь полным. Приезжал он к нам все реже и ненадолго.

— Алик, ну что ж мы так мало видимся?

— Ничего, Зиночка, вся вечность наша будет.

Этот его становившийся почти дежурным ответ мне не нравился. Вечность, как чувствую ее я, — это то, во что бесконечно вглядываются и «вдышиваются»; вечность — это то, на что требуется очень много времени... Может быть, все время. Вечность — это время, которое не сворачивает в стороны, а все собирается внутри и потому никуда не утекает...

Мне казалось, что он дает утекать времени, отвлекается от глубинного внутреннего для своей огромной внешней деятельности. Не слишком ли он деятелен, не слишком ли широк?..

Мне все чаще хотелось, чтобы он, как Серафим Саровский, отважился бы отказать своим посетителям ради молчания, ради соборания Духа, который для них же будет нужнее всего.

У нас начался некий непроявленный, невысказанный спор. И я не хочу теперь сглаживать что-то и замалчивать.

Да, Вечность встала посреди сердца. Нас уже ничего не разделит. И все же именно сейчас я больше, чем когда-нибудь, обязана видеть и понять, что же нас разделяло.

«Что Вы, Зина, Вы просто не знаете Церкви — сказал он мне тогда, 25 лет назад, — все то, что Вы говорите, ничуть не противоречит ее учению. Церковь сохранила предания. Церковь собирает духовные сокровища...»

Все это было так. Но — не только так. Я бесконечно хотела бы стать членом той же Церкви, что и он. И — не могла.

Почему? Потому что я ясно видела, как плотно закрываются двери церкви, и ясно чувствовала, всей кожей, как там, за дверью, снаружи — мерзнет кто-то совершенно открытый, незащищенный, не одетый... Может быть, Тот самый, кому вечно негде преклонить голову?..

Церковь — это дом Бога. Значит — дом Духа, дом Души. У невидимой души есть невидимый дом. И видимый тоже. Он необходим ей. Но видимый дом меньше невидимого.

Если бы нашлась видимая Церковь, которая ставит себя на второе место перед Церковью невидимой, — с каким счастьем я

бы вступила в нее! А пока я чувствую себя только членом Церкви невидимой... прозрачной для Духа живого и всегда открытой Ему.

Мы никогда не обсуждали этот вопрос. Алик никогда не пытался обратить нас с мужем. Я знаю, он чувствовал, что мы одного духа, а все остальное — личное дело каждого.

«Для меня вера, которую я исповедую, — пишет Александр Владимирович в своем „кредо“, — есть христианство как динамическая сила, объемлющая все стороны жизни, открытая ко всему, что создал Бог в природе и человеке. Я воспринимаю его не столько как религию, которая существовала в течение двадцати столетий минувшего, а как путь в грядущее». Путь в наилучшее... Вечный путь, приближающий шаг за шагом к нашему Божественному прообразу, который одновременно и очень далеко и очень близко. Путь, который начинается сейчас и здесь, а кончается в Царствии Небесном. «Да придет царствие Твое...» Придет с нашей помощью, с нашей работой. Каждый должен работать на своем месте. Место Александра Владимировича было одно — то самое, которое он занимал: место священнослужителя.

Как-то раз, говоря об одном священнике, друге своем, которого лишили прихода, он сказал: «Для священника не совершать богослужение — все равно, что для поэта не писать стихов».

— Не писать или не печататься? — переспросила я. «Нет, не писать», — сказал Алик.

«Христианство как динамическая сила» — что это такое? Это сила вечно движущаяся, поспевающая за живым Духом, за Дыханием жизни. Это сила столь свободная и столь же таинственно глубинная, как само Дыхание, обнимающее, пронизывающее собой все стороны жизни. Дух «веет, где хочет». И там, где Он веет, возникает жизнь. В истории действуют две силы: религия как сила динамическая и религия как сила статичная. Дух и буква. И внешне они так похожи, что на протяжении всей истории идет путаница. Вечно кто-то важный и авторитетный говорит от имени Бога и распинает Бога. А перед тем побивает камнями пророков, а после сжигает на костре Яна Гуса (и бьет топором по голове праведника).

Религия как сила статичная все знает, всего достигла. Ей не надо никуда двигаться. Ей надо только охранять. И множество беззащитных, носимых ветром душ просятся к ней под охрану, находят в ней оплот и утешение, и когда она приказывает солгать — лгут, приказывает убивать — убивают. Да, эти слова Багрицкого, призванные защищать и оправдывать кумиров антицеркви, могут быть отнесены и к кумирам церкви.

Кумиры, даже прямо враждебные по сути, все-таки всегда ближе друг к другу, чем к живому Духу.

И как трудно этот живой Дух понять, принять, довериться Ему! Даже очень хорошим людям это часто не под силу. Трудно ступить на воду. Сам апостол Петр сделал шаг и стал тонуть. Трудно опираться только на внутреннюю твердь, не имея почвы под ногами...

Но что это значит — «Царствие Божие внутри нас»? Царствие Божие, наше божественное начало, внутри нас... Но... где же это?..

Вот перед нами кто-либо, кого называют Богом. Это понятно. Склониться перед Ним, чувствуя, что Он неизмеримо выше тебя, это понятно. Молиться Ему, находящемуся на далеком небе. Он — в вышине; мы — маленькие, смиренные — в низине. Можно увидеть эту картину застывшей навсегда, а можно постичь ее как момент, точку отсчета. Так начинается наш путь: «Да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя яко же на небеси тако и на земли». Мы склоняемся перед небом, но мы верим, что земля и небо должны сближаться. Жизнь — динамика, процесс вмещения и исполнения воли нашего Зодчего, процесс воплощения творческого замысла о мире. То, что находится внутри нас, должно проявиться вовне, стать видимым — воплощенным. Жизнь наша есть движение в глубину бытия и воплощение глубинной воли, воплощение изначального Слова. Слово не только однажды стало плотью. Слово должно воплощаться все время. Мы должны осуществлять свое богоподобие. Христианство как сила динамическая есть сила, преображающая душу человеческую, сила, которая обоживает нас.

Однажды в Семхозе, в доме у Александра Владимировича, когда там собралась очень небольшая и тихая группа людей, ко мне подошла молодая женщина и дала мне самиздатский перевод Габриэлы Босси. Алик сидел за столом и улыбался: «Это прекрасная книга и так близка вам будет, Зина». Так оно и оказалось. Это книга о живом богообщении. Габриэла Босси видит Христа сердцем. Это Тот, Чье присутствие делает ее по-настоящему живою, осмысляет каждый ее день. Она знает Его, как знает собственный смысл — изнутри. Она слышит Его слова, хотя, разумеется, не физическими ушами:

«Вы должны видеть во Мне Бога, но вы должны также видеть во Мне человека. Приближайтесь, приближайтесь ко Мне.

Что же во Мне внушает вам страх? Разве можно бояться Младенца в яслях?

Разве можно бояться человека, распростертого на земле и

отдающего на пронзение гвоздями свои ноги и руки?»

И еще:

«Прострем друг другу руки с двух берегов,

Берега времени и берега Вечности».

«Мы приближаемся к встрече» — вот постоянный мотив этой книги. Это и есть христианство как динамическая сила. Движение к Христу — не как к далекой, оторванной от нас абстрактной иконе, а как к нашему внутреннейшему великому «я». К тому «я», которое невидимо, потому что оно «зрачок нашего глаза» (Тагор). Приближение к Христу есть приближение к собственному сердцу. Вот какое христианство исповедовал отец Александр.

Юра Г., который познакомил нас когда-то, уехал на Запад. И после перестройки был гостем в Москве. И снова на нашей кухне.

«Гриша, — обратился он к моему мужу, — сформулируй в одной фразе суть своих претензий к твоему великому оппоненту». — «Ну что ж, — сказал Гриша, — вот они: он знает, как надо»²⁷. — «Ну, это напрасная претензия, — сказал Юра. — Это как раз хорошо. Я тоже знаю, как надо».

Так вот, я думаю, что главное типологическое различие людей именно такое: люди, знающие, как надо, обладающие истиной в готовом виде, и те, кто каждый миг узнает ее вновь и вновь, удивляясь ее неисчерпаемости, бесконечно внимательно вслушиваясь и вглядываясь в ее бесконечность.

Вторые, собственно, знают, что готовой истины не существует так же, как готового ребенка, которого можно купить в магазине. Истину «вечного теперь» надо, как и ребенка, зачать, выносить и родить. Истине можно причаститься. Ее можно вместить. Но знать раз и навсегда ее нельзя. Сама Истина на вопрос, «что есть Истина», как известно, отвечала молчанием. То есть собственным Бытием.

Да, Истину нельзя знать извне. Истиной нельзя обладать. Истину можно только воплощать. Весь материальный мир — материал Духа, где Он трудится и день и ночь над воплощением задуманного Им образа. Своего образа.

Хорошо знаю, что к этим словам Алик присоединился бы. Собственно, такое понимание христианства и было местом нашей встречи.

Последняя наша переписка была по поводу статьи «Контакт» в «Искусстве кино». Я прочла и тут же написала ему благодарственное письмо. Какая свобода была в его голосе!

²⁷ Речь идет о Солженицыне. В ассоциативном поле — стихотворение Ал. Галича о людях, знающих как надо.

Какое умение говорить без оглядки на авторитеты, на букву — о самом насущном говорить. Из сердца в сердце о Духе, которым дышим. И это в то время, когда печать нашу затопил поток религиозной идеологии, поток таких же готовых истин, как и коммунистические, только с обратным знаком. Александр Владимирович напоминал о том, что слово «религия» происходит от слова «religate» (лат.) — связывать и что религия есть таинственная и ежесекундно присутствующая связь всего со всем, живой контакт души с каждой травинкой и с каждой звездой — и, конечно же, с другой душой. Контакт, который мы должны уметь обнаружить, уметь не нарушить, а бесконечно беречь и упрочивать те тончайшие нити, на которых держится цельность вселенского Бытия. И все эти нити проходят через наши сердца и ведут в глубину глубин — в общий всем центр, в единое незримое Сердце — Бога. Христианство — динамическая сила, ведущая нас к этому нашему собственному и общему всем Сердцу.

Могла ли принять официальная церковь такие мысли?

Ответом на этот вопрос было отношение церковных владык к о. Александру. Оно хорошо известно. По Би-Би-Си прозвучали слова митрополита Антония Сурожского, вырвавшиеся у него, когда он узнал о мученической кончине Александра Меня:

«Это убийство не уголовное и не политическое, а изуверское и наш общий позор».

Мы с мужем ощутили удар топора по голове нашего друга и своим собственным затылкам. «Нас печатают, и нас убивают», — ответила я на поздравление по поводу выхода в свет моей книги стихов.

Потом в «Комсомольской правде» я прочла посмертно опубликованное интервью Алика. И восприняла его, как еще один ответ на мои слова о церкви, произнесенные 25 лет назад. Слово в слово не могу процитировать, но речь шла о смычке современного клерикализма с фашизмом. Видит Бог, как я хотела бы, чтобы правдой о церкви оказались другие, давние его слова, но горький итог двадцати пяти лет нельзя зачеркнуть. Так и остаются рядом два ответа, и какой перевесит — покажет время. А мне сейчас по-другому слышится то, что когда-то не очень нравилось: «Зиночка, вся вечность — наша». Перед лицом вечности я чувствую себя так крепко связанной с Аликом, как, может быть, никогда не было при его жизни.

Памяти Бориса Чичибабина

Я хорошо помню, как появились у нас Борис и Лилия в первый раз. Где-то в начале 70-х (или в конце 60-х), четверть века тому назад. Лилия с одной бледной гвоздикой, которую застенчиво мяла в руке и отдала мне только уходя. Тогда много людей приходили «на огонёк» самиздатных статей Григория Померанца. Но этот приход был особый. Здесь были не просто интерес, не только духовная жажда, но то чувство родства, та тяга к Главному (слово Бориса), которые связали нас на всю жизнь. Хотя при первом же разговоре выступили разногласия. Заспорили из-за Достоевского. Борис сдвигал бровь, мрачнел. Был момент, когда я даже недоумевала: что же его привело сюда, если есть такое сопротивление? Но недоумение мое скоро прошло, когда открылась душа Бориса. А открылась она в стихах. В том, как он читал, и в том, как слушал. У него был редкий дар слушания. Он умел исчезать, становиться пространством для другого и был этим глубоко счастлив.

Сколько бы раз они с Лилей ни приезжали к нам потом, у меня было поразительное чувство, что пространство не убывает, а прибавляется с их появлением, на даче у костра сосны становились слышнее. И то, что всегда не слышно, что запрятано глубоко в сердце, вдруг расправлялось и звучало. Оно было окликнуто, востребовано. И вот мы все четверо становились одним целым.

Надо ли говорить, какое это редкое чувство?..

А какое редчайшее чувство связывало Бориса и Лилию! Это было полное сращение душ, благословенный союз. Борис писал о любви, как дышал — естественно, просто и очень глубоко. В наш век так о любви почти не пишут. Сонеты к любимой полны света и гармонии, но свет и гармония так тесно сплетены с болью мира, так неотделимы от нее, что очень трудно назвать поэзию Бориса в целом только гармоничной. Она и драматична, и трагична — и все же светла. Она — подлинна, а значит, рождается на той глубине, где всякая боль — твоя собственная, где от боли не отгораживаются, но боль очищается, высветляется, жизнь осмысливается, пробивается к внутреннему свету.

Боль в стихах Бориса не застревает в безвыходности, не ведет в тупик. Она просквозена любовью. Это тяжесть мира, которую он никогда не сбросит. Приобщение к этой боли означает приобщение к духовному труду, а не к отчаянию. Это так даже в самых трагических стихах.

Человек цельного сердца и огромной потребности в вере, Борис в юности был очарован коммунистической идеей, как до него — Маяковский, Платонов. Наш друг, сидевший вместе с

Борисом в лагере И. Мазус, рассказывал, как на каком-то компранике на сцену вышел длинный, худощавый, похожий на Дон Кихота юноша и здесь, в лагере, стал вдохновенно читать стихи о советском паспорте... Это был Борис. Пелена с глаз его спала поздно, но она все-таки спала. И тогда написано было великое стихотворение «Сними с меня усталость, матерь Смерть».

Потрясает абсолютная бессуетность, полное обнажение души. Это истинный разговор с Богом. Такой разговор возможен только при совершенной беспощадности к себе, когда всякая самозащита, всякое укрытие от страшного внутреннего судии немислимы. Подлинность душевная — это и есть готовность вот к такому — страшному Суду. И это в Борисе считаю главным.

Некоторым кажутся чрезмерными самообвинения Бориса: «Можно подумать что нет грешника страшнее, чем он. Что это? Зачем?» А это и есть истинно религиозное чувство жизни, независимо от того, в какую церковь человек ходит и ходит ли он туда вообще. Предельный спрос с себя, великая неудовлетворенность собой — это великий труд, духовная пашня. Для того, чтобы душа стала плодотворной, она должна быть беспощадно перепашана. И вот он пишет, подытоживая свою жизнь с первой женой:

Я сам себе растлитель и злодей И стыд и
боль как должное приемлю,
За то, что все придумывал — людей И
землю.

А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в нощах прикармливали зверя,
Как мы за ложь цеплялись, не любя,
Не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, хоть прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести По
свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина...
Еще на мне и все грехи России.
А нощь темна, дорога не видна...
Чужие...

Страшна беда совместной суеты,
И в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты Не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,
По дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждою И
злостью.

Да, он готов отвечать за все сам, не сбрасывая ни на кого свою вину, не озлобляясь, не обижаясь, все принимая и изнемогая от тяжести. Вот откуда эта потрясающая молитвенная интонация в его величайшем стихотворении. Он приникает к темному лону смерти, как Блудный сын к коленям слепого отца. — Я бесконечно виноват, но я больше не могу. Сними с меня все наносное, все мелкое, все недостойное вечности. Сними. Вот я. Весь перед тобою.

«Увидевший Бога умрет», — гласит Библия. И все же вся Библия состоит из речей людей, которые предстают перед Богом и говорят: вот я. И ничего большего, может быть, и нет в мировой культуре. Борис был одним из тех, кто говорил Богу «вот я». И это и было его величием. Ни малой тени величавости и — истинное душевное величие.

У него была потребность оставаться наедине с Богом. Это не значит, что он всегда выдерживал этот поединок. Но никогда не уходил от него. «Матерь Смерть» напоминает мне и Блудного сына, и крик на кресте «Зачем Ты оставил меня?!»

Сними с меня усталость, мать Смерть,
Я не прошу награды за работу,
Но ниспошли остуду и дремоту На мое
тело, длинное, как жердь.

На лоб и грудь дохни своим ледком.
Дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно То,
что другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям.
Я Бога звал и видел ад воочью.
И рвется тело в судорогах ночью,
И кровь из носа хлещет по утрам.

Он взмолился смерти, принял ее и прошел через нее. И

узнал, что такое воскресение души. Умерло смертное, бессмертное осталось.

Лиля как-то говорила мне: «Ведь после таких стихов не живут. А он начал новую жизнь». Все умерло. Не умерла способность любить. И оказалось, что этого достаточно для небывало глубокой и радостной жизни.

И вот трагический поэт превращается в гармонического и светлого. Это свет, прошедший через тьму смерти, свет, не боящийся тьмы, близкий к вечному. Глубочайшее и горчайшее покаяние сменяется восхвалением Бога. Впрочем, не так уж сменяется. Все существует рядом. Свет поселяется в его душе. Но в мире тьма и боль. И он — воин духовный, постоянно сражающийся с этой тьмой и болью и не всегда побеждающий. Но воюющий всегда.

Сейчас все стали религиозными, как в нашей юности все были атеистами. И об этом «все» — о большинстве, можно сказать, перефразируя Пушкина: «Мы все молились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь».

Но не Борис. Он не был церковным человеком. Но он знал, что такое благоговение перед жизнью и что такое молитвенная жизнь. Молитва была для него не просьбой чего-то у Бога, а связью с Богом. Молитвенное чувство связи с источником жизни стало главным чувством его души. У него был свой критерий человека: живет или не живет этот человек *главным*.

Настоящая религиозная жизнь — это неистощимая любовь к миру и мужественное противостояние ему одновременно. И это было сплетено в Борисе нерасторжимо. Боль и свет, боль и любовь были двумя частями одного целого. Настоящая молитва может начаться только там, где кончилось эго, довольство собой, своими идеями. Только научившийся забывать себя может дозваться до Бога. Борис забывал себя полно и радостно. Чувство своей малости было для него условием истинного счастья. Ибо чувствуя свою малость, он не противопоставлял себя Великому, Бесконечному, а причащался Ему. Вот это отвержение себя отдельного и причастие Бесконечности и было Главным.

Найти чар и свет в оконных рамах,
Трава меж плит, тропинка к шалашу.
Судьба людей, величье книг и храмов —
Мне всё важней того, что напишу.

В этих строках — ни капли преувеличения. Все так и было. Всё было важней себя, и потому-то он сам так важен нам.

Среди сонетов любимой, в которых много шедевров, есть

один, особенно дорогой мне:

Не лну к трудам, не состою при школах.
Все это ложь и суета сует.
Король был гол. А сколько истин голых!
Как нов еще той сказочки сюжет.
Мне ад везде. Мне рай у книжных полок.
И как я рад, что на исходе лет —
Не домосед, не физик, не геолог, —
Что я никто и даже не поэт.

Здесь останавлиюсь. И спрошу: что это? Какой поэт может сознаваться в том, что он не поэт, и радоваться этому?

Есть у Эмили Диккенсон такие строчки: «Я — никто, может быть, ты тоже никто? Тогда нас двое. Молчок». Здесь тайна самоиссякания. Тайна реки, впадающей в море. Души, причающейся Большему, чем она. Такова тайна религиозного опыта — радость потери малого «я» в Бесконечности. Не поэт? О, нет! Поэт. Но то, чем полно сердце, не вмещается ни в какие определения, больше всякой определенности. Оно не вмещается в слово «поэт». Борис больше, чем поэт, он — не только поэт.

Так, палец — не только палец, он еще и рука. Рука не только рука, она еще и человек, при этом палец остается на своем месте и очень четко и точно функционирует как палец. И однако он не сводится к функции. Появляется огромная радость открытия в себе всечеловеческого начала и одновременно новое острейшее ощущение вселенской боли, проходящей через сердце. Той боли, от которой опять «тело рвется в судорогах ночью, и кровь из носа хлещет по утрам».

Когда-то в молодости он верил в социализм. Разочарование было жестоким. Он стыдился своих книг, в которых проповедовал эту веру. За вывеской рая оказался ад. «Правда» оказалась сплошной ложью. И Борис разорвал всякую связь с ложью. Его биография известна, это одна из самых чистых биографий советских писателей. Официально он был разжалован как писатель, был исключен из Союза писателей. Он — товаровед в трамвайном парке. Он рядовой из рядовых, в самом деле «никто и даже не поэт». И на душе у него чисто и тихо. Из этой тишины звучит голос, обращенный к Лиле:

Мне рай с тобой. Хвала Творцу, что ведал
Что делает, когда мне дела не дал.
У ног твоих, вовеки не уныл Не
часто я притрагиваюсь к лире.
Но счастлив тем, что в рушащемся мире

Тебя нашел и душу сохранил.

Вдруг началась перестройка. Он ничего не делал, чтобы снизить известность, славу. Они сами пришли к нему. Слава стала огромной, разрослась на весь Союз. Ему бы радоваться, пожинать плоды такого заслуженного успеха. Но именно сейчас огромное беспокойство входит в душу и заставляет его метаться на просторах своей славы, как зверя в клетке. «Мы ломали и ломали эту стену, — скажет он в конце жизни. — И сломали, но за ней оказалась другая стена». И опять вспоминаются слова из «Матери Смерти»: «Я так устал. Мне сроду было трудно, что всем другим привычно и легко». Да. Отсидевший в тюрьме его друг Генрих Алтунян становится депутатом нового парламента. А Борис мрачнеет и мрачнеет. Ему все меньше остается, чем дышать. Новый рыночный дух — для него удушье. Торжество пошлости, торжество мелкого эгоизма его ужасает. Вырвавшиеся на волю страсти заполняют собой пространство. Многие лица становятся страшными. Многие прежние страдальцы выглядят не лучше своих прежних мучителей.

И Борис теряет вдруг почву под ногами. Эта вторая стена обступает со всех сторон. Как ее ломать? Похоже, что она не вовне, а внутри людей.

Разбушевавшиеся национальные страсти разносят на куски «Союз нерушимый». Люди спорят, рассуждают о том, хорошо это или плохо, нужно или не нужно. Борис не рассуждает. Борис кричит от боли. Линия разлома прошла по его сердцу, и как плач Иеремии на развалинах Иерусалима — его «Плач по утраченной родине»:

Я плачу в мире не о той,
Которую не зря Назвали, споря
с немотой,
Империею зла, —

Но о другой, стовековой,
Чей звон в душе снежист,
Всегда грядущей, за кого Мы
отдавали жизнь.

Его судят с высоты нового мировоззрения, называют «красным». Но он не красный и не белый. Он — человеческий. Он не умещается в прокрустово ложе любой идеологии. Незадолго до «Плача», в другом стихотворении у него были такие строки:

Что нет в глазах моих соринок,
Не избавляет от нападок.
Я всем умом своим за рынок,
Но сердцем не люблю богатых.
Я не могу, живу покуда Изжить
евангельские толки Насчет
иголки и верблюда,
Точней, отверстия в иголке.

**И вот это сердце, не соглашавшееся с любыми доводами,
кричит во весь голос в своем великом «Плаче»**

С мороза душу в адский жар
Впихнули гольшом.
Я с родины не уезжал —
Зачем ее лишён?
Какой нас дьявол ввел в соблазн,
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств И
нет ее времен.

Исчезла вдруг с лица земли
Тайком в один из дней,
А мы-то толком не смогли И
попрощаться с ней.

Ее судили стар и мал,
И барды и князя,
Но, проклиная, каждый знал, Что
без нее — нельзя.

И чьи мы дочери и сыны Во тьме
глухих годин,
Того народа, той страны Не стало
в миг один.

При нас космический костер
Беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
Проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
И меркнет Божий свет.
Мы в той отчизне родились,
Которой больше нет.

Боль здесь сплошная, едва переносимая. Он и не перенес ее. Но вот что бесконечно важно: никого не винил. Не «они» — мы виноваты. Я — виноват. И нужды нет, что он сам виноват меньше всех. Все равно — ответственный. В анкете на вопросы, задаваемые Татьяной Бек, он отвечал, что никогда не чувствует себя обиженным, всегда виноватым. Чувство обиды бесплодно. Чувство собственной вины глубоко плодотворно.

Мне книгу зла читать немоготу,
А книга блага вся перелисталась.
О, мать Смерть, сними с меня усталость.
Прикрой рядом худую наготу.

Сняла. Прикрыла. Остались только стихи, записи голоса, видеопленки; в фильме, с бесконечной любовью и бережностью сделанном харьковчанами, он перед нами встает — большой, худой, родной, читающий стихи так, как никто их не прочтет. Никогда не несущий нам себя, а боящийся заслонить собой что-то более важное, то Главное...

— Боря, слышишь ли ты меня?! — крикнула ему Лиля, лежащему, как все считали, без сознания. И в ответ раздалось: «Слы-шу». И мне все кажется, что я и сейчас различу это «слы-шу»... Как нужно, чтобы не нарушилась связь!..

Вопрос Иова

Лариса Миллер — настоящий поэт. Так значит, стихи ее — свидетели вечности в нашем невечном мире. В своем «Открытом письме» она пишет: «Подробности земной жизни притягательны и завораживают потому, что всегда освещены для меня светом вечности. Мимолетные и непрочные — они — строки, слоги, буквы бесконечного письма или незавершенного стихотворения. И только с таким чувством я могу жить и писать стихи. Любое творчество есть выход за рамки. Ощущение разомкнутости бытия — необходимое для него условие».

Итак, если творчество всегда — соприкосновение с бесконечностью и вечным смыслом, то поэт — водолаз, ныряющий в неведомую глубину бытия и приносящий оттуда

жемчужины. Таких жемчужин Лариса выловила множество. И все они мерцают, переливаются и убеждают нас в том, что Вечность есть. Смысл есть. Поэт знает его на ощупь, запах и вкус. И однако: «Так что же произошло? Почему все настойчивее звучит внутренний голос: „НЕТ НИЧЕГО, кроме дурной бесконечности“¹... А что, если проблески, просветы, таинства, высший смысл есть лишь гениальные уловки горемыки, который не в силах смириться с несовершенством мира и конечностью существования?»

Открытое письмо в пустоту, задыхание, сомнение, грань отчаянья у того, кто всеми своими стихами приходил на помощь, вводил душу в простор. В строчках этих чувствуется тяжелое, всё обесмысливающее дыхание нашего времени. Но ведь и в совсем другое время, сравнительно с нашим, такое спокойное и устойчивое, было нечто очень похожее. И великий русский поэт, всеми своими стихами свидетельствующий о высшем смысле, видевший любовь и душу в бессловесной и бесстрастной природе, мог написать:

«Природа — сфинкс. И тем она верней / Своим искусом губит человека, / Что, может статься, никакой от века / Загадки нет и не было у ней».

А началось это совсем давно и очень далеко.

«Жил человек в земле Уц. Иов имя его». Это Книга Иова. Самая близкая мне из ветхозаветных книг. Иов был Божиим праведником, опорой Бога на земле. Он был для хромого ногами, для слепого глазами, для сироты отцом.

Сатана говорил Богу, что праведность Иова условна. Он хорош, пока ему хорошо. А каков он будет в беде? И вот все беды мира обрушились на Иова. Он долго не сдавался. Но, наконец, проклял ночь, в которую был зачат. И день, в который родился. Мера бед превзошла его смирение. У всякой души есть своя мера. Каждый раз заново вымеряется — сколько можешь вынести, оставаясь живым.

Друзьям Иова проще. Им не надо находить свою внутреннюю меру. У них мера внешняя, раз и навсегда данная, установленная авторитетами. И вопрос о смысле жизни у них не появится. Вопрос этот решен заранее и пересмотру не подлежит.

Марина Цветаева сравнивала поэтов с Иовом. Настоящий поэт — всегда тот Иов, для которого ничего не приготовлено заранее. Это живая, а значит, ничем внешним не защищенная душа. Лариса Миллер чувствует себя живущей на берегу Бесконечности, качает колыбель своего ребенка прямо над бездной и знает, что дыхание, приносящее жизнь, есть в то же время грозное смертоносное дыхание. Она его страшится и принимает одновременно. Но где же та мера, которую уже

принять невозможно? Она то отдаляется, то приближается. И, наконец, подходит вплотную. И тогда душа кричит. А те, кто знает заранее, «как надо», готовы увещевать кричащего.

Но Бог заговорил с Иовом, а не со знающими, увещевавшими его друзьями. Бог заговорил не с ними, ибо они к нему не обращались.

Они живут во внешнем пространстве, а Бог — внутри.

То, что Бога во внешнем пространстве нет, заметил только Иов. Для того, чтобы заметить это, надо лишиться всего внешнего, надо, чтобы обнаженная душа вышла в пустоту и осталась лицом к лицу с Неведомым. Именно это и сделал Иов. И тогда разверзлась внутренняя Бездна, бесконечно углубилось и расширилось сердце — до вмещения всего — и рая и ада, — до вмещения Бесконечности. И свершилось Чудо. Родилась новая жизнь, ибо появилось сердце, способное вместить ее. Новое сознание, новый строй чувств, о котором он не подозревал, представить кото

рый заранее не мог. Как сказал бы Мейстер Экхарт, Бог родился в Иове.

Может ли кто-нибудь ответить за другого на его вопрос о смысле жизни? Думаю, что нет. Никто и никогда. Смысл должен родиться в тебе самом. Смысл, родившийся в другом, никогда не станет твоим смыслом, ответом на твои вопросы. Именно поэтому Кришнамурти сказал, что только неправильные вопросы имеют ответы. На правильные вопросы ответа нет. Я добавила бы к этому одно слово: вовне. Правильные вопросы — это вопросы, обращенные внутрь и призванные расширять и углублять душу. Если душа углубилась и расширилась, из нее, как из земли росток, взойдет ответ. Не иначе.

Никто не вправе навязывать нам готовые ответы, даже если это самые мудрые и верные ответы на свете. Настоящий учитель не дает вам решения задачи, он научит ее решать. Однако мы всегда жили по подсказке. Жили ответами, добытыми не нами, и опирались на внешние авторитеты. И именно потому, что авторитет Христа был внешним, что Христос не родился в нас самих, самый, казалось бы, христианский народ вдруг оказался народом безбожников.

В России долго с уверенностью говорили, что Бог есть, потом с абсолютной уверенностью провозгласили, что Его нет. И вдруг все перевернулось. Бог снова появился, но не в нас. Нам снова объявили о Его существовании. А внутри ничего не произошло. Напротив, кризис и опустошение достигли невиданных размеров. Реальность, окружающая нас, превратилась в фильм ужасов. Но мы все еще ждем, что как-то, кто-то устроит счастливый конец, что кто-то нам преподнесет ответ на наши вопросы. Или ничего больше не ждем и впадаем в отчаянье.

Даже тот, кто был неизмеримо сильнее каждого из нас, воскликнул на кресте: «Зачем Ты оставил меня?!»

И нас — оставил. Бросил нас на дикого зверя, который разгулялся по земле, вышел на вольную волю и рвет на части живое мясо, а нам это каждый день показывают по телевизору. И вот, наконец, этот кровожадный зверь ворвался и в саму столицу. Обуздали?.. Он еще живехонек, только притаился...

Одна хорватская писательница сказала недавно моему знакомому: «То, что делается у нас, будет и у вас. Мужчинам нравится убивать». Фраза потрясла меня. Может, в этом и есть корень всех ужасов? Нравится убивать... Дух зверства, запах крови, хаос и бессмыслица — вот что окружает нас.

Ну что же, раз пришло, то заходи,

Огромное, косматое, Лихое...
Мне надо уместить тебя в груди Со
всем твоим звериным диким воем,
Чудовищное горе. Время игр Давно
прошло. Померкли небылицы.
В мой дом ворвался разъяренный тигр.
И с этим тигром я должна ужиться.
Выталкивать нельзя, иначе съест И
ближнего и дальнего соседа. —
Всех, кто беспечно лепится окрест И
ничего о нем не хочет ведать.
Не вытолкнуть, но и не продохнуть.
О, если бы судьба сняла излишки!
Что значит всё вмещающая грудь,
Придется мне узнать не понаслышке.

Вот и всё, что я могу сказать.

Можно ли оставаться живым, стоя у Распятia?

Достоевский подолгу глядел на картину Ганса Гольбейна «Снятие креста». Глядел и, видимо, измерял глубину своей веры. «От этой картины можно потерять веру», — говорил князь Мышкин. Как может воскреснуть этот посиневший труп? Какая вообще остается надежда, если лучшее Свое создание, смысл всего сущего не пощажен Богом? Не выдумали ли мы высшего смысла? Не является ли смысл этот «гениальной уловкой горемыки, который не в силах смириться с несовершенством мира»²⁸... И тут мне хочется остановиться и спросить: а что же такое вера? И во что же мы верим?

Мы всю жизнь боимся потерь.

Но их не избежать. И вот она — тотальная потеря. Перед нами, возле нас — Ни-Че-Го. Творения больше нет. А Творец?

Вот тут только мы и подошли к вопросу о Творце. И жизнь нашей души зависит от того, сумеем ли мы обратиться внутрь, — туда, где только и обитает Творец.

Стоя у креста, на котором висит совершеннейшее существо мира, можно оставаться живым только в одном-единственном случае — вместив Распятого внутрь. Почувствовав, как разверзается сердце, раскрывается душа и — растет. Вот так и дорастают до воскресения, подобно пастернаковской Магдалине.

Но пройдут такие трое суток И

²⁸ Из «Открытого письма» Л. Миллер.

столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток Я до
воскресенья дорасту.

**Рост души. Труднее этого нет ничего. Умереть — это
понятно. Но вместить смерть и перерасти ее?!**

**Но только это и называется верой в Творца. Все остальное
— это вера в творение, — в то, что уже сделано, сотворено.
Сделано не тобой, а за тебя. Тебе дали готовое.**

**Мы получаем жизнь готовую, как дар. Но мы здесь на земле
для того, чтобы научиться творить ее. Мы рождены для Со-
творчества с Творцом жизни. Мы задуманы как Его Со-
трудники. Это и значит, что созданы по образу Его и подобию.**

Вера в Творца, а не вера в Творенье.
Вера не в камень, а только в Движение.
Вера в творящую тайную силу,
Что перед сердцем все двери раскрыла.
Образ Творца — наша полная мера.
Вера есть Творчество. Творчество — вера.

**Творец не исчезает, когда исчезает всё внешнее. Моя
незыблемая почва — небесная твердь — находится внутри.
Никто и никогда не найдет за меня мой смысл. Я могу
задохнуться от крика, призывая на помощь. И никто не придет.
Но я могу найти все, что мне нужно, внутри себя. Это моя вера.
Там, внутри, я могу почувствовать единство со всем миром до
полной неотделимости от жизни, до полной невозможности
смерти. Я вдруг нащупываю душою глубину, которая НЕ
ИСЧЕЗАЕТ. Это то, ЧТО ЕСТЬ ВСЕГДА.**

**Библейское имя Бога Яхве означает Сущий. Тот, КТО ЕСТЬ.
Вечная Суть мира. И это можно ОЩУТИТЬ внутри. Это реаль-
ность.**

**Человек, нашедший эту Реальность, — духовный реалист.
Он отличается от романтика степенью внутренней
ответственности.**

**Романтик — это человек с обостренным чувством
прекрасного и обостренной реакцией на безобразное. Он
выбирает прекрасное и отталкивает безобразное. Духовный
реалист ничего не выбирает и ни от чего не отталкивается. Он
ощутил реальность непреходящей красоты и узнал на опыте,
что безобразие, болезнь и смерть не обладают полнотой
реальности.**

**И он знает, что должен вынести на своих плечах эту
неполную реальность, черпая силы в другой, внутреннейшей,
— полной. Не прятаться от боли и смерти. Не убегать. Надо**

иметь мужество доглядеть до конца фильм ужасов. Но знать, что это — фильм, а я — смотрящий — реальность.

Мир держится на внутренней силе. И мы призваны стать тем, кто держит мир, а не держится за что-либо внешнее. И поэтому я не имею права на отчаянье. Отчаянье — дезертирство. Мне не на кого взвалить свою тяжесть.

Мне некому вернуть билет.
Мне некого проклясть.
И у души отдушин нет,
Куда б излиться всласть.
И — никого на стороне.
Никто не виноват.
А я — во всем, и все во мне —
Весь рай и целый ад,
И смерть на выход. Нет как нет Во
мне небытия.
Перед собой держать ответ Всю
вечность буду я.

«Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Эти слова услышал Силуан — наш замечательный старший современник. Услышал как голос Бога в своей душе. Пришло время вот на этом голосе строить свою веру. Бог больше ада. Есть внутри нас нечто, чему ад не страшен. Есть внутренний смысл, которому не страшна внешняя бессмыслица. Мы должны пронести его сквозь эту бессмыслицу, как свет через тьму. Свет на то и свет, чтобы не бояться тьмы.

Это бесконечно трудно. Это постоянная ежечасная борьба со смертью, прохождение сквозь смерть. И если бы можно было пронести мимо нас чашу сияю!..

Но — да будет воля Твоя, а не моя.

А мне — всей силой души хранить то внутреннее пламя, которое задувают все ветра мира, и воссоздавать то, что они постоянно разрушают.

В ответ на вечную тоску Я незаметно,
постепенно По ветке, облаку, листку
Воссоздаю Творца Вселенной.

Я жажду, чтобы был открыт
Тот смысл, что будет вновь не ведом.
Я — кропотливый следопыт,
Идущий по святому следу.

За мигом миг, за шагом шаг Я узнаю,
как мир наш собран,
Ощупывая тайный мрак И
находя бессмертный образ.

Я связываю с нитью нить,
Узор невидимый означив.
Мне надо Бога воскресить,
И нет душе другой задачи.

23.XI.93

Разговор с Богом и разговор с людьми

Я прочла диалог Ефима Бершина с Константином Кедровым «После метафоры»²⁹ и хочу вмешаться в него. Он открытый. Думаю, что это дозволено, а может быть, и необходимо. Кедров говорит о «вселенском зрении», которое требует нового вселенского языка. «Когда мы говорим о диалоге с Богом, — пишет он, — то совершаем известное прегрешение, потому что разговариваем своим обычным „человеческим языком“». Далее Константин Александрович ссылается на то, что дервиши и юродивые говорили на языке, казавшемся безумным или заумным. «Грамматика стиха — это пространство и время, которое мы можем ощутить на земле. Но есть небесное время, где само время сжимается, а пространство расширяется». Далее следуют слова: «Если этого не учитывать, то например, слова из моей поэмы „Верфлеем“ — „Всему тихо, их постепенно, потому что исповедально хотеть люблю“, — могут показаться бессмыслицей». Ефиму Бершину они именно такими и кажутся. Кедрову же думается, «что этим я больше и точнее выражаю присутствие Божье. Почему? Потому что, как сказано в Библии, невозможно увидеть Бога и не ужаснуться. Тут разум отступает в сторону и появляется то, что я обозначаю словом „метаметафора“». Возражение Бершина, что встретивший Бога Моисей не потерял разум и дал человечеству «неувядаемый шедевр нравственности, скрижали», — не убеждает Кедрова. Дальнейший диалог все более напоминает спор Остапа Бендера с ксендзом Алоизием Морошеком: «Есть Бог». — «Нет Бога»...

Иногда Кедров просит поверить ему на слово, что у него есть опыт встречи с Богом. Но этому на слово не верил никто и никогда. Такая встреча производит переворот в душе. Во время встречи вырывается язык, «празднословный и лукавый»,

²⁹ В «Литературной газете».

рассекается грудь, вынимается грешное сердце и вдвигается «уголь, пылающий огнем», — а потом появляется глагол, жгущий сердца людей...

Не жжет меня кедровский стих, процитированный в диалоге, и мне думается, что есть какая-то роковая ошибка в логике Константина Александровича, к которому я очень хорошо отношусь.

Когда он утверждает, что с Богом не разговаривают на обычном языке, он прав. Думать, что Бог может говорить по-русски или по-немецки, на греческом или арамейском, — значит низводить безграничного Бога до своей человеческой ограниченности. И может быть, язык Бога звучит для вас как молчание, великое наполненное молчание. Можно так промолчать всю жизнь лицом к лицу с Богом. Как это делали исихасты, как происходит во всяком истинном созерцании. Но молчание, наполненное Творцом, — это творческий процесс, в котором божественное слово хочет быть воплощено, передано людям. И в культуре остается плод, следствие такого богообщения. Нам важно не столько то, что чувствовала беседовавшая с Богом душа, сколько то, что хотел сказать через нее Бог. Божественный язык не похож на человеческий, но он переводится духовидцем человеческими словами. Все великое искусство и, прежде всего, духовная поэзия есть такой перевод.

Не тот, кто говорит со мной,
Доносит мне благие вести.
А тот, кто словно дух лесной,
Как свет, молчит со мною вместе.

Кто, позванный на тайный пир,
Как чашу, разопьет со мною
Молчанье глубиною в мир,
Молчанье — с душу глубиною.

Поэзия — не гордый взлет,
А лишь неловкое старанье,
Всегда неточный перевод Того
бездонного молчанья.

Да, всегда неточный перевод. Я переводила некоторых великих поэтов-мистиков. Немного Тагора, много суфиев — Ибн ал Фарида, Ибн Араби — и очень много Рильке. Они писали на разных языках, жили в разные эпохи — но говорили об одном и том же. Ибо все они вышли на уровень той глубины, которая узнается сразу. У всех у них — рассеченная грудь и

уголь, пылающий огнем, вместо трепетного сердца. У них была *встреча* — в этом я не сомневаюсь ни минуты. И со всеми ними Бог говорил Огнем и Духом, а они потом переводили это каждый на свой язык. Чем более поэт чувствует себя переводчиком, чем более трепещет перед божественным подлинником, тем более точным и строгим будет его язык. О, никогда не плоским, — напротив, многомерным, полным тайн, — но имеющим очень четкую форму — колодец, ведущий в глубину, формы не имеющую. Он (язык) — проводник в эту глубину. Он ведет к ней тех, кто не знает дороги. «Мы так давно обогнали медлящих проводников в Вечность», — говорит Рильке в одном из сонетов к Орфею (с. 24, ч. 1). Мы обгоняем их, мчась по поверхности, а они ведут в глубину. И спрямляем ли мы путь слишком четкими рациональными линиями или, напротив, кружим, по той же поверхности, все более запутывая свой след, сознательно делая язык безумным или заумным, — это не так важно. Важно, что мы обгоняем «медлящих проводников», что мы не умеем следовать за ними, что мы своевольничаем, а не служим. И «так одиноки рядом друг с другом, друг друга не зная» (тот же сонет).

Опыт глубины передается по-разному. Есть юродская форма языка (об этом еще скажу дальше), но есть очень простая. Будда и Христос говорили просто. Но чтобы их понять, нужен встречный опыт слушателя, читателя. Труднейший опыт причастия Бесконечности. Они переводят на язык слов великое молчание. Заумный язык встречался у ранних христиан и сейчас встречается в экстатических сектах. Это как бы попытка обойтись без перевода и выдать свое клокотание чувств за божественный подлинник. Нам говорят, что божественный язык состоит тоже из слов, но других, непонятных нам. Но ведь всякие слова — это знаки, посредники. А божественный язык — это язык непосредственного общения — из сердца в сердце. Разум может не понимать, но сердце не может не вбирать и не откликаться. Мы не понимаем леса, гор, неба и, однако, откликаемся на них всем сердцем. При чтении заумных стихов сердце молчит. И даже если мы допускаем, что поэт услышал Бога, это не освобождает его от обязанности сделать внятный перевод. Я не могу предложить русскому читателю немецкий подлинник Рильке. Он лучше моего перевода, но читателю нужен русский текст; значит, нужна работа с метафорой; она мне представляется неисчерпаемой. Попытка создать метафоры метафор и метаметафоры метаметафор уже были у скандинавских скальдов. Эти игры ничего великого не дали. Нельзя быть бесконечнее бесконечности и нулевее нуля. В мире человеческих чувств есть бесконечное количество форм и образов,

каждый из которых не замкнут сам на себе, а ведет в единую нерасчлененную божественную Суть. «Все преходящее — только подобие» (Гёте). Все, что здесь есть, — отсылка туда. И чем призрачнее образ, тем яснее просвечивает сквозь него то, что ни в какой образ не вмещается.

Старый пруд.
Лягушка прыгнула.
Прислушайся к звуку.

К этому стихотворению Басё, очень ясному в плане выражения, академик Судзуки написал несколько страниц комментариев, в духе буддизма дзэн. Простой образ дает нам услышать нечто, что без этой тишины мы бы не расслышали. Вот и всё. Не так уже мало... И в Евангелии красной нитью проходят слова «имеющий уши, да слышит». Язык притч прост, но их надо расслышать до глубины.

На четком русском языке говорит и Даниил Андреев. Кедров-ская ссылка на него некорректна. Он действительно вводит новые слова, но они суть имена новых, неизвестных сущностей или областей космоса. Уицраор, игвы, раругги, стихии — это такие же наименования, как титаны, нимфы, дриады; Олирна, Ирольн — не более заумны, чем Олимп и Парнас. Просто другая мифология.

Я совсем не утверждаю, что писать надо только так. Есть парадоксальный язык дзэнцев, некоторых суфиев. Есть очень ясное «Слово» Гумилева и «Я слово позабыл...» Мандельштама:

В сухой реке пустой челнок плывет,
Среди кузнециков беспамятствует слово...

Есть невнятица цветаевского «Благовещения». Но каждый раз это новая поразительная метафора, говорящая сердцу, а не головоломная метаметафора. Это трепетный подход к темноте тайны, которую нельзя тронуть «дневными» словами. Это приближение к черте, за которой исчезает наше линейное мышление, это заглядывание за четкие грани нашего мира; но мы чувствуем Бездну и Тайну. Нас подвозят к берегу Бессловесного на ладьях слов и фантастических метафор. Нам говорят словами о том, что есть нечто за гранью слов:

Недостижимое — как это близко!
Ни развернуть нельзя, ни посмотреть.
Как будто в руку вложена записка,
И на нее немедленно ответить.

Такие парадоксы, напоминающие дзэнские коаны, ставят нас перед задачей изменить свой ум, постичь великое целое. И все-таки то, о чем можно сказать, говорится с помощью ясных слов. Есть великие «темноты» и у Рильке. Но за ними дышит, бьется океан Смысла. И в своем переводе я стараюсь, прежде всего, пере

дать прибой этого океана. Стараюсь идти за той волной, которая ударяется прямо о сердце и делает в нем что-то подобное тому, что делает меч Серафима у пушкинского пророка.

Поэзия — это текст, который сам по себе несет смысл. К нему нельзя приклеить дервиша или юродивого, который всем собой что-то высказывает, может быть, и вовсе без слов (взглядом, жестом). Перенесенные на бумагу выкрики сами по себе ничего не дают, они становятся значимыми только в контексте, который надо создать, как контекст пьесы Толстого³⁰, в которой приобрели смысл «тае» и «не тае» Акима.

Есть много языков искусства, но не надо выдавать тот или иной язык, на котором нам легче себя выразить, за язык божественный. Религия — это связь. Божественный язык преодолевает наше одиночество и делает возможной встречу на общей глубине. Задача духовного поэта — поиск этой глубины, а не подмена ее еще одной областью на поверхности. Самое глубокое Пастернак назвал «неслыханной простотой».

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Понятней, потому что сложное — это множество частиц, на которые распадается мир. Их можно видеть и потрогать. А целостность, собирающая мир воедино, проста и недоступна.

Три ответа нашему времени: Василий
Гроссман, Евгений Федоров,
Александр Мелихов

Бог и идея бога (о книге «Жизнь и судьба»)
Жил на свете человек. В России, в XX веке. И он верил в Бога.

Но он увидел такую жестокость, такую меру горя, что потерял веру. Не мог бы допустить его Бог, чтобы миллионы людей умирали с голоду или были задушены в газовых камерах.

Человеческая жестокость убила идею Бога. И родилась

³⁰ «Власть тьмы».

другая идея, что Бога нет. Человек был в отчаянии. И вдруг рядом с самой страшной жестокостью увидел он такую огромную, такую бескорыстную и бессмысленную доброту, перед которой рухнула идея, что Бога нет.

И остался человек безо всякой идеи, безо всякого знания о Боге, положительного или отрицательного, — но и без отчаяния, без бессмыслицы.

Один, совершенно незащищенный, не имеющий никакой опоры вовне, в этом страшном мире — со своей живой, не убитой ничем добротой, которая наполнила его и теплом, и смыслом. Да ведь если бы даже нигде, ни в ком не встретил он этой доброты, все равно, в нем-то она была!.. Мир мог с ним сделать все что угодно — замучить, убить. Но эту доброту, эту жалость ко всем и боль за всех убить нельзя. Это его суть. И измениться она не может.

Вот и остался он с этой сутью, ничем не прикрытой, не одетой ни в какие идеи — безыдейной Сутью. Насущностью. Сущим.

Но ведь Сущий — это имя Бога. Яхве — Сущий. И только.

Одна из самых непонятных заповедей блаженства — это заповедь о духовной нищете.

Кто такие нищие духом?

Это те, кто не имеет никакой идеи Бога. Ничего не имеют, кроме Бога.

— Как это?

— Никак. Вот так.

* * *

Какая разница между Богом и идеей Бога? Огромная. Идеей можно овладеть, как овладевают марксистско-ленинским учением или учением католической церкви, или православной. Богом овладеть нельзя. Можно только дать Богу овладеть нами. То, чем мы можем овладеть, что можем вместить в свой ум, СОИЗМЕРИМО с нами, ПОСТИЖИМО. Бог не соизмерим с нами и непостижим. Он непредставим. И не равен никакой идее Бога. Он бесконечно больше всякой идеи Бога. Идея — лишь одежда Бога. То, за что человек может ухватиться умом.

И если человек боится потерять свои собственные одежды, свой дом, свою землю, то свои идеи он боится потерять еще больше. Гораздо больше. Самые лучшие, «идейные» люди легко отдадут жизнь за идею. А если умрет идея, им и жизнь не нужна будет.

Если умрет идея...

Все, что смертно, должно умереть. Смертная идея рано или поздно умирает, и если человек не умрет вместе с ней, не умрет

духовно, он остается нищим, — ничем не владеющим. И вдруг увидит, что есть нечто, чего отнять нельзя. Ибо это слито с ним самим, это его глубочайшая суть. Бессмертная суть. Сущее. И это Сущее не состоит из частей и не подвержено разрушению.

Сердце, нащупавшее в себе зерно своей сущности, просто и цельно. И из этой своей цельности, как с цельного единого неба, смотрит оно на мир и видит его раздробленным и раздираемым на тысячи кусков. Идея борется с идеей. Распространившаяся идея дробится на новые куски. И еще и еще. И все находится в непрерывной борьбе, все пожирает друг друга и снова дробится. Идей — легион. Каждый воюет во имя Добра, как он его понимает. То есть во имя идеи Добра.

А может быть, миф о запретном плоде с Древа Познания не так уж прост? Может быть, и вправду не может человек раскусить этот плод? Не по зубам он ему...

Так или иначе, в одном сердце идея Добра рухнула и заменилась безыдейной добротой. И на этой-то безыдейной, беззащитной, беспомощной доброте думает человек удерживать мир? Безумие...

Но ведь «нищий духом» неуязвим. Он ни на что внешнее не опирается. Только на свою собственную суть, которая внутри. Его нельзя разочаровать, нельзя отнять веру, смысл. Ибо все это неотделимо от него самого. Смысл его жизни и его душа — одно и то же. И если он верен себе, он среди самых страшных бед может почувствовать такую беспричинную, ни с чем не сравнимую радость, какой не испытывал в дни самого большого торжества.

Судьба может быть страшной, но душа живет — и тогда все прекрасно. А если прекрасна судьба, но душа задавлена, тогда задавлена жизнь. Тогда смеется Смерть...

* * *

Когда торжествует душа, тогда каким-то непостижимым образом оживают мертвые. Дорогие мертвые. И разлука кончается. И человек прикасается к тайне воскресения и вечной жизни. В часы или минуты, когда душа очень глубоко живет.

Один ученый, неверующий, более того, верующий в то, что Бога нет, — встал перед выбором: покривить душой, изменить себе — и получить все жизненные блага, или остаться самим собой и очутиться на краю гибели. Он выбирает второе и оказывается так счастлив, как никогда, и чувствует, что с ним рядом, здесь, его замученная погибшая мать. Страшная рана впервые затягивается.

Все обыкновенно. Но большего чуда не бывает. И когда потом судьба дарит нечто необыкновенное: сам земной бог вмешивается, звонит ему по телефону, и все, кто травил ученого, посрамлены, — в этот час величайшего торжества в своей судьбе он чувствует себя много менее счастливым, чем тогда, в глубоком несчастье. Самый тяжелый час судьбы оказался его звездным часом. Поражение было победой, победа стала началом поражения.

Может быть, самое важное не то, что дает нам судьба, а то, как мы это встречаем и выносим. Как выносит свою судьбу душа и что свершается в ней.

Мы устали беспредельно и, может быть, готовы, как Иов, проклясть ночь, в которую зачаты, и день, в который родились. И все идеи бессильны и беспомощны перед лицом страдания. Перед беспредельностью страдания.

Что же сказать Иову?

Ничего. Можно только молча БЫТЬ рядом со страданием. Быть с ним. В нем.

Все идеи друзей Иова были пустословием. Никакие идеи о Боге не могли оправдать Бога. Не могли ничего дать Иову. Пока не явился Сам Бог. Мы или видим Его душой, или нет.

* * *

Личный Бог... Что это? Бог как личность? Бог, имеющий лицо?

Для меня это прежде всего Бог, предстающий перед моим лицом, лично постигаемый... То, что постигается только через мою личность, в глубине собственного моего «я».

Надо отважиться на уединение, пройти через духовную пустыню, чтобы стать личностью и «лично» увидеть.

Не с чужого голоса, не с чужого слова, не в толпе, не в маске — лицом к Лицу. Да, прежде всего должна родиться моя собственная СПОСОБНОСТЬ ВИДЕТЬ. Открывание глаз. Мое поле зрения — МОЙ Бог.

Чтобы увидеть моего Бога, я отделяюсь от навязанных мне представлений, от заученных понятий. У меня появляется свое собственное представление.

Весь русский Серебряный век, все его мыслители искали Бога, пытались понять и осмыслить данные векового «коллективного опыта», подойти со своего угла, найти СВОЙ Лик, своего Бога.

Все они христиане, все признавали высшим образом Образ Христа, но ведь Христос Вл. Соловьева и Христос Бердяева — уже не одно. А Шестов и Розанов, а Толстой и Достоевский!..

Единый лик раздробился на множество лиц. Но как понять, какое лицо истинное? Где же Единый Бог?

— В единстве. Бог есть то, в чем (ком) все и вся сливаются в Одно. Бог есть то, что связывает всех и вся.

Моим может быть путь, дверь, тропа — подход к Богу. Но там, где Бог, нет моего и твоего. Ты можешь прорыть свой ход в открытое пространство Бога, обнимающее, проникающее всех и вся. Пространство — не ТВОЕ. Небо не делится. Оно обнимает всех.

Можно объединиться с группами, идущими по одной дороге; можно идти вместе. Можно идти порознь. Но как все реки впадают в море, все ИСТИННЫЕ пути ведут в Единое. Неделимое. Оно же Вечное и Сущее. Оно не определяется твоими представлениями, не измеряется твоими понятиями. Оно определяет и измеряет тебя, а не ты Его.

Если ты еще отделяешь и разрешаешь, если жизнь ты хранишь для одних и отнимаешь у других, не надейся, что ты нашел Бога. Ты нашел свое представление, свою идею Бога, которая может быть началом пути, точкой отсчета, — но не дай Бог на ней остановиться! Остановка — путь вспять, в смерть, а не в жизнь. Это начало падения.

* * *

Если заповедь о духовной нищете — самая трудная для понимания, то самая трудная для исполнения — заповедь о любви к врагам. Большинство людей она ощущается как что-то неестественное и ненужное или уж слишком высокое и недостижимое.

Но вот в книге, о которой идет речь, — в этой книге любовь и сострадание к врагам живут как-то сами собой, безо всякой идеи о необходимости этого, безо всякого императива. Это есть — и всё.

В книге почти не цитируется Евангелие, не говорится, как НАДО поступать. Она вовсе не претендует на учительство. Она просто показывает: вот простая крестьянская баба, без всяких идей. В ее избе расположились немцы-каратели и ведут себя так, точно она кошка, а не человек. У нее только что увели мужа, может быть, на расстрел... Нет, она не может любить этих нелюдей. Она задавлена, задушена ими, она хочет только одного — чтобы они исчезли, сгинули. Но вдруг один из них случайно простреливает себе живот и корчится в агонии. И тут, наконец, замечает ее и просит воды. И она приносит ему воду, и приподнимает его, и дает ему обхватить свою шею руками, хотя придушить его ничего не стоит — и ведь надо бы, надо бы... Но что поделаешь с дурацкой душой, для которой всякая боль — своя боль?..

Эта баба — одна из тех, которые убили в Иконникове идею,

что Бога нет. Бессмысленная, дурацкая, сверхразумная доброта... Чувство, что всякая боль — твоя боль... Так это есть на земле? — Есть. Рядом с другим чувством, подпольного человека Достоевского: «Миру провалиться, а мне чай всегда пить».

В книге есть свои полюсы добра и зла. Но основная масса живет не на полюсах, а в средней полосе. И в каждой душе происходит движение к одному или к другому полюсу.

Только хорошие или *только* плохие? Их невероятно мало. Может быть, совершенные праведники — разве лишь Иконников и Марья Ивановна Соколова. А абсолютные злодеи... Но, впрочем, не так уж обязательно называть их. Разумеется, они есть, но самое страшное — это не они, а массовое движение душ к полюсу зла. Как прекратить это движение? Отделить, отрубить зло? Уже много раз пробовали. И мир, в котором мы живем, — результат этих проб. Что же делать?

В одной восточной притче говорится, что Зло — это многоголовая гидра. И если отрубить ей головы, то из крови, пролитой на землю, вырастет десять других. Выход только один — заморить гидру голодом. Не кормить зло собственной душой, в собственной душе.

Таков же молчаливый, не сказанный, но показанный ответ этой книги. Без окончательных выводов, без слов даже, самым мирочувствованием, самими судьбами и характерами героев, отношением к ним.

Кто такая Людмила Николаевна Шапошникова-Штрум? Да никто. Женщина как женщина. Нет, не хорошая. Отнюдь. И автору, и нам ближе и симпатичнее ее сестра Женья, не говоря уже о ее подруге Марии Ивановне. Эти-то тонки иногда до прозрачности и добры до жертвенности. А она и не тонка, и не добра, а пожалуй что, и черства, и груба.

Но вот одну из самых сильных трагических глав книги автор посвящает ей, матери, едущей к своему погибающему сыну и нашедшей только могилу, на которой она проводит день... целую вечность... Не сочувствовать ей, не разделять ее горе немислимо. Сочувствуешь до стога, до невозможности дышать, жить.

Да, душа, когда она пробуждается (а это чаще бывает тогда, когда она болит, истинно болит), оказывается каким-то непостижимым образом одна на всех.

Любить врагов — юродство, безумие? Ну, что ж. Не любите их. Никто не просит (и тем более не заставляет). Но сумеете ли вы сами остаться живы, ненавидя и убивая? Не убьете ли вы, не уничтожите ли себя?.. Да, именно себя. Каким-то

непостижимым образом мы все сплетены, сопряжены, и душа, Дух, — одна на всех, как небо.

Попробуйте уничтожить небо над головой соседа. Попробуйте отравить воздух, которым он дышит, и не отравиться самим... Бросить атомную бомбу и пить свой чай... Попробуйте...

* * *

Религиозная идея, давно похороненная русской революцией, оказывается, не умерла — или выросла на развалинах храмов, на обломках старой культуры. Снова зачитываются мыслителями Серебряного века, снова русская интеллигенция открывает Христа и видит, что не так-то легко найти идеал повыше...

Только одно остается как-то совершенно незамеченным, точно этого и не существует, — разница между Богом и идеей Бога.

Людам кажется, что можно повернуться к Богу, попросту переменяв идейную ориентацию, принадлежность к той или иной партии. А такие «беспартийные» чувства, как благоговейный страх, — страх обидеть, ранить кого-то, или благоговейный трепет перед Тайной, единящей нас всех и никем не понятой до конца, — такие чувства как были, так и остались где-то на периферии внимания. В центре другое: мы или они?

И если раньше все подтверждалось цитатами из Маркса или Ленина, то теперь все на свете можно подтвердить цитатами из Евангелия. Мы вооружены... Сказано в Евангелии: «Не мир, но меч». Вот и давайте разберемся.

Да, в Евангелии есть эти слова. Но есть и другие: «Взявший меч, от меча и погибнет». И «блаженны миротворцы». И, как сказал святой Силуан, «написанное Святым Духом можно прочесть только Святым Духом».

Что же делать? Собирайте Дух Святой. «Цель жизни христианина — стяжание Духа Святого», — сказал Серафим Саровский. Что это такое? Собрание, накапливание в сердце благоговейной тишины, внимание, освобождение внутреннего пространства, через которое может пройти Бог живой, Бог, бесконечно больший, чем мы, Бог, а не наши представления, не идея Бога, которая по мерке нам, которая меньше нас.

Люди по-прежнему строят свою Вавилонскую башню и полны надежды добраться до самого Бога, а подчас и уверены, что уже добрались, что истина у них в кармане. У них монополия на истину, на Бога. Он «наш». Нет Бога, кроме нашего Бога, и тот-то и тот-то — пророк его.

Снова МЫ и ОНИ: наш Бог — их Бог. Так чей же все-таки

Бог? Наш или их?

В древней притче царь Соломон решал спор двух матерей: кому принадлежит ребенок? Он предложил, как известно, разрубить ребенка пополам. Одна согласилась, а другая предпочла отдать ребенка, только бы, только бы он остался цел. Мудрый судья понял, которая мать была настоящей.

Такой настоящей матерью истины представляется мне книга Гроссмана. Она добивается только одного: чтобы Истина, чтобы Добро, чтобы Душа человека и человечества оставались ЦЕЛЫМИ. Вот и все. И только-то?

Религия — связь. Религия — соединяет. Разделение — дело идеологии. (И, может быть, иногда святое дело, когда оно — хирургия, а не убийство, когда оно режет без ненависти). Осуждая, ненавидя (не что, а кого; не грех, а грешника), не понимая, что мы суть Одно, нельзя подходить к решению религиозных задач.

А Василий Гроссман подходит к решению религиозных задач? Пытается их решать?

Не думаю. Мне кажется, что и он этого никогда не думал. Он только понимал, без чего к ним нельзя и близко подходить. И это великое понимание. Нет, в этой книге не ведется разговор о Боге. Здесь ведется разговор о человеке. Развенчиваются, разрушаются его выдуманные, безумные идеалы и расчищается даль, сквозь которую виден идеал истинный — Сущий. Расчищаются пути Господу.

Да, эта книга — только предтеча. Но истинный Предтеча — глас вопиющего в пустыне: «Очистите пути Господу»!

И только? Только.

Более сильного, а главное, более нужного голоса в послевоенной России я не слыхала.

О том, что не утекает
Последняя повесть Гроссмана «Всё течет» начинается сценой в вагоне. И невольно отсылает нас к первой сцене «Идиота» Достоевского.

Поезд приближается к русской столице. В купе — типичная для своего времени группа людей, а среди них — тихий чужак, полунищий праведник, не вписывающийся ни в какое время и, может быть, являющийся смыслом всякого времени. У Достоевского — это молодой человек. У Гроссмана пожилой, которого спутники иначе как стариком не называют. В глаза — папаша. И тот и другой бедно и странновато одеты, почти не имеют вещей. Но если молодой человек у Достоевского быстро, почти тотчас же делается центром, вокруг которого образуется

некоторое духовное поле, если все или почти все так или иначе затронуты им, — то в повести Гроссмана ничего подобного нет.

Напротив, Иван Григорьевич остается совершенно незамеченным своими соседями и никому не нужным. Взгляды людей проходят мимо него.

Там, в вагоне Достоевского, была потребность в исповеди. Душа клокотала, искала, путалась и жаждала. Она не всегда понимала, чего она жаждет, но атмосфера духовного голода, но потребность в праведнике, в его прозрачной, не затуманенной страстями душе была огромна. Начиная с вагона и на протяжении всего романа на князя буквально бросаются люди. Они замучивают его и в конце концов разрывают на части. Они не могут, не умеют взять его свет. Но уж чего нет в них, это равнодушие к нему. Он нужен. До чрезвычайности.

Иван Григорьевич — не нужен. Совсем. Главное, что он чувствует вокруг, — это равнодушие, плотная стена равнодушия. Если в романе Достоевского была атмосфера духовного голода, то у Гроссмана — господствующее ощущение душевной сытости. У спутников Ивана Григорьевича нет рогожинских миллионов, и никто из них не подарит предмету своей страсти сережек за десять тысяч. Доходы их скромны (на хлеб с маслом, изредка с икрой), но главное есть: чувство собственной правильности, почти что непогрешимости. Есть самая передовая в мире идеология. И они заняты самым благородным в мире трудом. Это им вбили в головы прочно. Это как-то вошло уже в подсознание.

«Божественность, непогрешимость бессмертного государства, оказывается, не только подавляли человека, они и защищали его, утешали его немощь, оправдывали ничтожество; государство перекладывало на свои железные плечи весь груз ответственности, освобождало людей от химеры совести» (Октябрь, 1989, № 6, с. 40).

В мире Гроссмана — в нашем собственном мире — осуществилась главная мечта героя поэмы Ивана Карамазова «Великий инквизитор», догадавшегося о том, что Бога нет. Вот оно — государство, освободившее людей от совести и от Бога.

Правда, Инквизитор считал, что от немощных человеческих душ надо скрывать отсутствие Бога. И он строил свою антихристову утопию с именем Христа на устах. Новое социалистическое государство оказалось смелее. Оно отменило Христа и Бога Отца отменило. Вот только любовь к человеку и свободу ему отменить не удалось. Неудобно выходило. «Свобода! Гуманность!» — написано на знаменах самого несвободного и самого бесчеловечного государства. Но понимание того, что такое свобода и человечность, —

прерогатива земных богов-вождей. А еще точнее — вождя. Он ясно объяснит всем, что свобода есть необходимость служить ему, а любовь есть ненависть к его врагам.

Но главное, они (он) возьмут на себя ответственность за совесть всех людей. Они-то (он) хорошо знают, что люди — это стадо, что личность, ответственная перед самой собой, перед собственной своей глубиной, — есть такая же химера, как и Бог...

Отвечать надо только перед божественным государством. А государству этому враждебнее, вреднее всего Личность, имеющая центр и опору в собственной глубине. Сильно развитая личность, выражаясь языком Достоевского. Та самая Личность, которая сказала «Царствие Божие внутри нас». А полезнее всего государству этому — Иуда, стерегущий стадо от дерзновенной Личности.

На иудах государство и держится. Они расплодились, размножились, самооправдались и самоутвердились. И если Иуда Искарот, предавши Христа, повесился; если в мире Достоевского Ста- врогин, предав и убив божественное начало в себе, тоже кончает петлей, то вgrossмановском мире — ничего подобного: Иуда, которому случай испортил настроение (на улице свел нос к носу с давно забытой жертвой), очень быстро утешается. Один вид знакомого ресторана с мягкими коврами и цветами в хрустале, вкрадчивый голос привычного официанта, предлагающего «совершенно исключительное филе», и — не достаточно ли, чтобы заглушить все муки совести? Графин с холодным вином, горячие блюда, и — кто сказал, что нельзя жить? Какая химера!..

Иуды — опора государства. Им посвящена целая глава повести (седьмая). Они бывают очень разные. Иных иуд нельзя легко осудить. Они подчас сами жертвы, их судьба трагична. Других, напротив, оправдывать хоть в какой-то мере преступно. И все-таки и для них Гроссман находит слова если не оправдания, то сожаления и боли, боли за весь род человеческий. Он говорит, что и в самых мерзких стукачах есть что-то хорошее и... это, может быть, самое печальное. «Они любящие ласковые сыновья, отцы, мужья... На подвиги добра, труда способны они... А какие среди них встречаются преданные, добрые друзья! Как трогательно навещают они попавшего в больницу товарища!.. А какие среди них даровитые поэты, музыканты, физики».

«Вот это-то и страшно: много, много хорошего в них, в их человеческой сути. Кого же судить? Природу человека? Она, она рождает эти вороха лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и

стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, — но до чего мерзки они; мерзки со всеми добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: человек — это звучит гордо?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы. На них давили триллионы пудов, нет среди живых невинных... Все виноваты...

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?»

Никому не хочет зла ни автор повести, ни его тихий герой, никому не желает мстить, ни на кого не сваливает вину, но эта боль и стыд за людей! Наверное одного хотел бы он — чтобы они, хоть кто-то из них почувствовал боль и стыд, но в том-то и дело, что они так легко сами себя прощают. Такая удивительная легкость самооправдания, полное снятие мук совести...

Ивана Григорьевича предают почти все (а может, и без «почти»)... Это Иов, у которого и друзей-то не осталось. Даже и таких фарисейских, как у библейского Иова.

Ну, разумеется, посадил его один Пинегин. Тот самый, что, встретившись с ним через тридцать лет на ленинградской улице, сильно огорчился и утешился «исключительным филе». Да, донес он. А двоюродный братец Николай Андреевич любил брата Ваню и горевал о нем. Ну что с того, что не писал? Кто бы это мог писать тогда? Но когда получил телеграмму, что Ваня возвращается, он ведь и на юбилейный вечер не пошел, и взволнован был, и собирался исповедаться брату. Вот только не вышла исповедь. Не получилась. «Ваня так много значил для моей души», — сказал он жене. Ему очень нужно было, чтобы брат Ваня понял, какой в сущности он, Николай Андреевич, хороший. Ему так хотелось, чтобы Ваня посочувствовал ему. И вот этого не получилось. А получилось все-таки, что и он предал брата Ваню. Нет, не он писал на него донос. Боже сохрани! Как оскорбился бы таким подозрением вполне порядочный ученый муж. Но, пожалуй, на вопрос Бога о брате и он не ответил бы ничего другого, кроме того знаменитого: «Что я, сторож брату моему?»

Алюбовь? Любимая, которую Иван Григорьевич 18 лет оплакивал, ибо был уверен, что только смерть могла прервать их переписку... Та самая девушка, которая когда-то сказала ему, что если бы он слепым обрубок вернулся с войны, она все равно была бы счастлива своей любовью... Она не умерла. Она, оказывается, спокойно живет. Вышла замуж и живет.

«Долго помнили его товарищи детства и студенческих лет, говорили: „Быть бы Ивану теперь академиком“¹. „Да, был он

все же особый человек, но, конечно, не повезло ему“. А некоторые говорили: „Все же он сумасшедший“. Аня Замковская, любовь Ивана, помнила о нем, пожалуй, дольше других. Но время сделало свое дело, и Аня, теперь уже болезненная седеющая Анна Владимировна, не спрашивала при встречах об Иване.

Из сознания людей, из их горячих и холодных сердец он ушел, существовал скрытно, все трудней появлялся в памяти знавших его.

А время работало, не торопясь, добросовестно, — человек сперва выписался из жизни, переключался в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание... и Иван уже занес ногу, чтобы перебраться из темного погреба подсознания своих друзей на постоянное жительство в небытие, в вечное забвение.

Но пришло новое, послесталинское время, и судьба сулила Ивану шагнуть вновь в ту самую жизнь, которая уже утратила и мысль о нем, и зрительный образ» (с. 43).

Небытие наступило, потому что все постепенно согласилось с тем, что Ивана нет. Ну а как было не согласиться? Плетью обуха не перешибешь. Такова жизнь. Что же и им всем идти за Иваном следом? Ведь не самые плохие люди были его друзья. И, наверное, не самая плохая женщина Аня Замковская. Наверное, порядочная мать, может быть, бабушка, внукам сказки рассказывает, иногда слезу утирает. Что ж ей, заживо похоронить себя надо было, раз Иван выбыл из жизни? Разве можно от всех требовать подвига и героизма?

Все эти рассуждения вполне логичны и житейски справедливы. Но дело в том, что, заживо хороня Ивана, все его друзья, и прежде всего его любимая, хоронили свою собственную бессмертную душу.

Ну, а есть ли она на самом деле, бессмертная душа? И что это такое? Есть ли что-нибудь большее, чем жизнь человеческая, на краткий срок отпущенная нам?

Все религии утверждают, что есть. В основании всех великих религий стоит жертвенник. Наподобие того камня, на котором Авраам собирался приносить в жертву Богу своего единственного сына. Мысль об этом жертвоприношении на протяжении веков приводила в содрогание умы и сердца. И до сих пор приводит. Кьеркегор написал целую книгу, медитируя на эту тему. Ну, конечно, как известно, в последнюю минуту ангел отвел руку отца с занесенным ножом. Жертва Богу не понадобилась. Понадобилась только полная готовность к жертве. А в другом случае — понадобилась. От Марии потребовалось принести своего Сына в жертву. И в час свой

страшный Он кричал Отцу: зачем Ты оставил меня?!

А Отец молчал.
Отец оставил.
Отец приносил жертву.

Понять это разуму человеческому невозможно. И надо либо признать, что есть нечто высшее, чем человеческий разум, почувствовать это высшее в глубине своей и смолкнуть перед Ним; либо, если ты этого почувствовать не можешь, надо быть честным и сказать: Бог жесток и ужасен. Я, человек, не признаю такого Бога и надеюсь прожить без Него.

Так, примерно, и сказали великие гуманисты эпохи Просвещения, пришедшей на смену «темным» Средним векам. Хочется заметить при этом, что тьмы в Средних веках было действительно предостаточно и «просветить» их было бы не так уж бесполезно. Но вот так ли уж силён был тот свет, при помощи которого собирались разгонять эту средневековую тьму? Способен ли был свет этот пройти сквозь тьму и не быть поглощенным ею?

Нет, свет человеческого разума просто обошел тёмную бездну бытия, объявил ее не существующей. И этим самым объявил несуществующей бездонную глубину человеческой души, объявил несуществующим свое собственное бессмертие.

Да, человек отрезал все то, что было за его пределами, за пределами видимого, физически осязаемого, умопостигаемого, — и тем самым утвердил свой собственный предел.

Человек предельно. Он существует в наших пределах пространства и времени. И за этими пределами — ничего.

Религия, разумеется, тоже утверждает предельность жизни человеческой. Но она утверждает, что эта земная жизнь — только видимый отрезок невидимой целостности, что жизнь наша есть дар, что она дарована нам высшей силой.

Какой именно?

Это умонепостигаемо — говорит религия. Достаточно нам знать, что все, что есть в пространстве, — не наше. Оно дано нам на время и подлежит возврату.

Это и есть согласие на жертву. Смысл жертвы в том, что, отдавая Божье Богу, мы как бы возвращаем всё ограниченное в его безграничное начало.

Соглашаясь отдавать Богу нашу ограниченность, мы погружаемся в Его безграничность, причащаемся Ей.

Ничего нет нашего, принадлежащего только нам, значит, ничего нет отдельного, значит, мы связаны со всем миром, с каждой травинкой, и с каждой звездой, и с каждой душой.

Каждый из нас составляет одно целое со всем миром. Значит, нельзя, убив, кого бы то ни было, не порвать этой связи, в которой и есть наше бессмертие, наша безграничность.

«Суд над палачом один — он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком, в себе самом человека казнит, он самому себе палач, а загубленный остается человеком навеки, как его ни убивай» (с. 76). Так говорит Иван Григорьевич Анне Сергеевне, и она сказала, что забыть не могла этих слов: «От них — видно, они дневные».

Хотим мы того или не хотим, мы — одно. И задача наша — это узнать. Тот, кого мы — люди — распяли, просил Отца простить нас, ибо мы не ведали, что творили.

Но мы должны ведать, должны учиться этому веденью, ибо недалеко тот час, когда мы распнем один-единственный, всем нам равно данный Земной шарик... Он может разлететься на куски под наши крики — мой, мой, моё! Почему же Тот, Кого мы распяли, просил простить нас? Потому что Он и мы — одно. Но мы про это не знаем, а Он — знает. И пока мы не знаем, будет длиться Распятие. И сколько бы нас ни спасали от смерти и страдания, сколько бы нам ни твердили о светлом будущем, будет длиться Распятие, пока для спасенья одних мы убиваем, отрезаем, терзаем других людей. Пока мы не узнаем, что мы — одно, будет длиться Распятие.

* * *

Есть в повести небольшая главка о женщине в лагере. Начинается она словами: «Тихая Машенька... Вот уже нет на ней тонких чулок и синей шерстяной кофточки. Трудно сохранить опрятность в товарном вагоне, с напряжением вслушивается она в странную, словно не русскую речь воровок, соседок по нарам. С ужасом смотрит она на эшелонную царицу — бледногубую истеричную любовницу знаменитого ростовского вора» (с. 68).

Иногда кажется, что если бы ничего другого не было написано о лагерях, одной этой главки было бы достаточно... Милая, чистая, поэтичная и простодушная Маша, самая обычная женщина, которая, может быть, и умела-то только любить и служить любимым. Радоваться и доставлять радость, заботиться, мечтать, сочувствовать.

Итолько.
Не так уж мало.

Жила она в арбатской коммуналке, в комнатке с уютными занавесками и с нелепым фикусом — трогательным и

ненужным маминим подарком, занимавшим так много места в их тесноте... Жила она здесь с мужем Андрюшей и дочкой Юлькой и говорила, что не хочет никакой другой квартиры, потому что в этой комнатенке счастлива.

И вот ночью пришли за Андрюшей. И этот его пронзительный взгляд, когда его уводили, как бы умоляющий о верности. Она так и жила, проколотаая этим взглядом, пока не взяли ее саму.

Тюрьма, вагон с воровками, лагерь. Надежда, надежда, надежда. Сначала надежда на то, что поймут ошибку и отпустят ее и Андрюшу. Потом надежда на то, что хоть старухой увидится с выросшей Юлькой. А потом — на то, что можно будет хоть немного отдохнуть от непосильной работы на более лёгкой...

И вдруг — конец всех надежд. Это случилось тогда, когда группу женщин повели на специальные работы в «соцгородок» — поселок, где жило лагерное начальство. И вот она увидела внезапно свои арбатские занавески на чьих-то окнах. И силуэт фикуса увидела в окне — всю свою прежнюю жизнь увидела, и встала, и не могла больше идти. И совсем уж добило последнее — музыка, которая донеслась из городского репродуктора, — легкая танцевальная музыка из какого-то кинофильма.

Тут уж рыдания стали душить ее, а вместе с нею и других женщин.

И встали женщины где-то посреди железнодорожных путей, и стояли, и рыдали так, что конвой растерялся — вышла из подчинения покорная скотина. Конвоир даже слова какие-то человеческие подыскивать стал. Ну не без мата, конечно, — другого языка он просто не знал, но все-таки уговаривать стал, а не просто приказывать, — вот ведь что, и — не подействовало. Стояла подневольная скотина и, не слыша никаких слов, рыдала в голос. И рыдания смывали последние надежды.

Под эту веселую танцевальную музыку Маша навсегда потеряла надежду увидеть Юлю, затерянную среди приемников, коллекторов, колоний, детдомов, в громаде Союза Советских Социалистических Республик. Под веселую музыку танцевали ребята в общежитиях и клубах. И Маша поняла, что мужа ее нет нигде, он расстрелян, и она уже никогда не увидит его.

«И она осталась без надежды, совсем одна... Никогда она не увидит Юлю, ни сегодня, ни седой старухой, никогда.

Боже, Боже, сжался над ней, пожалей, помилуй ее» (с. 74).

Что же произошло? Почему же именно эта легкая музыка

доконала бедную женщину?

Музыка эта точно и ясно донесла до ее сердца весть, что существует жизнь без нее, жизнь, которой нет до нее никакого дела, жизнь, которой она не нужна. Совсем *не нужна*. Отрезана.

Музыка эта исключала страдание. Не участвовала в страданиях. Их нет. И нет Машиной души. Она — вне бытия для людей, которые слушают эту музыку и танцуют под нее. Представим себе на минуту, что в городе Маша слышала бы звуки литургии, органа, церковного хора. Это могли бы быть даже ликующие звуки осанны. Славословия Богу. Все равно. Литургия включает и скорбь и ликование, но это ликование, прошедшее через скорбь. Литургическая музыка не исключает Машиной души, а включает её в себя.

Эта же, вот та, что наполняла новый город, — исключала.

И вот приходит на ум переключка с другим великим произведением еще более близкого времени — с фильмом Абуладзе «Покаяние». Это фильм о метафизических, метаисторических и метагеографических пластах нашего бытия. Фильм — о вечном акте незримой мистерии — отпадения человека от единой, общей всем глубины. Люди живут на том уровне, где разлетевшиеся осколки единого целого уже не узнают друг друга. Люди живут на поверхностном уровне бытия. Они освободили себя от своей глубины, единой для всех глубины, как бы общего сердца. И вот после полных пророческой тревоги слов Эйнштейна радиодиктор спокойно говорит: «А теперь перейдем к легкой музыке».

Вот к той самой музыке, в которой нет места Машиной душе. Музыка эта заполняет пространство, кажется, именно для того, чтобы оглушать и заглушать свою душу. Музыка эта стала основным фоном жизни. Она звучит всегда. Даже тогда, когда ее присутствие так же кощунственно, как смех на похоронах. Впрочем, она может казаться отдушиной, чем-то даже почти живым среди механических, фальшиво величественных голосов. Но она мнимо живая. Помпезная фальшь чередуется с пошлостью или просто кощунственной облегченностью. И во всех случаях — для души места нет.

Люди как-то забыли, что душа — это глубоководная рыба, и для жизни этой маленькой рыбке требуется весь океанский простор... Нужен простор храма, где души дышат всей высью и глубиной, где встречаются друг с другом и слышат весть о своем единстве, о своей безграничности, где все узнают в других братьев по бессмертию...

Но храм закрыт, загажен и, наконец, разрушен. Что же есть вместо него?

А нужно ли что-то вместо? Современные идеологи утверждают, что не нужно.

Но в том-то и дело, что нужно. Необходимо. Не меньше, чем воздух. Как ни принижай, как ни сгибай людей, в них остается что-то, что отличает их от животных. И пока еще это что-то остается, человек даже в последнем унижении — человек. Это «что-то» есть поиск смысла, чувство осмысленности своего существования.

Животное о своем смысле не задумывается. Человек задумался. И есть в самой глубине нашей нечто, что И.И. Виноградов определил чрезвычайно емким словом — «смыслообразующее место».

Собственно это смыслообразующее место и есть внутренний нерукотворный храм человека, который существует даже тогда, когда все рукотворные храмы разрушены. И самое страшное, когда разрушается этот Храм. Ничего страшнее нет. Это не сравнимо с разрушением всех рукотворных храмов. И восстановить это куда труднее... И люди готовы как угодно обманываться, поддаваться любому гипнозу, только бы не остаться с глазу на глаз с пустотой, в которой нет никакого смысла, никакой веры... Это отчаянье.

Иван Григорьевич — Иов из Иовов. Кажется, человеку вместить невозможно того, что пришлось ему пережить. И вот он говорит, что самый страшный час его жизни был час, когда колебался вот этот внутренний храм его. Колебал его сосед по нарам, человек огромного ума, но ума равнодушного, «насмешливого к вере». «Мне он был ужасен, — исповедуется Иван Григорьевич ближайшему своему человеку, Анне Сергеевне, — и, главное, тянул к себе, затягивал. Я не мог его одолеть. А моя вера в свободу его не брала» (с. 106). «Знаешь, я почувствовал — тяжелей этих минут ничего уж быть не может. Я лежу на нарах, и Боже мой, ну что ж это, и именно, от умного человека пришла ко мне невыносимая тоска — вот, знаешь, казнь? И даже дышать невыносимо. И одно желание — не видеть, не слышать, не дышать — умереть. Но облегчение пришло совсем с другой стороны; меня снова потащили на допрос, отдышаться не дали, и легче стало» (с. 107).

Да, допрос потребовал противостояния, собирания сил. Понадобилось снова обратиться внутрь, к своей душе, из которой его как бы вытаскивал могучий и страшный ум соседа. Душа Ивана Григорьевича выдержала поединок с безблагодатным умом. Именно в этом поединке с пустотой и отыскала душа свое неразрушимое начало. Оно *обнаружилось само*, когда разрушилось всё, что могло разрушиться. Иван Григорьевич как бы наткнулся на него сердцем, как можно

рукой наткнуться на стену.

Но чтобы это произошло, надо иметь очень мужественное сердце. Большинство людей не способны на поединок с пустотой. Они боятся его, убегают всеми способами от такого поединка. Вместе с тем они — люди. А пока они люди, они не могут жить без чувства осмысленности жизни. Поэтому они подменяют истинный смысл ложным, хватаются за брренное, разрушимое и объявляют его чем-то священным и нерушимым.

Это гипноз и самогипноз. Люди сильные, уверенные, «знающие, как надо», чаще всего гипнотизируют сами себя; они в плену у сил, к которым прислушиваются. Гипнотизируются и гипнотизируют других. И все вместе не ведают, что творят. Ибо хотят добра, а творят зло. Вот что ясно увидел Иван Григорьевич. Однако люди *хотят* добра, и пока они *хотят* добра, они все-таки люди, «околдованные», обманутые, обманувшиеся, но — люди.

Где-то в глубине сознания или даже подсознания у них совершилась роковая подмена: целостное было подменено частным, безграничное — ограниченным, вечное и неразрушимое — временным и разрушимым.

Их безграничная душа сузилась и стала ограниченной, когда разделила мир на своих и чужих и лишила чужих права называться людьми.

Истинно свободная душа — только та, которая *включает* внутрь себя все живые души и никого не исключает. Это ясно поняла Анна Сергеевна, когда шоры упали с глаз ее и она «расколдовалась». И вот она исповедуется Ивану Григорьевичу, рассказывает о своем прошлом (как она участвовала в раскулачивании):

«Тут уж одного ГПУ не хватило, актив мобилизовали, свои же люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими выродками называют, «кровососы», кричат, а в кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось, белые, как бумага. — А глаза у актива, как у котов, стеклянные. И шинстве — свои же. Правда: околдованные — так себя уговорили, что касаться ничего не могут. И полотенце поганое, и за стол паразитский не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши... А беднота, да комсомол и милиция — это всё Чапаевы, одни герои, а посмотреть на этот актив: люди, как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает.

На меня тоже стали слова эти действовать. Девчонка совсем, а тут и на собраниях, и специальный инструктаж, и по радио

передают, и в кино показывают, и писатели пишут, и сам Сталин, и все в одну точку: кулаки, паразиты, хлеб жгут, детей убивают, и прямо объявили: подымать ярость масс против них, уничтожать их всех, как класс, проклятых... И я стала околдовываться, и все кажется, что вся беда от кулаков и, если уничтожить их сразу, для крестьянства счастливое время наступит. И никакой к ним жалости: они не люди, а не разберешь что, твари» (с. 75).

Люди в активе были разные, но больше всего, правда, тех, что бездумно выполняли приказ. «Такие и отца с матерью забьют. Только бы исполнить по инструкции». И хотя от *всего* актива зла было достаточно, Анна Сергеевна все-таки «активистов» различала: «И не те самые поганые, что верили в лучшую жизнь, если уничтожить кулаков. И лютые звери и те не самые страшные. Самые поганые это те, что на крови свои дела обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили» (с. 75). И почему-то, хотя все делали страшное дело, имело очень большое значение, кто и из каких побуждений это страшное зло творил. Убийца-фанатик, который действовал во имя ложно понятого смысла, еще не разрушил свой нерукотворный храм — «смыслообразующее место» в нем цело. Хотя и наполнено ложным смыслом. И о нем можно сказать то же, что Порфирий Петрович о Раскольникове, — что эта душа еще может быть великой, когда истинного Бога и веру найдет.

Как бы там ни было, это душа еще живая, за нее надо бороться. Это Анна Сергеевна в молодости. Она *еще может расколдоваться*. Те же, «самые поганые», и околдованными не были. Это мародеры, воронье. В них просто нет смыслообразующего места. И потому это звери, которые хуже зверя, ибо у зверя нет задачи иметь это место внутри, а у человека — есть.

Такова же разница между Лениным и Сталиным.

Гроссман, может быть, первым видит исток всего сталинского зла в Ленине: «Ленинская нетерпимость, неколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но волости, уезды, губернии, оспаривавшие его ортодоксальную правоту» (с. 94). «Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть... Русская революция для него не была русской свободой». Все это так. «Но *власть, к которой он так стремился, была нужна не ему лично*» (с. 94).

И получается «совсем иное, сложное, порой трагичное». И упростить это — значит околдоваться на другой лад, но — околдовать-ся ненавистью.

«Ленин... Обогащенный образ; второй — монолитный простак, созданный врагами Ленина, соединивший, сливший в себе жестокие черты лидера нового мирового порядка с примитивноглубокими житейскими чертами, — лишь эти черты видели в Ленине его враги; наконец, тот, который мне кажется наиболее близким к действительности, и в нем непросто разобраться» (с. 94).

Разобраться Иван Григорьевич хочет только в Ленине. В Сталине ему разбираться нечего. Тут всё действительно просто. Он вырос из Ленина? — Да. Ленин подготовил почву? — Да. Сталин — страшное обвинение Ленину — итог всех его благих намерений, насмешка над ними. Хотел рая для всех, а вышел — Сталин. И все-таки *хотел* рая... И потому не торжествовал бы, увидев замысел свой, завершённый Сталиным, а испугался бы, как уже начал бояться, когда писал свое знаменитое завещание. Этот разбитый параличом, потерявший власть над событиями человек уже при жизни был жестоко наказан. Почему же Иван Григорьевич (и с ним вместе Гроссман) беспощаден именно к нему и ничего не спрашивает со Сталина?

Потому что спрос со Сталина — бесплоден. Потому что русскую свободу убил тот, кто выпустил джинна из бутылки. А сам джинн — стихия. Уголовная стихия есть тоже стихия. Спрашивают не со стихии — с человека. Ленин узаконил отпадение человека от его человеческой сущности — бессмертной свободы. Сталин — следствие этого отпадения.

И все-таки в Ленине еще есть человек, а в Сталине его уже нет.

А поскольку в Ленине есть человек, постольку в нем есть и сам Иван Григорьевич. И постольку же в Иване Григорьевиче есть Ленин. И в этом суть его жесточайшего спроса с Ленина.

Это спрос с себя.

Разбираясь в образе Ленина, которого выбрала Россия, выбрал Иван Григорьевич вместе с Россией, он разбирается в жизни и судьбе России, в ее душе, от которой ни на миг *не отделяет себя*.

Разбираясь в этом гигантском самообмане, Иван Григорьевич в себе разбирается. И требуется только одно: *полная беспощадность к себе и предельное мужество*. То мужество, которое требовал Бог от св. Силуана, вложив ему в душу слова: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Есть люди, которым не избежать этих слов, которых слова эти

настигают, как Шестикрылый Серафим влачившегося по пустыне пушкинского пророка. Люди, которые проходят через пустыню, всегда через пустыню, томимые духовной жаждой:

Всяк дом мне чужд,
Всяк храм мне пуст...

(М. Цветаева)

«Утром он проснулся с таким полным ощущением одиночества, какого, казалось ему, не может пережить дышащее земным воздухом существо» (с. 49). Так чувствует Иван Григорьевич в поезде, везущем его из Москвы в Ленинград, от невестречи с двоюродным братом, единственным в мире человеком, знавшим его детство и его родителей, к новой невестрече с предавшей его любовью. Он знает, что встречаться не с кем. Он едет в город своей юности, как в пустыню, наполненную воспоминаниями. И уезжает оттуда в пустыню новую. Уже не хранящую никаких воспоминаний.

И вдруг в пустыне этой, в маленьком городке на юге России, на старости лет человек, у которого отнято было всё, встречает любовь такую глубокую, такую истинную, какой еще не знал в жизни. В книге о великих социальных потрясениях, в книге-притче о добре и зле, о свободе и смысле жизни нашлось место для такой тонкой и чистой, такой тихой и духовной любви, какая встречается в литературе XX в. необычайно редко. Если говорить о литературе советской, то, может, только на страницах Андрея Платонова живет любовь вот такой чистоты и полноты. Любовь эта не нуждается в словах и клятвах. Она всецелая и потому нерушимая.

«Вся она была доброта, и он понимал телесным существом своим, что ее нежность, ее тепло, ее шопот прекрасны, потому что сердце ее полно доброты к нему, потому что любовь есть доброта» (с. 74).

И вот первая любовная ночь оказывается ночью исповеди: «Я красивая была, а всё же плохая, недобрая. Мне тогда двадцать два года было. Ты меня не полюбил бы тогда и красивую. Я знаю, как женщина чувствую: не только я для тебя то, что мы рядом с тобой легли. А я смотрю на тебя, ты не сердись, как на Христа. Всё хочется перед тобой, как перед Богом, каяться» (с. 74). И дальше идет — невероятный рассказ о раскулачивании и о голоде.

Реалистична или нет такая любовная ночь в житейском мире, не важно; в книге-притче она удивительно уместна и полна глубочайшей внутренней правды.

«Знаешь, в самые тяжелые времена я представлял себе объятия женщины, думал — так они хороши, что в этих

объятиях найдешь забвение, не вспомнишь пережитого, словно не было его. А оказалось, видишь, — именно тебе и должен я рассказывать о самом тяжелом, вот и ты всю ночь говорила. Оказывается, счастье — это разделить с тобой ту тяжесть, что ни с кем, только с тобой разделишь» (с. 105). Это пишет Иван Григорьевич Анне Сергеевне, находящейся в больнице. Святая любовь ничего не исключает. То живое, что она исключит из себя, исторгнет ее саму из мировой всецелости, отрежет озерко маленького счастья от великого моря жизни, и постепенно озерко превратится в стоячий пруд, в лужу...

Любовь Ивана Григорьевича и Анны Сергеевны — море, из которого не исключить ни капли боли человеческой. Море боли... И оказывается, душа вовсе не тонет в этом море, не пропадает в его темной бездонности, а вмещает его внутрь себя и высветляет. Море боли превращается в море смысла, света и любви. Внутри это так. А снаружи, вовне — мировая пустыня. И внутреннее море смысла лишь на миг проглядывает в этой пустыне светящимся оазисом.

Миг прошел. Анна Сергеевна умерла. И это надо было вынести современному Иову.

«Держи ум свой в аде и не отчаивайся».

Что означают эти слова? Они почти так же грозны, как надпись на вратах Дантова ада: «Входящие, оставьте упование».

Да, но — и «не отчаивайся». Так откуда же взять силы, чтобы не отчаиваться, упершись лбом в адские врата? — «Держи ум во аде» — то есть будь готов на любую жертву, не надейся на защиту, на укрытие от бури.

«Отче, зачем Ты оставил меня?!» — Никакого ответа.

Кто это выдержит? Разве Бог — справедливый Владыка — может быть таким жестоким? Друзья библейского Иова считают, что нет, не может. Они считают, что Иов грешен, раз так наказан. Наверное, и о Христе они думали бы то же самое. Друзья Иова — это люди, которые не могут «держат ум во аде». Они хотели бы как-нибудь прожить без последней жертвы. Ну хотя бы не жертвовать своими представлениями о Боге как об основе внешнего миропорядка. Он все-таки есть, этот миропорядок. Есть что-то, на что душа может опереться. И должна опереться. Он не оставит ее.

А если оставит? Как Иова или самого Христа? Тогда как?

Иконников не может верить в Бога, в сознательный план которого входило замаривать людей голодом и душить их в газовых камерах. И Иван Григорьевич не может верить в разумность этого мира, утвержденную Гегелем, завершающим философию рационализма.

Нет, такая разумность не действительна и такая действительность не разумна — кричит современный Иов, опрокидывая мудрость века сего.

И вот тут-то он, как и библейский Иов, видит истинный лик Бога. Собственно, никакого лика перед глазами физическими, внешними, нет ни там, ни тут. Нет того, кого можно было бы очертить, то есть отделить чертами от всего мира. Нет того, кого можно было бы объять человеческим умом. — Видимого вовне и умопостигаемого Бога — нет. Но мир, вот тот же мир, который был Иову чужим и враждебным, который, казалось, отторг его от сердца своего, вдруг предстал измученному праведнику во всей своей умонепостигаемой глубине и красоте, в такой предельной глубине и красоте, в которой раскрывается смысл мира. И смысл этот — в неотделимости бытия от любой своей частицы; смысл в том, что Бог — не внешний владыка, а внутренний, что Он находится внутри сердца, которое неразделимо с сутью мира.

Вот и всё. Иов больше не может спорить с Богом, ибо Бог есть любовь, живущая в его собственном сердце. Эта любовь никому и ничему не подчинена. Она абсолютно свободна. Это и есть внутренняя свобода человека. И эта полная любви свобода и полная свободы любовь и есть *единственная жизнестроительная сила*.

Всё, что идет против нее, идет против жизни и потому обречено. *Торжество жестокости, бесчеловечности не может длиться вечно, ибо в нем нет созидательной силы. Оно паразитирует на созидании. И оно временно. Каким бы долгим и страшным ни казалось нам это «время», оно — время. А «времени больше не будет», — говорит Иоанн Богослов. Мир строится по законам вечности, которая находится внутри нас.*

Внешнему зрению видно только внешнее, преходящее. Ему, не проникающему вовнутрь зрению, кажется, что только преходящее и есть в мире. Внутреннее — незримо. Но только оно — реально. И вот из глубины сердца вырывается наружу могучая волна воскресения. — Прошедшее через ад, прошедшее через смерть всего внешнего сердце познало свой собственный смысл.

«Наш век — век высшего насилия государства над человеком. Но вот в чем сила и надежда людей: именно двадцатый век поколебал гегелевский принцип мирового исторического процесса: „Все действительное разумно“, принцип, который в тревожных десятилетних спорах освоили русские мыслители прошлого века. И именно теперь, опрокидывая Гегелев закон, в пору торжества государственной мощи над свободой человека, подготавливается русскими

мыслителями в лагерных ватниках высший принцип всемирной истории: „Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно“».

Прошли десятки лет с тех пор, как были написаны эти слова. И «принцип всемирной истории, подготовленный русскими мыслителями в лагерных ватниках», вышел из лагерей. Напечатаны книги и показаны кинофильмы, в которых нам предлагается остаться с глазу на глаз с собственным смыслом. Как на Страшном суде. Это *нам* сказано: «Держися ум свой во аде и не отчаивайся». Но мы тут же раскололи эту формулу на две части и слышали либо одну, либо другую ее половину. Либо «держи ум свой во аде» — и тогда ничего доброго нет, чернота, отчаянье, смыслообразующее место — пусто; либо — не отчаивайся. И тогда — новый миф, новая земля обетованная и новая ложь. А нужно — пройти насквозь царство внешнее и найти царство внутреннее. Это царство внутреннее, царство *любви и свободы* может найти только тот, кто никого не ненавидит и никого не лишает права на свободу.

Это и было открытием закона жизни для Гроссмана, его формулой. Прошедший через ад, через все круги его, Иван Григорьевич — седой, постаревший — возвращается в места своего детства, где он не был сорок лет. «Никогда он не видел свою жизнь целиком. И вот он увидел ее. И увидя ее, он не испытал злобы к людям».

К людям, которые его предавали, били, не давали спать на допросах, крали у него лагерный хлеб; к людям, которые отняли у него всё, отняли самое драгоценное — свободу, к людям, которые лишь случайно не добились его до смерти, — он не испытывал к ним злобы.

Многие не могут читать повесть «Всё течет» — так она тяжела. А многие ли могут по-настоящему вглядываться в распятие?

Попробуй держать ум свой во аде и не отчаиваться. Не озлобиться, не проклясть ночь, в которую был зачат, и день, в который появился на свет... Иов проклял. Но не навсегда. До мига встречи с живым Богом. Кто Он, этот живой Бог? Неистребимая любовь в сердце. Негасимый свет в душе.

Христа распяли. Он крикнул на кресте: «Зачем Ты меня оставил?!» Но потерять своей сущности, которая была самой любовью, самым светом, Он не мог.

И в этом — главное чудо.

«Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». И, увидя всю свою жизнь целиком, он «не испытал злобы к людям».

«Я смотрю на тебя, как на Христа, твои слова — дневные, от

них — видно», — говорила Анна Сергеевна. Этот измученный человек стал светом для умиравшей женщины. Светом и любовью.

Он видел, как слабы, как грубы, как злы люди, и все же они тешили себя мыслью, что делают то, что делают, во имя справедливости, даже добра. В большинстве своем «люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло». И не платить им злом за зло, а остановить лавину зла — вот в чем была задача человека. Остановить ее в других он не может. Но остановить в самом себе может каждый. А Ивану Григорьевичу, может, и останавливать нечего. В нем нет зла.

Да, «люди всю жизнь делали зло. И все же люди были людьми» — вот что знает он. И знает, что как ни исковеркана человеческая природа, но главный ее закон — человечность, и, идя против человечности, она идет против себя самой.

Все победы бесчеловечности, весомые, как горы, очевидные и явные — временны, ибо они самоубийственны. Это как бы победа рук над собственным сердцем. Но что такое руки без сердца? Руки без сердца на какое-то ничтожное по космическому счёту время могут остаться живыми. По человеческому счёту это время может исчисляться столетиями или даже тысячелетиями. Но руки эти уже мертвы.

И есть что-то, чего убить они уже никогда не смогут. То, что смерти не боится; то, что остается неизменным, пройдя сквозь ад.

Иван Григорьевич стоял у дома своего детства. «Он увидел заросли, колючки хмеля, ни дома, ни колодца. Лишь несколько камней белело среди пыльной, выжженной солнцем травы.

Он стоял здесь седой, сутулый. И все тот же, неизменный».

Всё течет. И все же есть что-то, что не утекает.

Человек, сохранивший живую душу среди ада, жив. И нет чуда большего, чем это. На нем мир держится.

Истина, которая вне
Христа (к итогам
Букеровского конкурса)

Хотя кризисная ситуация у нас в стране всюду и во всем, самый страшный кризис, на мой взгляд, — это кризис веры. То, что церковь стала уважаемой и даже чтимой, то, что храмы не разрушают, а восстанавливают, ничуть, к сожалению, не способствует смягчению кризиса.

Вера, как и свобода, не выстрадана нами, не отвоевана у лжи и безверия, а разрешена свыше. Отменили цензуру. Правда перестала быть опасной и хлынула потоком. Появилась

надежда, что она очистит и преобразит нас. Но этого не произошло. Информация об ужасах прошлого не уменьшила ужасов настоящего. Правда, которая открылась, оказалась нам не по плечу. Р. Рильке говорил, что прекрасное — это та часть ужасного, которую мы можем вместить. Мы не вместили правды о прошлом, и правда, не вмещенная в нас, грозит затопить души. Захватывает упоение пустотой, увлечение распадом, духовная капитуляция перед хаосом или еще хуже: бегство в новые мифы, в поиски виноватого, в попытки переложить ответственность на чужие плечи.

Литература распада началась не сегодня. Путешествие из Москвы в Петушки стало классикой. Великолепный стилист, действительный классик в понимании возможностей слова В. Ерофеев оказал огромное влияние на нынешнюю литературу распада, перекликающуюся с западным нигилизмом. Но на Западе есть и теология после Освенцима, есть творчество Г. Бёлля, Д. Сэлинджера, А. Сент-Экзюпери. В сегодняшней России этой струи не хватает. Церковь преподносит нам готовые на все времена ответы и пытается избавиться от верующих, ищущих решений сегодняшних задач.

Великая русская литература именно это всегда делала. Ее традиции высочайшей духовной и нравственной требовательности не совсем исчезли, но с трудом пробиваются в обстановке ликующего распада.

Роман Е. Федорова, с которого я начну иллюстрацию моей мысли, напечатан в «Новом мире» № 5 за 1994 г. Это сильная, талантливая вещь. Ей дали малую Букеровскую премию. Это настоящая литература, которая многими воспринимается как подлинное свидетельство и только. Девятнадцатилетний студент, хрупкий мечтатель попадает в сталинский лагерь и встречается там с истинной жизнью. Его буквально топчут ногами. Каким-то образом Жене Васяеву (имя героя) удастся избежать почти неминуемого конца. Он выживает и описывает шаг за шагом встречу «со святой Русью, с ее мистической вечной имманентной народной стихией», стихией бессмысленной садистской жестокости. Лишь конвой спасает героя от своего брата-зэка, такого же страдальца, как и он сам. Женя становится постоянной мишенью для насмешек и издевательств. «Кикимора!» — кричат ему. И «начинается бесконечная изощренная пытка с художественно изощренной выдумкой». «Сколько можно? — восклицает несчастный. — Это можно снести один раз, ну два. Каждодневное шествие на Голгофу. Каждодневное несение креста. Измученный, истерзанный Бог? Кому это нужно? Почему в этом истина? Зачем? Зачем?»

Это основной вопрос, проходящий через все повествование. «Зачем нам страдающий Бог? Страдания не очищают, а лишают подобия Божьего». Самым страшным испытанием лагеря оказалось срывание покрова, наброшенного над бездной, открытие того, что представляет собой человек. «Вот она, встреча с истиной? Сретенье... Золото, золотое сердце народное?» — издевается над собой и себе подобными автор. «Познайте истину — и истина сделает вас свободными. Кто некогда любил людей, у того потом слегка побаливает печень: Прометей! Путь истины!»

Женя берет себе в союзники другого великого страдальца: «Подлинен, безыскусствен, абсолютно искренен, глубок Шаламов, бывалый, выдавший виды лагерник, когда вещает, что не всякий опыт нужен человеку, что лагерь лучше не знать, не ведать, что падения в лагере глубоки, что все мы, кто сидел подолгу в тех условиях, переставали быть людьми. За блатарями Шаламов вообще отрицает человеческий облик, человеческую природу: нелюдь... Все мы падлы, особенно те, кто доплыл, доходягою был. Какое там парение ума? Какие там высокие материи? Штурм неба? Святая неудовлетворенность? Дерзание? Искание истины? Бергсон? Творческий порыв? Творческая эволюция? Мисюсь, где ты?»

Истина, которую увидел герой Федорова, не оставляет места для Бога. «Он понял, что в глубине сердца нет нравственного закона, а лишь ничто и тьма безбожная, и Кант, Достоевский, Соловьев, выводившие Бога из нравственности, должны бы сделать вывод, что Его нет, а они этого не сказали из трусости и бесчестности, а возможно, не имели истинного, обнаженного, экзистенциального опыта... Достоевский, написавший „Записки из подполья“, имел этот опыт, но скрыл правду». А Женя открывает всю правду: «Он теперь знал, что нет такой подлости, которую он мог бы не совершить. Он понял, что ничем не лучше других и даже хуже, мерзее». И, перефразируя Ф. Ницше, который сказал, что «своей болезни я обязан своей философией». Женя Васяев говорит: «Всем, что я есть, я обязан своему падению».

Лагерный опыт почти математически доказывает, что никакого Бога нет и быть не может. Но разве не с этой именно математикой всю жизнь сражался Достоевский, сам прошедший через каторгу и открывший в себе внутренние бездны? Что Достоевский знал истину и скрыл — это уже прямая неправда. Все его романы — сплошная исповедь. И беспощадная. И там есть страницы, может быть, ничуть не менее страшные, чем рассказы о самых чудовищных преступлениях солагерников Жени Васяева. Исповедь Став-

рогина до сих пор не превзойдена для меня по ужасу ничем. Ведь это даже не захлебнувшийся бездумной жестокостью и не одержимый какой-то ослепляющей идеей человек. Это человек, проверяющий, до какой степени в нем нет нравственного запрета, и убеждающийся в том, что его нет; человек, обнаруживший черную бездну небытия в душе на предполагаемом месте Бога. Дальше Ставрогина, насилующего ребенка и спокойно позволяющего девочке задохнуться в петле, идти некуда.

И однако весь смысл жизни Достоевского — в опровержении и ниспровержении Ставрогина. Ибо со Ставригиным в душе жить нельзя. Ставригин нежизнеспособен, у него дорога одна — в петлю. А весь Достоевский — это опыт сердца, нащупывающего путь в жизнь вечную и в абсолютный свет. То, что сердце может не найти в себе нравственного закона, Достоевский *знает* и этого страшного знания от нас *не скрывает*. Но Достоевский знает и другое: человек, не нашедший в себе нравственного закона, обречен. Его торжество временно и обманчиво. Это второе знание бездоказательно и, казалось бы, ничем не подтверждено. Первое же, напротив, вполне доказательно. Оно апеллирует к нашим глазам, ко всем нашим пяти чувствам и предстает перед нами, как гора фактов, как неоспоримая истина. Но... это та самая истина, о которой говорит Достоевский в письме Н. Фонвизиной: «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было

бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной»³¹.

Истина вне Христа... Что это такое? Внешняя истина. Истина внешнего и временного мира. А Христос сам есть истина. Но истина мира внутреннего. Истина не от мира сего.

Эти две истины борются в Достоевском не на жизнь, а на смерть. Победить Истиной-Христом истину мира сего — его жизненная задача. И задача эта не может решиться в отрицательную сторону (как предрек Зосима Ивану Карамазову). Это твердое знание Достоевского. Чтобы признать поражение Христа, надо отказаться от любви, от души своей. А этого *живое* сердце не сможет сделать. Оно предпочтет остаться с Христом вне такой истины, чем со всей истиной мира, не вместившей Христа.

Однако спор этот бесконечно труден. На одной чаше весов — все страдания человека, на другой — нечто едва ощутимое, глубинное, являющееся, однако, всем смыслом нашей жизни. Вся красота мира, в которую верит Достоевский, как в Спасителя. В наше время почти навязла в зубах фраза «мир красота спасет». Но это глубочайшая вера Достоевского, выстраданная его сердцем. Итак, вот задача, которую всю жизнь решает Достоевский. Ее условия: бесконечные страдания и красота мира. Вопрос состоит в том, возможно ли сохранить красоту и любовь в предельном страдании и унижении. Есть ли что-то в нас, что может остаться живым посреди смерти, светом и любовью посреди ада?

«Зачем нужен страдающий Бог?» — спрашивает герой Федорова. Но ведь это вопрос, посланный куда-то вовне. Есть страдание, поэтому Бог страдает. Он ведь не внешний. Он не отделим от нас.

Повторяю: страдание — это условие задачи. И наше дело — не менять условия, а решать задачу такую, какая она есть.

Если бы был какой-то внешний нам, надоблачный Бог — создатель всех наших судеб и мук, — можно было бы задавать Ему эти вопросы. Но надоблачный Бог — наша выдумка. Он — вне опыта нашего сердца.

Иконников в «Жизни и судьбе» В. Гроссмана отверг внешнего Бога и сначала оказался в ужасающей пустоте, а потом нашел в опыте сердца Бога внутреннего. Условия жизни от этого ничуть не изменились. Однако жизнь обрела смысл, за который можно было и саму жизнь отдать. Человеческому сердцу открылось что-то безусловное, возвышающееся над всеми условиями. Та же задача стояла перед Христом в

³¹ Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. В 30-тит. М., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 175.

Гефсимании. Его ждали улюлюкающая толпа, разрывание одежд, терновый венец — вся голгофская мука. Это — данность. Условие задачи. А воскресение — это ответ.

Оговорюсь сразу. Я имею в виду не то воскресение, которое можно увидеть физическими глазами. Не то воскресение, которое произошло с Христом, а то воскресение, которым *Он* Сам был.

«Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в меня, если и умрет, оживет. А живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

Так вот — есть ли *это* воскресение или его нет? Есть ли Бог — воскресение и жизнь? Остаются ли смысл, жизнь, любовь после распятия, или распятие есть последняя реальность? И оно раздавило не только тело Богочеловека, но и сам смысл наш?

Это бесконечно трудный вопрос, который каждый раз решается заново. Каждая душа, которая задается вопросом этим, должна решить его сама, сколько бы решений до нее уже ни было. Помогают ли решения других? Да, помогают. Они дают пример, дают уверенность, что решить задачу можно. Но хотя ответ найден и записан в Книге жизни (как ответы математических задач в конце учебника), его надо обязательно найти самому.

Для Жени Васяева, несмотря на все философские занятия на воле, истинно философским вопросом, стуком рока в дверь стал лагерь. И вслед за Шаламовым он говорит, что не всякий опыт нужен человеку, что лагерь лучше не знать, не ведать. Разумеется, это так. Пронеси, Господи, мимо чашу сию. Об этом слезно просил Тот, у Кого сил было много больше, чем у нас. Однако крест свой Он принял. «Да будет воля Твоя, а не Моя». Принял просто потому, что раз в мире был крест, его надо было вынести. Это была Его задача. Вступить в единоборство со страданиями и смертью и найти в себе нечто, им не подвластное. Найти и за себя, и за других. За Женю Васяева. Но это никогда нельзя сделать *без* Жени. Чтобы крестное страдание Христа помогло Жене, надо было, чтобы Женя вошел в сущность Христа. Так же как Христос вошел в его, Женино, страдание.

На Голгофе был не один крест, а три. Три равных страдания. Для одного — совершенно бесплодное. Страдание второго привело его к очищению. Он узнал сердцем Бога и поверил Ему. Ну, а для третьего... Третьим был Тот, Кто победил смерть. То есть крестная смерть не смогла ничего сделать с Ним. Он остался самим собой. У Него была отнята физическая жизнь, но осталось нечто, творящее жизнь. И оно напомнило нам, что

жизнь есть чудо, а чудо — это жизнь.

Но чудо — это не то, что видят со стороны. Это то, что впускают внутрь и проживают внутри. Чтобы удостовериться в чуде воскресения, Женя должен был бы — скажем это снова — войти в сущность Христа.

Это бесконечно трудно. Слишком велики испытания. Этих испытаний не выдержали поначалу и ученики Христовы. Все разбежались, когда взяли Учителя. А Петр — опора, камень веры — трижды отрекся... И Учитель простил, всем простил великую человеческую немощь. Простил и знал, что креста им все-таки не избежать и в свой час они его выдержат. Они и выдержали, когда созрели, когда поняли, что жить без Христа для них невозможнее, бессмысленнее, чем не жить. Пока был выбор, можно было бежать от себя. Но когда стало ясно, что бежать от страдания — это бежать от себя, а без себя не проживешь, не выживешь, — бежать стало не для чего и невозможно.

У Жени Васяева есть выбор. Бежать от себя для него возможно. И на протяжении всей повести он спорит с Тем, Который зовет идти за Ним, то есть за самим собой в свою вечную глубину. Женя спорит и доказывает бессмысленность этого зова и противоприродность отклика. Бог для него остается внешним, и он ведет счеты с Ним. Один из главных счетов, предъявленных Богу, — рассказ о преступлении Демиденко. Об этом преступлении Жене даже страшно говорить. Но он говорит. Девочка-учительница, присланная на Западную Украину с востока, была зверски изнасилована и убита бандеровцами. Демиденко сидел у нее на голове, когда насиловали другие, и принимал участие в вырезывании надписи на спине «Да здравствует Степан Бандера и его сподвижники». «Утробный крик издала девочка: „Мама!“ И никто не ответил ей из бури, „кто сей омрачающий Провидение словами без смысла?“».

Да, Богу нечего сказать. Он молчит в этот час. Но ведь и на крик, раздавшийся с креста, почти такой же, как «мама!» девочки: «Отче! Зачем Ты оставил Меня?!» — на крик этот тоже не было никакого ответа. Никакого «кто сей»... не было и быть не могло. И что было Богу ответить, если Он в этот час сам был на кресте?

Если этому не верить, если Бог все еще остается внешним, тогда спор с Ним нескончаем. Ты не впустил Его вовнутрь, не познал изнутри. И у тебя все еще остается выбор: я или Он? Он — это не моя глубинная сущность, не моя любовь, а какая-то внешняя сила, велящая мне что-то невозможное. Какая-то чуждая мне высокая материя, которой в лагере вообще места

нет. Если это так, тогда страдание оказалось бесплодным. Тогда задача решилась в отрицательную сторону.

Разница между героем Федорова и истинными героями Достоевского та, что у Достоевского задача не может решиться в отрицательную сторону (у тех, у которых решается так, — гибель, тупик); у Федорова она может решиться в отрицательную сторону. И ничего, жить можно. Достоевский не мог жить без Смысла и Бога. Женя — смог. Правда, это не означало для него личной готовности на практический эксперимент зла. Ему достаточно интеллектуальных экспериментов. Но так или иначе, истина, которая была вне Христа, была им признана (по крайней мере умом).

А ведь в этой истине и в самом деле была своя сила. И она была выше лжи. Нужно было немалое мужество, чтобы увидеть жизнь такой, какая она есть, без утешительных мифов, без розовых очков.

Тот же журнал «Новый мир» опубликовал в № 1 за 1994 г. роман А. Мелихова «Изгнание из Эдема». В этих двух произведениях есть немало общего. Огромная правда зла, сорванный покров с бездны и открытие глубин человеческого падения. И тот, и другой текст можно было бы сравнить с зеркалом, поднесенным к массовому сознанию, имевшему иллюзии на свой счет. Оно ставится перед всеми, кто привык себя считать «на свете всех милее, всех румяней и белее». Глядитесь! Вот она — правда! Мелихову и лагерь был не нужен, чтобы увидеть человечество примерно таким же, каким его видел Федоров. Он рос в казахстанском поселке (место ссылки его отца), в прилагерном углу, но на воле. Поселок этот, в отличие от лагерного ада Федорова, ощущался им, как Эдем... Да, да, он был счастливым «эдемчанином», потому что был своим среди своих, отнюдь не «кикиморой», мишенью для насмешек, а точно таким, каким хотел его видеть клан, к которому он принадлежал. *Как все.* Женя Васяев этим кончил. Герой Мелихова, Лева Каценеленбоген, с этого начал. Быть как все. Ни над чем не задумываться (пусть все вместе за меня думают), хорошо знать, что мы всегда правы, а виноват чужак, потому что он чужак, — вот истинно эдемское состояние. И от этого-то райского счастья Лева Каценеленбоген решительно отказывается. Он прозрел. Он в ужасе от кланового сознания, от массового человека, в ужасе от себя, который был «как все». И он проходит через ад отъединения от всех, через ад противостояния всем. Он добровольно становится изгоем, потому что выбирает роль жертвы, а не палача.

Национальная тема, которую выделили здесь некоторые критики, — это только малая часть темы. Книга о гораздо

большем: о пробуждении сознания личности, которое обязательно связано с пробуждением чувства вины и ответственности. «В том утраченном эдеме (а эдемы всегда бывают только утраченные: чтобы дать им название, нужен взгляд со стороны), — пишет герой Мелихова о своем детстве, — я каждое утро забегал проведать корову... и мне не приходило в голову, что исчезнувший теленок был для нее таким же сыночком, как я для моей мамы. Только так и можно создать Рай. На земле держать чужаков на положении скотины, чтобы они не могли напомнить о своих бедах или о каком-то ином мире за райскими стенами». Он вспоминает, как принимал участие в отстреле собак, когда была объявлена такая кампания. И черный силуэт собаки, валявшейся на снегу, станет одним из самых страшных воспоминаний его жизни. И он осознает себя евреем отнюдь не потому, что еврейская половина его крови заговорила громче, чем русская, а потому, что еврей — синоним изгоя. Впрочем, это с русскими он чувствует себя евреем. С евреями он будет чувствовать себя русским. Как с азербайджанцами — армянином, а с армянами — азербайджанцем. Ему невыносимо чванство народов. «Папуасы до появления Миклухо-Маклая считали себя не просто лучшими, как мы когда-то, а единственными (так надежнее всего) людьми на земле — и среди них не было недовольных, хотя никто там не имел ни вани, ни парламентов, ни круизов вокруг Европы. Правда, там было людоедство... Но что вам больше по душе: когда всего раз в жизни вас съедят другие или когда вы всю жизнь едите себя сами?»

Вот в чем дело: надо дать согласие на людоедство и жить, как все, поедая чужаков. Все лучше, чем вечно грызущая тебя совесть. Если то, что все кругом людоеды, тебя в собственных глазах оправдывает, тогда совесть охотно замолчит. Вот если ты чувствуешь себя глубоко виновным, тогда другое дело. Тогда никакого уюта, ни в лагере, ни на воле. Тогда ад, а не эдем. Ты — изгой. И герой Мелихова — в аду.

Книга эта нелегкая для восприятия (впрочем, как и «Записки из подполья» Достоевского). Когда-то, когда герой Мелихова был еще в эдеме, он «подобно солнцу изливал дружелюбие на всех соплеменников разом, немедленно забывая о них, чуть они скроются в тень. Это сейчас я, отверженец, до боли прирастаю к личностям, а потому не умею испытывать благодарности к народу: я не умею благодарить Ивана за благодеяния Петра. А тогда мог. Потому что не очень их различал». «Господи, Боже мой, куда бежать мне из этого мира, в котором все правы?» — восклицает он в другом месте. И всякая правда несет в себе заряд ненависти против чужой

правды. «А я больше не хочу, не хочу, нехочунехочунехочу никого ненавидеть».

Что говорить, розовые иллюзии разоблачены и у Федорова, и у Мелихова с равной силой. Сила правды огромна. Вот только если Федоров дальше утверждения этой правды идти отказывается, более того, принимает ее за единственную и бесспорную, то у Мелихова — нечто совсем другое. Это, может быть, первая в постсоветской литературе книга истинного покаяния. Ту правду жизни, то, что мы называем истиной вне Христа, которую он ясно увидел, он уже не примет никогда ни в себе, ни в других.

Истина, увиденная Федоровым, оправдывает его в собственных глазах. Та же истина, увиденная Мелиховым, обвиняет его. Мелихов познает относительность множества «правд», он знает, что сколько народов, столько и правд, и не хочет выбирать между ними. И пусть он не нашел еще абсолютной правды, вопрос не может решиться для него отрицательно. В этом отличие его от героя Федорова.

В лагере у Жени Васяева свой опыт постижения людей. И именно здесь открывается ему относительность бесчисленных «правд». Даже Демиденко — служитель идеи, борец за освобождение Украины — в собственных глазах оправдан. Его не мучает совесть. Нисколько не мучает совесть и «американца» — охотника за партизанами, служившего гитлеровцам верой и правдой. Кажется, что относительность этих «вер и правд» действует как-то на Женю Васяева. Что ж, таковы люди, таковы мы все — как бы говорит он и вполне дружелюбно ведет беседы с «американцем», абсолютно уверенным, что в Америку из Европы можно приехать на поезде. Это тоже его правда. Лагерь открыл Васяеву, что единой правды нет. Надо принимать человечество таким, как оно есть. Что еще остается делать? Все мы такие, в той или иной мере.

Для Мелихова знание, что и он в чем-то был таким же, как все, ни на минуту не примиряет его ни с людьми, ни с самим собой. Кришнамурти сказал, что, если бы мы увидели реальность зависти в себе так же ясно, как видим реальность кобры, мы бросились бы бежать от зависти, как от кобры. Мелихов так именно и делает. Бросается бежать от человеческой мерзости, увидев ее равно и в себе, и в других.

Для Федорова — на миру и грех красен. И — против рожна не погрешь.

Мелихов не верит в безгрешное общество. Но он знает, что личность может и должна стремиться к безгрешности. С каждой личности — огромный спрос. Личность виновата и ответственна. Чувство вины плодотворно, потому что

порождает ответственность.

«Каждому человеку надлежит помнить, что для него и под его ответственность сотворен мир», — гласит Агада, сборник послебиблейских легенд и преданий.

Книга Мелихова будит чувство великой ответственности. Книга Федорова усыпляет это чувство. Мелихов возвращает нас к традициям великой русской литературы с ее напряженнейшим духовным поиском. Федоров говорит о бесплодности такого поиска. Для нравственного состояния нашего общества характерно, что «Одиссея» Федорова дотянула до Букера, а роман Мелихова был сразу отброшен. Между тем задача, которая там поставлена, подошла к нам вплотную. И если решать ее отрицательно, нам не дожить до выхода из смуты.

Дырочка в крыше

Я говорю о трех писателях: Василии Гроссмане, Александре Мелихове и Евгении Федорове. Почему я сейчас объединяю эти три имени вместе? Потому что все трое отвечали на один великий вопрос, поставленный во всей полноте еще Достоевским, — вопрос о Боге, вопрос об Истине и Смысле жизни.

Весь мир услышал голос Достоевского, сказавшего, что без решения этого вопроса или хотя бы без внимания к нему жить невозможно. Он дал образ положительного героя, который, собственно, стал живым ответом на этот вопрос, решением задачи. Но этот ответ слышали не все. Напротив, Достоевский показывает, что каждый ищет этот ответ для себя, каждый заново, и как бесконечно трудно найти этот ответ! Очень немного у него положительных героев, больше героев мечущихся, ответа не нашедших, готовых всю жизнь мучиться — и все-таки никогда не согласиться на отрицательный ответ. (Это то, что Зосима говорит Ивану Карамазову: «Не знаю, решится для Вас вопрос в положительную сторону, но в отрицательную он решится не может».) Это как бы герои чистилища (если первые — герои рая). И, наконец, есть, конечно, и третьи — герои ада, для которых задача решается в отрицательную сторону, и они действуют и живут исходя из этого решения.

Все три писателя XX в. как бы вышли из романов Достоевского, перемещенных в новые обстоятельства, в новую эпоху. Все трое прошли через ад. Всем троим пришлось отвечать на вопросы о Боге в условиях предельных. Каждый из них (я в данном случае не разделяю героев и писателей) был Иовом «на гноище своем», хлебнул муку полной мерой. О каждом из них спорили Бог и сатана.

Гроссман, как и библейский Иов, встретил живого Бога, нашел Его внутри, вынес ад и не отчаялся — сохранил душу живу. Стал новым ответом на вопрос.

Федоров ада не вынес. Вопрос для него решился в отрицательную сторону.

А Мелихов, как и Иван Карамазов, принадлежит к тем, кто всю жизнь мучается этим вопросом, для него он никак не решается в положительную сторону, но и в отрицательную решиться не может.

Это человек, который окунулся в ад, видит перед собой весь ужас жизни, имеет мужество не прятаться от этого ужаса ни за какими спасительными мифами. Он отверг всё ложное, не зная истинного. И всю жизнь взыскует истинного. Ищет и не

находит. Не находит и не перестает искать. Беспощадно анализирует себя и мир, срывая все маски. «Пессимисты портят людям настроение, — говорит он, — а оптимисты ввергают мир в катастрофы». Впрочем, он называет себя не пессимистом, не оптимистом, а человеком трагического мирозерцания.

Это можно было бы с некоторыми оговорками сказать обо всех троих. Никто из троих не приукрашивает действительность. Никто не прячется от нее. Но Гроссман находит силу внутри себя противостоять всему, что есть вовне. Федоров этой силы не находит напрочь. А Мелихов, не видя ответа вовне, не может успокоиться на этом и продолжает поиск, хотя ум его считает это делом безнадежным. Но ум и душа не всегда совпадают. Мелихов не потерял ни человеческого достоинства, ни любви к людям и к самой жизни. Никакого «все позволено». Напротив, это стоик, готовый оставаться на стороне побежденного добра, униженного благородства.

Душа его вряд ли может жить без положительного ответа, но живет изнемогая, отчаиваясь, «глумясь над собственным отчаянием», но продолжая все время искать под фонарем человеческого разума и, когда понимает, что здесь найти нельзя, решается скорее оставаться в мире абсурда, где разум и душа в вечном споре. Вот что он отвечает Татьяне Бек — о чем его роман «Нам целый мир чужбина»:

«Если совсем общо, то отношение иллюзий и реальности. В центре романа стоит человек, который решил всегда смотреть правде в глаза. Он много отдал иллюзиям, фантазиям, мечтал о несовместимых вещах, хотел быть одновременно крупным ученым, капитаном пиратского судна, а заодно еще и первым парнем где-нибудь на танцплощадке. А реальность все время требовала от него подчинить себя делу. На определенном этапе надо было отсекать от себя дело или иллюзии. И он все время делал выбор в пользу дела.

Вот он и выбирал и отстригал лишние ветки, которые мешали жить. И в зрелом возрасте, будучи преуспевающим, уважаемым человеком, понял, что отрезанные ветки были на самом деле не ветки, а корни. Эти фантазии и иллюзии, которые мешали ему жить, были на самом деле источником жизни. Были главное, что делало человека человеком».

Итак, то, что является источником жизни, он называет фантазиями и иллюзиями, но без них он превратился, по его собственному определению, в «нежизнеспособное бревно».

Интервью Татьяне Бек в «Вопросах литературы» названо «Глумлением над собственным отчаяньем». Ничего не

скажешь, ёмкое название.

Задышается, отчаивается, но понимает, что отчаянье — не последняя правда, что соглашаться с ним нельзя.

Он не находит сил противостоять ему, но не может и принять отчаянье за постулат и жить по законам логики, из него вытекающей.

Логика отчаянья говорит, что человек не лучше скота (хуже, может быть) и можно вести себя хуже скота. Это те выводы, которые сделала для себя культура, названная Мелиховым «мастурбационной» — культура удовольствия, «самообслуживания». Но не самоуслаждение и самообслуживание, а служение составляет по Мелихову задачу жизни. Жизнь — это служение чему-то большему, чем свое эго.

Казалось бы, живи и служи. Откуда же отчаянье? Но вот герой его романа «Горбатые атланты» Сабуров так именно и жил, а когда построил что-то вроде идеального общества, где все внешние проблемы как будто были решены, он увидел, что облагодетельствованные им люди вовсе не счастливы, а кончают с собой. Началась эпидемия самоубийств.

Это несколько напоминает фантазию Версилова на страницах «Подростка» об идеальном обществе без Бога, где люди, жавшиеся друг к другу, любившие друг друга, потеряли смысл, глубину, чувство вечности, которые лежат в основе жизни. Жизнь потеряла бездонность. Стала плоской и — ненужной.

Оказывается, для отчаянья не обязателен ад во внешнем мире. Можно впасть в отчаянье и при полном благополучии, если все время ищешь под фонарем и не решаешься погрузиться во тьму, чтобы пройти ее насквозь и доглядеть до светового истока, до света, что во тьме светит.

Оказывается, если дать бессмертие людям таким, какие они есть на сегодня, они его могут и не захотеть вовсе. Жить будет нечем. Дышать нечем. Духа нет.

Что же такое Дух?

Мне кажется, человек начался с того, что взглянул в небо. Распрямился и взглянул вверх в отличие от зверя, который глядит только вокруг себя — по сторонам. Взглянул в небо и почувствовал, что есть что-то гораздо большее, чем он сам. Он родился и умрет. Он — конечный. А есть еще и Бесконечность. И с этой Бесконечностью он как-то связан и, может быть, очень тесно, хотя эту связь никак не поймаеть вовне, никаким прибором не зарегистрируешь. Но почему-то при долгом вглядывании в небо чувствуешь благоговейный трепет. Тут ничего нельзя понять, ничего определить. И однако, ощущение своей малости и причастности чему-то бесконечно большему,

чем ты, наполняет душу, как ветер парус. — Веянье Духа. Прикосновение к Источнику Жизни...

Оказывается, человек такой, какой он есть, вовсе не достиг своего предела. Ему еще расти и расти до полного единения со всем миром, с целой Вселенной. «Мы — гусеницы ангелов», — говорил Набоков. Мы, может быть, личинки чего-то неизмеримо большего, чем мы сами, и пока не вырастем, не почувствуем смысла и полноты жизни.

А если мы ощущаем в себе этот тайный рост, это родство с Бесконечностью, то никакие страдания не смогут отнять у нас чувства глубокой осмысленности жизни и любви к ней.

Бог — слово не определенное и не определимое. Это Целое, частью которого мы являемся. Части не дано видеть Целое извне. Это невозможно. Можно только изнутри чувствовать свою причастность Ему. Наш гордый разум со всеми своими открытиями, со «спутниками» и атомными станциями ни на йоту не приблизил нас к Бесконечности. Напротив, как часто он отгораживает нас от нее, опираясь лишь на самого себя, гордясь своим величием. А он, может быть, действительно велик, но только *на своем*, всегда *втором* месте. Первенствует Целое. Величие части — это уродство. Мы можем быть велики лишь величием Целого, осознав свое причастие бессмертному Духу.

Но для этого разум должен замолчать и слушать. Что? То, чем наполняется душа, что растет в ней. Мысль должна прийти к своему порогу и застыть перед Непостижимым, перед Тайной, которая не познается извне, но является нашей Сутью.

Где-то близко к концу «Изгнания из Эдема» есть такая сцена — герой вспоминает детство. Маленький Лева Каценеленбоген сидит в сарае и с удивительным терпением и вниманием осваивает незнакомый музыкальный инструмент — брошенную старшим братом гармонь. У мальчика оказались недюжинные способности к музыке, поразившие взрослых и заставившие купить ему фортепьяно. Но пока мальчик сидит в сарае и подбирает неведомые ответы на вопросы, которые задает ему душа. Он должен подобрать точную мелодию, отбросить малейшие нотки фальши. И вот во время этого занятия приходит к нему первое озарение.

«На зеркальном полу уже давно светится какое-то удивительное пятнышко. Я не выдерживаю и, выпутавшись из ремней (гармони. — *З.М.*), подбитых алым, как галоша, прихлопываю пятнышко сандаликом. А оно — юрк! — уже сидит на сандалике. Я нацелился на муху — р-раз! А оно опять преспокойно сидит сверху. Я нагреб навоза, сухого, словно махорка, и натрусил на него — а оно на навозе. Я, надрываясь, протаранил деревянное корыто — оно на корыте, только

чутьточку перекопилось. Лишь тут, по какому-то наитию, я поднял голову и связал дырочку в крыше со светлым пятнышком на земле. Вот так и приходят к Богу».

Удивительный вывод для упорного атеиста, разум которого на вопрос о Боге однозначно отвечает: нет! нет! нет!

А сердце задыхается, мечется, тоскует и все время ловит светлое пятнышко на земных предметах. Разум называет их иллюзиями, фантомами, а потом понимает, что человек без них не может жить, превращается в «нежизнеспособное бревно».

А ведь только и надо взрослому, уважаемому всеми писателю и ученому догадаться взглянуть наверх, повернуться к дырочке на крыше, сквозь которую просвечивает небо, пробивается солнечный луч. И тогда станет ясно, что дразнящие светлые пятнышки — не фантомы, а отражения высшей реальности, которую руками не поймать, никакими доказательствами не прихлопнуть.

«Будьте, как дети», — оставлен нам завет. То есть сумейте ощутить себя маленькими перед бесконечным небом. Не пытайтесь выносить окончательных суждений о том, что гораздо больше вас. Не равняйте фонарика вашего разума с солнцем и не ищите под фонарем. Не бойтесь тьмы! Искомое — там, в той самой тьме, где загорается внутренний свет.

Зажечь его, этот свет внутренний, может быть много труднее, чем первобытному человеку высечь из кремня огонь. Но только зажигая этот свет, мы найдем ответы, без которых не может жить Душа.

Ноябрь 2001

Я до воскресенья дорасту...

Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту.

Б. Пастернак

О ёлке

Мне давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее?

Когда-то, 56 лет назад (в 45-м году), со мной произошло нечто, о чем я много раз говорила. И все же скажу еще раз: Ель перед моим балконом на даче вспыхнула Фаворским светом. О том, что такое Фаворский свет, я узнала гораздо позже. А тогда я увидела его, не зная, что это так называется.

После огромного страдания, вернее, во время страдания, захлебываясь от всех душивших меня «проклятых вопросов», я вдруг увидела Ель всю в огнях. Это было после грозы. Взошло солнце, и сотни, мириады капель вспыхнули невероятным, прожигающим всю душу светом. И вот, в единый миг душа переросла свое страдание, переросла все вопросы, в которых только что тонула. Что-то произошло в душе такое, чего представить себе раньше я никогда не смогла бы. Возможно,

так бывает, когда из куколки вылетает бабочка. Душа из скукоженного комочка превратилась вдруг в крылатое существо, и иначе, чем преображением, это не назовешь.

Много позже, когда я увидела и очень полюбила икону Феофана Грека «Преображение», я там *узнала* все, что произошло со мной.

По бокам иконы идут четыре человека, Иисус и три ученика. Он хочет *показать* им нечто, что знает сам, и чего не знают они — Просиявшую Истину.

Где она? Они смотрят на Иисуса. Они оглядываются по сторонам. Но вот Гора. На Горе Иисус, который *просиял*.

А ученики? Что с ними? Они, как планеты, сорвавшиеся со своих орбит. Они перевернуты. Они, кажется, потеряли всякие ориентиры в пространстве и во времени. Никто из них *на* Иисуса уже не смотрит. На него невозможно смотреть. Его свет прожег их, ослепил. У одного из них глаза совсем закрыты. У двух других открыты, но они смотрят не *на* Иисуса. Они смотрят внутрь себя. Ибо Истина видна только там — внутри. Свет, прожегший их, открыл им их же Глубину, ввел в эту Глубину, показал, что она есть. *Внутри нас есть источник света*. Просиявший Иисус открыл им этот источник в них самих, прожег вход в Глубину, всегда свою собственную и в то же время не только свою. Она одна на всех. Ты либо вошел туда, либо нет. Если вошел — встретился там с другими, понял, что мы *едины*.

У всех ветвей дерева — один ствол; у всех наших органов — ушей, глаз и т. п. — одна кровь, одно сердце — единый организм. Тот, кто вошел в единую для всех Глубину, нашел Бога — то, в чем мы едины. Наша целостность, включающая все и всех в себя — вот Он, Бог. Всем открытая тайна, которая всегда остается Тайной, ибо существует только на последней Глубине. Там сияет. Туда зовет.

Я, выросшая в атеистической семье, совершенно нерелигиозная девочка, упала на колени. И когда встала с колен, знала: Творец этой красоты *совершенен*. Мы не отдельные разорванные частицы, мы составляем нечто целое. У нас есть общее Сердце. В мире есть величайшая Гармония. И сердце мое, мое маленькое настрадавшееся сердце забыло о своем страдании и трепетало, как струна под пальцами величайшего арфиста: «Только прикоснись! Весь мой смысл в том, чтобы быть Твоей Арфой!»

Ёлка в моем доме — с моих восьми лет, когда ее разрешили советским детям. А моя любовь к елке началась, кажется, с двух лет. Трудно поверить, но я помню, как меня поднесли к

наряженной серебристо-зелеными шарами елочке нашей соседки тети Шуры. Елочка, маленькая, стояла на столе. Мама держит меня на руках, а я тянусь, выскальзываю из маминых рук за шаром. Зачарована совершенно. Наверное, ору, чтобы мне дали шар. И добрая тетя Шура снимает с елки чудо из чудес и протягивает мне. И я мгновенно затихаю. И вдруг — шар выскальзывает из ручонки, и разбивается на мириады сверкающих дрожащих осколков. Новый крик, но он мгновенно прерывается. Мама рассказывала, что была потрясена, как я моментально затихла, прикованная взглядом к дрожащим переливающимся осколкам на полу.

Вот еще с тех пор — моя любовь к елке. Потом, у подружек, я видела игрушки из детства их родителей (у мамы, к сожалению, все пропало в Гражданскую войну).

Серебряная картонажная рыбка... Она была поистине той самой золотой рыбкой, которая исполняла все заветные желания, сама была заветным желанием, точно знала, что душе нужно, и вела в какое-то неведомое сверкание.

Вела, вела от двух до девятнадцати лет. По каким мытарствам вела!.. И вот привела к Той преобразившей меня вспыхнувшей Ёлке...

Мытарства не кончились. Они стали еще во сто раз больше. Но это было уже нечто совсем другое — сознательное и осмысленное. Смысл жизни был найден. Бог стал реальностью, постигаемой только в опыте глубочайшего сердца.

И вот, начались мои Ёлки (не сразу... надо было еще пять лет пролежать парализованной, а потом встать, но — начались). Точно я получила задание *показать*, собрать и показать ту внутреннюю гармонию мира, которую душа моя *знала*. Собрать осколки, разбросанные на поверхности, и соединить в единое целое, дать Образ.

Что такое Небесный Иерусалим? Это глубинная реальность, которая, как солнце густыми тучами, закрыта нашими иллюзиями — проекциями нашего «эго».

Небесный Иерусалим — это внутренний Свет, который не нуждается ни в чем внешнем. «Ни солнца, ни луны там не будет, ибо Господь Бог — светильник их». Это тот незаходящий свет, который сам является своим источником и сам из себя черпает силы. Небесный Иерусалим, Небесный Град, в котором «Бог отрет каждую слезу с очей их, и ни болезней, ни смерти больше не будет, ибо прежнее прошло, миновало».

Эти последние слова Апокалипсиса всегда переворачивали мне душу. И я знала, что это правда, правда, правда!

Небесный Иерусалим светится внутри *всегда*. Освободить его от тьмы, скрывающей это свечение, сорвать завесу, дать

просверкать нетленному среди тленного мира — вот моя задача. Вот что я делаю, когда создаю мою Ёлку.

Ни одного случайного штриха. Ни одной случайно повешенной ниточки дождя. Каждая игрушка, каждая дождинка, каждый оттенок света должны найти свое *точное* место, соотношенное с тем, которое у всего есть внутри, в невидимой глазам первооснове жизни.

Сказка? Сказку рассказывает мне сама Ёлка, ибо все на ней *говорит*.

Бог есть Слово? Да. Но это Слово говорит только глубине души. Уши его не слышат, но душа *слышит* и получает задание перевести это Слово с языка беззвучного на язык звучащий. Озвучить свет.

И еще.

Сражение света с Болью. Свет восходит изнутри наружу. А здесь — Боль. Царство Боли. Каждый год она новая, своя, конкретная. И свет падает на эту Боль, как на дождевые капли на ели, или на темень леса. Или — куда бы он ни упал, начинается сражение, которое может превратиться в любовные объятия — в ликование; а может, и не превратиться.

Сражение с Болью. Свет должен просквозить вот эту сегодняшнюю боль, растворить ее, сразить. Завтра будет другая, и будет новое сражение. Свет все тот же, а боль — новая. Да и свет всегда новый. Просто он никогда не тускнеет, но в каждом новом повороте вновь вспыхивает все тот же вечный Свет, и творит новое Действо.

Вот это Действо с массой конкретных подробностей, это — новый поворот луча во тьме — новая сказка. Новый путь странника через лабиринты тьмы, новая мистерия, ибо это всегда мистерия — вход в тайну.

Жизнь таинственна, ибо бездонна. Ощущение бездонности, в которой вечно блуждает и никогда не заблудится Свет, — это ощущение и есть счастье.

Всегда трудное счастье, ибо находиться в Бездне всегда нелегко. Но ощущать Бездну и ощущать собственное сердце — это одно и то же. Сердце бездонно. И тот, в ком полностью пробудилось сердце, чувствует великое ликование, ибо внутри этой бездны — свет.

3, 18 апреля 2001 года

Из письма Алику Хабинскому
Утром я долго мысленно говорила с тобой, Алик, о воскресении. Хочу попробовать записать эти мысли. Это пошло в ответ на

твое «а все-таки не воскрес». Да, мы уже говорили об этом, но пришли мне новые повороты.

Помнишь ли ты разговор князя Мышкина о вере? Когда он говорит, что все атеисты «не про то» говорят? Так вот, мне стало ясно вдруг, что и разговор о воскресении плотском, как и о непорочном зачатии, «не про то». Что такое «то»? То, о чём может знать душа, дойдя до последней своей глубины. Знать изнутри себя. Ниоткуда извне и ни от кого извне! Ни одно явление физическое и даже метафизическое (видения) не относится к *такому* знанию. Они приходят извне. В православной аскезе (той, настоящей) есть правило: не принимать и не отвергать видения. То есть не брать их особенно в расчёт. Ни в коем случае не опираться на них. Они могут быть от Бога и от дьявола, но если на них опираться, основывать веру свою — это никак не от Бога.

Параллельно — в йоге есть такие вещи: проходящий йогический путь по дороге может наталкиваться на разные чудеса и даже творить их. Может, к примеру, видеть сквозь стену. На это велено не обращать внимания. Останавливающееся на этом и прикованное к этому внимание — признак отпадения от йоги. (Такого йогина называют отпавшим.)

Наша цель на земле — растить душу до соединения с Богом. То есть всё дальше и дальше уходить с поверхности в глубину — в ту всегда таинственную бездну, где мы чувствуем своё единство со всем миром (мирами) и ответственность за всё, что есть. «Царствие Божие внутри нас», то есть сам Бог внутри нас. Внутри нас есть тот пласт, где живёт сам Бог. В самой глубине глубин мы уже не только творение, но и творцы. Это головокружительная глубина. Головокружительная мощь и ответственность. Путь туда бесконечно труден, дойти туда невероятно тяжело. Но вступившие на Путь делятся на тех, которые могут сойти с Пути, и тех, которые не могут, хотя на Пути — ад. Надо пройти через ад.

Немудрено, что большинство от этого Пути прячутся (только не это!). На поверхности жить легче. Здесь ты — только творение. Есть какой-то далёкий Творец, который тебя сотворил и за всё отвечает. «А я-то что? Что я могу?» Прерву свои размышления одним диптихом, который я, кажется, вам обоим читала, но всё равно:

I

Лишь только горный склон пологий.
Лишь только вглубь небес провалы.
Лишь только с Богом, только с Богом!

И мне всё мало, мало, мало!

Сплошной простор, лавина света.
И — ни шумка вокруг, ни слова...
И надо это, только это
И ничего вовек другого.

И кто поставил нам пределы?
И кто закрыл от сердца дали?
Когда другого захотелось,
Тогда мы Бога потеряли.

II

Бог — не другой. Твоя тревога,
Боязнь другого — святотатство.
Когда звучит «побойся Бога»,
То значит — некого бояться.

Бог не заковывает в цепи И не
разит мечом железным.
Страх Божий — это тайный трепет
Души пред собственно бездной.

Так вот — такой трепет души пред собственно бездной.
Перед задачей — соединиться с Творцом и взять на себя
ответственность за всё.

Слишком трудно. И «лукавый» тут как тут с тысячами
планов облегчённого «пути». Лукавый разум придумывает
много. Начать с того, что человек и вовсе не может соединиться
с Богом. Христа распяли за «Я и Отец — одно» (я говорю об
основной, а не исторической линии). Но ведь и те, кто распял,
то есть потомки тех, кто распял, и потомки тех, кто
объединился вокруг Распятого (все, кроме мистиков), равно
испугались возможности соединиться с Богом. Отступились от
этой задачи и поставили совсем другую.

И вот в Евангелие вошла легенда о непорочном зачатии и о
воскресении плоти, да ещё и о вознесении плоти на небо. (Как
же — 500 свидетелей!)

Так вот, кое-что в этих легендах я отрицаю, как ненужное и
вредное, кое-что — не принимаю и не отвергаю, а говорю
просто, что это «не про то». «То» видит душа, независимо от
того, видят это глаза или не видят. Плотское воскресение — это
то, что видят глаза и про что душа никогда не может узнать
изнутри себя, без помощи глаз. Всякое чудо отвлекает душу от

работы углубления, вхождения внутрь. Всякое чудо приходит извне, происходит во внешнем мире. А все, что во внешнем мире, — не про то.

У меня, видимо, сильно изношены сосуды головного мозга. Вот-вот лопнут. И если Господь будет очень милостив, Он даст мгновенную смерть. Если нет... Не дай Бог!

Хотела бы я, чтобы какой-нибудь чудотворец починил мне сосуды и дал еще несколько лет плодотворной жизни? Еще бы! Но это все же будет не о том и не про то.

А ведь как на этом ловят души! Я, кажется, передавала вам рассказ Маришки о террористе, тщательно защитившим свой член перед самоубийственным актом. Как же! Семьдесят гурий к его услугам. Рабочий инструмент должен быть в целости.

Кто не придет в ужас от этого дебилизма? Говоря об этом с Гришей, я заметила, насколько христианские представления о рае тоньше, духовнее этого посмертного гарема. «На том свете не женятся и не выходят замуж». — «Да, — ответил Гришенька. — Это слова Христа. А представления о вознесении плоти на небо ничуть не лучше гурий. Ну, может, там будут монахи, но плоть со всеми своими отправлениями — всё то же».

Я продолжила: «Да, Христос сказал: „Плоть от плоти родится, а дух от духа“. И это не помешало легенде о зачатии плоти от духа... Но если бы эта и другие подобные легенды не были записаны в Евангелии, не были бы рассказаны нам, какая душа сама могла бы узнать это? *Никогда*. Тогда это не имеет никакого отношения к духовной истине. Это внешние знания, знания со стороны, которые мне смешны». Душа должна дорасти до ЗНАНИЯ, а не узнать со стороны, что равно пользованию шпаргалкой, подглядыванию в щелочку. Мы уже говорили о том, что может узнать ребенок о половой жизни. Если и увидит, и расскажут — не поймет, пока не дорастет.

Дорастание до ЗНАНИЯ, дорастание до Бога... А на пути — «люди видели», «есть свидетели»... Что-то произошло невероятное, невиданное. Христос воскрес! — В тебе? Нет? Ты видел со стороны? Это зрелище или причастие? Если это произошло *в тебе*, то ты дорос до воскресения, без которого наша вера мертва, как сказал апостол Павел. Ну, а если, прости за шутку в этом месте, — «Хаим напевал³²»? Так вот, я ведь все это против хаимов, которые рвутся в святая святых, в основы веры и богопознания.

Кажется, больше писать сейчас не могу. Очень, очень надеюсь, что вы получите это письмо, благополучно

³² Из анекдота: «Ненавижу эту оперу „Кармен“». — «А вы ее слышали?» — «Нет, но Хаим мне ее напевал».

добравшись домой. Обнимаю вас нежно — и огромный привет детям.

Ваша З.

(Письмо показалось мне таким значительным, что я его переписал. Здесь очень четко проведена грань между достойным веры и легендарным, сочиненным взрослыми детьми для других взрослых детей. Как историк, могу только прибавить, что без подобных легенд невозможна была в прошлом ни одна мировая религия; но может быть, настало время назвать метафору метафорой, легенду — легендой? - Г.П.)

Самое неслышанное

В комнате было что-то особое, чего не было, пожалуй, никогда. Та же комната, которую она знает столько лет, и — совсем другая. Что же это, Господи?

Она вживается в эту комнату, будто вращается в нее. Двигаться не хочется. Не надо. И невозможно. И говорить невозможно. Все смолкло. Даже часы остановились. Не тикают. Но как видны и слышны все вещи! Такими они не были еще никогда. Они точно опущены в некий аквариум, только не в воду, а в тишину. Промыты тишиной. Дышат ею. Да и она сама дышит тишиной. Как прежде воздухом, так теперь — тишиной. Вот оно — то особое, чего никогда раньше не было: тишина. Густая. Весомая. Живая.

Комната словно раздвинулась, удлинилась, нет — углубилась и возвысилась. Потолок больше не препятствие на пути в высоту. Стены? Пол? Они точно начертаны на бумаге. И сквозь них так легко пройти... Но пока этого не надо. Пока ничего не надо. Кроме ожидания. Оно тоже заполнило комнату, как и тишина. Чего она ждет? И почему завешено зеркало? Этого, пожалуй, не нужно. Зеркало продолжает пространство. Когда зеркало завешено, пространство перерезано. Зачем это? Может быть, они боятся, что она посмотрится в зеркало? О, нет! Этого ей совсем не нужно! Меньше всего на свете сейчас надо смотреть на себя. Да разве это возможно? Она же совсем прозрачна. Взгляду не во что упереться. Он проходит насквозь... Она слегка вздрогнула. Так вот что такое Бесконечность...

Только бы никто не нарушил тишины! Если нарушат, она не сможет дышать. Задохнется. О, они ведь этого совсем не понимают. Они не тем дышат...

Скрип двери. Входят. Это он. Тише... Тише... Пожалуйста, еще тише... О, ты очень бережен. Спасибо. Даже мысль твоя не движется. И слезы застыли. Вот сейчас я, наконец, тебе все скажу, что не успела за жизнь. А ты услышь. Слушаешь? Ты

ведь знаешь, что сейчас что-то происходит и ты так неподвижен не по своей воле. Ты же это хорошо знаешь. И двинешься не раньше, чем услышишь все до конца. Ты так же, как и я, боишься, что войдут и спугнут тишину. Ты сейчас тоже дышишь тишиной. Ты так прислушиваешься к моему дыханию, что дышишь вместе со мной. Тебе трудно? Очень трудно... Ты как будто в скафандре своего горя. Не спеши подниматься на поверхность. Смотри, какая здесь жизнь! Бесконечная... Ты начинаешь понимать, что такое Бесконечность?..

Ты расстегиваешь ворот. Задышаешься... Ну хорошо, пускай хлынут слезы. Теперь уже можно.

* 33 *

И в автобусе была тишина. Ехала вместе с ними. Покачивалась и расплескивалась вокруг. И вдруг встала, как столб. Столб тишины. Храм.

Это мой новый дом. Там, где тишина сгустится и остановится, там буду я. Где тишину будут растить, там буду я... Как вам трудно растить тишину! В храме вас учат этому. Учат дышать вместе с нами. Прислушиваться к нашему дыханию. А может, и нас самих здесь учат дышать. Нас принимают здесь, как новорожденных. Новопреставленных... Здесь принимают

33 * *

На кладбище к нему подошел N и поцеловал его. Так вот вдруг, когда все неподвижно стояли около могилы, шагнул к нему, обнял за плечи и поцеловал. Столько было души в этом поцелуе, что он почувствовал, что ближе N нет сейчас человека, хотя до этого никакой особой близости между ними не было.

На поминках было много людей. И слов много. Хороших. Подчас пронзительных. Ее любили. Он им всем очень благодарен. Они были с ним вместе. Но, конечно, на время. Не могут же люди всегда жить с разверстой душой. «Это почти как у разверстой могилы, — подумал он и вздрогнул. — Ну да, могилу засыпают, души закрываются. Это естественно».

У него душа не закрывается. Не может. И это тоже естественно. И то, что люди со временем стали его сторониться, это он тоже понимает.

Все естественно.

Он один.

В церкви на отпевании священник сказал: «Чтобы быть с ней вместе, надо молиться тому же Богу, которому и она молилась. Молиться в церкви на литургии, совершать те же обряды».

наш первый вздох, а дальше — небо. Это такая тишина! Такая полнота дыхания! Сплошной Дух...

Вам кажется, что я не дышу. Вы ошибаетесь. Это вы не дышите. Для вечной жизни нужно иное дыхание. Вы вздыхаете, а не дышите. То дышите, то нет. А разве можно жить, если дышишь лишь урывками?

А деревья дышат всегда. Вот у кого надо учиться дышать. Ты видишь их? Такие огромные! Такие золотые! Сколько золота! И голубая ель вся перевита золотом березы. Смотри на нее. Смотри, не отрываясь. Неужели ты можешь видеть эти деревья и не знать, что я жива?! Они же ликуют. Это пламя — ликование. Ликование на могиле. Да. Ликование — это встреча. А смерть — это одиночество. Когда есть деревья, нет одиночества. Есть встреча. Смотри же, смотри... Как они ликуют! Сколько здесь света! Какой свет!..

Вот как — тому же Богу... А есть другой? Что, Бог не один?

Бог один. Это он знал так же ясно, как то, что небо одно, воздух один. И он знал теперь еще одно, чего не знал никогда раньше: Бог одинок. Бесконечно одинок. Потому что у всех есть стенки, границы. Люди забаррикадировались от Бога. Кто чем может. Люди от Него защищаются. Он им не нужен.

Да, при всех своих храмах, молениях — не нужен. Получить от Него что-то — да. Но Сам Он... Такой безграничный... Такой разверстый...

Люди в нем захлебнутся, пропадут. Встреча со смертью и встреча с Богом — это, пожалуй, одно и то же. Кто же хочет встречаться со смертью?

Но если ты все же не можешь от Него закрыться? Не можешь и всё... Не можешь и не хочешь...

Иногда, особенно на могиле, когда он подымал глаза к верхушкам деревьев и дальше к небу, его охватывало странное чувство, что смерть имеет предел, что она кончается. А встреча с Богом — встреча с беспредельностью. Но через смерть. И, может быть, чтобы войти в беспредельность, смерти не миновать. И еще у него было чувство, что хоть жить с разверстой душой и впрямь — почти как у разверстой могилы, но это и есть жизнь, а все другое — полужизнь, четверть-жизнь, игра в прятки с жизнью.

Вот когда он слушает Баха или Реквием Моцарта, или православную литургическую музыку, он не прячется от жизни. И от смерти тоже. Чтобы не прятаться от жизни, надо не прятаться от смерти.

Он все чаще ходит в Третьяковку. В иконные залы. Садится около Спаса с архангелом Михаилом и апостолом Павлом или у Троицы Рублева и вдруг начинает чувствовать волны какого-

то особого, ни с чем не сравнимого Покоя. Этот Покой движется. Растет. И когда достигает своей меры, которую может выдержать сердце, происходит чудо. Он никогда не решится сказать, в чем оно состоит, но оно есть. Появляется другое Дыхание. Ты как будто проходишь через смерть. В глазах, да и в ритме фигур некоторых икон есть такой покой, который не боится смерти. Эта поразительная открытость всему самому страшному. Никакой защиты, никакого барьера и — покой.

И он понял: жизнь — это школа открытости, школа безграничности. Мы живем частной жизнью, ограниченной, временной. И держимся за свои границы, как за саму жизнь. Хотя истинная жизнь — по ту сторону границ.

Истинная жизнь...

Глаза икон живут истинной жизнью. И зовут в безграничность. Но как пойти за ними? Для этого надо шагнуть в обрыв, ступить на воду... Да, следом за Тем, Который идет по воде и не тонет. Он есть. Вот Он глядит из этих глаз. И все-таки идти за Ним невероятно трудно. Она — есть. Он это знает. И все-таки, как преодолеть это великое, как небо, одиночество?

Не только Он, она тоже так одинока! Мысль, что мертвые одиноки, поражала его все чаще и все глубже. Мертвым что-то надо от живых. Смерть — это одиночество. И преодолеть его могут только живые. Мертвым не дано преодолеть одиночество. Это дело живых. Самое трудное дело на свете. И живые бегут от этого дела. Живые отгораживаются всем, чем могут. Они обносят такой глухой стеной свою временную, частичную жизнь, как будто их главная задача — отгородиться от жизни вечной. А мертвые остаются за стеной. Мертвый ничего не может сделать. Только ждать, что сделаем мы, живые.

Да, жизнь — это школа безграничности, школа открытости. И если мы при жизни были плохими учениками, как нам будет трудно потом, когда безграничность обступит со всех сторон и от нее уже не спрячешься. Тогда — провал, ужас — ад. Так вот что такое ад — безграничность, к которой мы совсем не готовы, которой совсем не хотим и от которой никуда не денешься. Ад — это когда безграничность — проклятие, Бог — наказание. Боже, Ты — источник жизни — наказание?!

Наказанье Божье... Да никого Бог не наказывает. Он Сам является или высшей наградой, или высшим наказанием. Вот и всё. И другого нет.

* * *

По комнате разливался закатный свет. Он залил все окно, догорал на стенках и вдруг осветил ее портрет. Господи, как она любила этот свет!

Он отключил телефон. И сидел у окна до тех пор, пока на блеклом небе не стали появляться первые звезды.

Самое тяжелое — лечь в постель. В их постель. Одному. Чем бы ни являлась постель для тысячи других людей, для них — лечь в постель было ежевечерним причастием. Самый молитвенный, святой час. Перелить друг в друга все, что вместилось в сердце. Разделить Бесконечность. И вот — один.

Но... небо продолжает входить в него всеми звездами, всей тишиной. Тишина стужается, расширяется, углубляется, становится весомой и живой.

И вдруг он почувствовал себя на море. Так было только когда они вместе смотрели на море с гор. Когда весь простор входил в душу так, что если бы еще немного, этого можно было бы не выдержать. Так было только когда она поворачивалась и глядела ему

в глаза всем морем и всем небом. Так было только когда она была рядом.

И вот что-то огромное, невероятное накатило, как вал, опрокинуло, перевернуло его и зашвырнуло... куда? Он не знает. Он в ином мире. Нет больше ни пространства, ни времени. Он не знает, где он. Он не понимает, который год и час. Но ему и не нужно ничего знать. Он чувствует абсолютную полноту бытия. И понимает, что это есть цель и смысл всей его жизни.

Она — здесь.

Полнота бытия без нее невозможна.

Первое, что он увидел или скорее ощутил рукой, возвращаясь в наш трехмерный мир, это подушка, ее подушка. Он обнял ее, прижался к ней, насквозь промочил слезами. И понял, что никогда и никому не сможет рассказать того, что пережил. Встреча. Слияние. Едва ли не более полное, чем при самой полной близости. И, однако — никакого явления, никакого образа, ничего, что было бы рядом с ним. Всё — в нем.

Да, он ничего не сможет рассказать, засвидетельствовать. Но он сам стал свидетельством.

Он стал иным. То, что было, не явилось на время и прошло, — оно вошло в него и осталось в нем. Оно светилось в глазах, проявлялось в каждом жесте и интонации голоса.

Ничего не надо было рассказывать. Кто видел его, видел Это.

Октябрь, 1995

Григорий Померанц. Работа любви

Возможна ли чистая совесть?	7
Приобретения и потери.....	13
Углубление жизни	21
Работа любви	30
Подлинное и призрачное счастье	42
Авторитет любви	56
Истина диалога	71
Мучительный и зыбкий образ	77
Центростремительные порывы	85
Написанное духом	93
Устами поэта	103
Глядя на иконы Рублёва	117
Весны и осени	119
Три синонима	120
О смысле страдания	122
Postscriptum Зинаиды Миркиной	132
Мои праздники	137
Созерцатели нашего века	141
«Уязвимость» Антония Блума	141
Вера и неверие Мартина Бубера	151
«Созерцание» Томаса Мертона	157
Вавилонская башня цивилизации	172
Пауза созерцания	172
Глас вопиющего в пустыне	179
Солидарность ради спасения	186
Одинок прочерченный путь	202
Postscriptum Зинаиды Миркиной	213
Разговор с Бесконечным	217

Зинаида Миркина. О том, что не утекает

Вглядываясь в небо	223
Работа Авраама	223
Я не знаю	228
Узкий вход в бесконечность (Рильке и Россия)	232
Вслушиваясь во время	242
Смена идей, или Преображение	242
Иерархия реальности и свобода	256

Мой брат воробей	271
Открытое письмо	281
Задачи и люди	292
Христианство как динамическая сила.	
Мои встречи с Александром Менем	292
Памяти Бориса Чичибабина	300
Вопрос Иова	308
Разговор с Богом и разговор с людьми	314
Три ответа нашему времени: Василий Гроссман,	
Евгений Федоров, Александр Мелихов	318
Бог и идея Бога: (о книге «Жизнь и судьба»)	318
О том, что не утекает	325
Истина, которая вне Христа (к итогам	
Букеровского конкурса)	341
Дырочка в крыше	350
Я до воскресенья дорасту.....	354
О ёлке	354
Из письма Алику Хабинскому	357
Самое неслышанное	361

Григорий Соломонович Померанц,

Зинаида Александровна Миркина

В тени Вавилонской башни

Корректор Н. И. Кузьменко

Компьютерная верстка Г. В. Славинской

Оформление Ю. Б. Балабанов

По издательским вопросам обращаться в «Центр гуманитарных инициатив»,

e-mail: unikniga@yandex.ru, unibook@mail.ru.

Руководитель центра Соснов П. В.

Оптовая продажа в Санкт-Петербурге:

ООО «Университетская книга-СПб»,

тел.: (812) 640-08-71, e-mail: uniknigal@westcall.net.

Оптовая продажа в Москве:

ООО «Университетская книга-СПб»,

тел.: (495) 915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru.

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:

магазин «Книжный окоп»,

В. О., Тучков пер., 11,

тел.: (812) 323-85-84.

Розничная продажа в Москве:

тел. (495) 745-15-36, e-mail: www.notabene.ru.

Подписано в печать 05.09.2012

Гарнитура Newton TT. Формат 60х90 У₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,0. Уч.-изд. л. 20,4

Доп. тираж 400 экз. Заказ №

Отпечатано на цифровой струйной печатной машине OCE

на базе «Чеховского Печатного Двора»

Московская область, Чехов г., ул. Полиграфистов, 1